# Вампир Арман

Энн Райс

## Часть I

## ТЕЛО И КРОВЬ

### 1

Говорили, что на чердаке умер ребенок. Его одежду нашли в стене.

Мне хотелось подняться туда, лечь у стены и остаться одному.

Иногда кто‑то замечает ее призрак. Но никто из этих вампиров, в общем‑то, призраков видеть не умел, во всяком случае, так, как я. Не важно. Я не искал общества того ребенка. Мне только хотелось там лечь.

Затягивать пребывание рядом с Лестатом бесполезно, это никому пользы не принесет. Я пришел. Я выполнил свой долг. Я ничем не мог ему помочь.

Вид его пронзительных, сосредоточенных, застывших глаз заставлял меня нервничать; на душе у меня было спокойно, меня переполняла любовь к моим близким — к своим смертным детям, к моему темноволосому Бенджи и нежной гибкой Сибель, но у меня пока не хватало сил их забрать. Я ушел из молельни.

Я даже не заметил остальных присутствующих. Весь монастырь превратился в обитель вампиров. Не то, чтобы он казался диким или заброшенным, но я не заметил, кто оставался в молельне, когда я уходил.

Лестат лежал в прежней позе на мраморном полу молельни перед огромным распятием, на боку, с расслабленными руками, правая ладонь под левой, пальцы слегка касаются пола, как будто намеренно, хотя ни о каким намерениях и речи быть не могло. Пальцы правой руки изогнулись, образовывая впадинку в ладони нам, куда падал свет, что тоже казалось осмысленным жестом, хотя никакого смысла здесь не было. Просто сверхъестественное тело, лежащее на полу, лишенное воли и способности двигаться, не более исполненное смысла, чем лицо, чье выражение было почти вызывающе разумным, учитывая, что Лестат не двигался уже много месяцев.

Высокие витражи надлежащим образом зашторивали из‑за него перед рассветом. По ночам в них отсвечивали все чудесные свечи, расставленные между изящными статуями и реликвиями, наполнявшими этот когда‑то священный божественный дом. Под высокими сводами маленькие дети слушали мессу; священник у алтаря распевал латинские слова.

Теперь оно принадлежало нам. Ему — Лестату, мужчине, лежавшему без движения на мраморном полу.

Мужчине. Вампиру. Бессмертному. Сыну Тьмы. Любое из этих слов отлично ему подходит.

Оглянувшись на него через плечо, я, как никогда, почувствовал себя ребенком. Такой я и есть. Я вписываюсь в это определение, как будто оно во мне закодировано, как будто это единственная возможная для меня генетическая схема.

Когда Мариус сделал меня вампиром, мне было, наверное, лет семнадцать.

К тому моменту я перестал расти. Целый год я оставался пять футов шесть дюймов. У меня изящные, как у женщины, руки, и я, как мы выражались в то время, в шестнадцатом веке, был безбородым. Не евнухом, нет, конечно, нет, отнюдь, но еще мальчиком.

В те времена было модно, чтобы мальчики были такими же красивыми, как девушки. Только теперь мне кажется, что в этом есть какой‑то смысл, и то потому, что я люблю своих собственных детей: Сибель с длинными ногами девочки и грудью женщины, и Бенджи с круглым напряженным арабским личиком.

Я остановился у подножия лестницы. Никаких зеркал, только высокие кирпичные стены с ободранной штукатуркой, стены, которые только Америка может счесть старинными, потемневшие от сырости — кипящее новоорлеанское лето и влажная промозглая зима, зеленая зима, как я ее называю, потому что листья с деревьев здесь практически никогда не опадают.

Я родился в стране вечной зимы, если сравнивать ее с этим городом. Неудивительно, что в солнечной Италии я совершенно забыл о своих истоках и приспосабливался к жизни по образцу новой жизни у Мариуса. «Я не помню». Только при этом условии можно было так полюбить порок, так пристраститься к итальянскому вину, обильным трапезам и даже к ощущению теплого мрамора под босыми ногами, когда комнаты палаццо самым грешным, безнравственным образом разогревались бесчисленными каминами Мариуса.

Его смертные друзья… такие же люди, каким был и я… без конца бранили его за траты: дрова, масло, свечи. А Мариус признавал только самые изысканные свечи, из пчелиного воска. Для него имел значение каждый аромат.

Прекрати думать об этом. Теперь воспоминания не причинят тебе вреда. Ты пришел сюда для дела, теперь с ним покончено, пора найти тех, когда ты любишь, твоих юных смертных, Бенджи и Сибель, и жить дальше. Жизнь — уже не театральная сцена, где вновь и вновь появляется призрак Банко, зловеще усаживаясь за столом. У меня болела душа.

Наверх. Полежать немного в кирпичном монастыре, где нашли одежду ребенка. Лечь рядом с ребенком, убитом в монастыре, как утверждают сплетники‑вампиры, новые привидения этих залов, пришедшие посмотреть, как спит сном Эндимиона великий Вампир Лестат.

Я не чувствовал никакого убийства, одни нежные голоса монахинь. Я поднялся по лестнице человеческим шагом, предоставив телу возможность обрести свой человеческий вес. За пятьсот лет я научился таким трюкам.

Я умел пугать молодежь — навязчивых и зевак — не хуже любого из старейших, даже самых скромных, которые то произносят слова, выдающие дар телепатии, то растворяются в воздухе, решив уйти, или же периодически сотрясают здание своей силой — интересное достижение даже для этих стен в восемнадцать дюймов толщиной, с нетленными кипарисовыми подоконниками.

Ему должны понравиться эти запахи, подумал я. Мариус, где он? Я не особенно хотел разговаривать с Мариусом, не повидав Лестата, и обменялся с ним лишь несколькими вежливыми словами, оставляя на его попечение свои сокровища.

В конце концов, я привел своих детей в зверинец живых мертвецов. Кто лучше сохранит их, чем мой любимый Мариус, такой могущественный, что никто здесь не посмеет обсуждать ни малейшую его просьбу.

Естественно, между нами нет телепатической связи, ведь Мариус — мой создатель, но не успел я подумать об этом, как осознал безо всякой телепатии, что в здании не чувствуется присутствия Мариуса. Не знаю, что происходило в тот короткий промежуток времени, пока я стоял на коленях перед Лестатом. Я не знал, где Мариус. Я не чувствовал знакомых человеческих запахов Бенджи и Сибель. Меня парализовала паника.

Я остановился на втором этаже. Я прислонился к стене, с намеренным спокойствием изучая лакированные сосновые половицы. На паркете образовались желтые островки света.

Где же Бенджи и Сибель? Что я наделал, приведя сюда двух зрелых, чудесных смертных? Бенджи, энергичный мальчик двенадцати лет, и двадцатипятилетняя Сибель, уже почти женщина. А вдруг Мариус, в душе такой щедрый, по небрежности выпустил их из вида?

— Я здесь, дитя. — Резкий, тихий голос, я ему обрадовался. В лестничном пролете, прямо подо мной, стоял мой создатель, он последовал за мной вверх по лестнице, или же, скорее, оказался там с помощью свой силы и скорости, безмолвно и незаметно преодолев разделявшее нас расстояние.

— Мой господин, — сказал я со слабой улыбкой. — В какой‑то момент я за них испугался. — Это было извинение. — Мне здесь грустно.

Он кивнул.

— Они со мной, Арман, — сказал он. — Этот город кишит смертными. Сколько бы здесь ни бродило скитальцев, пищи хватит на всех. Их никто не обидит. Даже если бы меня здесь не было, никто не осмелился бы.

Наступила моя очередь кивать. Но я не разделял его уверенность.

Вампиры по природе своей капризны и делают ужасные, злобные вещи просто ради собственного удовольствия. Какой‑нибудь заезжий мрачный чужак, привлеченный необычными событиями, вполне может развлечься, убив чужую смертную зверюшку.

— Ты — просто чудо, дитя мое, — с улыбкой сказал он. Дитя! Кто, кроме Мариуса, моего создателя, мог бы так меня назвать, но что для него пятьсот лет? — Ты ушел на солнце, сын мой, — продолжал он с прежним отчетливо заботливым выражением на добром лице. — И выжил, чтобы рассказать свою повесть.

— На солнце, господин? — переспросил я. Но мне лично не хотелось ничего больше рассказывать. Мне еще рано было говорить, описывать, что произошло, обсуждать легенду о покрывале Вероники и запечатленном на нем во всей своей славе лице нашего Господа, и то утро, когда я с полным счастьем отказался от своей души. Ну и миф.

Он поднялся по ступенькам и опустился рядом со мной, соблюдая, однако, вежливую дистанцию. Он всегда оставался джентльменом, даже когда этого слова еще не существовало. В древнем Риме, наверняка было слово, обозначающее таких людей — неизменно хорошо воспитанных, для кого внимание к другим — дело чести, одинаково любезных как с бедными, так и с богатыми. Таков уж Мариус, и, насколько я знаю, он таким был всегда.

Он положил свою белоснежную руку на унылые атласно‑гладкие перила. Он был одет в длинный бесформенный плащ из серого бархата, когда‑то чрезвычайно экстравагантный, теперь же, благодаря времени и дождю, он не так бросался в глаза; светлые волосы — длинные, как у Лестата, то и дело поблескивающие на свету, взъерошенные от сырости, даже усеянные каплями росы с улицы, той же росы, что осталась на его золотых бровях и заставила потемнеть длинные ресницы вокруг больших кобальтово‑синих глаз.

В нем присутствовало что‑то очень нордическое, в отличие от Лестата, чьи волосы всегда отливали золотом и сияли ярким светом, и чьи глаза оставались призматическими, впивая остальные краски, приобретая еще более великолепный фиолетовый оттенок при малейшей провокации со стороны боготворящего его внешнего мира.

В Мариусе же я видел солнечное небо диких северных земель, его глаза излучали ровный свет, отвергая любой цвет со стороны, оставаясь идеальными зеркалами его в высшей степени постоянной души.

— Арман, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты пошел со мной.

— Куда, господин, куда пошел? — спросил я. Мне тоже хотелось побыть вежливым. Но он всегда, невзирая на любые столкновения умов, вызывал во мне возвышенные инстинкты.

— Ко мне домой, Арман, туда, где они сейчас находятся, Сибель и Бенджи. Нет, не бойся за них ни на секунду. С ними Пандора. Это поразительные смертные, блистательные, на удивление разные, но чем‑то похожи. Они тебя любят, они так много знают и прошли с тобой довольно долгий путь.

Мне в лицо бросилась кровь и краска; ощущение теплоты было колючим и неприятным, а когда кровь отлила от кожи, стало прохладнее, и меня странным образом раздражал тот факт, что я вообще испытываю какие‑то ощущения.

Меня потрясло пребывание в монастыре, я хотел, чтобы все было кончено.

— Мой господин, я не знаю, кем я стал в новой жизни, — с благодарностью сказал я. — Переродился? Запутался? — Я заколебался, но что толку останавливаться? — Пока что не проси меня остаться. Может быть, позже, когда Лестат придет в себя, когда пройдет достаточно времени, может быть… Я точно не знаю, но сейчас принять твое любезное приглашение я не могу.

Он коротко кивнул в знак согласия. Сделал рукой жест, означающий уступку. С плеча соскользнул старый серый плащ. Он, казалось, даже не обратил на это внимания. Его тонкие шерстяные одежды пришли в небрежение, отвороты и карманы оторачивал слой серой пыли. Это ему не свойственно.

Горло прикрывала полоса ослепительно белой ткани, благодаря чему его бледное лицо выглядело более человеческим, чем на самом деле. Но шелк порвался, как будто он продирался в нем через заросли ежевики. Короче говоря, эта одежда больше подходила для привидения, чем для появления в свете. Она сгодилась бы для неудачника‑бродяги, но не для моего старого господина.

Наверное, он знал, что я зашел в тупик. Я смотрел вверх, во мрак. Мне хотелось попасть на чердак, к полускрытым одеяниям мертвого ребенка. Меня заинтересовала эта история о мертвом ребенке. У меня хватило наглости размечтаться, хотя он все еще ждал. Его ласковые слова вернули меня к реальности.

— Когда они тебе понадобятся, Сибель и Бенджи будут у меня, — сказал он. — Ты нас найдешь. Это недалеко. Когда захочешь, ты услышишь «Апассионату».

Он улыбнулся.

— Ты дал ей пианино, — сказал я. Я говорил о золотоволосой Сибель. Я повесил завесу между миром и моим сверхъестественным слухом и пока не хотел ее поднимать, даже ради восхитительных звуков ее музыки, по которым я уже очень скучал.

Как только мы вошли в монастырь, Сибель заметила пианино и шепотом спросила меня на ухо, можно ли ей поиграть. Оно стояло не в молельне, где лежал Лестат, а подальше, в другом помещении, длинном, пустом. Я ответил ей, что это не вполне прилично, что это может помешать Лестату, мы же не знаем, что он думает, что он чувствует, может быть, ему плохо, может быть, он попал в ловушку собственных снов.

— Возможно, когда ты придешь, ты ненадолго останешься, — сказал Мариус. — Тебе понравится, как она играет на моем пианино, а потом мы, может быть, поговорим, ты сможешь отдохнуть у нас и остаться пожить с нами, сколько захочешь.

Я не ответил.

— Мой дом — настоящий дворец по понятиям Нового Света, — сказал он с несколько насмешливой улыбкой. — Он очень близко. Там есть самые просторные сады, старые дубы, намного старше, чем дубы на авеню, а каждое окно — как дверь. Ты же знаешь, как мне это нравится. Все в римском стиле. Двери, открытые навстречу весеннему дождю, а весенний дождь здесь — как во сне.

— Да, я знаю, прошептал я. — Он, наверное, и сейчас идет, да? — Я улыбнулся.

— Ну да, я весь забрызгался, — почти весело ответил он. — Приходи, когда захочешь. Не сегодня, так завтра…

— Нет, я приду сегодня, — сказал я. Я совсем не хотел его обижать, нет, но Бенджи и Сибель уже достаточно насмотрелись на белолицых монстров с бархатными голосами. Пора уходить.

Я посмотрел на него довольно‑таки смело и даже получил от этого удовольствие, преодолев проклятье застенчивости, наложенное на нас современным миром. В старину, в Венеции, он одевался пышно, как тогда было принято, всегда украшал себя роскошью — зеркало моды, говоря прежним изящным языком. Когда он вечером, в мягком фиолетовом полумраке пересекал Пьяцца Сан‑Морео, все на него оборачивались. Красное было его неотъемлемой частью, красный бархат — развевающийся плащ, великолепный расшитый камзол, а под ним — туника из золотого шелка, очень популярный в то время наряд. У него были волосы молодого Лоренцо де Медичи, прямо с фрески.

— Господин, я люблю тебя, но сейчас я должен остаться один, — сказал я. — Ведь я вам сейчас не нужен, сударь? Зачем? И всегда был не нужен. — Я мгновенно пожалел об этом. Дерзким был не тон, а слова. Так как наши мысли разделяла близость крови, я боялся, что он меня неправильно понял.

— Херувим, мне тебя не хватает, — всепрощающим тоном сказал он. — Но я могу подождать. Кажется, не так давно, когда мы были вместе, я уже говорил тебе эти слова, теперь я их повторяю.

Я не мог заставить себя сказать ему, что мне пришло время общаться со смертными, объяснить, как я стремлюсь просто проболтать всю ночь с маленьким Бенджи, он — настоящий мудрец, или послушать, как моя любимая Сибель снова и снова играет свою сонату. Казалось бессмысленным вдаваться в дальнейшие объяснения. И меня опять охватила печаль, тяжелая, явственная, из‑за того, что я пришел в этот одинокий пустой монастырь, где лежит Лестат, не способный, или же не желающий ни двигаться, ни разговаривать, этого никто из нас не знает.

— Из моего общества сейчас ничего не выйдет, господин, — сказал я. — Но, безусловно, если ты дашь мне ключ, где тебя искать, тогда, по прошествии времени… — Я не закончил.

— Я за тебя боюсь! — внезапно прошептал он с особенной теплотой.

— Еще больше, чем раньше, сударь? — спросил я.

Он задумался. И сказал:

— Да. Ты любишь двух смертных детей. Они для тебя — и луна, и звезды. Пойдем, поживи со мной, хотя бы недолго. Расскажи мне, что ты думаешь о нашем Лестате, о том, что случилось. Расскажи, может быть, если я пообещаю вести себя спокойно и не давить на тебя, ты выразишь свою точку зрения на то, что ты недавно видел.

— Вы так деликатно затрагиваете эту тему, сударь, я вами просто восхищаюсь. Вы хотите сказать — почему я поверил Лестату, когда он сказал, что побывал в раю и в аду, вас интересует, что я увидел, взглянув на принесенную им реликвию, на покрывало Вероники.

— Если захочешь рассказать. Но на самом деле я хочу, чтобы ты пришел и отдохнул.

Я положил руку на его пальцы, изумляясь, что, несмотря на все, что я пережил, моя кожа почти такая же белая, как у него.

— Потерпи моих детей, пока я не приду, хорошо? — спросил я. — Они воображают себя бесстрашными злодеями, потому что пришли со мной сюда, беспечно насвистывая в самом, так сказать, пекле живых мертвецов.

— Живых мертвецов, — сказал он с неодобрительной улыбкой. — Какие слова в моем присутствии! Ты же знаешь, я это ненавижу.

Он быстро запечатлел на моей щеке поцелуй, что застало меня врасплох, но тут я осознал, что его уже нет.

— Старые фокусы, — произнес я вслух, думая, достаточно ли он близко, чтобы меня услышать, или же он так же яростно заслоняет от меня свои уши, как я заслоняю свои от внешнего мира.

Я посмотрел в сторону, мечтая остаться в покое, и внезапно подумал о беседках, не словами, но образами, как умели мои прежние мысли, захотел лечь на садовые клумбы среди растущих цветов, прижаться лицом к земле и тихо что‑нибудь спеть про себя.

Весна на улице, тепло, нависший туман, который превратится в дождь. Вот чего мне не хватало. И еще болотистых лесов вдали, но при этом мне нужны были Сибель и Бенджи, нужно было уйти и обрести немного воли, чтобы жить дальше.

Ах, Арман, ее‑то тебе вечно не хватает, воли. Не допускай, чтобы повторилась старая история. Вооружись всем, что с тобой произошло.

Кто‑то был рядом.

Неожиданно мне показалось ужасным, что какой‑то незнакомый бессмертный вторгается в обрывки моих личных мыслей и, может быть, стремится эгоистично приблизиться к моим чувствам. Это оказался всего лишь Дэвид Талбот.

Он появился из крыла молельни, пройдя по холлам монастыря, соединяющим ее, как мост, с основным зданием, пока я стоял наверху лестницы, ведущей на второй этаж.

Я увидел, как он вошел в холл, оставив позади стеклянную дверь, ведущую в сад, а за ней — мягкий, смешанный золотисто‑белый свет дворика.

— Все спокойно, — сказал он, — на чердаке никого нет, и, конечно, вы можете туда подняться.

— Уходи, — сказал я. Я испытывал не злость, а искреннее желание, чтобы мои мысли не читали, а эмоции оставили в покое. Он проигнорировал мою реплику с удивительным самообладанием, а потом сказал:

— Да, я боюсь вас, немного, но при этом мне ужасно любопытно.

— Ну ясно. Значит, это оправдывает тот факт, что ты за мной следил?

— Я за вами не следил, Арман, — сказал он. — Я здесь живу.

— Вот как. Тогда прости меня, — согласился я. — Я и не знал. Полагаю, я рад, что ты его охраняешь, не оставляешь одного. — Я, естественно, говорил о Лестате.

— Вас все боятся, — спокойно сказал он. Он занял небрежную позу в нескольких футах от меня, скрестив руки на груди. — Знаете ли, знания и обычаи вампиров — предмет, достойный изучения.

— Только не для меня, — сказал я.

— Да, я понимаю, — сказал он. — Я просто размышлял вслух, надеюсь, вы меня простите. Насчет убитого ребенка на чердаке. Это в высшей степени раздутая история, об очень незначительном человечке. Может быть, если вам повезет больше, чем остальным, вы увидите призрак ребенка, чью одежду замуровали в стене.

— Ты не возражаешь, если я тебя рассмотрю? — сказал я. — Раз уж ты собрался с таким самозабвением копаться у меня в голове? Мы же встречались раньше, еще до того, как это случилось — Лестат, путешествие на небеса, этот дом. Я никогда тебя подробно не разглядывал. Либо от безразличия, либо из вежливости, не знаю.

Я сам удивился горячности своего голоса. Мое настроение все время менялось, и не по вине Дэвида Талбота.

— Я думаю от общепринятых представлениях о тебе, — сказал я. — Что ты родился не в этом теле, что ты был пожилым человеком, когда Лестат с тобой познакомился, что тело, где ты обитаешь, принадлежало ловкой душе, способной перескакивать из одного живого существа в другое, а затем торговать им, являясь при этом нарушителем прав собственности.

Он обезоруживающе улыбнулся.

— Так говорил Лестат, — сказал он. — Так он написал. Это, конечно, правда. Вы же знаете. Знаете с тех пор, когда мы встречались.

— Три ночи мы провели вместе, — сказал я. — И я ни разу не тебя ни о чем не спрашивал. То есть, ни разу даже не посмотрел тебе в глаза.

— Мы тогда думали о Лестате.

— А сейчас — нет?

— Я не знаю, — ответил он.

— Дэвид Талбот, — сказал я, смерив его холодным взглядом. — Дэвид Талбот, Верховный Глава Ордена Психодетективов, известный как Таламаска, был катапультирован в тело, в котором сейчас и обитает. — Не знаю, пересказывал ли я уже известные мне факты, или придумывал на ходу. — Там он либо закрепился, либо не смог выбраться, запутавшись в сетях вен‑канатов, а потом его хитростью заманили в вампиры, в везучий организм вторглась пламенная кровь, запечатав внутри его душу и превратив в бессмертного; мужчина со смуглой бронзовой кожей и сухими, блестящими и густыми черными волосами.

— Кажется, вы все правильно поняли, — ответил он со снисходительной вежливостью.

— Джентльмен‑красавчик, — продолжал я, — карамельного цвета, с такой кошачьей легкостью движений с таким скользящим взглядом, что мне приходит на ум все, что когда‑то меня восхищало, плюс смесь запахов корицы, гвоздики, перца и прочих специй — золотых, коричневых и красных, что ароматы пронзают мой мозг и повергают меня в бездну эротических желаний, которые сейчас еще живее, чем прежде, они вот‑вот разыграются. Кожа у него пахнет орехами кешью и густым миндальным кремом. Правда.

Он засмеялся.

— Я вас понял.

Я сам себя шокировал. Мне стало паршиво.

— Я не уверен, что сам себя понял, — извинился я.

— Думаю, здесь все ясно, — сказал он. — Вы хотите, чтобы я оставил вас в покое.

— Слушай, — быстро прошептал я, — Я не в себе. Все мои ощущения перепутались, сплелись в узел, как нитки — вкусовые, зрительные, осязательные. Я себя не контролирую.

Я лениво и злобно подумал, не стоит ли напасть на него, схватить, заставить склониться перед моим мастерством и коварством и попробовать его кровь, не спрашивая согласия.

— Я уже слишком далеко продвинулся для этого, — сказал он, — и зачем вам так рисковать?

Какое самообладание. Его старшая сторона действительно управляла здоровой молодой плотью — мудрый смертный с железной властью над вечностью и сверхъестественными силами. Какая смесь энергий! Приятно было бы выпить его кровь, получить его помимо его воли. Ничего нет на земле веселее, чем изнасилование равного тебе по силе.

— Не знаю, — пристыженно сказал я. Изнасилование недостойно мужчины. — Не знаю, зачем я тебя оскорбляю. Понимаешь, я хотел побыстрее уйти. То есть, я хотел зайти на чердак, а потом оказаться где‑нибудь подальше отсюда. Я хотел избежать подобных страстей. Ты удивительный, при этом ты считаешь, что я тоже удивительный, и это забавно.

Я обвел его взглядом. Да, истинная правда, во время последней нашей встречи я оставался к нему слеп.

Одевался он сногсшибательно. С изобретательностью былых времен, когда мужчины прихорашивались как павлины, он выбирал золотисто‑красноватые и темно‑коричневые оттенки. Элегантный, хорошо сложенный, весь в аксессуарах из чистого золота — часы в жилетном кармане, пуговицы и тонкая булавка в современном галстуке, в цветной щепке из ткани, популярном у мужчин этой эпохи, словно они сами напрашиваются на то, чтобы их ухватили за аркан. Нелепое украшение. Даже блестящая рубашка из хлопка была рыжевато‑коричневой, вызывая ассоциации с солнцем и нагревшейся землей. Даже ботинки коричневые, глянцевые, как спины жуков. Он подошел ко мне.

— Вы знаете, о чем я сейчас попрошу, — сказал он. — Не нужно бороться с невысказанными мыслями, с новыми ощущениями, с непреодолимым прозрением. Напишите мне обо лучше о них книгу.

Такого вопроса я предугадать не мог. Я был удивлен, приятно удивлен, но, тем не менее, он застал меня врасплох.

— Написать книгу? Я? Арман?

Я направился к нему, резко повернулся и взлетел по ступенькам на чердак, обогнул третий этаж и оказался на четвертом.

Густой, теплый воздух. Это место каждый день жарится на солнце. Все сухое, приятное, дерево пахнет ладаном, а пол весь в трещинах.

— Девочка, где ты? — спросил я.

— То есть, ребенок, — сказал он.

Он подошел сзади и ради приличия выдержал паузу. Он добавил:

— Ее здесь никогда не было.

— Откуда ты знаешь?

— Будь она призраком, я мог бы ее вызвать, — сказал он

Я оглянулся через плечо.

— Ты обладаешь такой силой? Или тебе просто хочется поддержать разговор? Прежде, чем ты осмелишься продолжать, позволь предупредить тебя, что мы почти никогда не обладаем способностью видеть духов.

— Я совсем другой, — сказал Дэвид. — Я ни на кого не похож. Я попал в Темный Мир, имея в своем распоряжении другие возможности. Если позволите, я скажу, что мы, вампиры, развиваемся как вид.

— Глупый шаблон, — сказал я. Я двинулся вглубь чердака. Я увидел маленькую оштукатуренную комнатку с шелушащимися на стенах розами, с большими, гибкими, красиво нарисованными викторианскими розами с бледно‑зелеными пушистыми листьями. Я вошел внутрь. Сквозь окно проникал свет, но оно располагалось слишком высоко для ребенка. Безжалостно, подумал я.

— А кто сказал, что здесь умер ребенок? — спросил я. Под многолетней пылью все было чисто. Чужого присутствия не ощущалось. Отлично, вполне справедливо, подумал я, никакой призрак меня не утешит. Почему это специально ради меня из своего сладостного покоя должны возвращаться призраки? Ради того, чтобы я, может быть, прижался к воспоминанию о ней, к ее хрупкой легенде. Как убивают детей в приютах, если за ними ухаживают одни монашки? Я никогда не считал, что женщины настолько жестоки. Сухие, возможно, без воображения, но не агрессивны до такой степени, как мы, чтобы убивать.

Я поворачивался из стороны в сторону. У одной стены выстроился ряд сундуков, один сундук был открыт, а нем лежали брошенные ботинки, маленькие коричневые «оксфордские», как из называют, ботинки, с черными шнурками, и теперь моим глазам открылась дыра, ранее находившаяся у меня за спиной, проломленная дыра, из которой вырвали ее одежду. Сваленная прямо там, одежда лежала заплесневелая и мятая.

Меня сковала неподвижность, как будто эта пыль стала тонким льдом, сошедшим с высоких пиков надменных и чудовищно эгоистичных гор, чтобы заморозить все живое, чтобы сомкнуться и навсегда положить конец всему, что умеет дышать, чувствовать, видеть сны или жить. Он заговорил стихами:

— «Не бойся больше солнечной жары, — прошептал он, — Не бойся бурь бушующих зимы. Не бойся…»

Я вздрогнул от удовольствия. Я знал эти строфы. И любил их. Я стал на колени, как перед причастием, и потрогал ее одежду.

— А она была маленькая, не больше пяти, и совсем она здесь не умерла. Никто ее не убивал. Ничего в ней особенного нет.

— Как же ваши слова противоречат мыслям, — сказал он.

— Неверно, я думаю о двух вещах одновременно. Сам факт убийства человека придает ему индивидуальность. Меня убили. Нет‑нет, не Мариус, как ты мог бы подумать, другие.

Я знал, что говорю тихо и высокомерно, потому что не собирался устраивать драму.

— Воспоминания окутывают меня, как старые меха. Я поднимаю руку — и ее накрывает рукав воспоминаний. Я оборачиваюсь — и вижу другую эпоху. Но знаешь, что меня пугает больше всего? Что это состояние, как и все прочие мои состояния, в конечном счете ничего не докажет, однако растянется на века.

— Чего вы боитесь на самом деле? Чего вы хотели от Лестата, когда пришли сюда?

— Дэвид, я пришел его увидеть. Я пришел узнать, как у него дела, почему он лежит там и не двигается. Я пришел… — Продолжать я не собирался.

Благодаря глянцевым ногтям его руки казались украшением тела, необычными, ласковыми, миловидными и приятными в прикосновении. Он достал платьице, рваное, серое, усеянное кусочками кружев. Все, что облечено в плоть, может излучать головокружительную красоту, если сосредоточиться надолго, а его красота выставляла себя напоказ без оправданий.

— Просто одежда. — Ситец в цветочек, бархатная тряпка со взбитым рукавом, не больше, чем яблоко — в тот век и днем, и ночью все ходили с обнаженными плечами. — Ее отнюдь не окружало насилие, — сказал он словно бы с сожалением. — Просто бедный ребенок, как вы думаете? Унылый как по натуре, так и по воле обстоятельств.

— Тогда скажи мне, почему их замуровали в стену? Какой грех совершили эти маленькие платья? — Я вздохнул. — Господи Боже, Дэвид Талбот, почему бы нам не оставить девочке немного романтики и славы? Ты меня злишь. Ты говоришь, что можешь видеть призраки. И как, они тебе нравятся? Ты любишь с ними разговаривать. Я мог бы рассказать тебе об одном призраке…

— Когда же вы мне расскажете? Послушайте, разве вы не заметили приманку? — Он встал и правой рукой смахнул пыль с колен. В левой он держал подобранное с пола платье. Меня чем‑то раздражало это сочетание — высокое существо с мятым платьем маленькой девочки в руке.

— Знаешь, если подумать, — сказал я, отвернувшись, чтобы не смотреть на платье в его руке, — нет у Бога веской причины для существования маленьких мальчиков и девочек. Подумай о нежном потомстве других млекопитающих. Разве различают пол среди щенков, котят или жеребят? Никто об этом не думает. Полувзрослое хрупкое существо бесполо. Нет зрелища великолепнее, чем маленькая девочка или мальчик. У меня в голове столько мнений. Наверное, она взорвется, если я что‑нибудь не сделаю, а ты говоришь — написать для тебя книгу. Ты думаешь, это возможно, думаешь…

— Вот что я думаю — когда вы напишете книгу, вы расскажете всю историю так, как вам бы хотелось!

— И где здесь великая мудрость?

— Ну подумайте, для большинства из нас речь — это просто выражение наших чувств, просто вспышка. Послушайте, обратите внимание на то, как у вас проявляются эти взрывы.

— Не хочу.

— Хотите, однако не такие слова вам хотелось бы прочесть. Когда пишешь, все по‑другому. Создается повествование, не важно, пусть фрагментарное, или экспериментальное, или не принимающее в расчет общепринятые нормы удобства. Попробуйте. Нет, нет, у меня появилась идея получше.

— Какая?

— Пойдемте вниз, в мои комнаты. Я уже говорил, что теперь живу здесь. Из моих окон видны деревья. Я живу не так, как наш друг Луи, который бродит из одного пыльного угла в другой, а потом возвращается в свою квартиру на Рю Руаяль, убедив себя в очередной, тысячный раз в том, что Лестату ничто не угрожает. У меня в комнатах тепло. Освещение в старом стиле, я использую свечи. Пойдемте вниз, а там я запишу ее, вашу историю. Говорите со мной. Ходите по комнате, проповедуйте, если хотите, или обвиняйте, да, обвиняйте, а я все запишу, и тогда сам факт, что я записываю, заставит вас придать ей форму. Вы начнете…

— Что?

— Рассказывать, что произошло. Как вы умерли, как вы выжили.

— На чудеса не настраивайтесь, хитроумный ученый. Я не умер в то утро в Нью‑Йорке. Я чуть не умер.

Он меня несколько заинтриговал, но я ни за что не смог бы выполнить его просьбу. Тем не менее, он был честен, на удивление честен, насколько я мог определить, и вследствие этого — искренен.

— Да нет, я говорил не в буквальном смысле. Я имел в виду — что значило подняться так высоко навстречу солнцу, столько страдать, а в результате, как вы сказали, обнаружить в своих страданиях все эти воспоминания, все связующие звенья. Расскажите мне! Расскажите.

— Нет, если ты намерен сделать из этого связный рассказ, — резко сказал я. Я проверял его реакцию. Я ему не надоел. Он хотел продолжать разговор.

— Связный рассказ? Арман, я просто запишу все, что вы скажете. — Простые слова, но любопытно страстные.

— Честно?

Я окинул его игривым взглядом. Я! Сделать такое. Он улыбнулся. Он взбил платье и аккуратно бросил его в середину кучи другой старой одежды.

— Я не изменю ни единого слова, — сказал он. — «Побудь со мной, откройся мне, моей отдайся страсти.» — И опять улыбнулся.

Внезапно он направился ко мне почти в такой же агрессивной манере, в какой я раньше собирался приблизиться к нему. Он просунул руки мне под волосы и потрогал мое лицо, потом собрал мои волосы, уткнулся лицом в мои кудри и рассмеялся. Он поцеловал меня в щеку.

— Волосы у тебя сотканы словно из янтаря, если янтарь расплавить на свече и растянуть на длинные тонкие воздушные нити, чтобы они застыли в таком положении и превратились в эти сияющие локоны. Ты очаровательный, как мальчик, и красивый, как девушка. Жаль, что я не могу хотя бы мельком увидеть, каким ты был у него, у Мариуса, в старинном бархате. Хотелось бы мне хоть на секунду увидеть тебя — в чулках, в подпоясанном камзоле, расшитом рубинами. Посмотри на себя, ледяное дитя. Моя любовь тебя даже не трогает.

Неправда.

У него были горячие губы, под ними чувствовались клыки, я ощутил, как внезапно настойчиво напряглись его пальцы, снова сжавшие мой череп. От этого у меня по спине побежали мурашки, все тело напряглось и вздрогнуло, я не мог и предвидеть, что мне будет так приятно. Я отверг эту одинокую интимность, до такой степени, чтобы направить ее в другое русло или же совершенно от нее избавиться. Скорее я умру, или уйду в темноту, без затей, одинокий, с заурядными слезами на глазах.

По выражению его глаз я решил, что он умеет любить, ничего не отдавая. Никакой не знаток, обычный вампир.

— Я из‑за тебя голоден, — прошептал я. — Мне нужен не ты, а тот обреченный, кто до сих пор жив. Я хочу поохотиться. Прекрати. Что ты меня трогаешь? С чего это ты такой ласковый?

— Перед тобой никто не устоит, — сказал он.

— А как же! Кто откажется попользоваться маленьким пикантным греховодником? Кому не хочется получить веселого ловкого мальчика? Дети вкуснее женщин, а девушки слишком похожи на женщин, но мальчики? Они не похожи на мужчин, да?

— Не издевайся надо мной. Я имел в виду, что просто хотел прикоснуться к тебе, почувствовать, какой ты гибкий, вечно молодой.

— Это я, что ли, вечно молодой? — сказал я. — Чушь ты говоришь для такого красавчика. Я пошел. Я голоден. А когда я закончу, когда согреюсь и наемся, я приду, поговорю с тобой и расскажу все, что хочешь.

Я отступил от него, однако вздрогнул, когда он отпустил мои волосы. Я посмотрел в пустое белое окно, слишком высокое, чтобы увидеть деревья. — Они здесь ничего зеленого не видели, а на улице весна, южная весна. Ей пахнет даже через стены. Я хочу хотя бы минуту посмотреть на цветы. Убить, выпить кровь и посмотреть на цветы.

— Так не пойдет. Я хочу написать книгу, — сказал он. — Прямо сейчас, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я здесь целую вечность сидеть не буду.

— Чепуха, конечно, будешь. Думаешь, я кукла, да? Ты думаешь, что я привлекательный, что я отлит из воска, и ты будешь сидеть здесь столько же, сколько и я.

— А ты довольно вредный, Арман. Выглядишь, как ангел, а разговариваешь, как заурядный головорез.

— Какой высокомерие! Я‑то думал, ты меня хочешь.

— Только на определенных условиях.

— Врешь, Дэвид Талбот, — сказал я.

Я направился мимо него к лестнице. В темноте пели цикады, как они часто поют в Новом Орлеане всю ночь напролет.

Через девятигранные окна на лестнице я заметил цветущие весенние деревья, плющ, скрутившийся над крыльцом.

Он шел за мной. Мы спускались ниже и ниже, ступенька за ступенькой, как обыкновенные люди, дошли до первого этажа и, миновав искрящиеся стеклянные двери, оказались на широкой освещенной Наполеон‑авеню, в центре которой, подальше, располагался влажный, душистый зеленый парк, парк, полный аккуратно высаженных цветов и старых, шишковатых и смиренных склоненных деревьев.

Вся эта картина шевелилась на слабом речном ветру, в воздухе висел, не опускаясь над самой рекой, мокрый туман, а на землю падали, кружась в воздухе, как губительный пепел, крошечные зеленые листья. Мягкая‑мягкая южная весна. Даже небо вот‑вот, казалось, разродится весной — снижаясь, краснея от отраженного света, всеми порами источая туман.

От садов справа и слева поднимался резкий аромат, исходящий от фиолетовых цветов, разросшихся, как сорняки, но с бесконечно сладким запахом, и диких ирисов, прорезающих черную грязь, как клинки, с чудовищно большими лепестками, бьющимися о старые стены и бетонные ступеньки, и, как всегда, от роз, роз старух и юных женщин, роз слишком цельных для тропической ночи, роз, покрытых ядом.

Здесь, на центральной полоске травы, проехала машина. Я узнал ее, она оставила свой след среди буйной глубокой зелени, по которой я шел навстречу трущобам, навстречу реке, навстречу смерти, навстречу крови. Он следовал за мной. Я мог бы закрыть глаза на ходу и не сбиться с пути, и видеть машины.

— Давай‑давай, иди за мной, — сказал я не в качестве приглашения, но в качестве комментария к его действиям.

За несколько секунд — несколько кварталов. Он не отставал. Очень сильный. В его жилах, можно не сомневаться, течет кровь всего королевского двора. В создании самого смертоносного из монстров на Лестата можно положиться, после стольких‑то первоначальных соблазнительных ошибок — Николя, Луи, Клодия, ни один из них был не в состоянии о себе позаботиться, двое погибли, один остался, наверное, слабейший из всех вампиров, но он, тем не менее, бродит по огромному миру.

Я обернулся. Меня поразило его напряженное гладкое лицо. Он выглядел так, словно его покрыли лаком, навощили, отполировали, и мне опять пришли на память специи, ядро засахаренных орехов, восхитительные запахи, сладкий сахаристый шоколад и густой темный жженый сахар, и неожиданно мне показалось, что неплохо было бы его схватить.

Но он не заменит мне гнусного, дешевого, спелого и зловонного смертного. И что же я сделал? Показал ему:

— Вон там.

Он взглянул в этом направлении. Он увидел осевшие очертания старых зданий. За каждой облезлой стеной, под каждым потрескавшимся потолком, среди крошечных узких лестниц прятались, спали, обедали, бродили смертные.

Я нашел его, идеально безнравственного; он ждал меня, шквал тлеющих угольков ненависти, злобы, жадности и презрения.

Мы дошли до Мэгазин‑стрит и прошли еще дальше, но еще не достигли реки, хотя она была почти рядом; об этой улице у меня не сохранилось никаких воспоминаний, или я не забредал на нее во время моих скитаний по этому городу — их городу, Луи и Лестата; обычная узкая улица под луной, с домами цвета плавника, с окнами, завешенными импровизированными занавесками, а внутри сидел этот ссутулившийся, высокомерный, жестокий смертный, приклеившийся к телеэкрану, с жадностью глотающий солодовый напиток из коричневой бутылки, не обращая внимания на тараканов и пульсирующую жару, рвущуюся в открытое окно; уродливое, потное, грязное и неотразимое существо, созданная для меня плоть и кровь.

Дом настолько кишел паразитами и крошечными мерзкими тварями, что больше всего напоминал скорлупу, треснувшую, ломкую, вездесущие тени делали ее похожей на лес. Никаких санитарных норм. Среди куч мусора и сырости гнила даже мебель. Урчащий белый холодильник покрывала плесень. Только вонючая постель и лохмотья выдавали истинное, жилое предназначение дома.

Подходящее гнездо для этой дичи, для этой мерзкой птицы, для толстого, сытного мешка костей, крови и потрепанного оперения, годного только на то, чтобы ощипать его и съесть.

Я оттолкнул дверь в сторону — навстречу мне, словно рой мошек, поднялась человеческая вонь — и тем самым сорвал ее с петель, но без особенного шума.

Я прошел по газетам, раскиданным по крашеным половицам. Апельсиновые корки превратились в коричневатую кожу. Бегали тараканы. Он даже голову не поднял. Его опухшее пьяное лицо отливало жутковатой синевой, но при этом в нем было, возможно, и что‑то ангельское — благодаря свету лампы.

Он взмахнул волшебным пластиковым приборчиком, чтобы переключить канал, экран минул и беззвучно заморгал, и он включил громкость — песня, играет группа, пародия, хлопают люди.

Дрянные звуки, дрянные картинки, как и окружающий его мусор. Ладно, ты мне нужен. Больше никому.

Он поднял глаза на меня, маленького агрессора, Дэвид ждал слишком далеко, чтобы он его увидел.

Я толкнул телеэкран в сторону. Он покачнулся и упал на пол, его детали разбились, словно внутри находилось множество склянок с энергией, теперь превратившихся в осколки.

В нем моментально возобладала ярость, зарядив его лицо сонливым узнаванием.

Он поднялся, расставив руки, и набросился на меня.

Перед тем, как впиться в него зубами, я заметил, что у него были длинные, спутанные черные волосы. Грязные, но густые. Они держались за спиной при помощи завязанной в узел у основания шеи тряпки и рассыпались по пестрой рубашке толстым хвостом.

Тем временем, в нем оказалось достаточно густой, одурманенной пивом крови, которой хватило бы и на двух вампиров, и яростное бойцовское сердце, а при этом — столько плоти, что забираться на него было все равно что оседлать быка.

Когда пьешь кровь, все запахи приятны, даже самые прогорклые. Я, как всегда, подумал, что сейчас тихо умру от счастья.

Я высосал набрал полный рот крови, подержал ее на языке и пропустил в желудок, если таковой у меня имеется, чтобы остановить алчную грязную жажду, но не настолько, чтобы его затормозить. Он впал в забытье и начал сопротивляться, сделал большую глупость, вцепившись мне в пальцы, а потом совершил опасную бестактность — попытался добраться до моих глаз. Я крепко зажмурился их и дал ему нажать на глаза жирными большими пальцами. Никакой пользы это ему не принесло. Я мальчик стойкий. Нельзя ослепить слепого. Я был слишком занят кровью, чтобы обращать внимание. К тому же, мне было приятно. Эти слабаки, стремясь оцарапать кожу, только гладят ее.

Его жизнь прошло мимо, словно все, кого он когда‑нибудь любил, проехали на американских горках под искрящимися звездами. Хуже, чем на картине Ван Гога. Пока мозг не извергнет свои ярчайшие краски, нельзя узнать настоящую палитру того, кого убиваешь.

Довольно скоро он опустился на пол. Я опустился вслед за ним. Теперь уже я обхватил его левой рукой и лежал, прижимаясь к его большому мускулистому животу, как ребенок, и пил кровь большими слепыми глотками, выжимая все его мысли, видения и чувства, чтобы они слились в один цвет, мне нужен только цвет, чисто оранжевый; и на секунду, когда он умирал — когда мимо меня большим шаром черной энергии, которая в конечном счете оказывается пустотой, просто дымом или того меньше, прокатилась смерть — когда смерть вошла в меня и вышла назад, как ветер, я подумал, не лишаю ли я его конечного понимания, сокрушая все, чем он был?

Чепуха, Арман. Ты знаешь то, что известно духам, что известно ангелам. Этот подонок отправляется домой! На небеса. На небеса, которые отказались от тебя, причем, может быть, навсегда. Мертвым он выглядел просто отлично.

Я сел рядом с ним. Я вытер рот — нет, на нем не осталось ни капли крови. У вампира изо рта капает кровь только в кино. Даже самые приземленные бессмертные слишком опытны, чтобы пролить хотя бы каплю. Я вытер рот, потому что у меня на губах и на лице был его пот, и я хотел от него избавиться. Тем не менее, я восхищался им — несмотря на внешность толстяка он оказался большим и удивительно жестким. Я восхищался черными волосами, льнущими к влажной груди в тех местах, где в результате порвалась рубашка.

Его черные волосы представляли собой достойное зрелище. Я сорвал стягивающий их тряпичный узел. Густые и пышные, как у женщины.

Удостоверившись, что он мертв, я намотал их на левую руку и вознамерился выдернуть всю шевелюру из скальпа. Дэвид охнул.

— Тебе это необходимо? — спросил он.

— Нет, — сказал я. Но от скальпа все равно оторвалось несколько тысяч волосков, каждый — с собственным крошечным окровавленным корнем, сверкнув в воздухе, как крошечный светлячок. На мгновение я удерживал прядь волос в руке, потом они выскользнули из моих пальцев и упали за его повернутую набок голову.

Вырванные с корнем волосы небрежно упали на его грубую щеку. Глаза были влажные и бдительные на вид — оседающее желе.

Дэвид отвернулся и вышел на узкую улицу. Вокруг гремели и ревели машины. На речном корабле пел свисток.

Я пошел за ним. Я стер с себя пыль. Одним ударом я мог разрушить весь дом, крыша просто обрушился бы в зловонную грязь, и он бы тихо умер среди остальных домов, чтобы никто из жильцов даже и не узнал об этом, все влажное дерево просто бы рухнуло. Я никак не мог избавиться от вкуса и запаха пота.

— Почему ты так возражал против того, чтобы я вырвал его волосы? — спросил я. — Я просто хотел забрать их, он же умер, ему все равно, а никто другой не будет скучать по его черным волосам.

Он повернулся с коварной улыбкой и смерил меня взглядом.

— Твой вид меня пугает, — сказал я. — Неужели я по небрежности разоблачил в себе чудовище? Знаешь, моя блаженная смертная Сибель, когда она не играет сонату Бетховена, известную как «Апассионата», она все время смотрит, как я охочусь. А теперь ты хочешь, чтобы я рассказал тебе свою историю?

Я бросил последний взгляд на труп с обвисшим плечом. На подоконнике за ним, над ним стояла синяя стеклянная бутылка, а в ней — оранжевый цветок. Ну не проклятье ли это?

— Да, очень хочу, — сказал Дэвид. — Пойдем, вернемся вместе. Я просил тебя не вырывать его волосы только по одной причине.

— Да? — спросил я. Я посмотрел на него. С довольно‑таки искренним любопытством. — И по какой же причине? Я всего‑то собирался вырвать его волосы и выбросить.

— Все равно что оторвать крылышки у мухи, — предположил он без видимого осуждения.

— У мертвой мухи, — ответил я. И намеренно улыбнулся. — Ну же, из‑за чего весь этот шум?

— Я хотел проверить, послушаешь ты меня или нет, — сказал он. — Вот и все. Потому что, если бы ты меня послушал, между нами все было бы в порядке. И ты остановился. Вот все и в порядке. — Он повернулся и взял меня за руку.

— Ты мне не нравишься! — сказал я.

— О нет, нравлюсь, Арман, — ответил он. — Давай, я все запишу. Шагай по комнате, проповедуй, обвиняй. Сейчас ты на высоте, ты сильный, потому что у тебя есть двое замечательных маленьких смертных, цепляющихся за каждый твой жест, они у тебя как служители у бога. Но ты хочешь рассказать мне свою историю, сам знаешь, что хочешь. Ну же!

Я не мог удержаться от смеха.

— И что, эта тактика уже приносила результат?

Теперь наступила его очередь смеяться, что он и сделал в добродушной манере.

— Нет, вряд ли, — сказал он. — Но давай поставим вопрос так: напиши книгу для них.

— Для кого?

— Для Бенджи и Сибель. — Он пожал плечами. — Нет?

Я не ответил.

Написать книгу для Бенджи и Сибель. Мысли перенесли меня в будущее, в веселую безопасную комнату, где мы соберемся вместе несколько лет спустя — я, Арман, не изменившийся, маленький учитель, и Бенджи с Сибель в расцвете своей смертной жизни, Бенджи вырастет в стройного высокого джентльмена с арабскими пленительными чернильными глазами с любимой сигарой в руке, мужчина с большими перспективами и большими возможностями, и моя Сибель, гибкая, с пышными царственными формами, с золотыми волосами, обрамляющими овальное лицо женщины с полными женскими губами и глазами, полными чарующего, скрытого сияния, еще более великая пианистка, чем сейчас, выступающая с концертами.

Смогу ли я продиктовать в этой комнате свою историю и подарить им книгу? Книгу, продиктованную Дэвиду Талботу? Смогу ли я, выпуская их из своего алхимического мира, подарить им эти книгу? Ступайте, дети мои, забирайте с собой все богатства и напутствия, какими я могу вас наделить, а теперь еще и эту книгу, так давно написанную для вас мной вместе с Дэвидом.

Да, сказала моя душа. И все‑таки я повернулся, сорвал с жертвы черный волосатый скальп и топнул по нему ногой. Дэвид даже не поморщился. Англичане такие вежливые.

— Отлично, — сказал я, — я расскажу тебе мою историю.

Его комнаты располагались на втором этаже, недалеко от того места, где я задержался на лестнице. Какой контраст по сравнению с голыми, не обогреваемыми холлами! Он устроил себе настоящую библиотеку, со столами, с креслами. Медная кровать, сухая и чистая.

— Это ее комнаты, — сказал он. — Разве ты не помнишь?

— Дора, — сказал я. И неожиданно вдохнул ее запах. Надо же, он сохранился повсюду. Но все ее личные вещи исчезли.

Должно быть, это его книги, а как же иначе. Новые спиритуалисты — Дэннион Вринкли, Хиларион, Мелвин Морс, Брайан Уэйс, Мэтью Фокс, Урантия. Плюс старые тексты — Кассиодор, Святая Тереза Авильская, Григорий из Тура, Веды, Талмуд, Тора, Кама Сутра, все на языке оригинала. Несколько малоизвестных романов, пьесы, стихи.

— Да. — Он сел за стол. — Мне свет не нужен. А тебе?

— Я не знаю, что тебе рассказать.

— Ясно, — сказал он и достал автоматическую ручку. Он открыл блокнот с поразительно белой бумагой, размеченной тонкими зелеными линейками. — Ты поймешь, что мне рассказать. — Он посмотрел на меня.

Я стоял, обхватив себя руками, уронив голову, как будто она может отвалиться, и я умру. Волосы упали мне на грудь. Я подумал о Сибель и Бенджамине, о моей тихой девочке и жизнерадостном мальчике.

— Они тебе понравились, Дэвид, мои дети? — спросил я.

— Да, с первого взгляда, как только ты их привел. Они всем понравились. Все смотрели на них с любовью и уважением. Столько сдержанности и обаяния. Наверное, каждый из нас мечтает о таких спутниках, верных смертных друзьях, обезоруживающе милых, которые не сходят с ума и не кричат. Они тебя любят, но не находятся во власти ужаса или под гипнозом.

Я не двигался. И не говорил. Я закрыл глаза. В голове у меня раздался быстрый, дерзкий марш из «Апассионаты», грохочущие, искрящиеся волны музыки, болезненной и ломко‑металлической — «Апассионаты». Только она звучала в голове. Без золотистой длинноногой Сибель.

— Зажги свечи, все, какие есть, — нерешительно сказал я. — Тебе не сложно? Приятно, когда много свечей, да, смотри, на окнах все еще висят кружева Доры, свежие, чистые. Я люблю кружева, это брюссельский point de gaze, или очень похоже, да, я от них без ума.

— Конечно, я зажгу свечи, — сказал он.

Я повернулся к нему спиной. Я услышал резкий, восхитительный треск маленькой деревянной спички. Я понюхал, как она горит, а потом до меня донесся жидкий аромат склоняющегося фитиля, скручивающегося фитиля, и вверх поднялся свет, обнаружив на полосатом потолке голые кипарисовые доски. Еще треск, новая цепочка тихих, приятных мягких хрустящих звуков, и свет разросся, опустился на меня и почти что озарил мрачную стену.

— Зачем ты это сделал, Арман? — сказал он. — Да, на покрывале, вне всякого сомнения, было изображение Христа, создавалось впечатление, что это и есть священного покрывало Вероники, видит Бог, в него поверили тысячи людей, да, но в твоем случае — почему, почему? Да, я не могу не признать, что оно обладало ослепительной красотой — Христос в терновом венце, его кровь, глаза, смотрящие прямо на нас, на нас обоих, но почему ты так безусловно поверил в него, Арман, после стольких лет? Зачем ты ушел к нему? Ведь ты хотел именно этого?

Я покачал головой. И постарался, чтобы мои слова прозвучали мягко и просительно.

— Соберись с силами, ученый, — сказал я, медленно поворачиваясь к нему. — Следи за своей страницей. Это для тебя и для Сибель. Да, это и для моего маленького Бенджика. Но в своем роде, это моя симфония для Сибель. История начинается очень давно. Может быть, я никогда по‑настоящему не сознавал, насколько давно — до этого самого момента. Слушай и записывай. А я буду шагать по комнате, проповедовать и обвинять.

### 2

Я смотрю на свои руки. Я вспоминаю выражение «нерукотворный». Я знаю, что это означает, пусть даже всякий раз, когда я слышал это слово, произнесенное с чувством, оно имело отношение к тому, что вышло из моих рук.

Хотел бы я сейчас написать картину, взять в руки кисть и работать ее так, как раньше, в трансе, неистово, наносить с первого раза каждый штрих, каждая линия, каждый мазок, чтобы никакое смешение цветов, никакое решение не подлежало изменению. Нет, я слишком неорганизованный, слишком запуган всем, что помню. Давай, я выберу, с какого места начать.

Константинополь — недавно попавший под контроль турков; имеется в виду, что он пробыл мусульманским городом меньше века, когда меня привезли туда, маленького раба, захваченного в диких землях страны, правильное название которой я едва знал: Золотая Орда.

Из меня уже выдавили всю память, а также речь и всякую способность связно мыслить. Я помню грязные комнаты, должно быть, в Константинополе, потому что впервые за целую вечность, начиная с того момента, как меня вырвали оттуда, что я не мог вспомнить, я понимал, о чем говорят люди.

Они, конечно, говорили по‑гречески — торговцы, занимавшиеся продажей рабов для европейский борделей. Верности религии они не знали, а я не знал ничего другого, но память сочувственно избавила меня от подробностей.

Меня бросили на толстый турецкий ковер, на экстравагантное, дорогое покрытие для полов, встречающееся во дворцах — коврик для демонстрации товаров, на которые назначили высокую цену.

У меня были длинные мокрые волосы; кто‑то расчесал их, успев причинить мне боль. Все личные вещи с меня содрали, вырвав их из моей памяти. Под старой потрепанной туникой из золотой ткани на мне ничего не было. В комнате было жарко и сыро. Мне хотелось есть, но так как на пищу надеяться не приходилось, я знал, что эта колючая боль затухнет сама собой. Должно быть, туника наделяла меня ореолом человека в лохмотьях, блеском падшего ангела. Длинные широкие рукава; она доходила до колен.

Встав на ноги, естественно, босые, я увидел этих людей и понял, чего они хотят — порока, мерзости, и расплачиваться за это придется в аду. У меня в голове зазвучало эхо проклятий исчезнувших старцев: слишком красивый, слишком слабый, слишком бледный, слишком много дьявольского в глазах — и улыбка от дьявола.

Как же сосредоточенно спорили эти мужчины, как напряженно торговались. Как же они разглядывали на меня, ни разу не посмотрев в глаза.

Я внезапно засмеялся. Все здесь делалось в такой спешке! Те, кто меня привез, ушли без меня. Те, кто меня оттирал, так и не вышли из лоханки с водой. Меня кинули на ковер, как сверток.

На секунду у меня мелькнула уверенность, что когда‑то я был острым на язык и циничным, и вообще хорошо разбирался в мужской природе. Я смеялся, потому что эти торговцы приняли меня за девочку.

Я ждал, слушал, улавливая отдельные обрывки разговора. Мы находились в широкой комнате под низким навесом из шелка, расшитым крошечными зеркалами и излюбленными турками завитушками; лампы, хотя и дымились, были ароматизированы и наполняли воздух темной мутной сажей, от которой щипало глаза.

Люди в тюрбанах и кафтанах, как и язык, не являлись для меня непривычными. Но я понимал только кусочки реплик. Я поискал глазами путь к бегству. Его не было. Ссутулившись, у выходов стояли грузные, погруженные в мрачные раздумья, люди. Один человек, чей стол находился вдалеке, производил подсчеты на счетах. У него лежали целые кучи золотых монет.

Один из торговцев, высокий худой мужчина с прогнившими зубами, весь состоявший из скул и челюсти, подошел по мне и пощупал мои плечи и шею. Потом он поднял мою тунику. Я застыл на месте, как окаменелый, я не злился и не испытывал сознательного страха, меня просто парализовало. Это была страна турков, а я знал, что они делают с мальчиками. Но я никогда не видел ее на картинках, никогда не слышал о ней правдивого рассказа и никогда не знал ни одного человека, который когда‑нибудь там жил, проник в нее и вернулся домой.

Домой. Несомненно, я хотел забыть, кто я такой. Наверняка. К этому меня вынудил позор. Но в тот момент, стоя в комнате, похожей на шатер, на ковре с цветочными узорами, среди купцов в работорговцев, я старался вспомнить, как будто стоит обнаружить внутри себя карту, как я смогу выбраться отсюда по ней и вернуться туда, где жил.

Все‑таки я помнил степи, дикие земли, земли, куда никто не ездит, за исключением… Но здесь начинался пробел. Я был в степи, бросив вызов судьбе, по глупости, но по своей воле. Я вез с собой что‑то чрезвычайно важное. Я соскочил с лошади, вырвал из кожаного притороченного к седлу мешка большой сверток и побежал, прижимая сверток к груди.

— Деревья! — крикнул он, но кто это был?

Тем не менее, я понимал, что он хочет сказать — я должен добраться до рощи и спрятать там это сокровище, великолепную, волшебную вещь, лежавшую в свертке, «нерукотворную».

Так далеко уйти мне не удалось. Когда меня схватили, я бросил сверток, и они даже не стали его искать, во всяком случае, насколько я видел. Пока меня поднимали в воздух, я думал: ей не следует находиться в таком виде, завернутой в ткань. Ее нужно спрятать в деревьях.

Должно быть, меня изнасиловали на корабле, потому что путешествия в Константинополь я не помню. Я не помню, чтобы мне было холодно, страшно, чтобы меня насиловали или мне хотелось есть.

Здесь я впервые узнал подробности изнасилования — среди зловонного жира, ссор и ругательств по поводу испорченного ягненка. Я ощутил чудовищную, невыносимую беспомощность. Омерзительные люди, безбожники, противоестественные люди. Я заревел на купца в тюрбане, как зверь, и получил сильный удар в ухо, сбивший меня с ног. Я лежал и продолжал смотреть на него со всем презрением, какое только смог вложить в свой взгляд. Я не поднялся, даже когда он пнул меня ногой. Говорить я отказался.

Он перекинул меня через плечо и понес прочь, протащив через заполненный людьми двор мимо удивительных вонючих верблюдов, ослов и куч грязи в гавань, где ждали корабли, проволок по сходням и засунул в трюм корабля.

Здесь тоже было грязно, воняло гашишем, шебуршились корабельные крысы. Меня бросили на подстилку из грубой ткани. Я снова осмотрелся в поисках выхода, но увидел только лестницу, по которой мы спустились, а сверху раздавалось слишком много мужских голосов.

Когда корабль отплыл, было еще темно. Через час мне стало так плохо, что хотелось только умереть. Я свернулся на полу и старался по возможности не двигаться, с головой спрятавшись под мягкой липшей к телу тканью старой туники. Я спал как можно дольше.

Когда я проснулся, рядом стоял старик. На нем была одежда другого стиля, не такая, на мой взгляд, страшная, как у турков в тюрбанах, а в глазах читалось сочувствие. Он наклонился ко мне. Он заговорил на новом языке, необычно мелодичном и приятном, но я его не понимал.

Чей‑то голос сказал ему по‑гречески, что я немой, ничего не соображаю и мычу, как скотина. Впору еще раз посмеяться, но мне было слишком плохо.

Тот же самый грек сказал старику, что я не поцарапан и не ранен. Мне назначили высокую цену.

Старик сделал пренебрежительный жест, покачал головой и завел новую песню на своем языке. Он дотронулся до меня руками и ласково упросил подняться.

Через дверь он вывел меня в маленькую комнату, всю обитую красным шелком.

Остаток путешествия я провел в этой комнате, за исключением одной ночи. В ту ночь — не могу сказать, в начале или в конце путешествия — я проснулся и обнаружил, что он спит рядом со мной, старик, никогда ко мне не прикасавшийся, за исключением тех случаев, когда хотел погладить меня или успокоить; я вышел, поднялся по лестнице и долго стоял там, глядя на звезды.

Мы пришвартовались в порту, и со скал в гавань, где под декоративными арками сводчатых галерей горели факелы, скатывался вниз город, полный темных сине‑черных зданий с куполообразными крышами и колоколен.

Все это зрелище, цивилизованное побережье, казалось мне вполне реальным и привлекательным, но мне не приходило в голову, что можно спрыгнуть с корабля и обрести свободу. Под арками проходили люди. В ближайшей ко мне арке стоял мужчина в необычной форме, с большим широким мечом, болтающимся на бедре, он стоял на страже, прислонившись к разветвляющейся подточенной колонне, чудесным образом вырезанной так, что она походила на дерево — она поддерживала стену монастыря, напоминавшую руины дворца, в которых грубо прорыли канал для прохода кораблей.

После этой первой увиденной мельком, но запомнившейся мне картины я особенно не смотрел на берег. Я смотрел на небо и его придворных — мифические создания, навеки запечатленные во всемогущих и непостижимых звездах. Ночь за ними была черной, как чернила, а сами они до того походили на драгоценные камни, что мне вспомнились старые стихи, даже звуки гимна, исполняемого исключительно мужчинами.

Насколько я помню, прошло несколько часов, прежде чем меня поймали, жестоко избили кожаной плетью и утащили обратно в трюм. Я знал, что битье прекратится, как только меня увидит старик. Он пришел в бешенство и весь затрясся. Он прижал меня к себе, и мы снова легли в постель. Он был слишком стар, чтобы что‑то от меня требовать. Я его не любил. Ничего не соображающему немому было очевидно, что этот человек относится к нему, как к ценности, которую надо сохранить на продажу. Но он был мне нужен, и он вытирал мне слезы. Я спал, сколько мог. Меня тошнило от каждой качки. Иногда меня тошнило просто от жары. Я не знал настоящей жары. Старик кормил меня так хорошо, что иногда мне казалось, будто он откармливает меня, как теленка, чтобы продать на мясо.

Когда мы добрались до Венеции, день клонился к вечеру. Я не получил и намека на красоту Италии. Я был заперт в мрачной яме со своим старым стражем, и, когда меня повели в город, я вскоре убедился, что никоим образом не ошибался в своих подозрениях на счет старика.

В какой‑то темной комнате он вступил в яростный спор с другим человеком. Ничто не заставило бы меня заговорить. Ничто не заставило меня показать, что я понимаю, что со мной происходит. Однако я понимал. Деньги перешли из рук в руки. Старик ушел, так и не оглянувшись.

Меня пытались обучать. Повсюду меня окружала певучая, ласкающая речь. Приходили мальчики, они садились рядом со мной и старались улестить меня ласковыми поцелуями и объятьями. Они щипали меня за грудь и пытались добраться до интимных мест, на которые, как меня учили, нельзя было и смотреть, дабы не впасть в страшный грех.

Несколько раз я решался молиться. Но обнаружил, что слов я не помню. Даже образы утратили четкость. Свет, указывающий мне путь на протяжении всей жизни, угас. Каждый раз, когда я отвлекался и погружался в мысли, кто‑нибудь бил меня или дергал за волосы.

Если они меня били, то всегда потом приносили притирания. Они заботливо обрабатывали поврежденную кожу. Один раз, когда какой‑то мужчина ударил меня по лицу, на него закричали и схватили за занесенную руку прежде, чем он успел нанести второй удар.

Я отказывался от еды и воды. Им не удалось заставить меня есть. Я не объявлял голодовку. Я просто не мог делать того, что поддерживало бы во мне жизнь. Я знал, что я иду домой. Так и было. Я умру и попаду домой. Но переход будет ужасным и болезненным. Если бы меня оставили одного, я бы плакал. Но меня не оставляли ни на минуту. Значит, придется умирать на людях. Я целую вечность не видел настоящего дневного света. Даже лампы жгли мне глаза, так глубоко я погрузился в нерушимую тьму. Но рядом всегда были люди.

Периодически свет становился ярче. Они садились в передо мной в круг — грязные лица и быстрые звероподобные руки; они убирали с моего лица волосы или трясли за плечо. Я отворачивался лицом к стене. Моим товарищем был звук. Я думал, что моя жизнь подошла к концу. Звук был шумом воды на улице. Я слышал его через стену. Я различал, когда мимо проплывала лодка, я слышал, как скрипят деревянные опоры, и прижимался головой к стене, ощущая, как вода раскачивает дом, как будто мы находились не рядом с водой, а прямо в ней, как, естественно, и было на само деле.

Однажды мне приснился дом, но что именно, я не помню. Я проснулся в слезах, и из темноты раздался шквал приветствий, льстивых, неискренних голосов.

Я думал, что хочу остаться один. Я ошибался. Когда меня заперли на несколько дней и ночей в темной комнате без хлеба и воды, я начал кричать и стучаться в стену. Никто не пришел.

Через какое‑то время я впал в ступор. Когда открылась дверь, я резко вздрогнул. Я сел, прикрывая глаза. Лампа представляла для меня опасность. У меня кружилась голова.

Но я почувствовал мягкий ненавязчивый аромат, смесь душистых горящих дров в снежную зиму, раздавленных цветов и едкого масла.

До меня дотронулось что‑то твердое, что‑то деревянное или медное, однако оно двигалось, как живое. В конце концов я открыл глаза и увидел, что меня поддерживает какой‑то мужчина, а эти нечеловеческие предметы, те вещи, которые на ощупь казались деревянными или медными, были его белыми пальцами; он смотрел на меня нетерпеливыми, ласковыми голубыми глазами.

— Амадео, — сказал он.

С головы до ног облаченный в красный бархат, он оказался потрясающе высоким. Его светлые волосы были расчесаны на пробор по образцу святых и спускались густыми прядями до плеч, где рассыпались по плащу блестящими волнами. У него был гладкий, без единой морщинки, лоб и высокие, прямые золотые брови, достаточно темные, чтобы придать лицу четкость и решительное выражение. Его ресницы загибались вверх, как темно‑золотые нити. А когда он улыбнулся, к его губам внезапно, моментально прилила бледная краска, еще больше подчеркнувшая их аккуратную полную форму.

Я узнал его. Я с ним разговаривал. Ни на каком другом лице я не увидел бы таких чудес.

Он улыбался мне с такой добротой! Кожа над губой и подбородок были чисто выбриты. На его лице я не разглядел ни единого волоска; нос был тонкий и изящный, однако достаточно большой, чтобы не нарушать пропорций его неотразимого лица.

— Я не Христос, дитя мое, — сказал он. — Но я принесу тебе свое личное спасение. Иди ко мне на руки.

— Я умираю, мой господин. — Я говорил на своем языке? Даже сейчас я не могу сказать, что это было. Но он понял.

— Нет, малыш, ты не умираешь. Теперь ты переходишь под мое покровительство, и, возможно, если звезды не отвернутся от нас, а будут нам благоприятствовать, ты вообще никогда не умрешь.

— Но ты же Христос! Я тебя знаю!

Он покачал головой, опустив при этом глаза, как самый обыкновенный человек, и улыбнулся. Его губы приоткрылись, и я увидел обычные человеческие белые зубы. Он просунул руки мне под локти, поднял меня и поцеловал в шею, отчего у меня мурашки побежали по коже, практически меня парализовав. Я закрыл глаза и почувствовал, что он коснулся пальцами моих век, сказав мне на ухо:

— Спи, я отвезу тебя домой.

Когда я проснулся, мы находились в огромной купальне. Ни у кого в Венеции такой ванны никогда не было, это я тебе говорю на основании того, что я увидел позже, но что я тогда знал об обычаях этой страны? Это был настоящий дворец; во дворцах мне бывать доводилось.Я выбрался из бархатного свертка, в котором лежал — если не ошибаюсь, это был его красный плащ, и увидел справа от себя огромную кровать с пологом, а за ней — глубокий овальный бассейн — собственно ванну. Из раковины, поддерживаемой ангелами, в ванну текла вода, от широкой поверхности поднимался пар, а в дымке пара стоял мой господин. Его белая грудь была обнажена, а волосы, отброшенные со лба, казались еще более густыми и великолепно светлыми, чем раньше. Он поманил меня к себе.

Я боялся воды. Я встал на колени на самом краю и опустил в воду пальцы. С потрясающей гибкостью и скоростью он протянул ко мне руки и спустил в воду, подталкивая, пока вода не покрыла мне плечи, и потом откинул назад мою голову.

Я снова посмотрел на него. За ним, на ярко‑голубом потолке парили поразительно живые ангелы с гигантскими, покрытыми перьями крыльями. Никогда я не видел таких сверкающих кудрявых ангелов, выходивших за всякие рамки ограничений и стиля, выставляющих напоказ свою человеческую красоту — мускулистые руки и ноги, кружащиеся вихрем одеяния, развевающиеся локоны. Они отдавали определенным безумием — пышущие здоровьем и энергией фигуры, их буйные божественные игры на потолке, к которому поднимался пар, растворяясь в золотом свете.

Я посмотрел на моего господина. Его лицо находилось прямо передо мной. Поцелуй меня еще раз, да, пожалуйста, тот трепет, поцелуй меня… Но он принадлежал к той же породе, что и эти нарисованные существа, я нахожусь в каком‑то своеобразном безбожном раю, в языческом месте,

принадлежащем солдатским богам, где все сводится к вину, фруктам и плоти. Я попал в дурное место.

Он запрокинул голову. Он дал волю звонкому смеху. Он набрал пригоршню воды и плеснул мне на грудь. Он открыл рот и на секунду перед моими глазами мелькнуло что‑то очень странное и опасное, зубы как у волка. Но они исчезли, и только губы впились мне в горло, в плечо. Только губы целовали мою грудь, так как я не успел ее прикрыть.

От всего этого я застонал. Я опустился в воду рядом с ним, и его губы проследовали от моей груди к животу. Он нежно вбирал в себя всю кожу, как будто высасывал из нее всю соль и жару, и даже его лоб, подталкивая мое плечо, наполнял меня теплыми восхитительными ощущениями, а когда он добрался до самого грешного места, я почувствовал, как оно выстрелило, как превратилось в лук, из которого выпустили стрелу; я почувствовал, как она вылетела из меня, эта

стрела, и вскрикнул.

Он дал мне опуститься рядом с собой. Он медленно меня вымыл. Он взял мягкую складчатую ткань и вытер мое лицо. Он окунул меня в воду, чтобы вымыть волосы.

А когда он решил, что я достаточно отдохнул, мы снова начали целоваться.

Перед рассветом я проснулся у него на подушке. Я сел и увидел, что он надевает свой большой плащ и накрывает голову. В этой комнате тоже было полно мальчиков, но не унылых, истощенных наставников из борделя. Мальчики, собравшиеся вокруг кровати, было красивыми, сытыми, веселыми и милыми.

Они носили яркие разноцветные туники искрометных оттенков, с аккуратными складками и туго затянутыми поясами, придававшими им девичью грацию. У всех были роскошные длинные волосы.

Мой господин посмотрел на меня и на знакомом мне языке, прекрасно знакомом, сказал, что я — его единственное дитя, что сегодня ночью он вернется, причем в такое время, когда я уже посмотрю новый мир.

— Новый мир! — воскликнул я. — Нет, не уходи от меня, господин. Мне не нужен этот мир. Мне нужен только ты!

— Амадео, — сказал он на нашем личном языке, склоняясь над кроватью — он уже высушил и красиво причесал волосы, и смягчил руки пудрой. — Я останусь с тобой навсегда. Пусть мальчики тебя накормят и оденут. Теперь ты принадлежишь мне, Мариусу Римскому.

Он повернулся к ним и раздал указания на мягком певучем языке.

А по их счастливым лицам можно было подумать, что он раздал им сласти и золото.

— Амадео, Амадео, — запели они, собравшись вокруг меня. Они держали меня, чтобы я не смог пойти за ним. Они заговорили со мной по‑гречески, быстро и легко, а я не так уж хорошо понимал греческий язык. Но их я понял.

Идем с нами, ты — один из нас, мы будем к тебе добры, к тебе мы будем особенно добры. Они поспешно одели меня в обноски, споря между собой по поводу моей туники, достаточно ли она хороша, и чулки выцвели — но ничего, это ненадолго! Надевай туфли; держи, вот куртка, Рикардо она мала. Королевские одежды, думал я.

— Мы тебя любим, — сказал Альбиний, второй по старшинству мальчик после черноволосого Рикардо, по сравнению с которым он представлял разительный контраст благодаря светлым волосам и бледно‑зеленым глазам. Остальных мальчиков я не очень различал, но этих двух выделить было легко.

— Да, мы тебя любим, — сказал Рикардо, отбрасывая со лба волосы и подмигивая мне; по сравнению с остальными, у него была очень гладкая и смуглая кожа и неистово‑черные глаза. У всех здесь были тонкие пальцы, изящные пальцы. Такие же пальцы, как и у меня, а мои среди братии считались необычными. Но об этом я думать не мог.

Мне в голову пришла жуткая, сверхъестественная версия — что я, вечный источник неприятностей, бледный, с тонкими пальцами, был похищен доброй страной, где мне и место. Но нет, это слишком потрясающе, чтобы поверить в такое. У меня заболела голова. Перед глазами замелькали бессловесные образы похитивших меня всадников, зловонный трюм корабля, доставившего меня в Константинополь, изможденные деловые люди, суетящиеся люди, передававшие меня из рук в руки.

Господи, почему меня кто‑то любит? За что? Мариус Римский, за что ты меня любишь?

Стоя в дверях, господин помахал нам с улыбкой. Он надел на голову капюшон — малиновая рамка вокруг изящных скул и изогнутых губ. К моим глазам подступили слезы.

Господина поглотил белый туман, и дверь за ним закрылась. Ночь подходила к концу. Но свечи не гасли.

Мы прошли в большую комнату, и я увидел, что в ней много красок, горшочков с краской и глиняных баночек с кистями, готовыми к использованию. Золотисто‑белые квадраты ткани — холсты — ждали, пока их покроют краской. Эти мальчики смешивали краски не из яичных желтков, как велел старый обычай. Они смешивали яркие мелко дробленые красители прямо с янтарных оттенков маслами. В маленьких горшочках меня ждали большие глянцевые плевки красок. Я взял протянутую мне кисть. Я взглянул на растянутый передо мной белый холст, на котором я должен был рисовать.

— Нерукотворный, — сказал я. Но что означало это слово? Я поднял кисть и начал рисовать его, блондина, спасшего меня от мрака и убожества. Я вытянул руку с кистью, обмакнул ее щетину в баночки с бежевой, розовой и белой красками и хлопнул этими цветами по удивительно эластичному холсту. Но картина не получилась. Никакой картины!

— Нерукотворный! — прошептал я. Я уронил кисть и закрыл лицо руками.

Я порылся в памяти, чтобы воспроизвести это слово по‑гречески. Когда я произнес его, несколько мальчиков кивнули, но смысл до них не дошел. Как мне объяснить им суть катастрофы? Я посмотрел на свои пальцы. Что же стало с… Все воспоминания сгорели, и внезапно остался только Амадео.

— Не могу. — Я уставился на холст, на месиво красок. — Может быть, на дереве, не на ткани, у меня бы и получилось. — Что же я умел делать? Они не понимали. Он не был Богом во плоти, мой господин, блондин, блондин с ледяными голубыми глазами.

Но для меня он был Богом. А я не смог сделать того, что нужно было сделать.

Чтобы утешить меня и отвлечь, мальчики сами взялись за кисти, и не замедлили поразить меня картинками, потоком вытекавших из‑под быстрых прикосновений кисти.

Лицо мальчика — щеки, рот, глаза, да, и избыток рыже‑золотистых волос. Господи Боже, это же я… это не холст, это зеркало. Это тот самый Амадео. За дело взялся Рикардо — он отточил выражение лица, подчеркнул глаза и сотворил чудеса с языком, так что стало казаться, будто я вот‑вот заговорю. По какому безудержному волшебству из ничего появился этот мальчик, в естественной позе, с небрежного ракурса, со сведенными бровями и полосками растрепанных волос над ухом?

Эта живая, одинокая, плотская фигура выглядела одновременно и богохульной, и прекрасной.

Рикардо писал буквы и произносил их вслух. Потом он отбросил кисть. Он крикнул:

— Наш господин имеет в виду совсем другую картину. — Он схватил рисунки.

Меня потащили по всему дому, по «палаццо», как они его называли, и с удовольствием научили этому слову меня.

В доме было полно таких картин — на стенах, на потолках, на досках, на холстах, сложенных рядом друг с другом — высоченных картин с изображениями разрушенных зданий, разбитых колонн, буйной зелени, далеких гор и бесконечного потока оживленных людей с раскрасневшимися лицами, чьи пышные волосы и великолепные одежды были в беспорядке и развевались по ветру.

Они были похожи на большие блюда фруктов и другой еды, поставленный передо мной. Сумасшедший беспорядок, изобилие ради изобилия, буйный ливень цветов и форм. Как вино, слишком сладкое и легкое.

Как город внизу, открывшийся мне, когда они распахнули окна и я увидел маленькие черные лодки — гондолы, они были уже тогда, — залитые ослепительным солнечным светом, скользящим по зеленоватой воде, когда я увидел людей в шикарных алых или золотых плащах, спешащих куда‑то по набережным.

Мы набились в наши гондолы, целая армия, и, не успел я оглянуться, как мы уже отправились в путь, беззвучно, как грациозная стрела, между фасадами громадных домов, великолепных, как соборы, с узкими остроконечными арками, с окнами в форме лотосов, покрытых блестящим белым камнем.

Даже более старые, более унылые жилые здания, не слишком богато украшенные, но, тем не менее, чудовищные по размеру, были выкрашены в разные цвета, в настолько ярко розовый, что, казалось, его добыли из раздавленных лепестков, настолько густой зеленый, что его как будто смешали с самой мутной водой.

Мы прибыли на Пьяцца Сан‑Марко, с обеих сторон обрамленной длинными, фантастически симметричными галереями.

Сотни толпящихся перед золотыми церковными куполами на горизонте, людей, произвели на меня впечатление скопления жителей рая. Золотые купола. Золотые купола.

Мне рассказывали какую‑то старую повесть о золотых куполах, я и сам видел их на потемневшей картинке, не так ли? Священные купола, утраченные купола, охваченные пламенем купола, оскверненная церковь, как осквернили меня самого. Нет, развалины, развалины исчезли, их разнесло взрывом внезапного появления вокруг меня целого и невредимого, полного жизни мира! Как же оно возродилось из ледяного пепла? Как же мне удалось умереть среди снегов и дымящихся пожаров и оказаться здесь, под ласкающим солнцем?

В его теплых душистых лучах купилась и нищие, и торговцы; оно светило как на принцев, шествующих с пажами, чтобы те несли за ними их роскошные бархатные шлейфы, так и на книготорговцев, разложивших книги под алыми навесами, на лютнистов, игравших за мелочь.

В лавках и на рыночных прилавках выставлялись товары этого широкого дьявольского мира — стеклянная посуда, какой я никогда не видел, включая всевозможных цветов кубки, не говоря уже о маленьких стеклянных статуэтках, изображающих животных и людей, и прочих сияющих гладких безделушек. Там были и восхитительно яркие, потрясающей огранки бусин для четок; великолепные кружева с изящными утонченными узорами, даже с белоснежными изображениями настоящих колоколен и домиков с окнами и дверьми; огромные пушистые перья незнакомых мне птиц; экзотические их разновидности, хлопающие крыльями и хрипло кричащие в золоченых клетках; и самые изысканные, ослепительной работы разноцветные ковры, слишком живо напомнившие мне о могущественных турках и их столицы, откуда мне привезли. Тем не менее, кто устоит перед такими коврами? Так как закон запрещал им изображать людей, мусульмане воспроизводили цветы, арабески, лабиринты спиралей, и прочие узоры дерзкими красками с вызывающей благоговение аккуратностью. Там продавалось и масло для ламп, и тонкие свечки, и ладан, а также, в огромном изобилии, блестящие драгоценные камни неописуемой красоты, тончайшей работы изделия золотых и серебряных дел мастеров, как посуда, так и декоративные вещи, как старинные, так и новые. Находились лавки, торговавшие исключительно специями. Лавки, где продавались лекарства и микстуры. Бронзовые статуи, львиные головы, фонари и оружие. Попадались и торговцы тканями — восточными шелками, тончайшей шестью, выкрашенной в удивительные тона, хлопком, льном, отличными образчиками вышивки и разнообразными лентами.

Люди здесь казались баснословно богатыми, небрежно закусывая в тавернах свежими мясными пирожками, попивая прозрачное красное вино, поглощая сладкие пирожные с кремом.

Книготорговцы предлагали новые, напечатанные книги, о которых подмастерья рассказывали мне с энтузиазмом, описывая чудесное изобретение — печатный станок, который лишь недавно дал людям в разных странах возможность приобретать книги не только с буквами и словами, но и с изображениями.

В Венеции уже открылись десятки маленьких печатных мастерских и издателей, день и ночь печатающих книги на греческом языке, а также по‑латыни и на местном наречии — на мягком певучем наречии, — на котором подмастерья переговаривались между собой.

Мне разрешили остановиться и проглотить глазами новое чудо — машины, производящие страницы для книг. Но у них, у Рикардо и у всех остальных, были и свои дела — они должны были сгрести литографии и гравюры немецких художников для нашего господина, удивительные старинные картины Мемлинга, Ван Эйка или Иеронимуса Босха, изготовленные новыми печатными станками. Наш господин всегда искал их на рынке. Такие рисунки сводили север с югом. Наш господин поддерживал подобные чудеса. Наш господин был доволен, что в городе появилось более сотни печатных станов, что появилась возможность выбросить примитивные, неточные копии Ливия и Виргилия и купить исправленные, напечатанные текста. Целая гора информации. И не менее важным, чем литература или картины, была моя одежда. Мы должны были заставить портных все бросить и одеть меня в соответствии с маленькими рисунками мелом, сделанными господином.

В банки следовало отнести рукописные аккредитивы. Мне нужно было получить деньги. Всем нужно было получить деньги. Я в жизни не прикасался к таким вещам, как деньги.

Деньги оказались красивыми — флорентийское золото и серебро, немецкие флорины, богемские грошены, замысловатые старинные монеты, отчеканенные при тех правителях Венеции, кого называли дожами, старые экзотические монеты из Константинополя. Мне выдали маленький мешочек со звенящими, бренчащими деньгами. Мы привязали наши «кошельки» к поясам.

Один мальчик купил мне маленькое чудо, потому что я смотрел на него во все глаза. Это были тикающие часы. Я не мог постичь их устройство, устройство крошечной тикающей вещицы, усыпанной драгоценными камнями, и ничьи указывающие на небо руки не могли объяснить мне, что это такое. Наконец я потрясенно осознал: за филигранной работой и краской, за странным стеклом и драгоценной рамкой скрываются крошечные часы!

Я сжал их в руке, и у меня закружилась голова. Я никогда не видел других часов, помимо огромных почтенных предметов в колокольнях или на стенах.

— Теперь у меня с собой время, — прошептал я по‑гречески, взглянув на моих друзей.

— Амадео, — сказал Рикардо, — сосчитай мне часы.

Я хотел сказать, что это невероятное открытие исполнено смысла, смысла лично для меня. Это послание из другого мира, слишком поспешно и опасно забытого. Время перестало быть временем, и никогда больше им не будет. День уже не день, а ночь — не ночь. Я не мог этого выразить ни по‑гречески, ни на любом другом языке, ни даже в моих бредовых мыслях. Я стер со лба пот. Я сощурился от яркого итальянского солнца. Я захлопал при виде птиц, огромными стаями носящихся в небе, как крошечные росчерки пера, по чьей‑то воле замахавших в унисон крыльями. Кажется, я прошептал, как дурак:

— Мы — в мире.

— Мы — в его сердце, в величайшем его городе! — прокричал Рикардо, подталкивая меня к толпе. — И, черт возьми, мы на него еще насмотримся, пока не заперли у портного.

Но сперва нам было нужно зайти в кондитерскую, где нас ждали чудеса из сахарного шоколада и густого варева безымянных, но ярко‑красных и желтых сладостей.

Один из мальчиков показал мне свою книжку со страшными напечатанными изображениями мужчин и женщин, слившихся в плотских объятьях. Это были рассказы Боккаччо. Рикардо обещал мне их почитать и сказал, что это, на самом деле, отличная книжка, чтобы учить меня итальянскому языку. И он научит меня читать еще и Данте.

Боккаччо и Данте — флорентинцы, сказал один из мальчиков, но в целом они не так уж и плохи.

Наш господин любит всевозможные книги, сказали мне, трать на них деньги — не ошибешься, этим он всегда доволен. Я еще увижу, что приходящие учителя сведут меня с ума уроками. Все мы должны изучить stadia humanitatis, а в нее входит история, грамматика, риторика, философия и древние авторы… значение стольких поразительных слов открылось мне только в последующие дни, так как они часто повторялись и были продемонстрированы мне на деле.

Еще один урок нужно усвоить — наш господин очень поощряет, когда мы украшаем свою внешность. Мне купили и повесили на шею золотые и серебряные цепи, ожерелья с медальонами и прочие безделушки. Требовались еще кольца, кольца с камнями. Нам пришлось яростно поторговаться из‑за них с ювелирами, но я вышел от них с настоящим изумрудом из нового мира и двумя рубиновыми кольцами, испещренными серебряными надписями, которые не мог прочитать.

Я не мог оторвать взгляд от своей руки с кольцом. Видишь, до этой самой ночи своей жизни, пятьсот лет спустя, я питаю слабость к кольцами. Только в те века в Париже, когда я был кающимся грешником, одним их преданных Сатане Детей Ночи, только в период того долгого сна, я отказался от моих колец. Но к этому кошмару я скоро перейду.

Пока что я был в Венеции, я был сыном Мариуса и развлекался с другими его детьми так, как нам часто предстояло развлекаться в последующие годы. К портному.

Пока с меня снимали мерку, кололи булавками и одевали, мальчики рассказывали мне истории о богатых венецианцах, приходивших к нашему господину, пытаясь заполучить хотя бы самую маленькую его картину. Однако наш господин утверждал, что его картины никуда не годятся, и почти ничего не продавал, но иногда мог написать портрет женщины или мужчины, если они привлекали его внимание. На этих портретах человека всегда окружали мифологические сюжеты — боги, богини, ангелы, святые. С языков мальчиков слетали знакомые и незнакомые мне имена. Мне казалось, что всякое эхо святыни сметает новым приливом.

Подступали воспоминания, но они быстро меня отпускали. Святые и боги, разве это одно и то же? Разве не существует определенного свода правил, которому я не должен изменять, объявляющих это просто искусной ложью? Я никак не мог прояснить это у себя в голове, а меня окружало сплошное счастье, да, счастье. Не может быть, чтобы за этими бесхитростными сияющими лицами скрывалась безнравственность. Я в это но верил. Но каждое удовольствие казалось мне подозрительным. Когда не мог уступить, блеск слепил мне глаза, а когда все‑таки приходилось сдаваться, я лишался самообладания, и в последующие дни сдавался все легче и легче.

Этот день посвящения был всего лишь одним из сотен, нет, тысяч последующих дней, и я точно не знаю, когда я впервые начал понимать, что конкретно говорят мои спутники. Однако это время наступило, и наступило довольно быстро. Не помню, чтобы я очень долго оставался самым наивным.

Та первая экскурсия казалась мне истинным чудом. Высокое небо было идеально голубое, кобальтовое, а с моря дул свежий, влажный, прохладный бриз. Наверху сбивались в кучки несущиеся мимо облака, так потрясающе воспроизведенные на картинах в палаццо — первое указание на то, что картины моего господина не лгут.

И когда мы по особому разрешению вошли в церковь дожей, Сан‑Марко, меня схватило за горло его великолепие — сияющие золотом мозаичные стены. Но мне, замурованному в богатства и солнце, предстояло испытать еще одно суровое потрясение. Здесь присутствовали окоченевшие мрачные фигуры, фигуры знакомых мне святых.

Они не представляли для меня тайны, обитатели этих обитых кованым золотом стен, строгие, с миндалевидными глазами, в прямых аккуратных одеяниях, с неизменно сложенными для молитвы руками. Я узнавал их нимбы, я узнавал крошечные дырочки в золоте, проделанные для того, чтобы оно сверкало еще волшебнее. Я знал, какое суждение вынесли бородатые патриархи, бесстрастно взиравшие на меня; я остановился на полпути, полумертвый, не в состоянии идти дальше. Я опустился на каменный пол. Мне стало плохо.

Им пришлось увести меня из церкви. На меня нахлынули шумные звуки площади, как будто я спустился к некоем чудовищной развязке. Я хотел сказать моим друзьям, что они не виноваты, что это все равно неизбежно случилось бы.

Мальчики разволновались. Я не смог ничего объяснить. Ошеломленный, весь в поту, я безвольно лежал, прислонясь к колонне, и слушал, как мне по‑гречески объясняют, что, помимо этой церкви, я сегодня видел много всего остального. Почему же она так меня напугала? Да, она старинная, да, она византийская, в Венеции вообще много византийского.

— Наши корабли веками торгуют с Византией. Мы — морская империя.

Я старался воспринять их слова.

Но, несмотря на боль, мне стало ясно, что это место не создано специально мне в осуждение. Меня вывели оттуда с такой же легкостью, что и привели. Окружавшие меня мальчики с приятными голосами и ласковыми руками, протягивающие мне вино и фрукты, чтобы я поправился, не ждали со стороны этого меня какой‑то ужасной угрозы.

Повернувшись налево, я заметил набережные, гавань. Я побежал прямо к ней, как громом пораженный от вида деревянных кораблей. Они стояли на якоре по четыре‑пять в ряд, но за ними возвышалось самое большое чудо: громадные галеоны из широкого раздувшегося дерева, их паруса раздувались от ветра, а грациозные весла рассекали воду — они выплывали в море.

Взад‑вперед двигались суда — огромные деревянные барки на опасном, близком расстоянии друг от друга, проскальзывая в пасть Венеции или выскальзывая из нее, а тем временем остальные корабли, не менее изящные и невероятные, стояли на якоре, извергая обильные потоки товаров.

Мои товарищи отвели меня, спотыкающегося на ходу, к Арсеналу, где я успокоился наблюдением за занятыми своим делом кораблестроителями, обычными людьми. В последующие дни я буду часами болтаться на Арсенале, наблюдая за гениальным процессом постройки кораблей человеческими руками — люди строили барки таких размеров, что, по моим понятиям, они неизбежно затонули бы.

Периодически, урывками я видел образы ледяных рек, барж и лодок, грубых мужчин, провонявших животным жиром и прогорклой кожей. Но и эти последние неровные кусочки зимнего мира, откуда я пришел, погасли.

Наверное, если бы я попал не в Венецию, моя повесть была бы другой.

За все проведенные в Венеции годы мне никогда не надоедало ходить на Арсенал и наблюдать за строительством кораблей. Я без проблем добивался разрешения войти с помощью нескольких любезных слов и монет и с неизменным восторгом следил, как из гнутых каркасов, изогнутых досок и пронзающих небо мачт сооружают эти фантастические строения. В тот первый день мы промчались по этому чудесному двору в спешке. Мне было достаточно. Да, короче говоря, Венеция, и ничто другое стерло из моих мыслей, по крайней мере на какое‑то время, сгустившееся мучительное воспоминание о некоем предыдущем существовании, об определенном скоплении истин, с которыми я сталкиваться не хотел.

Если бы не Венеция, со мной не было бы моего господина. И месяца не прошло, как он беспристрастно рассказал мне, что мог предложить ему каждый из итальянских городов, как он любил смотреть во Флоренции на поглощенного работой Микеланджело, великого скульптора, как он ездил послушать прекрасных римских учителей.

— Но история венецианского искусства насчитывает тысячу лет, — говорил он, поднимая кисть, чтобы расписать огромную, стоявшую перед ним тонкую доску. — Венеция сама по себе — произведение искусства, метрополия, состоящая из невероятных домашних храмов, стоящих бок о бок, как восковые соты, где бесконечный приток нектара осуществляет оживленное, как пчелы, население. Взгляни на наши дворцы, уже одни они — достойное зрелище.

По прошествии времени он, как и остальные, стал учить меня истории Венеции, особенно задерживаясь на природе Республики, которая, несмотря на деспотизм своих решений и яростную враждебность к чужакам, тем не менее, оставалась городом «равенства» людей. Флоренция, Милан, Рим — эти города попадали во власть небольшой элиты, состоящей из могущественных семей и отдельных личностей, в то время как Венеция, невзирая на все ее недостатки, отдавала бразды правления своим сенаторам, могущественным купцам и Совету Десяти.

В тот первый день во мне зародилась вечная любовь к Венеции. Она казалась мне удивительно лишенной кошмаров, гостеприимным домом, несмотря на хорошо одетых и ловких нищих, ульем благополучия и пылких страстей, а также потрясающих богатств.

И разве в мастерской у портного меня не переодели в настоящего принца, такого же, как мои новые друзья?

Послушайте, разве я не видел меча Рикардо? Все они были дворянами.

— Забудь все, что с тобой было раньше, — сказал Рикардо. — Наш господин — наш правитель, а мы — его принцы, его королевский двор. Теперь ты богат, и ничто не сможет причинить тебе вред.

— Мы не просто ученики‑подмастерья в обычном смысле слова, — сказал Альбиний. — Нас пошлют в университет Падуи. Вот увидишь. Нас пропитывают музыкой, танцами и манерами не менее регулярно, чем науками и литературой. Ты еще успеешь посмотреть на мальчиков, возвращающихся погостить, все они — благородные господа со средствами. Правда, Джулиано стал преуспевающим адвокатом, а еще один мальчик — доктором в Торчелло, это недалеко, на острове.

Но все, кто покидает господина, получают независимые средства, — объяснял Альбиний. — Дело только в том, что господин, как все венецианцы, порицает безделье. Мы такие же богачи, как и иностранные лорды, которые бездельничают и только пробуют наш мир на вкус, как блюдо с едой.

К концу этого первого солнечного приключения, посвящения в сердце школы моего господина и его великолепного города, я был причесан, пострижен и одет в те цвета, которые он и впредь всегда будет выбирать для меня — небесно‑голубой для чулок, более темный, синий, цвета полночи, бархат для короткой подпоясанной куртки и в тунику еще более светлого оттенка лазури, расшитого крошечными французскими ирисами — толстыми золотыми нитями. Можно добавить немного винно‑красного — на подбой и мех; так как, когда зимой морской бриз задует сильнее, этот рай посетит то, что по понятиям этих итальянцев называется холодами.

К наступлению ночи я уже гарцевал на мраморных плитах с остальными и немного танцевал под звуки лютни, на которой играли мальчики помладше, а также под аккомпанемент спинета, первого увиденного мной в жизни клавишного инструмента.

Когда над каналом за узкими остроконечными аркообразными окнами палаццо померкла красота сумерек, я стал бродить по дому, ловя свои отражения в многочисленных темных зеркалах, выраставших от мраморного пола до самого потолка коридора, салона, алькова и прочих прекрасно обставленных комнат, попадавшихся мне на пути.

Я пел новые слова в унисон с Рикардо. Великое государство Венеции называлось Серениссима. Черные лодки на каналах — гондолы. Ветра, которым скоро предстояло свести нас с ума — сирокко. Верховный правитель этого волшебного города именовался дожем, книга, заданная на сегодня учителем — Цицерон, музыкальный инструмент, подхваченный Рикардо и перебираемый его пальцами — лютня. Огромный навес над царским ложем господина — балдахин, его каждые две недели подбивают новой золотой бахромой. Я пришел в экстаз.

Я получил не только меч, но и кинжал.

Какое доверие. Конечно, остальным я казался сущим ягненком, да и себе тоже. Но никогда еще никто не доверял мне такое оружие из бронзы и стали. Память опять начала свои фокусы. Я умел бросать деревянное копье, умел… Увы, все заволокло клубами дыма, а в воздухе витало сознание того, что мое предназначение — не оружие, а нечто другое, нечто всеобъемлющее, требующее всего, что я мог отдать. Оружие носить мне запрещалось.

Нет, теперь уже нет. Нет, нет, нет. Меня поглотила смерть и забросила меня в это место. Во дворец моего господина, в салон с блестяще нарисованными батальными сценами, с картами на потолке, с окнами из толстого литого стекла, где я со свистом выхватил меч и указал им в будущее. Кинжалом, предварительно рассмотрев изумруды и рубины на ручке, я, открыв рот, рассек надвое яблоко.

Остальные мальчики смеялись надо мной. Но по‑дружески, по‑доброму. Скоро придет господин. Смотри. Из комнаты в комнату быстро переходили наши самые младшие товарищи, маленькие мальчики, которые не ходили с нами в город — они подносили к факелам и канделябрам свои тонкие свечки. Я стоял в дверях, переводя взгляд с одного на другого. В каждой из комнат беззвучно вспыхивал свет.

Вошел высокий человек, очень мрачный и сухой, с потрепанной книгой в руке. Черные длинные жидкие волосы, длинное свободное одеяние — черное, простое, шерстяное. Несмотря на веселые глаза, бесцветный тонкий рот хранил воинственное выражение. Мальчики дружно застонали.

Высокие узкие окна закрыли, чтобы не впускать прохладу ночного воздуха. На канале под окнами, проплывая мимо в длинных узких гондолах пели люди, их голоса звенели в воздухе, разбрызгиваясь по стенам, искрящиеся, тонкие, а потом стихали вдали.

Я съел яблоко до последней сочной крошки. В тот день я съел больше фруктов, мяса, хлеба, конфет и сладостей, чем способен съесть человек. Но я не был человеком. Я был голодным мальчиком.

Учитель щелкнул пальцами, достал из‑за пояса длинный хлыст и хлестнул им о собственную ногу.

— Пойдемте, — сказал он мальчикам.

При появлении господина я поднял глаза.

Все мальчики, большие и высокие, младенческого вида и мужественные, подбежали к нему, чтобы обнять его и прижаться к его рукам, пока он производил осмотр созданной за целый день картины.

Учитель молча ждал, отвесив господину смиренный поклон. Мы всей компанией прошлись по галереям, учитель следовал за нами.

Господин протянул руки, считалось привилегией ощутить прикосновение его холодных белых пальцев, привилегией поймать часть его длинных плотных свободных красных рукавов.

— Идем, Амадео, идем с нами.

Но мне хотелось только одного, и это наступило довольно скоро. Их отослали вместе с человеком, который должен был читать им Цицерона. Твердые руки господина со сверкающими ногтями развернули меня и направили в его личные покои. Здесь царило уединение, расписные деревянные двери тотчас закрылись на засов, зажженные горелки благоухали ладаном, от медных лам поднимался ароматный дым. На мягких подушках кровати цвел сад из расшитого по трафарету шелка, атласа с цветочными узорами, плотной синели, парчи с замысловатым рисунком. Он задернул алый полог кровати. На свету они казались прозрачными. Красный, красный и красный. Это его цвет, объяснил он мне, а мой будет синий.

Он обращался ко мне на каком‑то универсальном языке, осыпая меня образами:

— Когда в твоих карих глазах отражается пламя, они похожи на янтарь, — прошептал он. — Да, но они блестящие, темные, два сияющих зеркала, где я вижу свое отражение, даже когда они хранят свои тайны, темные врата богатой души.

Сам я погрузился в застывшую голубизну его собственных глаз и гладкий блеск кораллового оттенка губ.

Он лег рядом со мной, поцеловал, заботливо и ровно провел пальцами по волосам, не дернув ни за один завиток, отчего у меня по коже головы и между ног пробежала дрожь. Его большие пальцы, такие холодные и твердые, гладили мои щеки, губы, подбородок, возбуждая всю мою плоть. Поворачивая мою голову справа налево, он со страстным, но изысканным голодом прижимался полуоткрытыми губами к внутренней поверхности моих ушей.

Для влажных удовольствий я был слишком маленьким.

Наверное, это было ближе к тому, что чувствуют женщины. Я думал, этому не будет конца. Я погрузился в мучительный восторг, запутавшись в его руках, не в состоянии выбраться, содрогаясь, изгибаясь и вновь и вновь переживая прежний экстаз.

Потом он научил меня словам нового языка: слову, обозначающему холодные твердые плиты на полу — каррарский мрамор, портьеры — шелк, именам «рыб», «черепах» и «слонов», вышитых на подушках, названию льва, изображенного на самом тяжелом покрывале‑гобелене.

Я завороженно выслушивал все подробности, как мелкие, так и важные, и он рассказал мне о добыче жемчуга, усыпавшего мою тунику, о том, что его достают из морских раковин. В пучину моря ныряют мальчики и выносят на поверхность эти драгоценные круглые белые сокровища, держа их во рту. Изумруды поступают из рудников, из земных глубин. Из‑за них люди убивают друг друга. А бриллианты, только посмотри на бриллианты. Он снял свое кольцо и надел его мне на палец, ласково погладив мою руку, проверяя, подошло ли оно. Бриллианты — белый свет Господа, сказал он. Бриллианты чисты.

Господь. Кто такой Господь? Меня затрясло. Мне показалось, что окружающая меня комната вот‑вот рухнет.

Разговаривая, он следил за мной, и иногда мне казалось, что я отчетливо слышу его слова, хотя он не шевелил губами и не издавал не звука. Я нервничал. Бог, не позволяй мне думать про Бога. Будь моим Богом.

— Где твой рот, где твои губы? — прошептал я. Мой голод изумил его и привел в восторг.

Он тихо смеялся, отвечая мне новыми поцелуями, ароматными и безвредными. Его теплое дыхание обвевало мой пах тихим шелестящим ветром.

— Амадео, Амадео, Амадео, — говорил он.

— Что значит это имя, господин? Почему ты дал мне это имя? — Кажется, я услышал в своих словах отражение своего прежнего голоса, но, может быть, этот новорожденный принц, позолоченный, закутанный в дорогие вещи, сам избрал для себя почтительный, но, тем не менее, дерзкий тон.

— Возлюбленный Бога, — сказал он.

Нет, этого я не мог слышать! Бог, никуда от него не деться. Я встревожился, меня охватила паника.

Он взял мою протянутую руку и согнул мой палец, указывая на крошечного крылатого младенца, запечатленного золотыми каплями бисера на потертой квадратной подушке, лежавшей рядом с нами.

— Амадео, — сказал он, — возлюбленный бога любви.

В кипе моей одежды, валявшейся у кровати, он нашел тикающие часы. Он взял их в руки, рассмотрел их и улыбнулся. Он нечасто встречал такие часы. Просто отличные. Такие ценные, что подошли бы любому королю или королеве.

— Ты получишь все, что пожелаешь, — добавил он.

— За что?

В ответ опять послышался его смех.

— За вот эти каштановые локоны, — сказал он, перебирая мои волос, — за глаза необычайно глубокого и симпатичного коричневого цвета. За кожу, похожую на свежие молочные сливки поутру, за губы, неотличимые от розовых лепестков.

Под утро он рассказал мне легенды об Эросе и Афродите; он успокаивал меня бездонной печалью Психеи, возлюбленной Эроса, не имеющей возможности увидеть его при свете дня.

Я шел рядом с ним по холодным коридорам, его пальцы сжимали мое плечо, когда он показывал мне изящные белые статуи своих богов и богинь, любовников — Дафну, чьи грациозные руки и ноги превращались в лавровые ветви, пока ее отчаянно добивался бог Аполлон; беспомощная Леда, схваченная могучим лебедем.

Он проводил моими руками по мраморным изгибам, по ровно высеченным и гладко отполированным лицам, по напряженным икрам зрелых ног, по ледяным расселинам полуоткрытых ртов. А потом он поднес мои пальцы к своему собственному лицу. Он и сам казался живой, дышащей статуей, вырезанной в мраморе еще искуснее остальных, и даже когда он приподнимал меня своими сильными руками, от него исходило великое тепло, тепло ароматного дыхания, вздохов и неразборчивых слов.

К концу недели я не мог вспомнить ни слова на своем родном языке.

В урагане предлагаемых мне прилагательных стоял я на площади, зачарованно следя за Великим Советом Венеции, шествующим по Моло, пока с алтаря Сан‑Марко доносилась песня Великой мессы, пока из стеклянных волн Адриатики выплывали корабли, пока в краски обмакивались кисти, смешивая цвета в глиняных горшочках — розовую марену, киноварь, кармин, вишневую краску, лазурь, бирюзовый оттенок, зеленый, желтую охру, темно‑коричневую умбру, лимонный краситель, сепия, фиолетовый Caput Mortuum — все такие красивые — и густой лак под названием «кровь дракона».

Я добивался особенных успехов в танцах и фехтовании. Моим любимым партнером был Рикардо, и я быстро осознал, что по своим умениям стою рядом с этим мальчиком из старших, превосходя даже Альбиния, до моего появления занимавшего это место, хотя он не держал на меня зла. Эти мальчики стали для меня братьями.

Они водили меня в дом стройной прекрасной куртизанки Бьянки Сольдерини, гибкой, несравненной чаровницы, с волнистыми локонами в стиле Ботичелли и миндалевидными серыми глазами, обладавшей благородным и доброжелательным умом. Меня всегда принимали в ее доме, когда мне того хотелось, среди молодых женщин и мужчин, часами читавших стихи, до бесконечности обсуждавшим иностранные войны, а также последних художников, кто следующим получит какой заказ.

У Бьянки был тонкий, детский голосок, подходивший к ее девичьему лицу и крошечному носику. Рот — настоящий розовый бутон. Но она была умна и неукротима. Она холодно отвергала любовников‑собственников; она предпочитала, чтобы ее дом в любой час наполняли люди. К ней автоматически допускался всякий, кто соответствующим образом одевался или носил меч. Не отказывали практически никому, кроме тех, кто желал заполучить ее в собственность.

В доме Бьянки вполне можно было встретить гостей из Франции и Германии, и всех без исключения, как иноземцев, так и местных жителей, интересовал вопрос о нашей господине, Мариусе, таинственном человеке, однако нас научили никогда не отвечать любопытствующим, и мы только улыбались, когда нас спрашивали, намеревается ли он жениться, сможет ли написать тот или иной портрет, будет ли он дома в такой‑то день, чтобы мог зайти тот или иной человек.

Иногда я забывал на подушках кушетки или даже на одной из кроватей под аккомпанемент приглушенных голосов зашедших в гости дворян, и смотрел сны под неизменно убаюкивающую и успокаивающую музыку.

Периодически, весьма нечасто, там появлялся наш господин собственной персоной — он забирал нас с Рикардо, вызывая небольшую сенсацию в портего — главной гостиной. Он никогда не садился. Он всегда стоял, накрыв голову и плечи своим плащом с капюшоном. Но любезно улыбался в ответ на каждую мольбу и иногда даже дарил Бьянке ее крошечный портрет.

Я вижу их и сейчас — многочисленные миниатюры, подаренные им Бьянке за все те годы, каждый— усыпанный драгоценными камнями.

— Вы в точности воссоздаете мое лицо по памяти, — говорила она, подходя поцеловать его. Я видел, с какой сдержанностью он удерживал ее подальше от своей жесткой холодной груди и лица, запечатлевая на ее щеках поцелуи, хранящие чары мягкости и нежности, которые развеяло бы его настоящее прикосновение.

Я часами читал с помощью учителя Леонардо из Падуи, вторя ему с идеальным ритмом, пока мы осваивали строение латыни, затем — итальянского языка, а потом снова греческого. Мне нравился Аристотель, как и Платон с Плутархом, как и Ливий с Виргилием. Честно говоря, я их не особенно понимал. Я делал то, что велел мой господин, и знания сами собой копились у меня в голове.

Я не видел смысла до бесконечности, как Аристотель, говорить обо всяких неодушевленных предметах. Жизни древних, с таким воодушевлением рассказанные Плутархом, складывались в отличные истории. Однако я хотел узнать поближе современных людей. Я предпочитал дремать на кушетке у Бьянки, чем спорить о достоинствах того или иного художника. К тому же, я знал, что мой господин лучше их всех.

Мир состоял из просторных комнат, расписанных стен, щедро льющегося душистого света и постоянной процессии модно и шикарно одетых людей, и я к нему полностью привык, так как никогда не видел страданий и несчастий городских бедняков. Даже прочитанные мной книги отражали это новое царство, где я настолько прочно закрепился, что ничто не могло бы заставить меня вернуться в прежний, исчезнувший мир хаоса и страданий.

Я научился играть песенки на спинете. Я научился перебирать струны лютни и петь тихим голосом, хотя я пел только грустные песни. Мой господин любил эти песни.

Иногда мы, все мальчики, составляли хор и представляли господину наши собственные сочинения и, периодически, наши новые танцы.

Жарким днем, когда считалось, что мы спим, мы играли в карты. Мы с Рикардо выскальзывали из дома и делали ставки в тавернах. Один‑два раза мы сильно напились. Господин узнал об этом и немедленно положил этому конец. Особенно его ужаснуло, что я пьяным упал в Гранд канал и

это потребовало неуклюжего, истерического спасения. Я мог поклясться, что он из‑за этого побледнел, что я видел, как от его белеющих щек отлила краска.

За это он отхлестал Рикардо хлыстом.. Я преисполнился стыда. Рикардо принял побои как солдат, без криков и комментариев, неподвижно стоя в библиотеке у большого камина, повернувшись спиной, чтобы получить удары по ногам. Потом он встал на колени и поцеловал кольцо господина. Я поклялся никогда в жизни больше не напиваться.

Я напился на следующий же день, но у меня хватило ума доплестись до дома Бьянки и залезть к ней под кровать, где можно было заснуть, не подвергаясь риску. Еще до полуночи господин вытащил меня оттуда. Я решил — сейчас я получу свое. Но он только уложил меня в постель, где я заснул, не успев попросить прощенья. Когда я как‑то проснулся, я увидел, что он сидит за письменным столом и пишет так же быстро, как и рисует, в огромной книге, которую ему всегда удавалось спрятать до ухода из дома.

Когда же остальные, включая Рикардо, все‑таки спали, и стояли самые жаркие летние дни, я выбирался на улицу и нанимал гондолу. Я лежал на спине и смотрел в небо, пока мы проплывали по каналу к более бурному заливу. Я закрывал глаза, когда мы плыли обратно, чтобы расслышать самые тихие вскрики, доносившихся от погруженных в сиесту зданий, биение заросших вод о подгнившие фундаменты, плач чаек над головой. Меня не беспокоили ни мошки, ни запах каналов.

Однажды днем я не вернулся домой работать и заниматься. Я забрел в таверну послушать музыкантов и певцов, а в другой раз я попал на открытое представление на подмостках на церковной площади. Никто не сердился, если я уходил или приходил. Никому ни о чем не докладывали. Никто не устраивал проверки знаний ни мне, ни другим ученикам.

Иногда я спал целый день, или же просыпался, когда мне становилось интересно. Необычайно приятно было просыпаться и обнаруживать господина за работой — либо в студии, где он поднимался по лесам или спускался с них, если писал крупную картину, или же рядом с собой, за столом в спальне, самозабвенно погруженного в свои записи.

Повсюду всегда было полно еды — блестящие грозди винограда, разрезанные для нас зрелые дыни, восхитительный хлеб мелкого помола со свежайшим маслом. Я ел черные оливки, куски бледного мягкого сыра и свежий лук‑порей из садика на крыше. Молоко поступало холодным, в серебряных кувшинах.

Господин ничего не ел. Это знали все. Днем господин всегда отсутствовал. О господине никогда не говорили без почтения. Господин умел читать, что творится в душах мальчиков. Господин отличал добро от зла и всегда понимал, когда его обманывают. Наши мальчики были хорошими. Иногда кто‑то приглушенным голосом упоминал о плохих мальчиках, которых практически сразу же выгоняли из дома. Но никто даже в мелочах не обсуждал господина. Никто не говорил о том факте, что я сплю в его постели.

Каждый день, в полдень, мы все вместе официально обедали жареной птицей, нежным барашком или толстыми сочными ломтями говядины.

Учителя приходили одновременно по трое или четверо, чтобы обучать небольшие группы подмастерьев. Кто‑то работал, кто‑то учился.

Я мог забрести из класса, где проходили латынь, в класс, где учили греческий. Я мог пролистывать эротические сонеты и читать их, как умел, пока на помощь не приходил Рикардо, привлекая целый круг весельчаков, и учителям приходилось ждать, пока все успокоятся.

При таком попустительстве я просто процветал. Я быстро учился и мог ответить на все случайные вопросы господина и задать, в свою очередь, собственные, глубинные вопросы.

Господин рисовал четыре из семи ночей в неделю, обычно начиная с полуночи и вплоть до своего предрассветного исчезновения. В такие ночи ничто его не прерывало.

Он поднимался по лесам у потрясающей легкостью, как огромная белая обезьяна, и, небрежно роняя свой алый плащ, выхватывал кисть из рук

протягивающего ее мальчика, а затем рисовал, причем так неистово, что на нас, изумленно наблюдавших за ним, расплескивалась краска. С его гениальностью за несколько часов на холсте оживали целые пейзажи; до мельчайших деталей выписывались собрания людей.

Работая, он напевал вслух; он объявлял имена великих писателей или героев, чьи портреты он рисовал по памяти или с помощью воображения. Он привлекал наше внимание к своим краскам, к выбранным им линиям, к фокусам перспективы, отбрасывающим группы осязаемых, увлеченных объектов в настоящие сады, комнаты, дворцы, залы.

Мальчикам на утро оставалось только докрашивать — цветную драпировку, тона крыльев, широкие пространства плоти, к которым господин еще собирался добавить выразительности, поскольку масляная краска еще оставалась подвижной, сияющие полы дворцов другой эпохи, которые, по нанесении им последних штрихов превращались в настоящий мрамор, подающийся под раскрасневшимися круглыми пятками его философов и святых.

Работа затягивала нас естественным образом, непроизвольно. В палаццо были десятки незаконченных полотен и фресок, насколько жизненных, что они напоминал врата в другой мир.

Одареннее всех нас был Гаэтано, один из самых младших. Но любой из мальчиков, кроме меня, мог сравняться с учениками из мастерской любого художника, даже с мальчиками Беллини.

Иногда устраивался приемный день. Бьянка сгорала от радости, что сможет принимать гостей вместе с господином, и приходила в окружении

слуг, чтобы исполнить обязанности хозяйки дома. К нам собирались мужчины и женщины из самых благородных домов Венеции, чтобы посмотреть картины господина. Его таланты потрясали умы. Только прислушиваясь к их разговорам в те дни я осознал, что господин почти ничего не продает, а наполняет своими работами свой палаццо, и что он создал свои варианты самых прославленных сюжетов, начиная от школы Аристотеля и кончая распятием Христа. Христос. Это был кудрявый, розовощекий, мускулистый Христос, похожий на человека, их Христос. Христос, похожий на купидона или Зевса.

Я не расстраивался, что не могу рисовать так же хорошо, как Рикардо и все остальные, что мне половину времени приходилось довольствоваться тем, что я держал им горшки, мыл кисти, стирал ошибки, требовавшие исправления. Я не хотел рисовать. Просто не хотел. При одной мысли об этом у меня тряслись руки, а в животе все сворачивалось.

Я предпочитал разговоры, шутки, теории о том, почему наш господин не берет заказов, хотя к нему ежедневно приходят письма, приглашая принять участие в конкурсе на роспись той или иной фрески для герцогского дворца или в одной из тысячи церквей на острове.

Я часами смотрел, как холсты покрываются красками. Я вдыхал запах лаков, пигментов, масел.

Иногда мной овладевала злость, вгонявшая меня в ступор, но я злился не на отсутствие мастерства.

Меня мучило что‑то другое, оно имело отношение к сырым, буйным позам нарисованных фигур с сияющими розовыми щеками и кипящим, раскинувшимся за ними небом, или же к шерстистым ветвям темных деревьев.

Оно казалось мне безумием — это необузданное опустошение природы. С больной головой я в одиночестве, быстрым шагом ходил по набережным, пока не нашел старую церковь, а в ней — позолоченный алтарь с жесткими узкоглазыми святыми, темными, осунувшимися, застывшими: наследие Византии, увиденное мной в первый же день в Сан‑Марко. С благоговением смотрел я на эти свидетельства старины, и у меня болела, болела, болела душа. Я выругался, когда меня нашли мои новые друзья. Я упрямо стоял на коленях, отказываясь показать, что знаю об их появлении. Я заткнул уши, чтобы не слышать смех новых друзей. Как они смеют смеяться в пустой церкви, где измученный Христос льет кровавые слезы, черными жуками сочащиеся из его бледнеющих рук и ног?

Иногда я засыпал перед старинными алтарями. Я убегал от своих товарищей. На сырых холодных камнях я чувствовал себя одиноким и счастливым. Я воображал, будто слышу, как под полом журчит вода.

Я сел в гондолу до Торчелло и там отыскал великий старинный собор Санта Марии Асс унты, прославленный своей мозаикой — кто‑то говорил, что как произведение древнего искусства она не менее великолепна, чем мозаики Сан‑Марко. Я прокрался под низкие своды, разглядывая древний золотой иконостас и мозаику апсиды. Высоко наверху, в заднем изгибе апсиды, стояла Дева, Теотокос, богородица. У нее было строгое лицо, почти угрюмое. На левой щеке блестела слеза. В руках она держала младенца Иисуса, а также салфетку, символ Mater Dolorosa.

Я понимал эти образы, пусть они и холодили мне душу. У меня кружилась голова, а от царящей на острове жары и тишины, повисшей в соборе разболелся живот. Но я оставался на месте. Я кружил вокруг иконостаса и молился.

Я был уверен, что здесь меня никто не найдет. К закату я окончательно заболел. Я знал, что у меня жар, но я забился в угол церкви и нашел успокоение, прижавшись лицом и вытянутыми руками к холодному каменному полу. Поднимая голову, я видел устрашающие сцены Великого суда — души, приговоренные к аду. Я заслужил эту боль, думал я.

За мной пришел мой господин. Переезда назад в палаццо я не помню. Мне показалось, что уже через несколько секунд он каким‑то образом уложил меня в постель. Мальчики протирали мне лоб прохладной тканью. Меня заставили выпить воды. Кто‑то сказал, что у меня «лихорадка», а кто‑то другой ответил: «Помолчи».

Господин остался дежурить около меня. Мне снились плохие сны, отказывающиеся идти за мной, когда я просыпался. Перед рассветом господин поцеловал меня и крепко прижал к себе. Никогда еще я так не любил его холодное жесткое тело, как в той лихорадке, обнимая его и прижимаясь щекой к его лицу.

Он дал мне выпить что‑то горячее и острое из подогретой чаши. Потом он поцеловал меня и снова поднес чашу. Мое тело наполнил целительный огонь.

Но когда он вернулся в ту ночь, у меня опять началась лихорадка. Я не столько спал, сколько бродил, наполовину во сне, наполовину наяву, по ужасным темным коридорам и не мог найти ни одного теплого или чистого места. У меня под ногтями появилась земля. В какой‑то момент я увидел, как движется лопата, испугался, что меня засыплют землей, и заплакал.

Рикардо сидел рядом, держал меня за руку и говорил, что скоро наступит ночь и тогда точно придет господин.

— Амадео, — сказал господин. Он поднял меня на руки, совсем как маленького ребенка.

У меня в голове вертелось множество вопросов. Я умру? Куда меня несет господин? Он нес меня с собой, закутав в бархат и меха, но куда?

Мы оказались в какой‑то венецианской церкви, среди новых, современных картин. Горели все требуемые свечи. Молились люди. Он повернул меня, не спуская с рук, и велел посмотреть вперед, на гигантский алтарь.

Прищурившись, так как у меня болели глаза, я подчинился и увидел наверху Деву, коронуемую ее возлюбленным сыном, царем Иисусом.

— Посмотри, какое у нее милое лицо, какое у него естественное выражение, — прошептал мне господин. Она сидит в такой позе, как люди сидят в церкви. А ангелы, посмотри на них, счастливые мальчики, сбившиеся в стайки вокруг колонн, внизу. Посмотри на их умиротворенные и кроткие улыбки. Вот рай, Амадео. Вот добро.

Я обвел высокую картину сонным взглядом.

— Видишь апостола, который так естественно шепчется со своим соседом, так мог бы вести себя человек на подобной церемонии? А наверху, смотри, Бог‑отец с удовлетворением взирает на эту сцену.

Я попытался сформулировать вопросы, объяснить, что такое сочетание плотского и блаженного невозможно, но не смог подобрать красноречивых слов. Нагота маленьких ангелов была очаровательна и невинна, но я в это не верил. Это ложь Венеции, ложь Запада, ложь самого Дьявола.

— Амадео, — продолжал он, — не бывает добра, основанного на страданиях и жестокости; не бывает добра, коренящегося на лишениях маленьких детей. Амадео, из любви к Богу повсюду произрастает красота. Посмотри на эти краски; эти краски созданы Богом.

Чувствуя себя у него на руках в безопасности, обхватив его руками за шею и болтая ногами, я постепенно впитал в свое сознание детали огромного алтаря. Я двигался взад‑вперед, взад‑вперед, рассматривая все мелкие штрихи, которые мне так нравились.

Я показал пальцем. Вон лев, спокойно сидит у ног Святого Марка, смотри, страницы у книги Святого Марка, он переворачивает страницы, а они двигаются. А лев — домашний и кроткий, как дружелюбный пес у очага.

— Это рай, Амадео, — повторил он. — Что бы ни вбило прошлое тебе в душу, отпусти его.

Я улыбнулся и медленно, глазея на святых, на ряды стоящих святых, тихо и доверительно рассмеялся господину на ухо.

— Они разговаривают, бормочут, болтают друг с другом, совсем как венецианские сенаторы.

В ответ я услышал его приглушенный, сдержанный смех.

— О, я думаю, сенаторы ведут себя пристойнее, Амадео. Я никогда не видел их в таких неофициальных позах, но это, как я уже говорил, и есть рай.

— Нет, господин, посмотри туда. Святой держит икону, прекрасную икону. Господин, я должен тебе рассказать… — Я замолчал. Меня бросило в жар, выступил пот. У меня горели глаза, я ничего не видел. — Господин, — сказал я, — я в диких степях. Я бегу. Я должен спрятать ее в деревьях. — Откуда ему было знать, что я имею в виду, что я говорю о старом, отчаянном побеге из связного воспоминания, побеге через степь со священным свертком в руках, со свертком, который нужно развернуть и положить в деревьях. — Смотри, икона.

Мне в рот полился мед. Густой и сладкий. Он тек из холодного источника, но это не имело значения. Я узнал этот источник. Мое тело превратилось в кубок, в котором взболтали жидкость, растворяя всю горечь, растворяя ее в водовороте, чтобы остался один мед и дремотное тепло.

Когда я открыл глаза, я лежал в нашей кровати. Мне было прохладно. Лихорадка прошла. Я перевернулся и подтянулся на подушки.

Мой господин сидел у стола. Он перечитывал то, что, видимо, только что написал. Он перевязал свои светлые волосы лентой. У него было очень красивое лицо, ничем не скрытое, с точеными скулами и гладким узким носом. Он посмотрел на меня и сотворил чудо обыкновенной улыбки.

— Не гоняйся за воспоминаниями, — сказал он. Он говорил так, как будто, пока я спал, мы все время разговаривали. — Не ищи их в церкви Торчелло. Не ходи к мозаике Сан‑Марко. Со временем все эти пагубные вещи вернутся сами собой

— Я боюсь вспоминать, — сказал я.

— Я знаю, — ответил он.

— Откуда ты знаешь? — спросил я его. — Это в моем сердце. Она только моя, эта боль.

Я раскаивался, что говорю в таком наглом тоне, но, невзирая на чувство вины, моя наглость проявлялась теперь все чаще и чаще.

— Ты действительно во мне сомневаешься? — спросил он.

— Твои достоинства неизмеримы. Все мы это знаем, но никогда не обсуждаем, и мы с тобой тоже никогда об этом не говорим.

— Так почему ты веришь не в меня, а в то, что помнишь только наполовину?

Он поднялся из‑за стола и подошел к кровати.

— Пойдем, — сказал он. — Жар спал. Идем со мной.

Он повел меня в одну из многочисленных библиотек в палаццо, в неубранную комнату, где в беспорядке валялась рукописи. Он редко работал в этих комнатах, практически никогда. Он скидывал там свои покупки, чтобы мальчики занесли их в каталог, а то, что нужно, относил в нашу комнату.

Он двигался среди полок, пока не нашел одну папку, большую хлопающую папку из старой желтой кожи, потрепанную на краях. Белые пальцы разгладили большой лист пергамента. Он положил его на дубовый письменный стол так, чтобы мне было видно. Картина, старинная.

Я увидел, что на ней нарисована огромная церковь с золотыми куполами, очень красивая, очень величественная. На ней горели буквы. Эти буквы я знал. Но не мог заставить ни рот, ни мозг вспомнить эти слова.

— Киевская Русь, — сказал он.

Киевская Русь.

Мной завладел невыразимый ужас. Не успев остановиться, я сказал:

— Она разрушена, сожжена. Такого места нет. Оно не живет, как Венеция. Оно разрушено, там все холодное, грязное, безнадежное. Да, именно таким словом.

У меня закружилась голова. Я почувствовал, что вижу путь к избавлению от отчаяния, но он был холодный и темный, извилистый, со множеством поворотом, и вел к миру вечной тьмы, где единственное, чем пахнут руки, кожа, одежда — это сырая земля. Я попятился и убежал от господина. Я пробежал по всему палаццо.

Я пронесся по лестнице и по темным комнатам первого этажа, выходившим на канал. Вернувшись, я нашел его одного в спальне. Он, как всегда, читал. Свою любимую в последнее время книгу, «Утешение философией» Боэция. Когда я вошел, он терпеливо поднял глаза.

Я стоял и думал о своих болезненных воспоминаниях.

Я не мог их поймать. Да будет так. Они унеслись в небытие, как листья в аллее, листья, которые иногда падают и падают без конца на крашеные в зеленый цвет стены из маленьких садиков на крышах, потревоженных ветром.

— Я не хочу, — повторил я. Существует лишь один Бог во плоти. Мой господин.

— Когда‑нибудь к тебе все вернется, когда у тебя хватит сил этим пользоваться, — сказал он. Он захлопнул книгу. — А пока дай мне тебя утешить.

О да, к этому я был готов как никогда.

### 3

Как же долго тянулись без него дни. К наступлению ночи, когда зажигали свечи, я сжимал руки в кулаки. Бывали ночи, когда он вообще не появлялся. Мальчики говорили, что он уехал по делам чрезвычайной важности. В доме все должно идти так, как при нем.

Я спал в его пустой кровати, и никто не задавал мне вопросов. Я обыскивал весь дом в надежду обнаружить хоть какие‑то следы его пребывания. Меня мучили вопросы. Я боялся, что он больше никогда не вернется. Но он всегда возвращался.

Когда он поднимался по лестнице, я кидался к нему в объятья. Он подхватывал меня, удерживал, целовал и только тогда позволял нежно прижаться к его груди. Я для него ничего не весил, хотя с каждым днем становился, как мне казалось, все выше и тяжелее.

Мне суждено было навсегда остаться тем семнадцатилетним мальчиком, которого ты видишь перед собой, но как мужчина такого хрупкого, как он, сложения мог так легко поднимать меня в воздух? Я не цыпленок, никогда таким не был. Я сильный.

Больше всего мне нравилось — если приходилось делиться с остальными — когда он читал нам вслух.

Окружив себя канделябрами, он говорил с нами приглушенным, приятным голосом. Он читал «Божественную комедию» Данте и «Декамерон» Боккаччо, или же по‑французски — «Роман розы» или стихи Франсуа Вийона. Он рассказывал о новых языках, которые мы должны понимать наравне с латынью и греческим. Он предупреждал, что литература отныне не ограничивается классическими произведениями.

Мы молча усаживались вокруг него на подушках или на голом мраморе. Некоторые стояли поближе к нему. Остальные сидели на корточках. Иногда Рикардо играл нам на лютне и пел мелодии, которым его научил преподаватель, или же необузданный непристойные песни, услышанные на улицах. Он скорбно пел о любви и заставлял нас плакать. Господин смотрел на него любящими глазами. Я не испытывал никакой ревности. Только я делил с господином ложе. Иногда он даже усаживал Рикардо у двери в спальню, чтобы он нам поиграл. Послушный Рикардо никогда не просил впустить его внутрь.

Когда за нами опускались драпировки, у меня бешено билось сердце. Господин стягивал с меня тунику, иногда даже весело разрывал ее, как простые лохмотья.

Я опускался под ним на расшитые атласные покрывала; я раздвигал ноги и ласкал его коленями, немея и дрожа, когда суставы его пальцев задевали мои губы.

Однажды я лежал в полусне. Воздух стал розовато‑золотистым. В комнате было тепло. Я почувствовал, как его губы коснулись моих губ, и внутрь, как змея, двинулся его холодный язык. Мой рот наполнила какая‑то жидкость, густой пылающий нектар, такое сильнодействующее зелье, что оно распространилось по всему телу до кончиков пальцев. Я почувствовал, как она спускается по торсу к самым интимным местам. Я был как в огне. Я горел.

— Господин, — прошептал я. — Что это за новый прием, еще приятнее поцелуев?

Он положил голову на подушку. Он отвернулся.

— Дай мне это еще раз, господин, — сказал я.

Он давал, но только в те моменты, когда ему было угодно, по каплям, с красными слезами, которые он иногда позволял мне слизывать с его глаз.

Кажется, так прошел целый год, прежде чем я вернулся как‑то вечером домой, раскрасневшись от зимнего воздуха, нарядившись ради него в свои самые изысканные темно‑синие одежды, в небесно‑голубые чулки и в самые дорогие в мире, покрытые золотом туфли, целый год, прежде чем я в тот вечер вошел, забросил свою книгу в угол спальни с видом великой, мировой усталости, положил руки на бедра и свирепо посмотрел на него — он сидел в своем высоком, глубоком кресле с изогнутой спинкой и смотрел на угли в жаровне, поднося к нам руки и наблюдая за языками пламени.

— Так вот, — нахально начал я, откинув голову, очень по‑светски, как искушенный венецианец, принц на рыночной площади, окруженный целой свитой желающих обслужить его купцов, школяр, перечитавший слишком много книг.

— Так вот, — сказал я, — здесь есть какая‑то важная тайна, сам знаешь. Пора тебе все мне рассказать.

— Что? — спросил он довольно любезно.

— Почему ты никогда… Почему ты никогда ничего не чувствуешь? Почему ты обращаешься со мной как с куклой? Почему ты никогда…

Я впервые увидел, как он покраснел; его глаза заблестели, сузились, а потом широко раскрылись от подступивших красноватых слез.

— Господин, ты меня пугаешь, — прошептал я.

— А что ты хочешь, чтобы я чувствовал, Амадео? — спросил он.

— Ты как ангел, как статуя, — сказал я, только на этот раз я ощущал себя наказанным и дрожал. — Господин, ты играешь со мной, и твоя игрушка все чувствует. — Я приблизился к нему. Я дотронулся до его рубашки, намереваясь распустить шнуровку. — Позволь мне…

Он перехватил мою руку. Он поднес мои пальцы к губам и положил себе в рот, проводя по ним языком. Его глаза дрогнули, и он посмотрел на меня. Вполне достаточно, говорили его глаза. Я чувствую вполне достаточно.

— Я дам тебе все, что угодно, — умоляюще сказал я. Я просунул ладонь между его ног. Он был удивительно твердым. Ничего необычного в этом не было, но он не должен на этом останавливаться; он должен довериться мне.

— Амадео, — сказал он.

С необъяснимой силой он потянул меня за собой на кровать. Нельзя даже сказать, что он поднялся с кресла. Казалось, только что мы были здесь, а через мгновение упали на знакомые подушки. Я моргнул. Казалось, полог опустился за нами по собственной воле, под действием бриза, подувшего в открытое окно. Да, прислушайся к голосам, доносящимся с канала. Как поют голоса, отражаясь от стен домов Венеции, города дворцов.

— Амадео, — сказал он, в тысячный раз прижимаясь губами к моему горлу, но на этот раз я почувствовал мгновенный укус, острый, резкий. Внезапно дернулась нить, сшивавшая мое сердце. Я сам превратился в то, что у меня между ног, и больше себя не ощущал. Его рот прильнул к моей шее, и нить порвалась еще раз, а затем — еще и еще раз.

У меня начались видения. Кажется, я увидел какое‑то новое место. Кажется, я увидел откровения моих снов, которые никогда не оставались со мной после пробуждения. Кажется, ступил на дорогу к жгучим фантазиям, знакомым мне только по снам, только во сне. Вот — вот чего я от тебя хочу.

— Так получай же, — сказал я, бросив эти слова в почти забытое настоящее, плывя рядом с ним, чувствуя, как он дрожит, как он возбуждается, как он резко извлекает из меня эти нити, ускоряя биение моего сердца, чуть не заставляя меня кричать, чувствуя, какое он испытывает наслаждение, как напрягается его спина, как трепещут и танцуют его пальцы, когда он изгибается, прижимаясь ко мне. Пей, пей, пей. Он оторвался от меня и повернулся на бок.

Лежа с закрытыми глазами, я улыбался. Я потрогал свои губы. Я почувствовал, что на нижней губе у меня до сих пор осталась крошечная капля нектара, я подобрал ее языком и замечтался.

Он тяжело дышал и впал в мрачность. Он все еще вздрагивал, а когда его рука нащупала мою, она тоже дрожала.

— А, — сказал я, все еще улыбаясь, и поцеловал его в плечо.

— Я причинил тебе боль! — сказал он.

— Нет, нет, что ты, мой милый господин, — сказал я. — А вот я причинил тебе боль! Теперь ты мой!

— Амадео, ты играешь с огнем.

— А разве ты не этого хочешь, господин? Тебе что, не понравилось? Ты взял мою кровь и стал моим рабом!

Он засмеялся.

— Так вот как ты все извращаешь?

— Ммм. Люби меня. Какая разница? — спросил я.

— Никогда никому не рассказывай, — сказал он. Без всякого страха, слабости или стыда.

Я перевернулся, подтянулся на локтях и посмотрел на него, на его спокойный профиль, повернутый в другую сторону.

— А что они сделают?

— Ничего, — ответил он. — Важно, что они подумают и почувствуют. А у меня для этого нет ни времени, ни места. — Он посмотрел на меня. — Будь милосерден и мудр, Амадео.

Я долго ничего не говорил. Я просто смотрел на него. Только постепенно я осознал, что мне страшно. На секунду мне даже показалось, что страх затмит теплоту этой сцены, ненавязчивое великолепие лучащегося света, бьющего в занавески, гладких граней его лица, доброты его улыбки. Потом страх уступил место другой, более серьезной проблеме.

— Ведь ты вовсе мне не раб, да? — прошептал я.

— Нет, — сказал он и чуть было не засмеялся. — Я твой раб, если тебе обязательно нужно знать.

— А что произошло, что ты сделал, что случилось, когда…

Он приложил палец к моим губам.

— Ты думаешь, что я такой же, как остальные люди? — спросил он.

— Нет, — сказал я, но от этого слова повеяло страхом, задушившим во мне обиду. Не успел я остановиться, как я обнял его и попытался уткнуться лицом в его шею. Для этого его плоть была слишком твердой, хотя он и обхватил рукой мою голову и поцеловал в макушку, хотя он отвел назад мои волосы и просунул большой палец мне за щеку.

— Я хочу, чтобы когда‑нибудь ты уехал отсюда, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты ушел. Ты возьмешь с собой богатства и знания, которые я смог тебе дать. Ты заберешь свои таланты, освоенные тобой искусства, свое умение рисовать, умение сыграть любую музыку, какую я ни порошу — это ты уже можешь, — свое умение так изящно танцевать. Ты заберешь свои достижения и отправишься на поиски тех драгоценных вещей, которые тебе нужны…

— Мне ничего не нужно, только ты.

— …А когда ты будешь вспоминать об этих временах, когда в полусне по ночам ты будешь вспоминать меня, закрывая на подушке глаза, эти наши моменты покажутся тебе развратными и непонятными. Они покажутся тебе колдовством, выходками безумца, а эта теплая комната может превратиться в затерянное хранилище мрачных тайн, и это причинит тебе боль.

— Я не уйду.

— Вспоминай тогда, что это была любовь, — сказал он. — Что, несомненно, в школе любви ты залечил свои раны, здесь ты снова научился говорить, даже петь, что здесь ты возродился из сломанного ребенка, от которого осталась только скорлупа, а ты, как ангел, взлетел из нее, расправив новые, более сильные и широкие крылья.

— А что, если я никогда не уйду по собственной воле? Ты выбросишь меня из окна, чтобы я взлетел или упал? Запрешь все ставни, чтобы я не вернулся? Лучше запри, потому что я буду стучать, стучать, стучать, пока не упаду замертво. У меня не будет крыльев, чтобы улететь от тебя.

Он необычайно долго всматривался в меня. Никогда еще я так долго не наслаждался его непрерывным взглядом, никогда еще мне не позволялось так долго прикасаться к его рту любопытными пальцами.

Наконец он поднялся рядом со мной и мягко опустил меня на кровать. Его губы, всегда нежно‑розового цвета, как внутренние лепестки розовеющих белых роз, на моих глазах постепенно краснели. Между его губ показалась блестящая красная полоска, потом она распространилась по всем тонким линиям, составлявшим его губы, придавая им определенный цвет, словно вино, только она сверкала, эта жидкость, так что его губы замерцали, а когда он приоткрыл их, красная жидкость вырвалась оттуда, как свернувшийся язык. Он приподнял мою голову. Я поймал ее ртом. Мир выскользнул из‑под меня. Я накренился и поплыл по течению, мои глаза открылись, но ничего не увидели, и он накрыл мой рот своим.

— Господин, я от этого умру! — прошептал я. Я метался под его тяжестью, пытаясь найти твердое место в этой дремотной упоительной пустоте. Мое тело тряслось и вращалось от удовольствия, ноги и руки напрягались, потом расслаблялись, все мое тело вытекало из него, из его губ через мои, мое тело превратилось в его дыхание и вздохи.

За эти последовал укол, лезвие, крошечное и несоизмеримо острое, пронзившее всю мою душу. Я извивался на нем, как будто меня насадили на вертел. О, это могло бы научить богов любви, что такое любовь. Вот мое освобождение, если только я до него доживу.

Я слепо слился с ним. Я почувствовал, как его рука прикрыла мне рот, и только тогда услышал собственные крики, теперь уже заглушенные.

Я обвил руками его шею, все крепче прижимая его к своему горлу.

— Давай, давай, давай!

Проснулся я уже днем.

Он давно ушел, согласно своему обычаю, которому он никогда не изменял. Я лежал в кровати один. Мальчики еще не приходили.

Я выбрался из постели и подошел к высокому узкому окну — такие окна были очень распространены в Венеции, — не впускающему неистовую летнюю жарищу и преграждавшую путь неизбежному приходу холодных ветров Адриатики.

Я отпер толстые стеклянные окна и выглянул из своего убежища на соседские стены, что я делал нередко.

На верхнем балконе простая служанка вытряхивала свою тряпку. Я смотрел на нее с противоположной стороны канала. У нее было мертвенно синее и какое‑то ползучее лицо, словно ее покрывали некие крошечные живые виды, словно на нем, например, буйствовали муравьи. Она и не знает! Я положил руки на подоконник и присмотрелся еще внимательнее. Это всего лишь жизнь внутри нее, результат работы плоти, от которого маска ее лица производит подвижное впечатление.

Но ее руки казались мне жуткими, узловатые, опухшие, в каждую морщину набилась пыль, поднятая метлой.

Я покачал головой. Для таких наблюдений я находился от нее слишком далеко. В отдаленной комнате болтали мальчики. Пора за работу. Пора вставать, даже в палаццо ночного властелина, который днем ничего не проверяет и никого не подгоняет. Они слишком далеко, чтобы мне их слышать.

А этот бархат, эта драпировка из любимой ткани господина, на ощупь она не бархат, а мех, я различаю каждое тончайшее волокно! Я уронил ее. Я пошел к зеркалу.

В доме их были десятки, огромных декоративных зеркал, все — с причудливыми рамами и обильно украшенные крошечными херувимчиками. В передней я нашел высокое зеркало — оно висело в нише за покоробленными, но прекрасно расписанными дверцами, там я хранил свою одежду. Свет из окна следовал за мной. Я увидел свое отражение. Но оказался не закипающей, разлагающейся массой, какой виделась мне та женщина. У меня было по‑детски гладкое лицо, и абсолютно белое.

— Я этого хочу! — прошептал я. Я точно знал.

— Нет, — ответил он.

Это было, когда он вернулся той ночью. Я делал торжественные заявления, бегал по комнате и кричал на него.

Он не стал вдаваться в длинные объяснения, мистические или научные, хотя оба варианта были для него вполне просты. Он только сказал, что я еще маленький, что нужно насладиться тем, что будет навсегда потеряно.

Я заплакал. Я не хотел ни работать, ни рисовать, ни учиться, ни вообще что бы то ни было делать.

— Пока что ты утратил к этому интерес, ненадолго, — терпеливо сказал он. — Но ты удивился бы.

— Чему?

— Насколько ты пожалел бы об этом, когда оно навсегда бы исчезло, когда ты стал бы совершенным и застывшим, как я, а все человеческие ошибки торжествующе вытеснила бы новая, еще более ошеломительная цепочка провалов. Не проси меня об этом, больше не проси.

Я тогда чуть не умер, забившись в угол, потемнев от злости, слишком ожесточившись, чтобы отвечать. Но он не закончил.

— Амадео, — сказал он глухим от печали голосом. — Молчи. Не надо слов. Ты получишь это, и достаточно скоро, когда я решу, что время пришло.

Услышав такое, я побежал к нему, как маленький, кинулся ему на шею и тысячу раз поцеловал его ледяную щеку, невзирая на его насмешливую, презрительную улыбку.

Наконец его руки застыли, как металл. Сегодня — никаких кровавых игр. Я должен учиться. Я должен наверстать занятия, которыми пренебрег днем.

Он должен был встретиться с учениками, вернуться с своим делами, к гигантскому холсту, над которым работал, и я сделал так, как он велел.

Но задолго до наступления утра я заметил в нем перемену. Остальные давно ушли спать. Я послушно переворачивал страницы книги, когда увидел, что он уставился на меня со своего кресла, как зверь, словно в него вселился какой‑то хищник, отогнав подальше все признаки цивилизации, оставив только голод, остекленевшие глаза и краснеющий рот, на шелковых губах которого по мириадам тропинок бежала кровь.

Он поднялся, как пьяный, и направился ко мне ритмичными шагами, чужими, вызвавшими во мне леденящий душу ужас. Его пальцы вспыхивали, сжимались, звали к себе.

Я побежал к нему. Он поднял меня обеими руками, мягко сжал меня за плечи и уткнулся лицом мне в шею. Я почувствовал ее всем телом — с ног до спины, руками, шеей, кожей головы.

Куда он меня бросил, я не понял. На нашу кровать или же поспешно собранные подушки в другой комнате неподалеку?

— Дай ее мне, — сонно сказал я, и когда она потекла мне в рот, меня просто не стало.

### 4

Он сказал, что я должен отправляться в бордели и узнать, что значит совокупляться по‑настоящему, не в играх, как мы делали с мальчиками.

В Венеции таких мест было много, они были поставлены на хорошую ногу и специализировались на наслаждениях в самой роскошной обстановке. Общепринято было считать, что такие наслаждения в глазах Христа — не намного серьезнее, чем незначительный грех, и молодые щеголи посещали эти заведения, не таясь.

Я знал один дом с особенно изящными и одаренными женщинами, высокими, пышными, очень бледноглазыми красавицами с севера Европы, некоторые из этих блондинок обладали практически белыми волосами; считалось, что они отличаются от менее высоких итальянок, которых мы видели каждый день. Не знаю, насколько важным такое отличие было лично для меня, так как меня с того момента, как я попал в Венецию, просто ослепляла красота итальянских мальчиков и женщин. Венецианские девушки с лебедиными шеями с замысловатыми взбитыми прическами, в широких прозрачных вуалях оказались практически неотразимы. Но, с другой стороны, в борделе водились всякие женщины, а суть игры заключалась в том, чтобы одолеть столько, сколько получится.

Мой господин отвел меня в это место, заплатил за меня целое состояние в дукатах и сказал пышнотелой очаровательной хозяйке, что заберет меня через несколько дней. Дней!

Я бледнел от ревности и сгорал от любопытства, глядя, как он уходит — как знакомая царственная фигура в привычных малиновых мантиях забирается в гондолу и хитро подмигивает мне, пока лодка уносит его прочь. Выяснилось, что я в результате провел три дня в доме самых сладострастных девиц Венеции — спал до полудня, сравнивал оливковую кожу с белой, позволял себе неспешный осмотр нижних волос каждой из красавиц, отличая более шелковистые от более гибких и вьющихся.

Я научился мелким прелестям наслаждения, например, как приятно бывает, когда в соответствующий момент тебя покусывают в грудь (слегка, причем не вампиры) или любовно подергивают волосы подмышками, которых у меня было совсем немного. Мои нижние органы намазывали золотистым медом, который тут же слизывали хихикающие ангелы.

Конечно, там имели место и более интимные приемы, включая зверские акты, которые, строго говоря, считались преступлениями, но в этом доме служили просто разнообразными дополнительными украшениями в принципе здоровых, но дразнящих празднеств. Все делалось элегантно, в больших глубоких деревянных кадках постоянно устраивались горячие ароматизорованные ванны, на поверхности подкрашенной в розовый цвет воды плавали цветы, и я периодически сдавался на милость стайки мягкоголосых женщин, ворковавшей вокруг меня, как птички на карнизе, облизывавших меня, как котята, и завивавших мне волосы, накручивая их на пальцы.

Я был маленьким Ганимедом Зевса, ангелком, выпавшим из непристойной картины Ботичелли (многие из них, кстати сказать, висели в этом борделе, спасенные от Костров суетности, устроенных во Флоренции непрошибаемым реформистом Савонаролой, подстрекавшим великого Ботичелли не больше, ни меньше… сжигать свои прекрасные произведения!), херувимом, упавшим с потолка собора, венецианским принцем (технически таковых в Республике не существовало), доставленным врагами в их руки, чтобы стать абсолютно беспомощным от желания.

А желание мое накалялось. Если приходится на всю жизнь оставаться человеком, то очень весело валяться на турецких подушках с такими нимфами, которых большинство мужчин видят только мельком, да и то в волшебном лесу своей мечты. Каждый мягкий и гладкий пах становился новым экзотическим вместилищем для моего приподнятого настроения.

Вино было великолепным, пища — просто чудесной, причем в меню входили изобретенные арабами подслащенные блюда со специями, и в целом кухня была намного экстравагантнее и экзотичнее, чем блюда, подаваемые дома у моего господина.

(Когда я рассказал ему об этом, он нанял четырех новых шеф‑поваров.)

Я, очевидно, спал, когда за мной явился мой господин, и он в своей загадочной манере тайно забрал меня домой, так что я проснулся уже в собственной постели.

Не успев открыть глаза, я понял, что, кроме него, мне никто не нужен. Такое впечатление, что плотские утехи последних нескольких дней только воспламенили меня, добавили мне голода и желания посмотреть, отреагирует ли его зачарованное белое тело на изученные мной более тонкие приемы. Когда он наконец пришел ко мне под полог, я набросился на него, расстегнул у него на груди рубашку и впился губами в его соски, обнаружив, что несмотря на свою приводящую в замешательство белизну и холодность, они мягкие и, несомненно, интимным, естественным, на первый взгляд, образом связаны с корнями его желаний.

Он лежал спокойно и грациозно, позволяя мне играть с ним так же, как со мной играли мои учительницы. Когда же он наконец начал свои кровавые поцелуи, они полностью затмили все мои воспоминания о человеческих контактах, и я лежал в его объятьях беспомощный, как всегда. Казалось, в эти моменты наш мир становился не просто миром плоти, но миром каких‑то общих чар, которому уступали все законы природы.

Ближе к утру во вторую ночь я нашел его в студии, где он рисовал в одиночестве, пока ученики спали каждый в своем углу, как неверные апостолы в Гефсиманском саду.

Мои вопросы его не остановили бы. Я встал у него за спиной, обвил его руками и, приподнявшись на цыпочки, прошептал свои вопросы ему на ухо.

— Расскажи мне, господин, ты должен рассказать, как ты получил свою волшебную кровь? — Я укусил мочки его ушей и провел руками по его волосам. Он не отрывался от картины. — Ты родился уже в таком состоянии, неужели я ошибаюсь, когда предполагаю, что тебя превратили…

— Прекрати, Амадео, — прошептал он, продолжая рисовать. Он неистово работал над лицом Аристотеля, бородатого, лысеющего старца со своей великой картины «Академия».

— Бывает ли, господин, что ты испытываешь одиночество, побуждающее тебя с кем‑нибудь поговорить, с кем угодно, завести друга своей же породы, излить сердце тому, кто сможет тебя понять?

Он обернулся, пораженный моим вопросом.

— А ты, избалованный ангелок, — сказал он, понизив голос, чтобы сохранить в нем нежность, — думаешь, ты сможешь стать таким другом? Ты невинный! И останешься невинным до конца своих дней. У тебя невинное сердце. Ты отказываешься воспринимать истину, противоречащую глубокой неистовой вере, которая превращает тебя в вечного монашка, в служителя…

Я отступил от него, я еще никогда не злился на него до такой степени.

— Ну уж нет, я не такой! — заявил я. — Я уже мужчина, хотя и выгляжу, как подросток, тебе это прекрасно известно. Кто, кроме меня, размышляет о том, кто ты такой, об алхимии твоего могущества? Жаль, что я не могу нацедить чашку твоей крови, исследовать ее, как врач, определить ее состав и узнать, чем она отличается от жидкости, текущей в моих венах? Да, я твой ученик, да, я учусь у тебя, но для этого мне приходится быть мужчиной. Когда это ты терпел невинность? Когда мы ложимся вместе в постель, это, по‑твоему, невинность? Я — мужчина.

Он разразился изумленным хохотом. Приятно было видеть, как он удивился.

— Расскажите мне вашу тайну, сударь, — сказал я. Я обхватил руками его шею и положил голову ему на плечо. — Существовала ли мать, такая же белая и сильная, как и вы, родившая вас, как богородица, из своего небесного чрева?

Он взял меня за руки и отстранил, чтобы поцеловать, и поцелуй получился такой настойчивый, что я даже испугался. Потом он передвинулся к моей шее, всасывая мою кожу, лишая меня сил и заставляя всем сердцем соглашаться стать тем, кем ему будет угодно.

— Да, я создан из луны и звезд, из царственной белизны, составляющей суть как облаков, так и невинности, — сказал он. — Но ты сам понимаешь, что не мать родила меня таким. Когда‑то я был человеком, человеком, стареющим год от года. Смотри… — Он поднял мое лицо обеими руками и заставил рассмотреть его лицо. — Видишь, в углах глаз еще виднеются остатки морщин, когда‑то отмечавших мое лицо.

— Да их почти не видно, сударь, — прошептал я, стремясь успокоить его, если его волновало подобное несовершенство. Он блистал в собственном сиянии, в своей глянцевой отшлифованности. Простейшие выражения горели на его лице сверкающим огнем.

Представь себе ледяную фигуру, такую же совершенную, как Галатея Пигмалиона, брошенную в пламя, обожженную, тающую, но чьи черты чудом остаются неизменными… вот таким и был мой господин, когда им овладевали человеческие эмоции, как в тот момент. Он сжал мои руки и поцеловал меня еще раз.

— Маленький мужчина, карлик, эльф, — прошептал он. — Ты хочешь остаться таким навеки? Разве ты недостаточно спал со мной, чтобы знать, чем я могу наслаждаться, а чем — не могу?

Я победил его, и на оставшийся до его ухода час он стал моим пленником. Но на следующую ночь он отправил меня в более нелегальный и еще более роскошный дом удовольствий, дом, содержавший для услаждения страстей только молодых мальчиков. Он был оформлен в восточном стиле, и, думаю, в нем смешивалась роскошь Египта с пышностью Вавилона, маленькие отсеки, образуемые золотыми решетками и латунными колоннами, усеянными ляпис‑лазурью, поддерживающими над позолоченными деревянными кушетками с кисточками, обитыми дамастом, задрапированные потолки лососевого цвета. От ладана воздух становился тяжелым, а освещение было успокаивающе неярким.

Обнаженные мальчики, откормленные, зрелые, с гладкими, округлыми руками и ногами, горели энтузиазмом, были сильными и цепкими, и при этом оживляли игры своими собственными бурными мужскими желаниями.

Казалось, моя душа превратилась в маятник, раскачивающийся между здоровой радостью от завоевания и полуобморочной отдачей более сильным телам, более сильным намерениям и более сильным рукам, ласково подбрасывавшим меня из стороны в сторону.

Захваченного двумя умелыми и своевольными любовниками, меня пронзали и вскармливали, молотили и опустошали, пока я не заснул так же крепко, как спал дома без чудес моего господина. Это было только начало.

Посреди своего пьяного сна я очнулся и обнаружил, что меня окружают существа, не производящие впечатления ни мужчин, ни женщин. Только двое из них были евнухами, обрезанными с таким мастерством, что они могли поднимать свои надежные орудия не хуже любого мальчика. Остальные же просто разделяли пристрастие своих товарищей к краске. Глаза каждого из них были подведены и оттенены фиолетовым, ресницы закручены вверх и покрыты лаком, придавая их лицам жутковатое, бездонно отчужденное выражение. Их накрашенные губы казались тверже, крепче, чем у женщин, и более требовательными, подстрекая меня своими поцелуями, словно мужское начало, наделившее их мускулами и твердым членом, добавило потенции даже их ртам. Улыбались они, как ангелы. Грудь каждого из них украшали золотые кольца. Волосы внизу были напудрены золотой пыльцой.

Я не протестовал, когда они на меня набросились. Я не боялся переходить границы и даже позволил им привязать к кровати мои запястья и лодыжки, чтобы они могли с большим успехом творить свои чудеса. Их было невозможно бояться. Я отдавался распятию с удовольствием. Их настойчивые пальцы даже не позволяли мне закрывать глаза. Они гладили мои веки и заставляли меня смотреть. Они проводили по моему телу мягкими толстыми кисточками. Они втирали во всю мою кожу масла. Они всасывали, как нектар, пламенный сок, снова и снова вытекавший из моего тела, пока я не крикнул, что у меня его больше не осталось, что, впрочем, успеха это не принесло. Чтобы в шутку поддразнить меня, они начали вести счет моим «маленьким смертям», потом меня перевернули, связали, а я моментально погрузился в восторженный сон. Проснулся я, не думая ни о времени, ни о заботах. В ноздри мне ударил густой дым трубки. Я принял ее и втянул дым в себя, смакуя знакомый мрачный запах гашиша. Я оставался там четыре ночи. Домой меня опять доставили во сне.

На сей раз я проснулся без сил, раздетый, едва прикрытый тонкой рваной кремовой шелковой рубашкой. Я лежал на кушетке, принесенной прямо из борделя, но находился в студии моего господина, он сидел неподалеку и, видимо, рисовал мой портрет на маленьком мольберте, от которого отрывался только для того, чтобы метнуть на меня взгляд.

Я спросил, сколько времени и какая сейчас ночь. Он не ответил.

— И ты так злишься, что мне понравилось? — спросил я.

— Я сказал, лежи спокойно, — ответил он.

Я откинулся на подушки, замерзший, внезапно обиженный, возможно, одинокий, мечтая, как ребенок, укрыться в его руках.

Наступило утро, и он ушел, так ничего и не сказав. Картина была блистательным шедевром непристойности. Я лежал в позе спящего, заброшенный а берег реки, своеобразный фавн, а надо мной стоял высокий пастух, сам господин, в сутане священника. Окружавший нас лес был густым, живым, с шелушащимися стволами и гроздьями пыльных листьев. Вода в ручье была нарисована так реалистично, что казалась мокрой на ощупь, а мой собственный персонаж выглядел простодушным, погруженным в глубокий сон, рот естественным образом полуоткрыт, брови нахмурены, видимо, под впечатлением от неспокойных видений. Я в ярости бросил ее на пол, надеясь размазать все краски. Почему он ничего не сказал? Зачем он навязал мне эти уроки, которые поставили между нами стену? Почему он злится на меня только за то, что я выполняю его указания? Интересно, не проверку ли моей невинности он устроил этими борделями, неужели его наставления получать удовольствие — одно сплошное вранье? Я сел за его стол, взял перо и нацарапал ему записку:

Ты здесь господин. Ты должен все знать. Невыносимо иметь господином того, кто не умеет управлять. Либо покажи мне путь, пастух, либо клади свой посох.

Дело в том, что я чувствовал себя полностью вымотанным от удовольствий, пьянства, извращения всех моих чувств, и, к тому же, одиноким, только ради того, чтобы быть с ним, ради его руководства, его доброты, чтобы он убедил меня, что я принадлежу ему. Но он ушел. Я отправился на поиски приключений. Я провел целый день в тавернах, пил, играл в карты, намеренно обольщал хорошеньких девушек, ведя честную игру, чтобы держать их при себе во время разнообразных азартных игр.

Затем, с наступлением темноты, я ответил на авансы пьяного англичанина, бледного веснушчатого дворянина из числа старейших родов Франции и Англии, именовавшегося графом Гарлеком, путешествовавшего по Италии, чтобы посмотреть великие чудеса, полностью опьяненного ее многочисленными прелестями, включая содомию в странной стране.

Естественно, он считал меня красивым мальчиком. А кто так не считал? Он и сам был далеко не урод. Даже бледные веснушки обладали своеобразной прелестью, особенно при таких безудержно медных волосах.

Он отвел меня в покои своего великолепного палаццо, где держал слишком много прислуги, и занялся со мной любовью. Это было отнюдь недурно. Мне понравилась его невинность и неловкость. У него были чудесные голубые глаза, светлые и круглые, а также удивительно широкие мускулистые руки и изнеженная, но восхитительно колючая оранжевая борода.

Он писал мне стихи по‑латыни и по‑французски и очаровательно их декламировал. Через пару часов игры в варвара‑завоевателя он сообщил, что хочет, чтобы я оказался сверху. И это мне очень даже понравилось. Так мы потом и играли, я был солдатом‑победителем, а он — жертвой на

поле боя, иногда я легко хлестал его сложенным вдвое ремнем, от чего нас обоих бросало в жаркий пот.

Время от времени он умолял меня признаться, кто я такой на самом деле и где он сможет меня найти, а я, конечно, отказывал.

Я оставался с ним три ночи, болтая о загадочных английских островах, читая ему вслух итальянские стихи, иногда даже играл ему на мандолине и пел все нежные любовные песни, какие помнил.

Он научил меня изрядному количеству грубых, дворовых выражений английского языка и захотел забрать меня к себе домой. Ему придется прийти в чувство, сказал он; ему придется вернуться к своим обязанностям, к своим поместьям, к своей ненавистной порочной жене‑шотландке, изменнице, чей отец был убийцей, и к своему невинному малышу, в чьем отцовстве которого он уверен благодаря его оранжевым кудрям, очень похожим на его собственные.

Он будет содержать меня в Лондоне, в прекрасном доме, подаренном ему его величеством, королем Генрихом Восьмым. Он не может без меня жить, каждый из Гарлеков всегда получал все, что хочет, и у меня нет другого выхода, только подчиниться. Если я — сын могущественного вельможи, то я должен в этом признаться, и он справится с этим осложнением. Кстати, не ненавижу ли я своего отца? Его отец — мерзавец. Все Гарлеки — мерзавцы, и были такими со времен Эдуарда Исповедника. Мы должны ускользнуть из Венеции сегодня же ночью.

— Ты не знаешь ни Венецию, ни ее дворянство, — доброжелательно сказал я. — Подумай. Стоит попробовать — и тебя разрежут на кусочки.

Теперь я чувствовал, что он довольно молод. Так как каждый мужчина взрослее меня казался мне старым, я раньше об это не задумывался. Ему не могло быть больше двадцати пяти лет. А также он был не в своем уме.

Он подскочил на кровати, от чего взметнулись его кустистые медные волосы, выхватил свой кинжал, великолепный итальянский стилет и уставился сверху вниз на мое обращенное к нему лицо.

— Ради тебя я способен на убийство, — гордо и доверительно сказал он на венецианском диалекте. Потом он вонзил кинжал в подушку, и из нее полетели перья. — Я и тебя убью.

Перья взлетели к его лицу.

— И что у тебя останется? — спросил я.

За его спиной раздался треск. Я был уверен, что за окном, за запертыми деревянными ставнями, кто‑то есть, хотя мы и находились на высоте трех этажей над Гранд‑каналом. Я сказал ему. Он мне поверил.

— Я родом из семьи зверских убийц, — соврал я. — Если ты попробуешь вывезти меня отсюда, они будут преследовать тебя до конца света; они по камню разберут твои замки, разрубят тебя надвое, отрежут тебе язык и половые органы, завернут их в бархат и отошлют твоему королю. Так что уймись.

— Ах ты хитрый, дерзкий дьяволенок, — сказал он, — у тебя вид ангела, а держишься ты, как мошенник из таверны, с твоим‑то певучим сладким мужским голосом.

— Да, я такой, — радостно сказал я.

Я встал, поспешно оделся, предупредил его, чтобы он пока что меня не убивал, поскольку я вернусь, как только смогу, так как мое место — исключительно рядом с ним, наспех поцеловал его и направился к двери.

Он вертелся в постели, все еще крепко сжимая кинжал в руке; на его морковного цвета голову, на плечи и бороду осели перья. У него был опасный вид. Я потерял счет ночам своего отсутствия. Я не мог найти открытую церковь. К обществу я не стремился. Было темно и холодно. Вечерний звон уже отзвонили. Конечно, по сравнению со снежной северной страной, где я родился, венецианская зима представлялась мне мягкой, но, тем не менее, она оставалась зимой, гнетущей и сырой, и хотя город очищали свежайшие ветра, он казался негостеприимным и неестественно тихим. Безграничное небо исчезало в густом тумане. Холодом веяло даже от камней, как от ледяных глыб.

На спускавшейся к воде лестнице я сел, не обращая внимания, что она зверски вымокла, и расплакался. Чему меня все это научило?

Это образование дало мне почувствовать себя ужасно искушенным. Но тепла мне оно не принесло, постоянного тепла, и одиночество мучило меня сильнее, чем чувство вины, чем чувство того, что меня прокляли.

Казалось, оно даже заменило мне то, старое чувство. Я очень боялся оказаться в полном одиночестве. Сидя на лестнице, глядя на редкие звезды, плывущие над крышами домов, я чувствовал, насколько ужасно будет потерять одновременно моего господина и чувство вины, быть изгнанным туда, где некому любить меня или проклинать, заблудиться и, спотыкаясь, идти по миру, где моими спутниками будут просто люди, эти мальчики и эти девушки, английский лорд с кинжалом и даже моя любимая Бьянка.

К ней домой я и пошел. Я залез к ней под кровать, как бывало в прошлом, и не хотел выходить.

Она принимала целую стаю англичан, но, к счастью, моего медноволосого любовника среди них не было, он, несомненно, все еще выпутывался из своих перьев, и я решил — ладно, если мой красавчик лорд Гарлек и появиться, он не рискнет позориться перед соотечественниками и строить из себя дурака. Она вошла в спальню, очаровательная в своем фиолетовом шелковом платье, с бесценным ожерельем из сияющего жемчуга вокруг шеи. Она встала на колени и просунула ко мне голову.

— Амадео, ну что с тобой случилось?

Я никогда не искал ее милостей. Насколько я знаю, никто этого не делал. Но в моей характерной подростковой лихорадке самым логичным мне показалось взять ее силой.

Я выбрался из‑под кровати, пошел к дверям и захлопнул их, чтобы нас не побеспокоил шум остальных гостей.

Когда я обернулся, она стояла на полу на коленях и смотрела на меня, сдвинув золотые брови, приоткрыв мягкие персиковые губы с выражением смутного удивления, которое я нашел очаровательным. Мне хотелось раздавить ее своей страстью, но не сильно, конечно, понимая при этом, что потом она снова станет прежней, как если бы прекрасная ваза, разбитая на куски, могла бы сложиться в прежний сосуд из мельчайших частиц и осколков, восстановив свою красу и даже приобрести новый, более утонченный блеск.

Я потянул ее за руки и бросил на кровать. Впечатляющий предмет мебели — великолепная, взбитая, каждый знал, что она спит в ней одна. Изголовье украшали огромные позолоченные лебеди и колонны, поднимающиеся к пологу, расписанному танцующими нимфами. Ее прозрачные занавески были сотканы из золотых нитей. Ничего зимнего, как в красной бархатной постели моего господина, здесь не присутствовало.

Я наклонила и поцеловал ее, зверея от неподвижного, хладнокровного взгляда ее пронзительных красивых глаз. Я сжал ее запястья и, положив ее правую руку на левую, схватил обе ее ладони одной рукой, чтобы иметь возможность разорвать ее изящное платье. Я рвал его бережно, чтобы все крошечные жемчужные пуговицы полетели в сторону, обнажая ее корсет, под которым виднелись планки из китового уса и кружева. Я разломал его, как плотную скорлупу.

У нее оказалась маленькая свежая грудь, слишком нежная и девичья для борделя, где пышные формы были в порядке вещей. Тем не менее, я намеревался помародерствовать. Я напел ей какую‑то песенку и услышал ее вздох. Я спикировал на нее, все еще прочно сжимая ее запястья, быстро и энергично поцеловал по очереди ее соски и отстранился. Я весело похлопал ее по груди справа налево, пока она не порозовела.

Ее лицо покраснело, она не переставала хмурить свои золотые брови, отчего на гладком белом лбу появились несколько неуместные морщинки.

Ее глаза походили на два опала, и хотя она медленно, почти сонно моргала, она даже не вздрогнула.

Я закончил воевать с ее хрупкими одеждами. Я разорвал завязки ее юбки, спихнул ее вниз и обнаружил, что под юбками она восхитительно, прелестно голая, как я и предполагал. Я понятия не имел, что находится под юбками порядочной женщины в плане преград. У нее не было ничего,

кроме маленького золотого гнезда волос, сбившихся в пушок под слегка округлым животиком, и влажного блеска на внутренней стороне бедер.

Я сразу понял, что она оказывает мне любезность. Ее вряд ли можно было назвать беспомощной. А вид поблескивающих от влаги ног чуть не свел меня с ума. Я устремился в нее, изумившись тому, какая она маленькая, как она съеживается, потому что не очень привыкла и ей было немного больно.

Я энергично ее отделывал, приходя в восторг от ее румянца. Я удерживал над ней свое тело с помощью правой руки, потому что никак не мог отпустить ее запястья. Она металась и вертелась, ее золотые локоны выбились из прически, украшенной жемчугом и лентами, она вся взмокла, порозовела и блестела, как внутренняя поверхность выгнутой раковины. Наконец я больше не мог сдерживаться, и, когда я уже собирался выбиться из ритма, она испустила последний вздох. Я выдохся одновременно с ней, и мы закачались вместе, она закрыла глаза, покраснела, как кровь, как будто умирает, и в последнем припадке затрясла головой, а потом расслабилась.

Я перекатился через нее и закрыл лицо руками, как будто ожидал пощечину.

Я услышал ее смешок, и неожиданно она действительно дала мне увесистую пощечину, которая пришлась по рукам. Ерунда. Я сделал вид, что плачу от стыда.

— Посмотри, во что ты превратил мое прекрасное платье, гнусный сатирчик, затаившийся конквистадор! Ах ты подлый, скороспелый ребенок!"

Я почувствовал, что она встала с кровати. Я услышал, как она одевается. Она напевала про себя.

— И что подумает об этом твой господин, Амадео? — спросила она. Я убрал руки и осмотрелся, гадая, откуда исходит ее голос. Она одевалась за раскрашенным деревянным экраном — парижский сувенир, вспомнил я, подаренный одним из ее любимых французских поэтов. Она вскоре появилась, одетая так же блистательно, как и прежде, в бледно‑зеленое весеннее платье, расшитое полевыми цветами. Благодаря крошечными желтым и розовым бутонам, аккуратно вышитым плотной нитью на новом корсаже и длинных юбках из тафты, она казалась мне райским садом.

— Ну, скажи мне, что скажет твой великий господин, когда обнаружит, что его маленький любовник — настоящий лесной бог?

— Любовник? — поразился я.

Она была очень ласковой. Она села и начала расчесывать спутанные волосы. Она не красилась, и наши игры не запятнали ее красоту, а волосы окутывали ее великолепным золотым капюшоном. У нее был гладкий высокий лоб.

— Тебя создал Ботичелли, — прошептал я. Я часто говорил ей об этом, потому что она действительно напоминала его красавиц. Все так считали, и ей не раз дарили маленькие копии картин прославленного флорентинца.

Я подумал об этом, подумал о Венеции и мире, в котором живу. Я подумал о ней, куртизанке, принимающей эти чистые, но сладострастные картины с видом святой.

До меня долетело эхо слов, услышанных давным‑давно, когда я стоял на коленях перед лицом древней блистательной красоты и считал, что достиг вершины, и мне сказали, что я должен взяться за кисть и рисовать только то, что «изображает божий мир». Я не испытывал никакого смятения чувств, только невероятную смесь настроений, наблюдая, как она заново заплетает волосы, вплетает в них тонкие нити с жемчугами и бледно‑зеленые ленты, расшитые теми же симпатичными цветочками, что украшали ее наряд. Полуприкрытая корсажем грудь покраснела. Мне захотелось сорвать его еще раз.

— Красавица Бьянка, с чего ты взяла, что я — его любовник?

— Это все знают, — прошептала она. — Ты его фаворит. Думаешь, он на тебя рассердится?

— Если бы, — сказал я. Я сел. — Ты не знаешь моего господина. Он ни за что не поднимет на меня руку. Он ни за что даже голоса не повысит. Он послал меня научиться всякой всячине, узнать все, что должен знать мужчина.

Она улыбнулась и кивнула.

— Поэтому ты пришел и спрятался под кроватью.

— Мне было грустно.

— Не сомневаюсь, — сказала она. — Ну, теперь спи, а когда я вернусь, если ты еще не уйдешь, я тебя согрею. Стоит ли тебе говорить, мой непокорный мальчик, чтобы ты никогда не смел ни слова проронить о том, что здесь произошло? Неужели ты еще такой маленький, что я должна объяснять тебе такие вещи? — Она наклонилась, чтобы поцеловать меня.

— Нет, моя жемчужина, моя красавица, не нужно мне объяснять. Я даже ему не скажу.

Она выпрямилась и собрала свой рассыпавшийся жемчуг и смятые ленты — следы изнасилования. Она разгладила постель. Она выглядела прелестно, как лебедь в образе человека, под стать позолоченным лебедям ее похожей на ладью кровати.

— Твой господин все узнает, — сказала она. — Он великий волшебник.

— Ты его боишься? Я имею в виду — вообще, Бьянка, не из‑за меня.

— Нет, — сказала он. — С чего бы мне его бояться? Все знают, что лучше его не злить, не оскорблять, не нарушать его уединения и не задавать вопросов, но дело не в страхе. Что ты плачешь, Амадео, что случилось?

— Я не знаю, Бьянка.

— Так я тебе скажу, — сказала она. — Он стал твоим миром, как умеют только великие люди. А ты оказался за его пределами и жаждешь вернуться. Такой человек становится для тебя всем, а его мудрый голос превращается в закон, которому подчиняется все на свете. Все, что лежит вне поля его зрения, не имеет ценности, поскольку он этого не видит и не может назначить ему его цену. Поэтому у тебя нет выбора, ты можешь только оставить пустыню, не освещенную этим светом, и возвращаться к его источнику. Ты должен пойти домой.

Она вышла и закрыла дверь. Я заснул, отказываясь идти домой.

На следующее утро я позавтракал с ней и провел в ее обществе весь день. Наша близость осветила ее в моих глазах новым светом. Сколько бы она ни говорила о моем господине, я пока что хотел видеть только ее, хотел сидеть в ее покоях, весь воздух был пропитан ей, где повсюду стояли ее личные, особенные вещи. Я никогда не забуду Бьянку. Никогда.

Я рассказал ей, как можно рассказать куртизанке, о борделях, в которых я побывал. Может быть, я так подробно их помню, потому что рассказывал о них Бьянке. Конечно, я выбирал слова поделикатнее. Но я ей рассказал. Я рассказал, что мой господин захотел, чтобы я всему научился, и сам отвел меня в эти потрясающие академии.

— Отлично, но тебе нельзя здесь оставаться, Амадео. Он водил тебя в места, где ты мог наслаждаться большим обществом. Ему может не понравиться, что ты остался в обществе одного человека.

Я не хотел уходить. Но с наступлением вечера, когда дом наполнился ее английскими и французскими поэтами, когда заиграла музыка и начались танцы, мне не захотелось делить ее с миром поклонников.

Я некоторое время наблюдал за ней, смутно сознавая, что обладал ею в потайной комнате так, как никто из эти поклонников ей не обладал и обладать не будет, но утешения мне это не принесло.

Мне нужно было получить что‑нибудь от моего господина, что‑нибудь окончательное, заключительное, что все загладило бы; внезапно я до конца это понял и, раздираемый этим желанием, напился в таверне, напился достаточно, чтобы вести себя смело и скверно, и тогда поплелся домой.

Я настроился на наглый, вызывающий и очень независимый лад, на том основании, что так долго пробыл вдали от моего господина и всех его тайн.

Когда я вернулся, он неистово рисовал. Он находился наверху, на лесах, и я сообразил, что он выписывает лица греческих философов, творя чудеса, благодаря которым из‑под кисти появлялись живые лики, как будто он снимал с них слой краски, а не наносил ее.

Он было одет в перепачканную серую тунику, скрывавшую ноги. Когда я вошел, он даже не повернулся. Такое впечатление, что все жаровни, которые нашлись в доме, втиснулись в эту комнату, чтобы осветить ее так, как он хотел.

Мальчиков пугала скорость, с которой он покрывал холст красками.

Пока я заплетающимся шагом пробирался в студию, до меня быстро дошло, что он работает не над своей греческой академией.

Он рисовал меня. На этой картине я стоял на коленях, современный юноша с характерными длинными локонами и в одежде неярких тонов, как будто я покинул светский мир; у меня был очень невинный вид, я сложил руки, как для молитвы. Вокруг меня собрались ангелы, как всегда, с добрыми и прекрасными лицами, но этих ангелов украшали черные крылья.

Черные крылья. Большие крылья с черными перьями. Чем больше я смотрел на нее, тем более отвратительными они мне виделись. Отвратительными, а он уже практически закончил картину. Мальчик с каштановыми волосами, без вызова смотрел на небеса, как живой, а ангелы казались алчными и в то же время грустными.

Однако ничто не производило такого чудовищного впечатления, как вид моего господина, рисующего эту картину, вид его руки и кисти, хлещущей холст, оживляя небо, облака, сломанный фронтон, крыло ангела, солнечный свет.

Мальчики прижимались друг к другу, уверенные, что перед ними — либо сумасшедший, либо колдун. Одно из двух. Зачем же он так бездумно открылся тем, чьи мысли раньше находились в полном покое?

Зачем он щеголяет нашей тайной, что он — такой же человек, как и нарисованные им крылатые существа? Как же он, властелин, потерял терпение подобным образом?

Неожиданно он гневно швырнул горшок с краской в дальний угол комнаты. Стена обезобразилась темно‑зеленой кляксой. Он выругался и выкрикнул что‑то на языке, которого никто из нас не знал.

Он сбросил вниз остальные горшки, и с деревянных лесов полились густые сверкающие потоки краски. Кисти полетели во все стороны, как стрелы.

— Убирайтесь отсюда, идите спать, не хочу вас видеть, невинные создания. Убирайтесь. Уходите.

Ученики разбежались. Рикардо собрал вокруг себя самых маленьких. Все поспешно вышли.

Он сел высоко на лесах, свесив ноги, и смотрел на меня сверху вниз, как будто не знал, кто я такой.

— Спускайся, господин, — сказал я.

Его волосы растрепались и кое‑где запачкались краской. Его не удивило мое присутствие, он не вздрогнул при звуке моего голоса. Он знал, что я пришел. Он всегда знал такие вещи. Он слышал, что говорят в других комнатах. Он знал, о чем думают окружающие. Из него ключом била магия,

а когда я пил из этого ключа, у меня голова шла кругом.

— Давай, я расчешу тебе волосы, — сказал я. Я сам понимал, насколько оскорбительно себя веду.

На нем была грязная туника, вся в пятнах. Он вытирал об нее кисть. Одна из его сандалий упала и застучала по мраморном полу. Я подобрал ее.

— Господин, спускайся. Если тебя обеспокоили какие‑то мои слова, я их больше не повторю.

Он не отвечал.

Внезапно на меня нахлынула вся моя злость, все одиночество — я в результате расстался с ним на много дней, выполняя его указания, а теперь я возвращаюсь домой, где он смотрит на меня безумными, недоверчивыми глазами. Я не буду терпеть, что он отводит взгляд, игнорируя меня, как будто меня нет. Он должен признаться, что разозлился из‑за меня. Он у меня заговорит! Мне вдруг захотелось плакать.

У него стало измученное лицо. Я не мог этого видеть; я не мог думать, что ему тоже бывает больно, как мне, как другим мальчикам. Я испытывал полное отвращение.

— В своем эгоизме ты всех перепугал, мой властелин и хозяин! — объявил я. Не удостоив меня взглядов, он исчез, подняв вокруг себя вихрь, и я услышал, как в пустых комнатах эхо разносит его быстрые шаги.

Я понимал, что он двигался со скоростью, на которую человек не способен. Я помчался за ним, но услышал, как захлопнулись передо мной двери спальни, как скользнул на место засов прежде, чем я успел ухватиться за ручку.

— Господин, впусти меня, — крикнул я, — я ушел только потому, что ты так велел. — Я поворачивался из стороны в сторону. Такие двери взломать невозможно. Я стучал по ним кулаками и пинал их ногами. — Господин, ты же сам послал меня в бордели. Это ты надавал мне чертовых заданий.

Через довольно долгое время я сел на пол под дверью, прислонился к ней спиной, заплакал и завыл. Я поднял буйный шум. Он ждал, пока я прекращу.

— Иди спать, Амадео, — сказал он. — Мой гнев не имеет к тебе отношения.

Не может быть. Вранье! Я пришел в бешенство, я чувствовал себя оскорбленным, обиженным, и замерз. Во всем этом доме было чертовски холодно.

— Так пусть ко мне имеет отношение ваше спокойствие, сударь! — крикнул я. — Открывай чертову дверь!

— Иди спать к остальным, — спокойно сказал он. — Твое место среди них, Амадео. Ты их любишь. Они такие же, как ты. Не ищи общества чудовищ.

— Ах, вот кто вы такой? — спросил я его презрительно и грубо. — Вы, способный рисовать, как Беллини или Мантенья, способный читать любые книги и говорить на любом языке, способный на безграничную любовь и терпение ей под стать, чудовище? Я правильно понял? Это чудовище дало нам крышу над головой и ежедневно кормит нас с кухни богов? Чудовище, как же.

Он не ответил.

Это взбесило меня еще больше. Я спустился на нижний этаж. Я снял со стены большой боевой топор. Раньше я едва замечал выставленное в доме многочисленное оружие. Что ж, пришло и его время, подумал я. Хватил с меня холода. Я больше не могу. Не могу.

Я поднялся наверх и рубанул дверь боевым топором. Конечно, топор прошел сквозь хрупкое дерево, сокрушив расписную панель, расколов старинный лак и красивые желтые и красные розы. Я вытащил топор и снова ударил в дверь.

На этот раз засов сломался. Я толкнул ногой разбитую раму, и она упала на пол.

Он сидел в большом дубовом кресле и смотрел на меня в полном изумлении, сжимая руками львиные головы — подлокотники. За ним вырисовывалась массивная кровать с красным балдахином, отороченным золотом.

— Да как ты смеешь! — сказал он.

В мгновение ока он оказался прямо передо мной, забрал у меня топор и с легкостью отшвырнул его, так что он врезался в противоположную каменную стену. Потом он подхватил меня и бросил по направлению к кровати. Кровать затряслась, вместе с ней — балдахин и драпировки. Никакой человек не смог бы отбросить меня на такое расстояние. Но он смог. Махая ногами и руками, я приземлился на подушки.

— Презренное чудовище! — сказал я, выпрямляясь, и подтянулся на левый бок, подогнув колено, окидывая его злым взглядом.

Он стоял ко мне спиной. Он собирался закрыть внутренние двери в комнату, которые раньше были открыты и поэтому не сломались. Но остановился. Он повернулся ко мне. На его лице заиграло игривое выражение.

— Какой у нас подлый нрав для такой ангельской внешности, — ровно сказал он.

— Если я ангел, — ответил я, отползая от края кровати, — рисуй меня с черными крыльями.

— Как ты смеешь стучаться в мою дверь! — Он скрестил руки на груди. — Неужели я должен объяснять, почему я не потерплю такого ни от тебя, ни от кого другого? — Он стоял и взирал на меня, приподняв брови.

— Ты меня мучаешь, — сказал я.

— Да что ты? Как именно? И с каких пор?

Мне хотелось заорать. Мне хотелось сказать: «Я люблю только тебя».

Вместо этого я сказал:

— Я тебя ненавижу.

Он не смог не засмеяться. Он опустил голову и подпер пальцами подбородок, не сводя с меня глаз. Потом он вытянул руку и щелкнул пальцами. Я услышал, как в нижних комнатах что‑то зашуршало. Я выпрямился и сел, окаменев от изумления.

Я увидел, как по полу в дверь проскользнул длинный учительский хлыст, словно его двигало ветром; потом он изогнулся, перевернулся, поднялся и упал в ожидающую руку.

Внутренние двери захлопнулись за его спиной, засов влетел на место, раздалось звяканье металла. Я отодвинулся подальше.

— Приятно будет тебя выпороть, — сказал он, мило улыбаясь, с почти невинным взглядом. — Можешь записать это в очередные человеческие впечатления, как, например, прыжки со своим английским лордом.

— Давай. Я тебя ненавижу, — сказал я. — Я — мужчина, а ты это отрицаешь.

Он казался высокомерным, спокойным, но отнюдь не развлекался. Он подошел ко мне, схватил меня за голову и швырнул лицом на постель.

— Демон! — сказал я.

— Господин, — невозмутимо ответил он.

Я почувствовал, как его колено уперлось мне в спину, а потом мне на бедра опустился хлыст. Конечно, из одежды на мне были только диктуемые модой тонкие чулки, поэтому с тем же успехом я мог быть и голым.

Я вскрикнул от боли, но сразу закрыл рот. Когда за первым ударом последовало еще несколько побоев, я проглотил шум, но я бешенстве услышал собственный неосторожный возмутительный стон.

Он вновь и вновь опускал хлыст, хлеща меня по бедрам, а затем и по икрам. От злости я попытался приподняться, тщетно отталкиваясь ладонями от покрывала. Я не мог сдвинуться с меня. Меня сковывало его колено, а он самозабвенно хлестал меня, не останавливаясь ни на секунду.

Внезапно, вспомнив, какой я непослушный, я решил поиграть в одну игру. Будь я проклят, если я стану лежать и плакать, а в моим глазам уже подступали слезы. Я крепко зажмурился, сжал зубы и решил, что каждый удар окрашен в божественный красный цвет, мне это нравится, и что горячая сокрушительная боль — тоже красная, а тепло, разливающееся по моим опухающим ногам — золотистое и ласковое.

— Какая прелесть, — сказал я.

— Ты доиграешься, мальчишка! — сказал он и принялся хлестать меня еще сильнее и быстрее. Мои прекрасные видения оставили меня. Мне было больно, чертовски больно.

— Я тебе не мальчишка! — крикнул я.

Я почувствовал, что у меня мокрая нога. Я понял, что по ней течет кровь.

— Господин, ты что, собрался меня изуродовать?

— Что может быть хуже для падшего святого, чем превратиться в мерзкого дьявола?

Новые удары. Я понял, что кровь уже течет в разных местах. Теперь я точно буду весь в шрамах. Я не смогу ходить.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь! Прекрати!

К моему изумлению, он остановился. Я уткнулся лицом в руку и заплакал. Я долго всхлипывал, а ноги так горели, как будто их хлестали до сих пор. Мне казалось, что он опять наносит мне удар за ударом, но это было не так. Я все надеялся — пусть боль утихнет, перерастет во что‑нибудь теплое, во что‑нибудь трепетное и приятное, как в начале, в первые два раза. Так будет терпимо, но это ужасно. Как же мне противно!

Вдруг я почувствовал, что он наклонился надо мной. Я почувствовал, как его волосы приятно защекотали мне ноги. Я почувствовал, как схватил пальцами порванную ткань чулок и дернул за нее, моментально сорвав их с моих ног. Он просунул руки под тунику и сорвал остатки чулок.

Боль завибрировала, потом еще усилилась, затем стало получше. Шрамы обдувал прохладный ветер. Когда к ним прикоснулись его пальцы, я почувствовал такое чудовищное удовольствие, что только застонал.

— Ты еще будешь ломиться ко мне в дверь?

— Никогда, — прошептал я.

— Ты еще будешь мне противоречить?

— Никогда, никогда.

— Что еще?

— Я тебя люблю.

— Не сомневаюсь.

— Но это правда! — задыхаясь, сказал я.

Его пальцы гладили мою раненую плоть, доставляя мне невыносимое наслаждение. Я не осмеливался поднять голову. Я прижался щекой к шершавой вышивке на покрывале, к огромному изображению льва, вдохнул побольше воздуха и дал волю слезам. Мне была спокойно; это наслаждение лишило меня всякой власти над телом. Я закрыл глаза и почувствовал на своей ноге его губы. Он поцеловал один из шрамов. Я решил, что умру. Я попаду в рай, в более возвышенный, в более восхитительный рай, чем этот венецианский рай. Внизу, в моем паху, ожила благодарная, безрассудная и одинокая сила.

На шрам потекла горячая кровь. К нему резко прикоснулся его язык, лизнул его, надавил, и перед моими глазами запылало пламя, ослепительный огонь на мифическом горизонте во мраке моего слепого рассудка.

Он перешел к следующему шраму, на него закапала кровь, он облизал его, и гнусная боль испарилась, оставив только пульсирующее наслаждение. А когда он перешел к новой ране, я подумал, что больше не выдержу, я просто умру.

Он быстро двигался от шрама к шраму, покрывая их своими волшебными поцелуями, сопровождаемый прикосновением языка, а я дрожал всем телом и стонал.

— Ну и наказание! — внезапно выдохнул я. Ужасные слова! Я мгновенно раскаялся.

Но его рука уже опустилась, нанеся мне жестокий удар пониже спины.

— Я не то хотел сказать, — объяснял я. — То есть, я не хотел показаться таким неблагодарным. В смысле, прости меня за эти слова!

Но он ударил меня снова, так же злобно, как и в первый раз.

— Господин, ну пожалей меня. Я совсем запутался! — закричал я. Он опустил руку на теплое место, куда только что меня ударил, и я подумал — вот теперь он изобьет меня до потери сознания.

Но его пальцы всего лишь ласково сжали мою кожу, не разорванную, а просто теплую, как те первые следы хлыста.

Я снова почувствовал прикосновение его губ к моей левой икре, кровь, язык. По всему моему телу разлились приятные ощущения, и я беспомощно ловил ртом воздух.

— Господин, господин, я люблю тебя.

— Ну хорошо, но в этом ничего необычного нет, — прошептал он. Он не прекращал целовать мои ноги. Он слизывал кровь. Я содрогался под его рукой, лежащей у меня на ягодицах. — Вопрос в том, Амадео, почему я тебя люблю? Почему? Зачем мне понадобилось идти в тот вонючий бордель посмотреть на тебя? Я по природе сильный… какой бы ни была моя природа…»

Он жадно поцеловал большой шрам на моем бедре. Я чувствовал, как он высасывает из него кровь и слизывает ее языком, а потом в него потекла его кровь, сотрясая все мое тело. Я ничего не видел, хотя и открыл глаза. Я старался удостовериться, что они и в самом деле открыты, но ничего не мог разглядеть, только золотистый туман.

— Я люблю тебя, очень люблю, — сказал он. — Но почему? Да, ты сообразительный, да, ты очень красивый, а внутри тебя скрываются сожженные останки святого!

— Господин, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я никогда не был святым, никогда, я не считаю себя святым. Я — жалкая, непочтительная, неблагодарная тварь. О, я тебя обожаю. Как же это восхитительно — беспомощно сдаться на твою милость.

— Прекрати издеваться.

— Да не издеваюсь я, — сказал я. — Я хочу высказаться, сказать правду, я хочу быть рабом правды, рабом… Я хочу быть твоим рабом.

— Нет, ты, похоже, действительно не издеваешься. Ты говоришь то, что думаешь. Ты сам не понимаешь, насколько это абсурдно.

Он закончил свое продвижение. Мои ноги потеряли всякую форму, которой они обладали в моем затуманенном мозгу. Я мог только лежать и содрогаться от его поцелуев. Он положил голову на мои бедра, на потеплевшее место, куда он ударил меня рукой, и я почувствовал, что его пальцы дотронулись до моих самых интимных органов.

Мой член твердел в его руке, твердел от вливания его жгучей крови, но еще больше — от присутствия во мне молодого мужского начала, так часто смешивавшего по собственной воле наслаждение с болью.

Он становился все тверже и тверже, я метался и дергался под его головой и плечами, лежащими на моей спине, и в результате в его скользкие пальцы безудержными безостановочными спазмами хлынул бурный поток.

Я приподнялся на локте и оглянулся на него через плечо. Он выпрямился и сидел, уставившись на прилипшую к пальцами жемчужно‑белую сперму.

— Господи Боже, ты этого добивался? — спросил я. — Увидеть в своих руках эту вязкую белую массу?

Он посмотрел на меня с несчастным видом. С ужасно несчастным.

— Разве это не означает, — спросил я, — что время пришло?

В его глазах читалась такая мука, что я не мог больше приставать к нему с вопросами.

Сонный, ослепленный, я почувствовал, что он перевернул меня на спину, сорвал с меня тунику и куртку. Я почувствовал, как он приподнял меня, а затем последовало нападение, укус в шею. Вокруг моего сердца закружилась резкая боль, но, не успел я испугаться, как она ослабла, а потом я опустился рядом с ним в ароматное ущелье постели; и заснул, прижавшись к его груди, согревшись под одеялами, которыми он укрыл нас обоих.

Когда я открыл глаза, стояла глубокая ночь. Я вместе с ним научился определять приближение утра. А утро еще и не собиралось приближаться.

Я осмотрелся по сторонам, ища его глазами. Я увидел, что он стоит в ногах кровати. Он оделся в свой самый изысканный красный бархат. На нем была куртка с разрезами на рукавах и плотная туника с высоким воротником. Красный бархатный плащ был оторочен горностаем.

Он тщательно расчесал волосы и едва заметно натер их маслами, так что они мерцали самым цивилизованным и искусственным образом, откинул их со лба, открывая его чистую, прямую линию, а на плечах закрутил их в искусственные локоны. У него был печальный вид.

— Господин, что случилось?

— Мне нужно уехать на несколько ночей. Нет, не потому что я на тебя сержусь, Амадео. Одно из моих обычных путешествий. Я и так уже давно опаздываю.

— Нет, господин, пожалуйста, только не сейчас. Прости меня, умоляю тебя, только не сейчас! Что мне…

— Дитя. Я ухожу увидеться с Теми, Кого Нужно Хранить. У меня нет выбора.

Сначала я ничего не говорил. Я старался разгадать подтекст его слов. Его голос упал, и слова эти он произнес нерешительно. — А кто они, господин? — спросил я.

— Может быть, когда‑нибудь я возьму тебя с собой. Я испрошу позволения… — Он не закончил

— Зачем, господин? Когда тебе требовалось чье‑то позволение?

Я хотел сказать это простодушно и искренне, но прозвучало это несколько дерзко.

— Ничего страшного, Амадео, — сказал он. — Я периодически испрашиваю позволения у своих Старейших, только и всего. У кого еще мне спрашивать?

Он казался усталым. Он сел рядом со мной, наклонился и поцеловал меня в губы.

— Старейшие, сударь? То есть, Те, Кого Нужно Хранить — такие же создания, как и ты?

— Будь добр к Рикардо и к остальным. Они тебя боготворят, — сказал он. — Они проплакали все время, пока тебя не было. Они даже не поверили, когда я сообщил им, что ты возвращаешься домой. Потом Рикардо подсмотрел за вами с твоим английским лордом и пришел в ужас, что я разорву тебя на клочки, и в то же время боялся, что англичанин тебя убьет. У него неплохая репутация, у твоего английского лорда, он стучит ножом по столу в каждой таверне. Тебе обязательно связываться с заурядными убийцами? Когда дело доходит до любителей лишать людей жизни, тебе нет равных. Когда ты пошел к Бьянке, они не посмели рассказать мне об этом, но воображали у себя в головах красочные картинки, чтобы я не прочел их мысли. Как же они покорны моей силе.

— Они любят тебя, мой повелитель, — сказал я. — Слава Богу, ты простил меня за все те места, где я побывал. Я сделаю все, что ты пожелаешь.

— Тогда спокойной ночи. — Он поднялся, собираясь уходить.

— А на сколько ночей, господин?

— Самое большее, три, — сказал он через плечо. Он направился к двери — высокая величественная фигура в плаще.

— Господин.

— Да?

— Я буду очень хорошо себя вести, как святой, — сказал я. — Но если не получится, ты отхлестаешь меня еще раз?

Как только я увидел на его лице гнев, я немедленно пожалел об этом. Зачем я все это говорю?

— Только не говори мне, что имел в виду не это! — сказал он, прочитав мои мысли и услышав мои слова, прежде чем я успел их произнести.

— Нет. Я просто ненавижу, когда ты уходишь. Я подумал — может быть, если я поддразню тебя, ты не уйдешь.

— Что ж, я уйду. И лучше не дразни меня. Не дразни меня из политических соображений.

Уже в дверях он передумал и вернулся. Он подошел к кровати. Я ожидал самого худшего. Он ударит меня и уйдет, не поцеловав шрам. Но все было по‑другому.

— Амадео, пока меня не будет, подумай об этом, — сказал он. Я смотрел на него протрезвевшими глазами. Все его поведение вынуждало меня поразмыслить, прежде чем проронить хоть слово. — Обо всем, сударь? — спросил я.

— Да, — сказал он. Потом он подошел поцеловать меня. — Ты хочешь остаться таким навсегда? — спросил он. — Вот таким, таким молодым мужчиной, какой ты сейчас?

— Да, господин! Навсегда, с тобой! — Мне хотелось сказать ему, что умею делать все, что умеют мужчины, но это казалось ужасно глупым, к тому же, ему это покажется неправдой. Он любовно положил руку на мою голову, отводя волосы назад.

— Два года следил я, как ты взрослеешь, — сказал он. — Ты достиг своего полного роста, но ты маленький, у тебя детское лицо, и, несмотря на твое здоровье, ты хрупкого сложения, еще не тот здоровый мужчина, в которого, несомненно, должен превратиться с годами.

Я был слишком зачарован, чтобы перебивать. Когда он сделал паузу, я подождал. Он вздохнул. Он посмотрел в сторону, как будто не мог подобрать слов.

— Когда ты ушел, твой английский лорд угрожал тебе кинжалом, но ты не испугался? Помнишь? Еще двух дней не прошло.

— Да, сударь, это было глупо.

— Ты запросто мог умереть, — сказал он, приподнимая бровь. — Запросто.

— Сударь, пожалуйста, раскройте мне эти тайны, — сказал я. — Расскажите, как вы получили свою силу. Доверьте мне свой секрет. Господи, сделайте так, чтобы я остался с вами навсегда. Меня не волнуют мои собственные суждения по этому поводу. Я подчиняюсь вашим.

— Ну конечно, подчинишься, если я выполню твои просьбу.

— Но, сударь, это тоже в своем роде подчинение — отдаться вам, вашей воле, вашей силе, да, я хочу получить ее и быть таким, как ты. Значит, господин, ты это мне обещаешь, ты намекаешь на то, что можешь сделать меня таким, как ты? Ты сможешь наполнить меня своей кровью, которая делает из меня раба, и завершить этот процесс? Иногда, господин, мне кажется, я знаю, что ты можешь это сделать, но я не уверен, может быть, я знаю это только потому, что это знаешь ты, и ты можешь сделать это со мной от одиночества.

— А! — Он закрыл лицо руками, как будто я окончательно его взбесил. Я пришел в замешательство.

— Господин, если я оскорбил тебя, ударь меня, избей, делай со мной, что хочешь, только не отворачивайся. Не закрывай глаза, смотри на меня, господин, потому что я жить не могу без твоего взгляда. Объясни мне все. Господин, убери то, что нас разделяет; если дело только в моем невежестве, то положи ему конец.

— Да, положу, положу, — сказал он. — Ты такой умный, Амадео, и при этом так ловко вводишь в заблуждение. Да, из тебя вышел бы хороший раб божий, ведь раньше тебя учили, что именно таким надлежит быть святому.

— Сударь, вы меня неправильно воспринимаете. Никакой я не святой, я раб, да, потому что, как я полагаю, это форма мудрости, а она нужна мне, поскольку вы цените мудрость.

— Я хочу сказать, что на первый взгляд ты кажешься простодушным, но из твоей простоты рождается глубокое понимание. Я одинок. О да, да, я одинок, одинок, и от одиночества стремлюсь по крайней мере разделить с кем‑то свои беды. Но кто станет обременять моими бедами такое юное создание, как ты? Амадео, как ты думаешь, сколько мне лет? Угадай мой возраст, с твоей‑то простотой.

— У вас его нет, сударь. Вы не едите, не пьете, не меняетесь со временем. Вам не нужна вода, чтобы омывать свое тело. У вас гладкая кожа, она не поддается никаким природным явлениям. Господин, мы все это знаем. Вы — чистое, возвышенное и цельное творение.

Он покачал головой. Я расстраивал его, хотя стремился к противоположному эффекту.

— Я уже это сделал, — прошептал он.

— Что, мой повелитель, что ты сделал?

— Связал тебя с собой, Амадео, пока… — Он замолчал. Он нахмурился, но у него было такое доброе и удивленное лицо, что мне стало больно. — Нет, это эгоистичный самообман. Я мог бы взять тебя, дать тебе кипу золота и переместить в какой‑нибудь город подальше, где…

— Господин, лучше убей меня. Убей меня, или же удостоверься, что твой город лежит вне пределов исследованного мира, потому что я вернусь назад! Я потрачу последний дукат из твоей кипы золота, чтобы вернуться сюда и постучать в твою дверь.

Он казался совсем несчастным, таким похожим на человека я его еще не видел, дрожащим, несчастным— он отвел глаза и заглянул поглубже в разделявшую нас бескрайнюю пропасть.

Я прижался к его плечу и поцеловал его. Теперь, благодаря грубому акту, свершившемуся между нами несколько часов назад, нас связывала более глубокая, более зрелая интимность.

— Нет, у меня нет времени на такие утешения, — сказал он. — Мне пора идти. Долг зовет меня. Древность зовет меня, существа, чье бремя я так долго несу на себе. Я так устал!

— Не уходи сегодня, господин, возьми меня туда, где ты скрываешься от солнца. Ведь ты от солнца прячешься, не так ли, господин, ты, кто рисует голубые небеса и сияние Феба с большим блеском, чем те, кто их видит, ты сам никогда их не видишь.

— Прекрати, — взмолился он, сжимая пальцами мою руку. — Прекрати свои поцелуи, прекрати свои доводы, делай то, что я говорю.

Он сделал глубокий вдох и впервые за всю нашу совместную жизнь я увидел, как он достал носовой платок и стер влагу, выступившую на губах и на лбу. Ткань слегка покраснела. Он посмотрел на нее.

— Перед уходом я хочу тебе кое‑что показать, — сказал он. — Одевайся, быстро. Давай, я тебе помогу.

Меньше, чем за несколько минут, я полностью оделся для холодной зимней ночи. Он накинул мне на плечи черный плащ, протянул мне отделанные горностаем перчатки и надел мне на голову черную бархатную шляпу. Из обуви он выбрал черные кожаные сапоги, которые никогда прежде видеть на мне не хотел. Он считал, что у мальчиков красивые лодыжки, и сапоги не любил, хотя не возражал, чтобы мы носили их днем, когда он нас не видел.

Он так расстроился, так мучился, и все это так явно отражалось на его лице, несмотря на его выбеленную чистоту, что я не мог удержаться и не поцеловать его, просто чтобы раскрыть его губы, просто чтобы почувствовать, как его рот ответит мне.

Я закрыл глаза. Его рука накрыла мое лицо и мои веки.

Вокруг раздался громкий шум, как будто захлопали деревянные двери, как будто по сторонам разлетелись обломки проломленной мной двери, как будто драпировки раздулись и хлопнули.

Меня окружил холодный уличный воздух. Он поставил меня на землю, я ничего не видел, но понял, что стою на набережной. Я слышал рядом воды канала, волнующиеся, как волны, словно зимний ветер растревожил их и привел в город море, а еще я слышал, как о причал монотонно бьется деревянная лодка.

Он отпустил пальцы, и я открыл глаза.

Мы находились далеко от палаццо. Меня смутило, что мы преодолели такое расстояние, но я не особенно удивлялся. Он умел творить чудеса, а теперь показал мне это на деле. Мы стояли в темных переулках. На маленькой пристани у узкого канала. Я никогда не осмеливался выбираться в этот гнусный район, где жили рабочие.

Я видел дома только с черного хода, обитые железом окна, общую убогость, кромешную тьму и вонь, так как на поверхности глубокого, волнующегося под воздействием зимнего ветра канала плавали отходы.

Он повернулся и потащил меня за собой подальше от воды, на секунду мне ничего было не видно. Сверкнула его белая рука. Я увидел, как он выставил один палец, и заметил, что в прогнившей гондоле, вытянутой из воды и поставленной в рабочем квартале, спит человек. Человек пошевелился и отбросил свое одеяло. Он заворчал и выругался, так как мы нарушили его сон, и я рассмотрел его неповоротливую встрепенувшуюся фигуру.

Я потянулся за кинжалом. Я увидел, как сверкнул его клинок. Белая рука господина, сияющая, как кварц, едва коснулась его пояса, а оружие отлетело от него и покатилось по камням. Одурманенный и взбешенный, человек неуклюже бросился на моего господина, чтобы сбить его с ног.

Господин легко перехватил его, как большой сверток из шерсти, от которой несло пороком. Я увидел лицо господина. Его рот приоткрылся. Появились два крошечных острых зуба, сами по себе как кинжалы, и он вонзил их в горло того человека. Я услышал, как человек вскрикнул, но лишь на мгновение, а потом его вонючее тело успокоилось.

Изумленно и завороженно следил я, как мой господин закрывает свои гладкие глаза — во мраке его золотые ресницы отливали серебром, и услышал тихий мокрый звук, едва слышный, но вызывающий чудовищные предположения, как будто что‑то льется — и это лилась человеческая кровь. Мой господин прижался к жертве еще крепче, его отчетливые белые пальцы выжимали из умирающего тела всю жизнь, и он издал долгий сладостный вздох наслаждения. Он пил. Он пил, и это ни с чем не спутаешь. Он даже слегка нагнул голову, словно хотел побыстрее выжать последние капли, и от этого тело человека, на вид хрупкое и пластичное, содрогнулось в последних конвульсиях, а затем затихло.

Господин выпрямился и провел языком по губам. Не видно было ни капли крови. Но саму кровь я видел. Я видел ее в теле своего господина. Его лицо приобрело красный отлив. Он повернулся, посмотрел на меня, и я рассмотрел яркий румянец на его щеках, цветущий блеск губ.

— Вот откуда она берется, Амадео, — сказал он. Он толкнул труп ко мне, так что меня задели грязные одежды, а когда тяжелая мертвая голова запрокинулась, он подтолкнул ее еще ближе, и я был вынужден посмотреть в грубое безжизненное лицо обреченного. Он был молодой, он был бородатый, он был некрасивый, он был бледный, а еще он был мертвый.

Под каждым обмякшим невыразительным веком, показались белые полоски. Из пожелтевших гнилых зубов, из бездыханного бесцветного рта свисала скользкая струйка слюны.

Я лишился дара речи. Ни страх, ни отвращение не имели к этому отношения. Я просто поразился. Если у меня и были какие‑то мысли, то я думал, что это невероятно.

Во внезапном припадке бешенства мой господин отшвырнул труп влево, к воде, куда он и упал с глухим плеском и бульканьем.

Он подхватил меня, и я увидел, что мимо меня вниз падают окна. Я чуть не закричал, когда мы поднялись над крышами. Он зажал мне рот рукой. Он двигался так быстро, будто что‑то вытолкнуло или подкинуло его в воздух.

Должно быть, мы описали круг, а когда я открыл глаза, мы стояли в знакомой комнате. Вокруг нас опускались на место длинные золотые занавески. Здесь было тепло. В тени я увидел сияющий силуэт золотого лебедя.

Это была комната Бьянки, ее личное святилище, ее самая частная комната.

— Господин! — сказал я, приходя в страх и отвращение из‑за того, что мы пришли вот так в ее покои, даже слова не сказав.

Тонкая полоска света под закрытыми дверьми расползалась по паркету и толстому персидскому ковру. Она накладывалась на резные перья ее лебединого ложа.

Потом от облака легкомысленных голосов отделились ее поспешные шаги, чтобы она сама выяснила, что является причиной услышанного шума.

Когда она открыла двери, в комнату через открытое окно ворвался холодный зимний ветер. Она плотно захлопнула окна, изгоняя сквозняк — бесстрашное создание, а затем с безошибочной точностью потянулась к ближайшей лампе и подкрутила фитиль. Зажегся огонек, и я увидел, что она смотрит на моего господина, хотя меня она наверняка тоже заметила.

Она была такая же, как всегда, какой я оставил ее несколько часов назад, ставших для меня целым миром, в золотистом бархате и шелках, на затылке скручена коса, чтобы уравновесить ее пышные локоны, во всем своем великолепии струившиеся по плечам и по спине. Ее маленькое личико оживилось от тревоги и сомнений.

— Мариус, — сказала она. — И по какой причине вы, мой властелин, являетесь сюда подобным образом, в мои личные комнаты? По какой причине вы появляетесь через окно, и вдвоем с Амадео? Что это значит, ревность?

— Нет, просто мне нужна исповедь, — сказал мой господин. У него даже дрожал голос. Он крепко держал меня за руку, как ребенка, и приблизился к ней, обвиняюще выставив свой длинный палец. — Расскажи ему, мой милый ангел, расскажи ему, что скрывается за твоим чудесным личиком.

— Я не знаю, о чем ты говоришь, Мариус. Но ты меня злишь. И я приказываю тебе убираться из моего дома. Амадео, а ты что скажешь на это оскорбление?

— Не знаю, Бьянка, — пробормотал я. Я ужасно испугался. Никогда еще я не слышал, чтобы голос моего господина дрожал, и никогда еще я не слышал, чтобы кто‑то так фамильярно обращался к нему по имени.

— Убирайся из моего дома, Мариус. Немедленно уходи. Я обращаюсь к человеку чести.

— Вот как? А каким образом ушел из твоего дома твой друг, флорентинец Марцелий, кого тебе велели заманить сюда хитроумными речами, кому ты подмешала в напиток яда, способного убить двадцать человек?

Лицо моей дамы стало еще более хрупким, но ни на секунду не ожесточилось. Оценивая моего сердитого, дрожащего господина, она казалась настоящей фарфоровой принцессой.

— А тебе‑то что за дело, мой властелин? — спросила она. — Разве ты превратился в Верховный Совет или в Совет Десяти? Веди меня к судьям, предъяви улики, если тебе будет угодно, скрытный колдун! Докажи свои слова.

В ней присутствовало какое‑то значительное нервное достоинство. Она выгнула шею и подняла подбородок.

— Убийца, — сказал господин. — В одной клетке твоего мозга я вижу дюжину исповедей, дюжину жестоких назойливых поступков, дюжину преступлений…

— Нет, не тебе меня судить! Может, ты и маг, но ты не ангел, Мариус. С твоими‑то мальчиками!

Он подтянул ее к себе, и я снова увидел, как открылся его рот. Я увидел его смертоносные зубы.

— Нет, господин, нет! — Я вырвался из его ослабшей хватки и налетел на него с кулаками, протиснувшись между ним и ею, изо всех сил замолотив по его телу. — Не смей, господин! Мне все равно, что она сделала! Зачем ты докапываешься до этих причин. Ты называешь ее назойливой? Ее! Да что с тобой такое?

Она отлетела к кровати и с трудом забралась на нее, поджимая ноги. Он отодвинулась в тень.

— Да ты — дьявол из самого ада, — прошептала она. — Ты — чудовище, я все видела. Амадео, он ни за что не оставит меня в живых.

— Оставь ее в живых, повелитель, или я умру вместе с ней! — воскликнул я. — Она здесь просто урок, я не буду смотреть, как она умирает.

Мой господин был в ужасном состоянии. Он был просто ошеломлен. Он оттолкнул меня от себя, но поддержал, чтобы я не упал. Он направился к кровати, но больше не преследовал ее. Он сел рядом с ней. Она еще глубже отпрянула к изголовью, тщетно потянувшись рукой к прозрачной золотой драпировке, словно та могла ее спасти.

Она посерела, съежилась, но не сводила с него неистовых голубых глаз.

— Мы с тобой оба убийцы, Бьянка, — прошептал он ей. Он протянул к ней руку.

Я помчался к ним, но он небрежно задержал меня правой рукой, а левой расправил на ее лбу несколько кудряшек, выбившихся из прически. Он положил ладонь на ее лоб, как священник, раздающий благословения.

— А все по грубой необходимости, сударь, — сказала он. — В конце концов, разве у меня был выбор? — Какая же она была храбрая, какая сильная — как тонкое серебро, сплавленное со сталью. — Что мне делать, раз мне дают задания, я же знаю, что придется делать и для кого. Как же они хитры. То зелье убивало жертву целыми днями, далеко от моего гостеприимного дома.

— Пригласи сюда своего притеснителя, дитя, и отрави, вместо того, чтобы травить тех, на кого он укажет.

— Да, так все и разрешится, — поспешно сказал я. — Убей того, кто тебя заставляет.

Она, казалось, всерьез призадумалась, а потом улыбнулась.

— А как же его стража, его родня? Меня задушат за такое предательство.

— Я убью его ради тебя, милая, — сказал Мариус. — И за это ты не будешь должна мне никаких великих преступлений, обещай только снисходительно забыть аппетит, который ты увидела во мне этой ночью.

Впервые ее мужество, казалось, дрогнула. Ее глаза наполнились чистыми красивыми слезами. В ней промелькнула тень усталости. Она на секунду повесила голову.

— Ты знаешь, кто он, ты знаешь, где он проживает, ты знаешь, что он сейчас в Венеции.

— Считай, что он мертв, моя прекрасная дама, — сказал мой господин. Я обхватил его рукой за шею. Я поцеловал его в лоб. Он пристально смотрел на нее.

— Ну, пойдем, херувим, — сказал он мне, не отводя от нее взгляда. — Избавим мир от этого флорентинца, этого банкира, который использует Бьянку, чтобы расправиться с теми, кто тайно доверил ему свои счета.

Такая догадливость потрясла Бьянку, но она опять улыбнулась мягкой, понимающей улыбкой. Она была такая грациозная, неподвластная ни гордыне, ни горечи. Все кошмары она оставляла в стороне.

Мой господин прижал меня покрепче к себе правой рукой. Левой он извлек из куртки большую прекрасную грушевидную жемчужину. Бесценная вещь. Он передал ее Бьянке, которая приняла ее только после некоторых колебаний, глядя, как она падает в ее праздную раскрытую ладонь.

— Позволь поцеловать тебя, милая принцесса, — сказал он.

К моему изумлению, она позволила, и он осыпал ее легкими поцелуями, я увидел, как наморщились ее изящные золотые брови, как ее глаза затуманились, а тело расслабилось. Она откинулась на подушки и крепко заснула.

Мы удалились. Мне показалось, будто я услышал, как за нами захлопнулись ставни. Ночь выдалась сырая и темная. Моя голова утыкалась в плечо господина. Я не смог бы посмотреть в небо или пошевелиться, даже если бы захотел.

— Благодарю тебя, мой возлюбленный повелитель, за то, что ты не убил ее, — прошептал я.

— Она не просто практичная женщина, — сказал он. — Она еще не сломлена. Она невинна и коварна, как герцогиня или королева.

— Но куда мы теперь идем?

— Мы уже пришли, Амадео. Мы на крыше. Посмотри вокруг. Слышишь, как шумно внизу?

Там играли звенели бубны, играли флейты и барабаны.

— Значит, они умрут в разгар пира, — задумчиво сказал господин. Он стоял на краю крыши, держась за каменные перила. Ветер отнес его плащ за спину, и он обратил глаза к лестнице.

— Я хочу все посмотреть, — сказал я. Он закрыл глаза, как будто я его ударил.

— Не считайте, что я бесчувственный, сударь, — сказал я. — Не думайте, что я устал и привык к грубости и жестокости. Я просто раб, сударь, раб божий. Если я правильно помню, мы не усомнимся. Мы будем смеяться, будем принимать и превратим всякую жизнь в радость.

— Тогда спускайся со мной. Там их целая толпа, толпа хитрых флорентинцев. Как же я голоден. Я специально голодал в ожидании подобной ночи.

### 5

Наверное, так себя чувствуют смертные во время охоты на большого зверя в лесу или в джунглях.

Что касается меня, то, спускаясь по лестнице с потолка в обеденный зал этого нового и богато украшенного палаццо, я ощущал крайнее возбуждение. Сейчас умрут люди. Сейчас произойдет убийство. Плохие люди, люди, несправедливо поступившие с прекрасной Бьянкой, будут безо всякого риска убиты моим всемогущим господином, что не подвергнет опасности никого из тех, кого я знал или любил.

Целая армия наемников не могла бы испытывать к этим личностям меньшего сострадания. Наверное, даже венецианцы, атакующие турков, больше сочувствовали своим врагам, чем я.

Я был зачарован; я уже ощущал запах крови, как своеобразный символ. Я хотел посмотреть, как прольется кровь. В любом случае, мне не нравились флорентинцы, и я совершенно точно мечтал о быстрой расправе не только для тех, кто подчинил Бьянку собственной воле, но и для тех, кто поставил ее на путь жажды моего господина. Да будет так.

Мы вошли в просторный, впечатляющий обеденный зал, где компания человек из семи обжиралась великолепным ужином из жареного поросенка. По всей комнате с огромных металлических стержней свисали фламандские гобелены, совсем новые, живописующие прекрасные сцены охоты — вельможи и их дамы с лошадьми и гончими; эти тяжелые гобелены закрывали даже окна и доходили до самого пола.

Пол же представлял собой изящно инкрустированный разноцветный мрамор с изображениями павлинов, в чьих больших веерообразных хвостах поблескивали настоящие драгоценные камни. Стол оказался очень широким, и с одной стороны этого стола сидело трое мужчин, буквально пускающих слюни над грудами золотых блюд с липкими костями рыбы и птицы и самого жареного поросенка, бедного раздувшегося существа, чья голова осталась нетронутой, постыдно сжимая челюстями традиционное яблоко, словно оно символизировало выполнение его последнего желания.

Остальная троица, молодые мужчины, довольно симпатичные и в высшей степени атлетически сложенные, что угадывалось благодаря великолепным мускулам ног, были поглощены танцами, образовав хитроумный кружок, сцепившись в его центре за руки, а небольшая группа мальчиков играла на инструментах, чей грохочущий марш мы и услышали с крыши.

Пир оставил на каждом из них пятна и следы жира. Но любой из членов компании мог похвастаться густыми и длинными, как велела мода, волосами, а также нарядными, богато расшитыми шелковыми туникой и чулками. Комнату не согревал огонь, но никому из присутствующих он был не нужен, все уже сбросили бархатные куртки, отороченные напудренным горностаем или серебряной лисой.

Вино расплескивал из кувшина по кубкам человек, явно не способный справиться с этой задачей. А танцующая троица хотя и была исполнена благих намерений разыграть свою сцену, также буянила и толкала друг друга, намеренно высмеивая всем нам знакомые танцевальные фигуры.

Я сразу заметил, что прислугу уже отпустили. Несколько кубков опрокинулись. Несмотря на зиму, над сияющими полуобъеденными скелетами и кипами влажных фруктов вились стайки крохотных мошек.

Над комнатой повис золотистый туман — дым табака, так как они курили самые разнообразные трубки. Фон гобеленов был неизменно темно‑синим, что придавало всей сцене теплоту, подчеркивая яркий блеск богатых разноцветных одежд мальчиков‑музыкантов и собравшихся гостей.

Когда мы вошли в дымную теплую комнату, меня совершенно одурманила ее атмосфера, и когда мой господин велел мне сесть у края стола, мне пришлось сесть от слабости, хотя я и отпрянул, чтобы не дотрагиваться даже до столешницы, не говоря уже о гранях разнообразных тарелок.Краснолицые громкоголосые весельчаки не обращали на нас внимания. Уже ритмичного шума музыки хватало, чтобы мы оставались невидимыми, поскольку она подавляла все органы чувств. Но мужчины до того напились, что не заметили бы нас и в гробовой тишине. Мой господин запечатлел на моей щеке поцелуй и прошел к самой середине стола, к свободному месту, предположительно оставленному один из тех, кто скакал под музыку; господин перешагнул через скамью с подушками и сел. Только тогда двое мужчин, оказавшиеся по обе стороны от него, которые до того момента непреклонно орали друг на друга по тому или иному поводу, обратили внимание на этого блистательного гостя в алых одеждах.

Мой господин сбросил капюшон плаща, и его феноменально длинные волосы приняли чудесную форму. Он снова стал похож на Христа во время Тайной вечери — тонкий нос, спокойный полный рот, светлые волосы, так ровно расчесанные на пробор, оживающие от ночной влаги.

Он по очереди осмотрел обоих гостей, и, к моему изумлению — я смотрел на него через стол, он углубился в их разговор, обсуждая зверства, обрушившиеся на венецианцев, оставшихся в Константинополе, когда турок двадцати одного года от роду, султан Махмуд Второй, завоевал город.

Похоже, они спорили по поводу того, как именно турки ворвались в священную столицу, и один человек говорил, что, если бы венецианские корабли не отплыли от Константинополя, дезертировав накануне конца, город смогли бы спасти.

Никоим образом, утверждал другой мужчина, рыжеволосый здоровяк с золотистыми, на первый взгляд, глазами. Какой красавец! Если Бьянку сбил с пути этот негодяй, то я мог себе представить, как ему это удалось. Между рыжей бородой и усами виднелась роскошный рот, изогнутый, как лук Купидона, а сильная челюсть напоминала мраморные сверхчеловеческие фигуры Микеланджело.

— Сорок восемь дней турецкие пушки обстреливали городские стены, — заявлял он своему собеседнику, — и в результате они прорвались. На что оставалось надеяться? Ты хоть раз видел такие пушки?

Второй человек, очень хорошенький темноволосый паренек с оливковой кожей, круглыми щеками, подступавшими к маленькому носу, и с большими черными бархатными глазами, разъярился и сказал, что венецианцы вели себя как трусы, что поддержка их флота могла бы остановить даже пушки, если бы он только появился на месте событий. Он стукнул кулаком по стоявшему перед ним блюду.

— Константинополь бросили! — объявил он. — Ему не помогли ни Венеция, ни Генуя. В тот страшный день величайшую империю на земле обрекли на развал!

— Неправда, — довольно спокойно сказал мой господин, поднимая брови и слегка наклоняя голову набок. Он медленно обвел взглядом каждого из собеседников по очереди. — На самом деле, многие храбрые венецианцы пришли на помощь Константинополю. У меня есть основания полагать, что даже прибытие всего венецианского флота на остановило бы турков. Молодой султан Махмуд Второй мечтал получить Константинополь и ни за что не остановился бы.

Это было очень интересно. Я готовился получить урок истории. Мне было недостаточно хорошо видно и слышно, поэтому я вскочил и обошел вокруг стола, подтащив к нему легкое кресло с скрещенными ножками и удобным сиденьем из красных кожаных ремней, чтобы устроить себе хороший наблюдательный пункт. Я поставил его на углу, чтобы лучше видеть танцоров, которые при всей своей неловкости оставались зрелищем, достойным наблюдения, хотя бы из‑за длинных развевающихся разукрашенных рукавов и топота усыпанных драгоценностями туфель.

Рыжий мужчина за столом, откинул назад длинную, густую кудрявую гриву и, встретив сильную поддержку со стороны моего господина, окинул его бешеным восхищенным взглядом.

— Да‑да, вот человек, который знает, что там произошло, а ты все врешь, дурак, — сказал он собеседнику. — А знаешь ли ты, что генуэзцы храбро сражались до самого конца. Папа послал три корабля; они прорвали блокаду и проскользнули прямо к поганому замку султана, Румели Хизар. Это был Джованни Лонго, представляешь себе подобную храбрость?

— Честно говоря, нет! — ответил черноволосый, наклоняясь перед моим господином, как перед статуей.

— Настоящая храбрость, — небрежно заметил мой господин. — Зачем вы говорите чушь, в которую сами не верите. Будет вам, вы же знаете, что произошло с венецианскими кораблями, захваченными султаном.

— Да, что ты на это скажешь? А ты бы поплыл в ту гавань? — вопросил рыжеволосый флорентинец. — Знаешь, что сделали с венецианскими кораблями, захваченными за полгода до этого? Обезглавили каждого человека на борту.

— За исключением командующего! — выкрикнул танцор, обернувшийся, чтобы вступить в разговор, но не прекращавшего танца, чтобы не сбиться с шага. — Его посадили на кол. Его звали Антонио Риццо — один из благороднейших людей в мире.

Он продолжил танец, сделав небрежный презрительный жест через плечо. Потом, совершая пируэт, он поскользнулся и чуть не упал. Остальные танцоры подхватили его. Черноволосый за столом качал головой.

— Будь там весь венецианский флот… — закричал он. — Но вы, флорентинцы и венецианцы, все одинаковые, предатели, вечно себе лазейку ищете.

Мой господин, глядя на него, рассмеялся.

— Ты надо мной не смейся, — заявил черноволосый, — ты — венецианец; я тебя тысячу раз видел, тебя и мальчишку!

Он показал на меня. Я взглянул на господина. Мой господин только улыбнулся. Я отчетливо услышал его шепот, прямо в ухо, как будто нас не разделяло столько футов:

— Свидетельство мертвеца, Амадео.

Черноволосый поднял кубок, опрокинул в горло немного вина и пролил столько же жидкости на свою остроконечную бороду.

— Полный город потворствующих ублюдков! — объявил он. — Только на одно они годятся — деньги занимать под высокий процент, когда все уже промотали на роскошные одежды.

— Кто бы говорил, — ответил рыжеволосый. — Сам как павлин паршивый. Стоило бы тебе хвост отрезать. Ладно, вернемся к Константинополю, раз ты так уж чертовски уверен, что его можно было спасти!

— Сам говоришь, как поганый венецианец.

— Я — банкир; я человек ответственный, — сказал рыжеволосый. — Я восхищаюсь теми, кому делаю деньги. — Он поднял свой кубок, но вместо того, чтобы выпить вино, плеснул его в лицо черноволосому мужчине.

Мой господин не потрудился отодвинуться, так что вино, несомненно, частично пролилось на него. Он посмотрел на два румяных потеющих лица по обе стороны от него.

— Джованни Лонго, один из храбрейших генуэзцев, когда‑либо командовавших кораблем, пробыл в городе всю осаду! — закричал рыжеволосый. — Вот это мужество. Вот на такого человека я поставлю деньги.

— С чего бы это? — закричал тот же танцор, что вмешаться в разговор.

Он ненадолго вырвался из круга, чтобы объявить:

— Он проиграл битву, к тому же у твоего отца хватало здравого смысла не вкладывать ни в кого из них деньги.

— Не сметь! — воскликнул рыжеволосый. — За Джованни Лонго и генуэзцев, которые сражались вместе с ним! — Он схватил кувшин, чуть не перевернув его, оросил вином свой кубок, а заодно и стол, а потом сделал глубокий глоток. — И за моего отца. Да сжалится Господь над его бессмертной душой. — Отец, я убил твоих врагов, и убью тех, кто купается в невежестве.

Он развернулся, въехал локтем в одежду моего господина и сказал:

— А мальчик у вас красивый. Не торопитесь с ответом. Подумайте. Сколько?

Мой господин расхохотался так естественно и мелодично, как при мне еще никогда не смеялся.

— Предложите мне что‑нибудь, что‑нибудь, что может мне пригодиться, — сказал мой господин, украдкой блеснув глазами в мою сторону. Такое впечатление, что каждый мужчина в зале разглядывал меня с головы до ног; обрати внимание, они не были любителями мальчиков; они были просто итальянцами своей эпохи, которые, как от них требовалось, плодили детей, а также при каждой удобной возможности развратничали с женщинами, тем не менее ценили пухленького сочного молодого человека, как сегодня люди ценят поджаренный до золотистой корочки тост, намазанный сметаной и превосходной черной икрой.

Я не смог сдержать улыбку. Убей их, думал я, пусти их на убой. Я почувствовал себя привлекательным и даже красивым. Ну же, кто‑нибудь, скажите, что я напоминаю вам Меркурия, разгоняющего облака в «Весне» Ботичелли; однако рыжеволосый мужчина, сосредоточив на мне плутоватый игривый взгляд, сказал:

— Ах, это же «Давид» Верроккьо, натурщик той бронзовой статуи. И не заверяйте меня в обратном. Он, к тому же, бессмертный, о да, это видно, бессмертный. Он никогда не умрет.

Он опять поднял кубок. Потом он потрогал свою тунику на груди и вытащил из‑под напудренной горностаевой оторочки своей куртки богатый золотой медальон с ограненным бриллиантом невероятного размера. Он сорвал цепочку с шеи и гордо протянул его моему господину, который смотрел, как он болтается перед ним, как шар, способный наложить на него чары.

— За всех нас, — сказал черноволосый, поворачиваясь и глядя на меня в упор. Остальные смеялись. Танцоры кричали:

— Да, и за меня!

— Ничего не получишь, если я не буду вторым, после тебя!

— Послушай, я первый, даже до тебя!

Последнее обращалось к рыжеволосому, но драгоценность танцор бросил моему господину — кольцо с карбункулом и неизвестным мне блестящим фиолетовым камнем.

— Сапфир, — шепотом сказал мой господин, поддразнивая меня взглядом. — Амадео, согласен?

Третий танцор, блондин, ростом пониже любого из присутствующих, с небольшим горбом у левого плеча, вырвался из круга и подошел ко мне. Он снял с пальцев все кольца, как будто перчатки стянул, и швырнул их мне, так что они забренчали у моих ног.

— Улыбнись мне благосклонно, юный бог, — сказал он, хотя он задыхался после танца, и бархатный воротник промок от пота. Он с трудом держался на ногах и чуть не перевернулся, но смог превратить это в шутку, неуклюже пустившись в пляс.

Музыка не смолкала, она грохотала и грохотала, словно музыканты считали, что она способна заглушить опьянение их господ.

— Кого‑нибудь интересует осада Константинополя? — спросил мой господин.

— Расскажите мне, что стало с Джованни Лонго, — тихим голосом попросил я. Все взгляды устремились на меня.

— Лично у меня на уме осада… Амадео, правильно?… Да, Амадео! — воскликнул танцор‑блондин.

— Ладно‑ладно, сударь, — сказал я. — Поучите лучше меня истории.

— Ах ты чертенок, — сказал черноволосый мужчина. — Даже кольца не подобрал.

— Да у меня все пальцы в кольцах, — вежливо сказал я, и это была правда. Рыжеволосый не замедлил ринуться в бой.

— Джованни Лонго оставался там все сорок дней, пока шел обстрел. Когда турки проломили стены, он сражался всю ночь. Ничто его не страшило. Его отнесли в безопасное место лишь потому, что он получил пулю.

— А пушки, сударь? — спросил я. — Они действительно были такие большие?

— Можно подумать, ты там был! — закричал черноволосый рыжему, прежде чем тот успел мне ответить.

— Мой отец там был! — сказал рыжий. — И выжил, чтобы все рассказать. Он был на последнем корабле с венецианцами, который выскользнул из гавани, а пока вы не успели вставить слово, сударь, предупреждаю, не смейте дурно говорить о моем отце или тех венецианцах. Они вывезли население в безопасное место, битва была проиграна…

— Дезертировал, ты хочешь сказать, — ответил черноволосый.

— Я хочу сказать, выскользнул, унося с собой беспомощный беженцев, когда битва была уже проиграна. Ты назвал моего отца трусом? Ты в хороших манерах понимаешь не больше, чем в войне. Ты слишком глуп, чтобы с тобой драться, да и слишком пьян.

— Аминь, — сказал мой господин.

— Скажи ему, — обратился рыжий к моему господину. — Ты, Мариус Римский, скажи ему. — Он сделал новый слюнявый глоток. — Расскажи ему о бойне, обо всем, что произошло. Расскажи ему, как дрался на стенах Джованни Лонго, пока ему не угодила пуля в грудь. Слушай, безмозглый дурень! — — заорал он своему другу. — Никто в этих делах не разбирается лучше Мариуса Римского. Колдуны умны, говорит моя шлюха — за Бьянку Сольдерини.

Он осушил стакан.

— Ваша шлюха, сударь? — спросил я. — Вы так выражаетесь о такой женщине, в присутствии пьяных непочтительных мужчин?

Никто не обратил на меня внимания, ни рыжий, который опять опрокидывал кубок, ни все остальные.

Ко мне поплелся неверным шагом танцор‑блондин.

— Они пьяны и о тебе забыли, прекрасный мальчик, — сказал он. — Но только не я.

— Сударь, вы спотыкаетесь, когда танцуете, — сказал я. — Смотрите, не споткнитесь, когда будете за мной ухаживать.

— Ах ты жалкий щенок, — сказал он и упал на меня, потеряв равновесие. Я вылетел из кресла и отскочил вправо. Он споткнулся о кресло и упал на пол.

Со стороны остальных раздался взрыв хохота. Два оставшихся танцора отказались от своих па.

— Джованни Лонго был храбр, — невозмутимо ответил мой господин, обозрев обстановку и возвращая свой прохладный взгляд к рыжему. — Все они были храбры. Но ничто не могло спасти Византию. Ее час пробил. Кончилось время императоров и трубочистов. А в последующем побоище многое было безвозвратно утеряно. Библиотеки сжигались сотнями. Столько священных рукописей и их неуловимые тайны развеялось, как дым.

Я попятился от атаковавшего меня пьяницы, который перекатился по полу.

— Ах ты паршивая болонка! — заорал он на меня, растянувшись у моих ног. — Я сказал, дай мне руку.

— Да, сударь, однако, — сказал я, — мне кажется, вы этим не ограничитесь.

— Так и будет! — воскликнул он, но его занесло, и он снова упал, испуская унылый стон.

Один из сидевших за столом мужчин — красивый, но пожилой, с длинными густыми волнистыми седыми волосами и великолепным морщинистым на лице, тот, кто все это время молча угощался жирной бараньей лопаткой, посмотрел поверх лопатки на меня и на того, кто упал, а теперь корчился, пытаясь подняться на ноги.

— Хммм. Значит, Голиаф пал, маленький Давид, — улыбнулся он мне. — Последи за своим языком, маленький Давид, мы не все здесь тупые великаны, а тебе еще рановато кидаться камнями.

Я улыбнулся ему в ответ.

— Ваша острота так же неуклюжа, как и ваш друг, сударь. Что касается, как вы выразились, моих камней, они останутся на месте, в своем мешке, и подождут, пока вы не споткнетесь о вашего друга.

— Вы упомянули о книгах, сударь? — спросил Мариуса рыжий мужчина, абсолютно игнорируя нашу перепалку. — При падении величайшего города мира жгли книги?

— Да, этого приятеля книги интересуют, — сказал черноволосый. — Сударь, вы бы лучше присмотрели за мальчишкой. Он человек конченый, танец изменился. Велите ему не смеяться над старшими.

Ко мне направились двое танцоров, оба такие же пьяные, как и тот, кто упал. Они сделали вид, что хотят меня погладить, и превратились в одно зловонное, тяжело дышащее четверорукое чудовище.

— Ты улыбаешься, когда наш друг катается по полу? — спросил один из них, вставляя мне колено между ног.

Я попятился и чудом избежал увесистой оплеухи.

— Ничего добрее я придумать не смог, — ответил я. — Учитывая, что причиной его падения стало поклонение мне. Смотрите, господа, сами не увлекитесь этим культом. Я ни в коей мере не настроен отвечать на ваши молитвы.

Мой господин поднялся.

— Меня это начинает утомлять, — сказал он прохладным чистым голосом, эхом отлетевшим от покрытых гобеленами стен. Этот голос леденил душу. Все посмотрели на него, даже ковыряющийся на полу человек.

— В самом деле! — сказал черноволосый, поднимая голову. — Мариус Римский, верно? Я о вас слышал. Я вас не боюсь.

— Это вам очень благоприятствует, — прошептал мой господин с улыбкой. Он положил руку на его голову, и тот рванулся в сторону, чуть не свалившись со скамьи, и теперь он совершенно определенно испугался.

Танцоры смерили взглядом моего господина, наверняка стараясь вычислить, легко ли будет его одолеть. Один из них снова набросился на меня.

— Молитвы, черт подери! — сказал он.

— Сударь, поосторожнее с моим господином. Вы его утомляете, а он, когда устанет, очень легко раздражается.

Я выдернул руку, за которую он намеревался меня схватить.

Я попятился еще дальше, смешавшись с мальчиками‑музыкантами, так что меня, как облако, окутала музыка.

Я увидел на их лицах панику, но они заиграли еще быстрее, не обращая внимания на выступивший над бровями пот.

— Отлично, отлично, господа, — сказал я. — Мне нравится. Но сыграйте реквием, если можно.

Они окинули меня отчаянными взглядами, но знаков расположения не выказали. Барабан не умолкал, свирель вела свою извилистую мелодию, зал трепетал от перебора лютни.

Блондин на полу закричал, призывая на помощь, так как совершенно не мог подняться, и двое танцоров оказали ему поддержку, хотя один из них продолжал стрелять в меня настороженными взглядами.

Мой господин посмотрел сверху вниз на черноволосого противника, одной рукой потянул его со скамьи вверх и наклонился, чтобы поцеловать его в шею. Тот повис в руках моего господина. Он застыл, как маленький хрупкий зверек в пасти у огромного хищника, и я почти расслышал, как из него хлынула кровь, когда мой господин встряхнул волосами, и они упали вниз, прикрывая следы роковой трапезы. Он быстро уронил его на скамью. За этой сценой наблюдал только рыжий. И он был настолько пьян, что, казалось, никак не мог сообразить, что к чему. Он в недоумении приоткрыл один глаз и еще раз выпил из своего грязного, забрызганного кубка. Он облизал по одному пальцы правой руки, как кот, а мой господин бросил его черноволосого товарища лицом на стол, прямо на блюдо с фруктами.

— Пьяный идиот, — сказал рыжий. — Никто не сражается за благородство, за честь, за порядочность.

— В любом случае, немногие, — сказал мой господин, глядя на него.

— Они, эти турки, раскололи мир на двое, — ответил рыжий, уставившись на мертвеца, который, несомненно, отвечал ему тупым взглядом с разбитого блюда. Я не видел лицо мертвеца, но меня невероятно возбуждало сознание того, что он мертв.

— Ну хватит, господа, — сказал Мариус, — а вы, сударь, подойдите сюда, вы, кто подарил моему сыну столько колец.

— Так это ваш сын, сударь? — крикнул светловолосый горбун, стоя, наконец, на ногах. Он оттолкнул от себя своих друзей. Он повернулся и пошел на призыв. — Я ему таким отцом буду, вам и не снилось.

Внезапно мой господин совершенно беззвучно появился на нашей стороне стола. Его одежды моментально разгладились, как будто он просто сделал шаг. Рыжий, видимо, этого просто не заметил.

— Скандерберг, великий Скандерберг, поднимаю за него кубок, — сказал сам себе рыжий. — Его давно уже нет, но дайте мне пять Скандербергов, и я снаряжу новый крестовый поход, чтобы забрать наш город у турков.

— Ну надо же, а кто не снарядил бы, с пятью‑то Скандербергами? — спросил пожилой человек, сидевший за столом подальше, с чавканьем вгрызающийся в лопатку. Он вытер рот голым запястьем. — Но не существует генерала, равного Скандербергу, и никогда не существовало, за исключением его самого. Что там с Людовико? Дурак ты! — Он встал.

Мой господин обхватил блондина рукой, и тот толкнул его, придя в ужас, когда господин не сдвинулся с места. Пока двое танцоров толкали и отпихивали моего господина, чтобы освободиться своего товарища, мой господин дарил ему свой смертоносный поцелуй. Он приподнял подбородок блондина и сразу перешел к большой артерии на шее. Он качнул его в противоположную сторону и, наверное, вытянул кровь одним большим глотком. В мгновение ока он прикрыл веки своей жертвы двумя белыми пальцами и отпустил тело, соскользнувшее на пол.

— Ваша очередь умирать, милостивые господа, — сказал он попятившимся от него танцорам. Один из них выхватил меч.

— Не глупи! — заорал его друг. — Ты пьян. Ты никогда…

— Да, не выйдет, — с легким вздохом сказал мой господин. Его губы стали такими розовыми, какими я их еще никогда не видел, а выпитая кровь прилила к щекам. Даже в глазах появился новый блеск, новое сияние.

Он схватил рукой меч и нажатием большого пальца надломил металл, так что в руке противника остался только обломок.

— Как вы смеете! — закричал мужчина.

— Лучше спроси, как он это сделал! — пропел рыжий. — Разломил надвое, да? Что же это за сталь?

Любитель лопатки очень громко засмеялся и запрокинул голову. Он оторвал от кости новую порцию мяса.

Мой господин протянул руку и вырвал из времени и пространства владельца сломанного меча, и на этот раз, чтобы обнажить вену, он с шумным хрустом сломал ему шею.

Казалось, все остальные услышали этот звук — тот, кто ел лопатку, насторожившийся танцор и рыжеволосый мужчина.

Следующим мой господин обнял последнего танцора. Он взял его лицо в ладони, как будто от любви, и снова принялся пить, приоткрыв рот у горла, чтобы я на секунду увидел кровь, настоящий поток крови, который тут же исчез за склоненной головой господина.

Я видел, что кровь перекачивается в пальцы моего господина. Я не мог дождаться, пока он поднимет голову, что наступило очень быстро, даже быстрее, чем в случае с предыдущей жертвой; он посмотрел на меня, как во сне, его лицо пылало. Он выглядел таким же человеком, как все остальные, и так же обезумел от своего необычного напитка, как они от простого вина.

Непослушные золотые кудри прилипли к его лбу от выступившего пота, и я увидел тонкую пленку крови. Музыка резко остановилась.

Ее остановила не бойня, а вид моего господина, из рук которого на пол выскользнула последняя жертва, безвольный мешок костей.

— Реквием, — повторил я. — Их призраки будут вам благодарны, добрые господа.

— Либо так, — сказал Мариус, приближаясь к музыкантам, либо бегите отсюда.

— Я думаю, бежим отсюда, — прошептал лютнист. Они моментально повернулись и направились к дверями. В спешке они все тянули и тянули щеколду, выкрикивая проклятья.

Мой господин отступил и подобрал с пола драгоценные кольца, лежавшие вокруг кресла, где я раньше сидел.

— Дети мои, вы уходите без оплаты, — сказал он.

Охваченные страхом, беспомощно хныча, они обернулись и увидели, что он кидает им кольца, и каждый из них неловко, нетерпеливо и пристыженно поймал по драгоценности, брошенной господином. Потом двери резко отворились и хрустнули о стены. Они вышли из зала, чуть не оцарапав дверной косяк, и двери захлопнулись.

— Ловко! — отметил человек с лопаткой, которую он наконец‑то отложил в сторону, так как мясо уже кончилось. — И как тебе это удается, Мариус Римский? Говорят, ты могущественный маг. Не понимаю, почему Верховный Совет не призовет тебя к суду по обвинению в колдовстве. Должно быть, все дело в твоих деньгах, нет?

Я уставился на моего господина. Никогда еще я не видел его таким привлекательным, как сейчас, когда его разгорячила новая кровь. Мне хотелось дотронуться до него. Мне хотелось, чтобы он меня обнял. Он смотрел на меня пьяными и ласковыми глазами.

Но он оторвал от меня свой соблазнительный взгляд и прошел обратно к столу, обошел его по‑человечески и сел рядом с человеком, который доел свою лопатку.

Седовласый мужчина поднял на него глаза и бросил взгляд на своего рыжего товарища.

— Не глупи, Мартино, — сказал он рыжему. — Может быть, в Венеции вполне легально заниматься колдовством, если человек платит налоги. Положи свои деньги в банк Мартино, Мариус Римский. — Я и кладу, — сказал Мариус Римский, мой господин, — и они приносят мне вполне приличный доход.

Он снова сел между мертвецом и рыжим, который пришел в восторг и возбуждение от того, что Мариус вернулся к нему.

— Мартино, — сказал мой господин. — Давайте поговорим поподробнее о падении империй. Ваш отец, почему он оказался вместе с генуэзцами?

Рыжий, воспламенившись от всего этого разговора, гордо заявил, что его отец был представителем семейного банка в Константинополе, а впоследствии умер от ран, полученных в тот последний страшный день.

— Он все видел, — говорил рыжий, — он видел, как истребляли женщин и детей. Он видел, как отдирали священников от алтарей храма Святой Софии. Он знает тайну.

— Тайну! — фыркнул пожилой человек. Он пододвинулся к ним и, широко взмахнув левой рукой, столкнул со скамьи мертвеца, который упал через нее на пол.

— Господи Боже, бессердечный ублюдок, — сказал рыжий. — Слышал, как треснул его череп? Не смей обращаться так с моим гостем, если тебе жизнь дорога.

Я подошел поближе к столу.

— Да, иди‑иди сюда, красавчик, — сказал рыжий. — Присаживайся. — Он обратил ко мне свои пламенеющие золотом глаза. — Садись напротив меня. Господи, только просмотрите на Франсиско. Готов поклясться, я слышал, как треснул его череп.

— Он умер, — мягко сказал Мариус. — Пока что все в порядке, беспокоиться не о чем. Его лицо еще больше прояснилось от выпитой крови. Ее цвет сохранялся до сих пор, оно все светилось, а волосы на фоне покрасневшей кожи казались еще светлее. Вокруг его глаз ожили крошечные паутинки сосудов, ни на йоту не лишая их приводящей в благоговейный восторг сияющей красоты.

— Хорошо, прекрасно, они умерли, — сказал рыжий, пожимая плечами. — Да, я вам говорил, и вам, черт подери, стоит мои слова запомнить, потому что я точно знаю. Священники, священники взяли священную чашу и священную просфору и пошли в потайное место в храме Святой Софии. Мой отец все видел своими глазами. Я знаю тайну.

— Глазами, глазами, — сказал пожилой человек. — У тебя, должно быть, павлин был вместо отца, что у него столько глаз!

— Заткнись, или я перережу тебе горло, — сказал рыжий. — Смотри, что ты сделал с Франсиско, взял его и опрокинул. Господи! — Он довольно лениво перекрестился. — Да у него на затылке кровь!

Мой господин обернулся и, нагнувшись, намочил пять пальцев в этой крови. Он медленно повернулся ко мне, потом к рыжему. Он всосал кровь с одного пальца.

— Мертвый, — с легкой усмешкой сказал он. — Но она еще вполне теплая и густая. — Он медленно улыбнулся.

Рыжий смотрел на него завороженно, как ребенок на представлении марионеток. Мой господин распрямил окровавленные пальцы ладонью вверх, как бы говоря: «Хочешь попробовать?»

Рыжий схватил Мариуса за запястье и облизал кровь с большого и указательного пальцев.

— Мммм, как вкусно, — сказал он. — Все мои товарищи — отличной крови.

— И не говорите, — ответил мой господин. Я не мог оторвать от него глаз, от его изменившегося лица. Теперь казалось, что его щеки даже потемнели, или же они просто округлились, когда он улыбался. У него порозовели губы.

— И я еще не закончил, Амадео, — прошептал он. — Я только начал.

— Он не сильно ранен! — настаивал пожилой человек. Он рассмотрел лежавшую на полу жертву. Он волновался. Неужели он его убил? — У него на затылке просто крошечный порез, вот и все. Разве нет?

— Да, крошечный порез, — сказал Мариус. — И в чем же заключается тайна, дорогой друг? — Он повернулся спиной к седому мужчине, заговорив с рыжим с куда большим интересом, чем прежде.

— Да, прошу вас, — сказал я. — В чем же тайна, сударь? В том, что священники бежали?

— Нет, мальчик, не будь тупицей! — ответил рыжий, взглянув на меня через стол. Он был невероятно красив. Бьянка его когда‑нибудь любила? Она никогда не рассказывала.

— Тайна, тайна, — сказал он. — Если ты в эту тайну не поверишь, то ни во что уже не поверишь, ни в святое, ни в нечестивое.

Он поднял кубок. Он был пуст. Я поднял кувшин и наполнил кубок темным ароматным вином. Я подумал, не стоит ли и мне попробовать, потом отвращение взяло верх.

— Чушь, — прошептал мой господин. — Выпей за упокой их душ. Давай. Вон чистый кубок.

— Ах да, прости меня, — сказал рыжий. — Я даже не предложил тебе кубок. Господи, подумать только, я кинул тебе на пол простой ограненный бриллиант, когда хотел получить твою любовь.

Он взял кубок, богатую, изысканную вещицу, инкрустированную серебром и усыпанную крошечными камнями. Теперь я заметил, что все кубки составляли один набор, на каждом были вырезаны крошечные изящные фигурки, отделанные одинаковыми яркими камешками. Он со звоном поставил кубок на стол. Он взял у меня кувшин, наполнил кубок и протянул его.

Я подумал, что сейчас подступит такая тошнота, что меня вырвет прямо на пол. Я посмотрел на него, на его почти приятное лицо и красивые огненно‑рыжие волосы. Он озарился мальчишеской улыбкой, обнажив мелкие, но идеально белые зубы, просто жемчужные, и, казалось, влюбился в меня до безумия и размечтался, не произнося ни слова.

— Бери, выпей, — сказал мой господин. — Ты ступил на опасный путь, Амадео, так выпей же за знания, выпей за силу.

— Вы ведь не смеетесь надо мной, сударь, правда? — спросил я, уставившись, на рыжего, но обращаясь прямо к Мариусу.

— Я люблю тебя, как всегда, — ответил мой господин, но ты все‑таки замечаешь что‑то в моих словах, так как от человеческой крови я грубею. Так всегда бывает. Только в голодании я обретаю божественную чистоту.

— Да, и на каждом перекрестке поворачиваете меня от кары, — сказал я, — по направлению к чувствам, к удовольствиям.

Мы пересеклись взглядом с рыжим. Но я слышал ответ Мариуса.

— Кара — это и есть убийство, вот в чем камень преткновения. Кара — это убивать без причины, просто так, не за «честь, благородство и порядочность», как говорит наш друг.

— Да! — сказал «наш друг», повернувшись к Мариусу, а потом опять ко мне. — Пей! — Он протянул мне кубок.

— А когда все будет кончено, Амадео, собери мне эти кубки и отнеси домой, чтобы они служили трофеем моего провала и поражения, ибо это одно и то же, а также уроком для тебя. Редко я вижу это с так отчетливо и ясно.

Рыжий наклонился вперед, увлекаясь флиртом, и поднес кубок прямо к моим губам.

— Маленький Давид, ты вырастешь и станешь королем, помнишь? Да, я мог бы поклоняться тебе, маленький мужчина с нежными щечками, и молить хоть об одном псалме от твоей арфы, хоть об одном, лишь бы ты дал его по собственной воле!

Мой господин тихо прошептал:

— Можешь исполнить последнее желание умирающего?

— По‑моему, он умер! — сказал седой человек с раздражающей громкостью.

— Смотри, Мартино, кажется, я‑таки убил его; у него кровь течет из головы, как из помидора, черт бы его побрал. Посмотри!

— Да заткнись ты! — сказал рыжеволосый Мартино, не сводя с меня глаз.

— Ну же, исполни последнюю просьбу умирающего, маленький Давид, — продолжал он. — Все мы умрем, я умру за тебя, не умрете ли вы со мной, сударь, ненадолго, прямо в моих руках? Давай поиграем в одну игру. Она вас развлечет, Мариус Римский. Посмотрите, как я заберусь на него, как я ритмично и искусно буду его гладить, и на ваших глазах скульптура из плоти забьет фонтаном, я поработаю насосом, и мне в руки хлынет влага.

Он сложил руки, как будто уже получил то, что хотел. Он удерживал мой взгляд. Потом низким шепотом произнес:

— Я слишком мягок, из меня скульптуры не получится. Дай же мне отпить от твоего фонтана. Сжалься над умирающим от жажды.

Я выхватил его дрожащей руки кубок и выпил его до дна. Мое тело напряглось. Я решил, что вино поднимется назад, и меня вырвет. Я заставил его спуститься вниз. Я посмотрел на моего господина.

— Как же мерзко, мне противно.

— Чушь какая, — ответил он, едва шевеля губами. — Смотри, какая вокруг красота!

— Будь я проклят, если он не умер, — сказал седой. Он пнул труп Франсиско на полу. — Мартино, я пошел.

— Останьтесь, сударь, — сказал Мариус. — Я поцелую вас на ночь.

Он хлопнул его по запястью и набросился на его горло, но что подумал рыжий, который только едва взглянул на них, прежде чем продолжить свои молитвы. Он опять наполнил мой кубок. Седой человек издал стон, или это был Мариус? Я окаменел от ужаса. Когда он отвернулся от своей жертвы, я увидел разлившуюся в нем новую кровь, и я отдал бы все на свете, лишь бы он снова стал белым, мой мраморный бог, мой высеченный из камня отец на нашей общей постели.

Рыжий встал прямо передо мной, перегнулся через стол и приложился к моему рту мокрыми губами.

— Я умираю из‑за тебя, мальчик! — объявил он.

— Нет, ты умираешь без причины, — сказал Мариус.

— Господин, пожалуйста, только не его! — крикнул я.

Я отлетел назад, чуть не потеряв равновесие. Нас разделила рука моего господина, и его ладонь легла рыжему на плечо.

— В чем же тайна, сударь? — отчаянно крикнул я, — тайна храма Святой Софии, в которую нужно поверить?

Рыжий был совершенно одурманен. Он знал, что он пьян. Он знал, что происходящее не поддавалось логике. Но он считал, что так ему кажется, потому что он перебрал. Он посмотрел на руку Мариуса, лежавшую у него на груди, и даже повернулся, чтобы посмотреть на пальцы, сжимающие его плечо. Потом он посмотрел Мариусу в лицо, и я тоже.

Мариус стал человеком, настоящим человеком. Ни следа не осталось от недоступного, не меняющегося бога. В его глазах и лице мерцала кровь. Он разрумянился, как будто долго бежал, и губы его были в крови, он облизнул их, и язык оказался рубиново‑красным. Он улыбнулся Мартино, последнему, единственному, оставшемуся в живых.

Мартино оторвал глаза от Мариуса и поглядел на меня. Он мгновенно смягчился и потерял бдительность. Он почтительно заговорил:

— В разгар осады, когда турки ворвались в церковь, некоторые священники оставили алтарь Святой Софии, — сказал он. — Они унесли с собой чашу и святое причастие, тело и кровь нашего Господа. Они и по сей день спрятаны в потайных комнатах храма Святой Софии, и в тот самый миг, когда мы возьмем город, в тот самый миг, когда мы вернем себе великий храм Святой Софии, когда мы прогоним турков из нашей столицы, вернутся те священники, те самые священники. Они выйдут из своего укрытия, поднимутся по ступеням алтаря и возобновят мессу с того самого момента, на каком их заставили остановиться.

— А, — вздохнул я в восхищении от услышанного. — Господин, — тихо сказал я, — ведь это достаточно хорошая тайна, чтобы оставить ему жизнь, нет?

— Нет, — сказал Мариус. — Эту историю я знаю, а он сделал нашу Бьянку шлюхой.

Рыжий сделал усилие, чтобы следить за нашими словами, проникнуть в глубину нашего диалога.

— Шлюхой? Бьянку? Десять раз убийцей, сударь, но не шлюхой. Шлюха — все совсем не так просто. — Он разглядывал Мариуса с таким видом, словно находил этого разгоряченного от страсти мужчину прекрасным. Так оно и было.

— Да, но ты научил ее совершать убийства, — почти нежно произнес Мариус, массируя пальцами его плечо, а левую руку закинул ему за спину, чтобы иметь возможность соединить на плече обе руки. Он наклонил голову и лбом коснулся виска Мартино.

— Хммм. — Мартино весь встряхнулся. — Я перепил. Я никогда не учил ее ничему подобному.

— Да нет, учил, ты ее учил, но убивать за такие ничтожные суммы.

— Господин, а нам‑то что за дело?

— Мой сын забывается, — сказал Мариус, глядя на Мартино. — Он забывает, что я обязан убить тебя от имени нашей прекрасной дамы, которую ты хитростью заманил в свои темные, грязные заговоры.

— Она оказала мне услугу, — сказал Мартино. — Дайте мне мальчика!

— Прошу прощенья?

— Вы намерены убить меня, так убивайте. Но дайте мне мальчика. Один поцелуй, сударь, я о большем не прошу. Один поцелуй, мне будет достаточно. Для всего остального я слишком пьян!

— Пожалуйста, господин, я этого не выдержу! — воскликнул я.

— Как же ты намереваешься вынести вечность, дитя мое? Разве ты не знаешь, что я собираюсь тебе дать? Разве есть у Бога такая сила, что может меня сломить? — Он окинул меня яростным, злым взглядом, но мне казалось, что в нем больше притворства, чем подлинных эмоций.

— Я выучил свой урок, — сказал я. — Я просто не могу смотреть, как он умрет.

— О да, значит, выучил. Мартино, целуй моего сына, если он позволит, и смотри, будь с ним ласков.

Теперь уже я перегнулся через стол и поцеловал рыжего в щеку. Он повернулся и перехватил мои губы своим ртом, голодным, кислым от вина, но соблазнительно, электрически горячим.

Из моих глаз брызнули слезы. Я открыл рот и впустил его язык. Закрыв глаза, я чувствовал, как он завибрировал, как его губы затвердели, как будто превратились в зажавший меня жесткий металл.

Мой господин набросился на него, набросился на его горло, и поцелуй застыл, а я в слезах, вслепую нащупал рукой то самое место на шее, куда проникли зловещие зубы моего господина. Я нащупал шелковые губы моего господина, твердые зубы под ними, хрупкую шею.

Я открыл глаза и отстранился. Мой обреченный Мартино вздыхал и стонал, закрыл губы и с затуманенными глазами откинулся назад в руках моего господина.

Он медленно повернул к господину голову. Он заговорил неслышным, хриплым, пьяным голосом:

— Из‑за Бьянки…

— Из‑за Бьянки, — сказал я. Я всхлипнул и заглушил всхлипы ладонью. Мой господин выпрямился. Правой рукой он разгладил влажные, спутанные волосы Мартино.

— Из‑за Бьянки, — сказал он ему на ухо.

— Не надо было… не надо было оставлять ей жизнь, — со вздохом сказал Мартино свои последние слова. Его голова упала вперед, на правую руку моего господина.

Господин поцеловал его в затылок и отпустил, Мартино соскользнул на стол.

— Очарователен до последней секунды, — сказал он. — Глубокая душа настоящего поэта.

Я встал, оттолкнув назад скамью, и выбрался на середину зала. Я плакал, плакал, и больше не мог заглушать слезы руками. Я полез в куртку за носовым платком, и в тот самый момент, когда я начал вытирать слезы, я споткнулся о лежавшее у меня за спиной тело горбуна и чуть не упал. Я испустил жуткий, слабый, постыдный крик.

Я отодвигался от него и от трупов его товарищей, пока не нащупал за спиной тяжелый шершавый гобелен и не услышал запах пыли и ниток.

— Так вот чего ты он меня хотел, — всхлипывал я, — чтобы я это возненавидел, чтобы я плакал из‑за них, дрался из‑за них, умолял за них.

Он все еще сидел за столом, Христос на тайной вечере, с аккуратно уложенными на пробор волосами, положив одну покрасневшую руку на другую, глядя на меня горячими плывущими глазами.

— Чтобы ты плакал хотя бы из‑за одного из них, из‑за одного! — сказал он. В его голосе зазвучал гнев. — Разве я прошу слишком многого? Чтобы ты пожалел хотя бы об одной из стольких смертей? — Он поднялся из‑за стола. Его трясло от бешенства.

Я закрыл лицо платком и всхлипывал в него.

— Для безымянного нищего, кому постель заменяет лодка, у нас слез не найдется, не так ли, и пусть наша хорошенькая Бьянка не страдает, раз мы поиграли в молодого Адониса в ее постели! И из‑за этих мы плакать не будем, разве только из‑за одного, несомненно, самого порочного злодея, и то потому что он нам польстил, не правда ли?

— Я узнал его, — прошептал я. — Я хочу сказать, за это короткое время я успел его узнать и….

— А ты предпочел бы, чтобы они бежали от тебя, безымянные, как лисы в кустах! — Он указал на гобелены, запечатлевшие королевскую охоту. — Смотри же глазами мужчины на все, что я тебе показываю.

В комнате внезапно потемнело, все свечи задрожали. Я охнул, но это был всего лишь он — он возник прямо передо мной и смотрел на меня сверху вниз — беспокойное, разгоряченное существо, чей жар я чувствовал так остро, как будто каждая его пора дышала теплым дыханием.

— Господин, — крикнул я, глотая слезы, — ты доволен тем, чему ты меня научил, или нет? Ты доволен тем, чему я научился, или нет? Не смей играть со мной! Я тебе не марионетка, и никогда ей не буду? Чего же ты он меня хочешь? Почему ты злишься? — Меня затрясло, и слезы хлынули настоящим потоком. — Ради тебя я буду сильным, но я… я узнал его.

— Почему? Потому что он с тобой целовался? — Он наклонился и собрал левой рукой мои волосы. Он потащил меня к себе.

— Мариус, ради Бога!

Он поцеловал меня. Он целовал меня, как Мартино, и рот у него был такой же человеческий и горячий. Его язык скользнул мне в рот, и я почувствовал не кровь, но мужскую страсть. Его пальцы горели на моих щеках.

Я вырвался. Он отпустил меня.

— О, вернись ко мне, мой холодный белый бог, — прошептал я. Я положил голову ему на грудь. Я слышал его сердце. Я слышал, как оно бьется. Я никогда раньше его не слышал, никогда не слышал, чтобы от каменной часовни его тела доносился пульс. — Вернись ко мне, мой бесстрастный учитель. Я не понимаю, что ты хочешь.

— О, дорогой мой, — вздохнул он. — О, любовь моя.

С этими словами он осыпал меня привычным демоническим ливнем поцелуев, не насмешкой страстного мужчины, но своей любовью, мягкой, как лепестки, накладывая ее дары на мое лицо и волосы. — О, мой прекрасный Амадео, о, дитя мое, — говорил он.

— Люби меня, люби меня, пожалуйста, — прошептал я. — Люби меня и забери меня с собой. Я твой.

Он обнимал меня в наступившей тишине. Я дремал у него на плече. Подул ветерок, но он не потревожил тяжелые гобелены, где французские вельможи и дамы скользили по густому вечнозеленому лесу среди борзых, которые никогда не прекратят лаять, и птиц, которые никогда не прекратят петь.

Наконец он отпустил меня и отступил. Он пошел прочь, ссутулившись, опустив голову. Потом ленивым взмахом руки он сделал мне знак следовать за ним, но вышел их комнаты он слишком быстро.

Я выбежал за ним на улицу по каменной лестнице. Когда я спустился, двери были открыты. Холодный ветер смахнул мои слезы. Он смел зловещую жару той комнаты. Я бежал и бежал по каменным набережным, через мосты, следуя за ним к площади.

Я не видел его, пока не добрался до Моло, где он шел по направлению к гавани, мимо Сан‑Марко, высокий человек в красном плаще с капюшоном. Я побежал за ним. С моря дул сильный, ледяной ветер. Он ударил мне в лицо, и я почувствовал себя вдвойне очищенным.

— Не оставляй меня, господин, — воззвал я. Мои слова проглотил ветер, но он услышал.

Он остановился, как будто я смог повлиять на него. Он повернулся и подождал, пока я догоню его, а потом взял мою протянутую руку.

— Господин, выслушай мой урок, — сказал я. — Суди мою работу. — Я поспешно перевел дух и продолжил. — Я видел, как ты пьешь кровь плохих людей, людей, осужденных в твоем сердце за какое‑то серьезное преступление. Я видел, как ты пируешь, и это твоя природа; я видел, как ты забираешь кровь, без которой не можешь жить. И повсюду вокруг тебя живет мир зла, пустыня, полная людей, которые ничем не лучше животных, и они снабжают тебя кровью такой же густой и сладкой, как кровь невинной жертвы. Я это вижу. Вот что ты хотел мне показать, и я это увидел.

Его лицо осталось бесстрастным. Он изучающе смотрел на меня. Казалось, снедавшая его лихорадка уже затухает. На его лицо светили факелы с далеких галерей, оно белело и становилось, как всегда, твердым. В гавани скрипели корабли. Издалека доносилось бормотание и крики тех, кто, вероятно, не мог уснуть или никогда не спал.

Я взглянул на небо, опасаясь, что увижу роковой свет. Тогда он уйдет.

— Если я вот так, господин, выпью кровь злодея и тех, кого я одолею, я стану таким, как ты?

Он покачал головой.

— Многие люди пьют чужую кровь, Амадео, — сказал он тихим, но спокойным голосом. Рассудок возвращался к нему, как и манеры, как и внешнее отражение его души. — Хочешь ли ты быть со мной, стать моим учеником, моим возлюбленным.

— Да, господин, навсегда и навеки, или же настолько, сколько нам будет отпущено природой.

— Нет, я говорил не ради красного словца. Мы бессмертны. Только один враг способен нас уничтожить — это огонь, который горит в том факеле или в восходящем солнце. Приятно думать, что когда мы наконец устаем от этого мира, существует еще восход солнца.

— Я твой, господин. — Я крепко обнял его и попытался завоевать его поцелуями. Он терпел их и даже улыбался, но так и не шелохнулся.

Но когда я оторвался от него и сложил правую руку в кулак, чтобы его ударить, что мне никогда бы не удалось, к моему изумлению, он начал сдаваться.

Он повернулся и обнял меня своими сильными, но неизменно бережными руками.

— Амадео, я не могу без тебя жить, — сказал он. У него стал отчаянный, слабый голос. — Я хотел показать тебе зло, а не развлечение. Я хотел показать тебе безнравственную цену моего бессмертия. И мне это удалось. Но при этом я и сам ее увидел, она затмила мне глаза, мне больно, я устал.

Он положил свою голову рядом с моей и прижал меня к себе еще крепче.

— Делайте со мной, что хотите, сударь, — сказал я. — Заставьте меня страдать и стремиться к этому, если вам это нужно. Я ваш раб. Я ваш.

Он отпустил меня и поцеловал меня, на сей раз — официально.

— Четыре ночи, дитя мое, — сказал он. Он отодвинулся. Он поцеловал свои пальцы и приложил их к моим губам вместо прощального поцелуя, а потом исчез. — Я ухожу исполнить древний долг. Увидимся через четыре ночи.

Я остался один, приближалось морозное утро. Я остался один под бледнеющим небом. Я прекрасно знал, что искать его бессмысленно.

В величайшем унынии я побрел назад по переулкам, срезая путь по маленьким мостиком, чтобы забраться вглубь пробуждающегося города, сам не зная, зачем.

Я наполовину удивился, осознав, что вернулся к дому убитых мужчин. Я удивился, увидев, что дверь до сих пор открыта, как будто в любой момент мог появиться слуга. Никто не появлялся.

Небо постепенно дозрело до бледной белизны и стало слабо‑голубым. По поверхности канала полз туман. Я пересек мостик, ведущий к двери, и снова поднялся по ступенькам. Из неплотно захлопнутых окон просачивался мутный свет. Я нашел обеденный зал, где до сих пор горели свечи. В воздухе висел удушающий запах табака, воска и острой пищи.

Я вошел внутрь и обследовал трупы, лежавшие, как он их и оставил, в беспорядке; они слегка пожелтели, как воск, и стали добычей мошек и мух.

В глухой тишине слышалось только жужжание мух. Н столе подсохли лужицы пролитого вина. На трупах не сохранилось никаких следов свирепой смерти.

Меня снова затошнило, затошнило до дрожи, и я сделал глубокий вдох, чтобы меня не вырвало. Тут я осознал, зачем пришел.

Ты, наверное, знаешь, что в те дни мужчины носили поверх курток короткие плащи, иногда прикреплявшиеся к верхней одежде. Такой плащ мне и понадобился, и я нашел его, сорвав со спины горбуна, лежавшего практически лицом вниз. Это был ослепительно яркий плащ канареечно‑желтого цвета, отороченный белой лисицей и подбитый плотным шелком. Я завязал на нем узлы и сделал из него прочный глубокий мешок, а потом я поднялся и прошел к столу, чтобы собрать кубки, сначала выплескивая содержимое, а потом складывая их в мешок.

Вскоре мой мешок покрылся красными пятнами от вина и жира в тех местах, где я клал его на стол.

Закончив, я встал, чтобы убедиться, что я не пропустил ни один кубок. Я все собрал. Я осмотрел трупы — моего спящего рыжеволосого Мартино, уткнувшегося лицом в лужу слякотного вина на белом мраморе, и Франсиско, с чьей головы действительно вытекла небольшая струйка потемневшей крови.

Над этой кровью, как и над останками жареного поросенка, жужжали и гудели мухи. Налетел целый батальон черных жучков, очень распространенных в Венеции, так как их разносит вода, и направился через стол к лицу Мартино.

Через открытую дверь в зал проник спокойный согревающий свет. Наступило утро.

Обведя эту сцену последним взглядом, навсегда запечатлевшим в моей памяти каждую ее деталь, я вышел и пошел домой.

К моему приходу мальчики уже проснулись и занимались делами. Пришел старый плотник, чтобы починить дверь, которую я разбил топором.Я передал служанке распухший мешок со звенящими кубками, и она, сонная, только что с улицы, приняла его, не сказав ни слова.

Внутри меня все сжалось, меня затошнило, и появилось внезапное чувство, что меня сейчас разорвет. Мне показалось, что у меня слишком маленькое тело, что оно — слишком несовершенное вместилище для всего, что я знаю и чувствую. У меня звенело в голове. Мне хотелось лечь, но перед этим нужно было увидеть Рикардо. Нужно было увидеться с ним и со старшими мальчиками. Обязательно.

Я побрел по дому, пока не дошел до них — они собрались на лекцию молодого адвоката, который приезжал из Падуи всего один‑два раза в месяц, чтобы начать наше юридическое образование. Рикардо заметил меня в дверях и сделал мне жест помолчать. Говорил учитель.

Мне нечего было сказать. Я только прислонился к двери и посмотрел на моих друзей. Я любил их. Да, я точно их любил. Я бы за них умер! Я это понял и с огромным облегчением расплакался. Рикардо увидел, что я отвернулся, выскользнул и подошел ко мне.

— Что случилось, Амадео? — спросил он.

Внутренние мучения довели меня до полубредового состояния. Я опять увидел умерщвленную компанию за обеденным столом. Я повернулся к Рикардо и заключил его в объятья, успокаиваясь от его тепла и человеческой мягкости по сравнению с господином, а затем сказал, что готов умереть за него, умереть за каждого из них, и за господина тоже.

— Но почему, в чем дело, зачем сейчас эти клятвы? — спросил он. Я не мог рассказать ему о бойне. Я не мог рассказать ему о своей холодной стороне, которая смотрела, как умирают люди.

Я скрылся в спальне господина, лег на кровать и постарался заснуть.

Поздно вечером, когда я проснулся и обнаружил, что дверь закрыта, я выбрался из постели и подошел с письменному столу господина. К моему изумлению, я увидел, что там лежит его книга, книга, которую он всегда прятал, если приходилось выпускать ее из вида.

Конечно, я не посмел бы перевернуть ни единой страницы, но она была открыта, и передо мной лежала страница, покрытая латинскими письменами, и хотя эта латынь показалась мне странной и сложной для понимания, заключительные слова я разобрал без ошибки:

Как за такой красотой может скрываться такое израненное и непреклонное сердце, и почему я не могу его не любить, почему я в своей усталости не могу не опираться на его непреодолимую и одновременно неукротимую силу? Разве это не иссохший, мрачный дух мертвеца в детском обличье?

Я почувствовал странное покалывание, распространившееся по голове и по руками. Так вот я какой? Израненное и непреклонное сердце! иссохший, мрачный дух мертвеца в детском обличье? Нет, я не мог этого отрицать; не мог сказать, что это неправда. Но какими же обидными, какими категорично жестокими показались мне эти слова. Нет, не жестокими, просто безжалостными и точным, и какое право я имел ожидать чего‑то другого? Я заплакал.

Я по обыкновению лег на нашу кровать и взбил мягчайшие подушки, чтобы устроить гнездо для согнутой левой руки и головы.

Четыре ночи. И как я их выдержу? Что он от меня хотел? Чтобы я отправился навестить всем, что знал и любил смертным мальчиком, и попрощался. Вот такими были бы его указания. Так я и сделаю.

Но судьбой мне было отпущено всего несколько часов. Меня разбудил Рикардо, тыча мне в лицо запечатанной запиской.

— Кто это прислал? — сонно спросил я. Я сел, просунул под сложенную бумагу большой палец и сломал восковую печать.

— Прочитай, и сам мне скажешь. Ее доставили четверо, компания из четырех человек. Должно быть, что‑то чертовски важное.

— Да, — сказал я, разворачивая ее, — учитывая, какой у тебя перепуганный вид. — Он стоял надо мной, скрестив руки. Я прочел следующее:

Дорогой мой ангел,

Не выходи из дома. Ни под каким предлогом не выходи на улицу и не впускай никого, кто захочет войти. Твой злобный английский лорд, граф Гарлек, путем самого нещепетильного вынюхивания установил твою личность и теперь клянется в своем безумии увезти тебя к себе в Англию, или же сложить твои останки у дверей твоего господина. Признайся своему господину во всем. Только его сила сможет тебя спасти. И непременно пришли мне в ответ записку, иначе я сама потеряю голову из‑за тебя и из‑за жутких историй, о которых все утро кричат на каждом канале и площади, кто только их не слышал. Твоя верная Бьянка.

— Черт возьми, — сказал я, складывая письмо. — Мариуса не будет четыре ночи, а теперь еще и это. Мне что, все эти четыре ночи, самые важные, прятаться под этой крышей?

— Хорошо бы, — сказал Рикардо.

— Значит, ты уже все знаешь.

— Бьянка рассказала. Англичанин проследил за тобой до Бьянки, и, услышав, что ты все время пробыл у нее, разнес бы ее комнаты в клочья, если бы гости всей толпой его не остановили.

— Ну почему же они его не убили, ради Бога? — с отвращением спросил я.

Он выглядел ужасно обеспокоенным и полным сочувствия.

— Думаю, они рассчитывают в этом на нашего господина, — сказал он, — раз уж этот человек гоняется за тобой. С чего ты так уверен, что господин собрался уехать на четыре ночи. Но приходит и уходит, никого не предупреждая.

— Хммм, не спорь со мной, — терпеливо ответил я. — Рикардо, он вернется домой только через четыре ночи, а я не останусь сидеть взаперти в этом доме, тем более когда лорд Гарлек меня порочит.

— Лучше останься! — ответил Рикардо. — Амадео, этот человек прославился своим мечом. Он занимается с мастером фехтования. Он — гроза всех таверн. Ты же знал это, когда с ним связался, Амадео. Подумай, что ты делаешь. О нем говорят только плохое и ничего хорошего.

— Тогда пойдем со мной. Тебе придется только отвлечь его, и я его убью.

— Нет, ты неплохо обращаешься с мечом, это правда, но ты не убьешь человека, который тренируется с клинком с тех пор, когда тебя и на свете‑то не было.

Я откинулся на подушки. Что мне делать? Я сгорал от желания выйти в свет, от желания взглянуть на все с великим ощущением драматичности и важности моих последних дней в человеческом мире, а теперь такое! И человек, годный только на несколько ночей буйных хулиганских удовольствий, несомненно, всем и каждому сообщает о своем недовольстве.

Как ни горько было это сознавать, похоже, придется остаться дома. Ничего не поделаешь. Мне очень хотелось убить этого человека, убить его своим собственным мечом и кинжалом, мне даже казалось, что у меня есть все шансы, но что значит это пустячное приключение в сравнении с тем, что ожидает ему по возвращении господина.

Дело в том, что я уже покинул мир обыденных вещей, мир сведения заурядных счетов, и теперь меня нельзя было вовлечь в дурацкую авантюру, которая могла бы лишить меня права на ожидающую меня странную судьбу.

— Ладно, а Бьянка от него в безопасности? — спросил я Рикардо.

— В полной безопасности. У нее столько поклонников, что дом не в состоянии их вместить, и она всех настроила против него и в твою пользу. Теперь напиши ей что‑нибудь осмысленное, вырази благодарность, и поклянись мне тоже, что останешься дома.

Я поднялся и пошел к письменному столу господина. Я взял перо. Меня остановил жуткий грохот, сопровождаемый чередой пронзительных противных криков. В каменных комнатах зазвучало их эхо. Я услышал, как побежали люди. Рикардо встал в позицию и положил ладонь на рукоять меча.

Я собрал свое собственное оружие, вынув их ножен как легкую рапиру, так и кинжал.

— Господи Боже, не может быть, что он в доме.

Все крики заглушил ужасный вопль.

В дверях появился малыш Джузеппе с призрачно белым лицом и большими округлившимися глазами.

— Черт побери, в чем дело? — спросил Рикардо, хватая его за плечи.

— Он ранен ножом. Смотри, он весь в крови! — сказал я.

— Амадео, Амадео! — разнеслось по каменной лестнице. Это был голос англичанина.

Мальчик согнулся от боли. Рана пришлась прямо в живот, чудовищная жестокость. Рикардо был вне себя.

— Закрой дверь! — заорал он.

— Как же я закрою дверь, — закричал я, — если остальные могут случайно попасться ему на пути?

Я выбежал в большой салон и помчался в портего — главное помещение в доме.

На полу, скорчившись, лежал другой мальчик, Джакопо, упираясь в него коленями. Я увидел, что по камням течет кровь.

— Это же переходит все границы; это избиение невинных! — заорал я. — Лорд Гарлек, выходи. Тебя ждет смерть.

Я услышал за спиной крик Рикардо. Малыш, несомненно, умер.

Я побежал к лестнице.

— Лорд Гарлек, я здесь! — крикнул я. — Выходи, звероподобный трус, детоубийца! Я приготовил камень для твоей шеи!

Рикардо развернул меня в другую сторону.

— Вон там, Амадео, — прошептал он. — Я с тобой. — Он со свистом выхватил клинок. Он намного лучше меня обращался с мечом, но это был мой поединок.

Он стоял на противоположном конце портего. Я надеялся, что он будет еле держаться на ногах от пьянства, но мне не повезло. Я мгновенно увидел, что если он и лелеял мечту увезти меня силой, то она испарилась без следа; он убил двоих мальчиков и понимал, что похоть довела его до последней грани. Передо мной был отнюдь не ослепленный любовью противник.

— Господи на небесах, помоги нам! — прошептал Рикардо.

— Лорд Гарлек, — закричал я. — Ты посмел устроить бойню из дома моего господина!

Я отступил в сторону от Рикардо, чтобы освободить нам обоим место, и сделал ему знак пройти вперед, подальше от верхней ступеньки. Я взвесил в руках рапиру. Недостаточно тяжелая. Господи, как я пожалел, что мало тренировался.

Англичанин направился ко мне, я раньше и не замечал, что он такой высокий, с длинными руками, что даст ему сильное преимущество. Его плащ развевался, ноги облегали тяжелые сапоги, в одной руке он поднял рапиру, в другой держал свой длинный итальянский кинжал. По крайней мере, настоящего тяжелого меча у него не было.

Огромная комната зрительно уменьшала его размеры, но он, тем не менее, был крупного сложения, а на голове пылали британские медные волосы. Его голубые глаза налились кровью, но он твердо стоял на ногах, и убийственный взгляд был не менее твердым. Его лицо намокло от горьких слез.

— Амадео! — воззвал он через всю просторную комнату, надвигаясь на меня. — Пока я жил и дышал, ты вырвал из моей груди сердце и забрал его с собой! Сегодня ночью мы вместе отправимся в ад.

### 6

Высокое длинное портего нашего дома, парадный зал, представлял собой идеальное, отличное место для смерти. Ничто не могло бы запятнать его потрясающие мозаичные полы с разноцветными мраморными кругами и праздничными узорами из сплетенных цветов и крошечных диких птиц.

Мы получили для драки целое поле, ни один стул не мог попасться нам на пути, чтобы помешать убить друг друга.

Я двинулся на англичанина, не успев признаться себе, что я еще не слишком хорошо фехтую, что я никогда не проявлял к этому врожденных способностей, и понятия не имею, что хотел бы сейчас от меня мой господин, то есть, что бы он посоветовал, будь он рядом.

Я сделал несколько самоуверенных выпадов, которые лорд Гарлек отпарировал с такой легкостью, что я чуть было не отчаялся. Но в тот момент, когда я решил, что пора перевести дух и, может быть, даже бежать, он взмахнул кинжалом и рассек мое левое плечо. Порез ужалил меня и привел в бешенство.

Я вновь ринулся на него, и на этот раз мне повезло, я сумел добраться до его горло. Простая царапина, но из нее на тунику ливанула кровь, и он разозлился, получив рану, не меньше меня.

— Гнусный, проклятый дьяволенок, — говорил он, — ты заставил меня обожать тебя, чтобы притащить меня сюда и четвертовать в свое удовольствие. Ты же обещал, что вернешься.

На самом деле он продолжал эту словесный огонь на протяжении всего поединка. Наверное, он нуждался в нем, как в подстрекании боевого барабана и флейты.

— Иди‑ка сюда, паршивый ангелочек, я тебе крылышки пообрываю! — говорил он. Обрушив на меня град быстрых выпадов, он отогнал меня назад. Я споткнулся, потерял равновесие и упал, но мне удалось вскарабкаться на ноги и использовать низкую позицию, чтобы нанести удар в опасной близости от его мошонки, из‑за чего он вздрогнул от неожиданности. Я побежал на него, понимая, что, оттягивая, ничего не выгадаешь.

Он уклонился от моего клинка, засмеялся надо мной и сверкнул кинжалом, на сей раз попав мне в лицо.

— Свинья! — заревел я, не успев остановиться. Я и не знал, что я так безнадежно тщеславен. Мое лицо, ни больше, ни меньше. Он порезал его. Мое лицо. Я почувствовал, как хлещет кровь, как всегда бывает, если задето лицо, и ринулся на него, теперь уже забыв обо всех правилах поединка, неистово вращая рапиру, рассекая воздух. Пока он отчаянно парировал удары то справа, то слева, я увернулся, вонзил кинжал ему в живот и рванул его вверх, где его остановил толстый, инкрустированный золотом кожаный ремень.

Я попятился, когда он попытался заколоть меня как рапирой, так и кинжалом, но тут он уронил их и характерным жестом схватился за вываливающиеся наружу внутренности. Он упал на колени.

— Прикончи его! — заорал Рикардо. Он, как человек чести, стоял сзади.

— Прикончи его, быстрее, Амадео, или это сделаю я. Подумай, что он устроил под этой крышей. — Я поднял рапиру.

Англичанин внезапно схватил собственную рапиру и сверкнул ей в мою сторону, хотя ему пришлось застонать и поморщиться от боли. Он рывком поднялся и кинулся на меня. Я отскочил. Он упал на колени. Ему было плохо, он задрожал. Он уронил рапиру, опять схватившись за раненый живот. Он не умер, но и сражаться дальше не мог.

— О Господи, — сказал Рикардо. Он сжимал свой кинжал. Но было видно, что он не может заставить себя искромсать безоружного на куски.

Англичанин перевернулся на бок. Он подтянул колени. С гримасой боли он положил голову на камень, сделал глубокий вдох, и его лицо разгладилось. Он боролся с ужасной болью и с уверенностью, что ему пришел конец.

Рикардо вышел вперед и поставил кончик меча на щеку лорда Гарлека.

— Он умирает, дай ему умереть, — сказал я. Но он продолжал дышать. Я хотел убить его, действительно хотел, но невозможно было убить того, кто лежал передо мной так спокойно и так храбро.

В его глазах появилось мудрое, поэтическое выражение.

— Так все и кончится, — неслышно сказал он, возможно, Рикардо даже этого не разобрал.

— Да, кончится, — сказал я. — Пусть кончится благородно.

— Амадео, он убил двоих детей! — сказал Рикардо.

— Возьми свой кинжал, лорд Гарлек! — сказал я. Ногой я подтолкнул к нему оружие. Я воткнул кинжал прямо ему в руку. — Бери, лорд Гарлек, — сказал я. Кровь текла по моему лицу, заливая шею, щекочущая, липкая. Это становилось невыносимо. Мне больше хотелось вытереть собственные раны, чем возиться с ним.

Он перевернулся на спину. Изо рта и из кишок полилась кровь. Его лицо взмокло и заблестело, дышать становилось все труднее. Он снова казался совсем юным, юным, как в тот момент, когда он угрожал мне, мальчик‑переросток с густой копной пламенеющих кудрей.

— Вспомни обо мне, когда начнешь покрываться потом, — сказал он хриплым, по‑прежнему едва слышным голосом. — Вспомни обо мне, когда до тебя дойдет, что тебе тоже не жить.

— Пронзи его насквозь, — прошептал мне Рикардо. — С такой раной он может умирать целых два дня.

— А у тебя и двух дней не останется, — сказал с пола лорд Гарлек, ловя ртом воздух, — учитывая, что твои раны отравлены. Чувствуешь, в глазах? У тебя же горят глаза, не так ли, Амадео? Попадая в кровь, яд первым делом действует на глаза. Голова еще не кружится?

— Ублюдок, — сказал Рикардо. Он пронзил его рапирой через тунику один, два, три раза. Лорд Гарлек изменился в лице. Его веки дрогнули, а изо рта вытек последний сгусток крови. Он был мертв.

— Яд? — прошептал я. — Отравленный кинжал? — Я инстинктивно потрогал плечо, куда он нанес рану. Рана на лице, однако, была еще глубже. — Не трогай ни рапиру, ни кинжал. Яд!

— Он лгал, пойдем, я тебя умою, — сказал Рикардо. — Нельзя терять время. — Он попытался вытащить меня из комнаты.

— Что же нам с ним делать, Рикардо! Что нам делать! Мы здесь одни, господина нет. В доме три трупа, а, может, и больше.

Не успел я договорить, как с обоих сторон холла послышались шаги. Это малыши выходили из своих укрытий, и я заметил среди них одного из учителей, он, очевидно, удерживал их подальше от нас.

По этому поводу у меня возникли смешанные чувства. Но все они были еще детьми, а учитель — безоружный, беспомощный ученый. Старших мальчиков, как повелось, по утрам в доме не было. Так я, во всяком случае, думал.

— Идемте, нужно перенести их в пристойное место, — сказал я. — Не трогайте оружие. — Я сделал малышам знак подойти. — Давайте перенесем его в лучшую спальню. И мальчиков тоже.

Малыши изо всех сил старались слушаться, но некоторые из них расплакались.

— Слушайте, ну помогите же нам! — сказал я учителю. — Осторожно, оружие отравлено. — Он уставился на меня, как сумасшедший. — Я не шучу. Это яд.

— Амадео, да ты весь в крови! — пронзительно закричал он. — Что значит — оружие отравлено. Господи, спаси нас!

— Да прекратите вы! — сказал я, но больше выносить эту ситуацию я не мог, и когда Рикардо взял на себя переноску трупов, я помчался в спальню господина обработать раны.

В спешке я опорожнил весь кувшин с водой в таз и схватил салфетку, останавливая кровь, стекавшую по шее под рубашку. Липкая, липкая дрянь, ругался я. Все поплыло перед глазами, и я чуть не упал. Ухватившись за край стола, я велел себе не становиться рабом лорда

Гарлека. Рикардо был прав. Лорд Гарлек все выдумал насчет яда. Отравить клинок, подумать только!

Но, рассказывая себе эту байку, я опустил глаза и впервые увидел царапину на тыльной стороне правой ладони, очевидно, оставленную его рапирой. Ладонь распухала, как будто ее ужалило ядовитое насекомое.

Я потрогал плечо и лицо. Раны опухали, порезы превращались в огромные рубцы. Голова опять закружилась. Прямо в таз закапал пот, теперь в ней плескалась красная вода, похожая на вино.

— О Господи, дьявол‑таки это сделал, — сказал я. Я повернулся, комната накренилась и поплыла. Я пошатнулся.

Кто‑то подхватил меня. Я попытался позвать Рикардо, но язык во рту не ворочался.

Все звуки и краски смешались в горячее, пульсирующее пятно. Потом я с изумительной четкостью увидел над головой расшитый балдахин кровати господина. Надо мной стоял Рикардо.

Он быстро и отчаянно заговорил, но я не мог ничего разобрать. Мне даже казалось, что он говорит на иностранном языке, приятном, очень мелодичном и ласковом, но я не понимал ни слова.

— Мне жарко, — сказал я, — я горю, мне так жарко, что я этого не выдержу. Мне нужна вода. Положи меня в ванну господина.

Казалось, он меня вообще не слышит. Он не прекращал умолять меня о чем‑то. Я почувствовал, что он положил руку на мой лоб, и она обожгла меня, буквально обожгла. Я взмолился, чтобы он меня не трогал, но он этого не услышал, и я тоже! Я ничего не говорил. Я хотел заговорить, но язык стал слишком большим и тяжелым. Ты же отравишься, хотел закричать я. И не смог.

Я закрыл глаза. Меня увлек за собой милосердный поток. Я увидел бескрайнее сверкающее море, воды за островом Лидо, зубчатое и прекрасные на полуденном солнце. Я плыл по этому морю, возможно, на маленьком баркасе, или же просто на спине. Я не чувствовал самой воды, но ничто, казалось, не отделяло меня от нежных покачивающихся волн, высоких, медленных, легких, то поднимавших меня вверх, то опускавших. На далеком берегу поблескивал огромный город. Сперва я решил, что это Торчелло или даже Венеция, что меня каким‑то образом развернуло в обратном направлении и несет назад, к земле. Потом я увидел, что он намного больше Венеции, что небо пронзают высокие, отражающие солнце башни, как будто он целиком построен из сверкающего стекла. Как же там было красиво.

— Я попаду туда? — спросил я.

Казалось, волны сомкнулись надо мной, но не удушающей водой, а спокойным покрывалом тяжелого света. Я открыл глаза. Я увидел красную тафту балдахина над кроватью. Я увидел золотую бахрому, отделывавшую бархатные драпировки, а потом надо мной возникла Бьянка Сольдерини. В руке она держала кусок ткани.

— На этом кинжале было не столько яда, чтобы ты умер, — сказала она. — Ты просто заболел. Теперь послушай меня, Амадео, каждый твой вздох должен быть спокойным и сильным, ты должен настроиться побороть свою болезнь и поправиться. Ты должен просить сам воздух дать тебе силы, и не терять уверенность, да, ты должен дышать глубоко и медленно, да, вот так, и ты должен понять, что яд выходит из тебя вместе с потом, и не смей верить в этот яд, не смей бояться.

— Господин узнает, — сказал Рикардо. Он выглядел осунувшимся и несчастным, его губы дрожали. Глаза его наполнились слезами. Да, безусловно, зловещий знак. — Господин как‑нибудь узнает. Он все знает. Господин прервет путешествие и вернется домой.

— Оботри ему лицо, — спокойно сказала Бьянка. — Оботри ему лицо и помолчи. — Какая же она была храбрая. Я шевелил языком, но слов выговорить не смог. Я хотел сказать, чтобы мне обязательно сказали, когда сядет солнце, поскольку тогда и только тогда может появиться господин. Конечно, такая возможность существует. Тогда и только тогда. Может быть, он придет.

Я положил голову на бок, отвернувшись от них. Ткань обожгла мне лицо.

— Мягко, спокойно, — сказала Бьянка. — Вдохни воздух, да, и не бойся.

Я долго пролежал так, паря на грани сознания и испытывая благодарность за то, что их голоса звучат не очень резко, а прикосновения не слишком ужасны, но потеть было отвратительно, и я окончательно отчаялся попасть в прохладное место.

Я ворочался и один раз попытался подняться, но почувствовал жуткую тошноту, до рвоты. С огромным облегчением я осознал, что меня уложили обратно.

— Не отпускай мои руки, — сказала Бьянка, и я почувствовал, как ее пальцы схватили мои, такие маленькие, очень горячие, горячие, как все остальное, горячие, как ад, подумал я, но мне было слишком плохо, чтобы думать про ад, слишком плохо, чтобы думать о чем‑нибудь, кроме того, чтобы меня наконец вырвало в таз, и чтобы я оказался в прохладном месте. Хоть бы кто‑нибудь открыл окна; пусть зима, мне все равно, откройте окна!

Вероятность смерти казалась мне досадной помехой, только и всего. Поправиться было гораздо важнее, и никакие мысли о душе и о загробном мире меня не волновали. Затем все резко изменилось. Я почувствовал, что поднимаюсь вверх, как будто кто‑то вытолкнул меня из постели и стремится протащить меня через балдахин и потолок. Я посмотрел вниз и к своему полному изумлению увидел, что я лежу на кровати. Я видел себя, как будто никакой балдахин не заслонял от меня мое тело.

Никогда раньше я не представлял себе, насколько я красивый. Понимаешь, все это я думал совершенно бесстрастно. Я не испытывал торжества по поводу собственной красоты. Я только подумал — надо же, какой красивый мальчик. Как же его одарил Бог. Смотри, какие длинные тонкие пальцы, смотри, какие темные, красновато‑коричневые волосы. Я всегда был таким, но не знал этого, или же не думал об этом, не думал, какое впечатление этот производило на тех, кто видел меня в течение жизни. Я не верил их льстивым речам. Их страсть вызывала во мне только презрение. Даже мой господин казался слабым, введенным в заблуждение существом из‑за того, что вожделел меня. Но теперь я понял, почему люди несколько теряли голову. Тот мальчик, что умирал на постели, тот мальчик, что стал причиной всеобщих рыданий, тот мальчик казался воплощением чистоты, воплощением юности на пороге жизни. Единственное, что казалось нелогичным, было волнение в огромной комнате.

Почему они все плачут? В дверях я увидел священника, знакомого мне священника из соседней церкви, и заметил, что мальчики спорят с ним и опасаются пустить его к моей постели, чтобы я не испугался. Все это представлялось мне бессмысленной путаницей. Рикардо не должен заламывать руки. Бьянка не должна так стараться с этой мокрой тряпкой и ласковыми, но явно отчаянным словами.

Ох, бедный мальчик, подумал я. Если бы ты знал, какой ты красивый, ты мог бы испытывать к окружающим побольше сочувствия, мог бы считать себя немного сильнее и способнее самому чего‑то добиться. На деле же ты играл с людьми в коварные игры, потому что не верил в себя и даже не знал, какой ты на самом деле.

Все ошибки виделись мне совершенно отчетливо. Но я уходил отсюда! Тот же поток воздуха, который вытолкнул меня из лежавшего на кровати очаровательного молодого тела, затягивал меня наверх, в туннель, где дул яростный, шумный ветер.

Ветер захлестнул меня, окончательно затащил меня в тесный туннель, я увидел, что я в нем не один, что в него попали и другие, они двигаются в непрекращающемся яростном вихре. Я заметил, что они смотрят на меня; я увидел открытые как бы в страдании рты. Меня тянуло по тоннелю все выше и выше. Я не чувствовал страха, но испытывал ощущение обреченности. Я ничем не мог себе помочь.

Вот в чем заключалась твоя ошибка, пока ты был тем мальчиком, параллельно думал я. Но здесь все действительно безнадежно. И в тот момент, когда я пришел к этому выводу, я достиг конца туннеля; он рассеялся. Я стоял на берегу прекрасного сверкающего моря.

Волны не замочили меня, но я их помнил и сказал вслух:

— Значит, я здесь, я добрался до берега! Смотри, стеклянные башни!

Подняв голову, я увидел, что до города еще далеко, что он лежит за цепью зеленых холмов, что к нему ведет тропа, а по обе стороны тропы цветут яркие роскошные цветы. Я никогда не видел таких цветов, никогда не видел лепестков такой формы и в таких сочетания, и никогда за всю мою жизнь глазам моим не открывались такие краски. В палитрах художников для этих красок названий не было. Я не мог назвать бы их теми немногочисленными слабыми неадекватными терминами, что были мне известны.

О, как же поразились бы венецианские художники таким краскам, думал я, и представляешь, как бы они преобразовали наши работы, как бы они воспламенили наши картины, только бы найти их источник, растолочь в порошок и смешать с нашими маслами. Но какой в этом смысл? Картины больше не нужны. Все великолепие, которое можно запечатлеть в красках, открылось в этом мире. Я видел его в цветах; я видел его в пестрой траве. Я видел его в бескрайнем небе, поднимавшимся надо мной и уходившем далеко за ослепительный город, и он тоже сверкал и переливался этим грандиозным, гармоничным сочетанием красок, смешавшихся, мигающих, мерцающих, словно башни города были сделаны не из мертвой или земной материи или массы, а из чудесной бурлящей энергии.

Меня переполняла огромная благодарность; все мое существо отдавалось этой благодарности.

— Господи, теперь я вижу, — произнес я вслух. — Я вижу и понимаю. — В тот момент мне действительно очень ясно открылся подтекст этой разносторонней и постоянно усиливавшейся красоты, этого трепетного, светящегося мира. Он до того исполнился смыслом, что я видел ответы на все вопросы, что все наконец‑то окончательно разрешилось. Я вновь и вновь повторял шепотом слово «да». Я, кажется, кивнул, а потом выражать что‑то словами показалось мне полным абсурдом.

В этой красоте сквозила великая сила. Она окружила меня, как воздух, ветер или вода, но он имела к ним отношения. Она была гораздо более разреженной и глубинной, и, удерживая меня с внушительной силой, тем не менее оставалась невидимой, лишенной ощутимой формы и напряженности. Этой силой была любовь. О да, думал я, это любовь, совершенная любовь, и в своем совершенстве она наполняет смыслом все, что я когда‑либо знал, каждое разочарование, каждую обиду, каждый ложный шаг, каждое объятье, каждый поцелуй — все это было только предзнаменованием этого божественного приятия и добра, ибо дурные поступки показывали, чего мне не хватает, а хорошие вещи, объятья, мельком открыли мне, какой может быть любовь.

Всю мою жизнь наполнила смыслом эта любовь, ничего не оставив незамеченным, и, пока я этим восторгался, пока всецело, без настойчивости и сомнений, отдавался ей, начался удивительный процесс. Вся моя жизнь вернулась ко мне в форме всех тех, кого я когда‑либо знал.

Я увидел свою жизнь с самых первых секунд и до того самого момента, который привел меня сюда. В этой жизни не нашлось ничего ужасно примечательного; в ней не хранилось ни великой тайны, ни перелома, ни особенно значительного события, которое изменило бы мою душу. Напротив, она оказалась просто естественной и заурядной цепочкой мириадов крошечных событий, и каждое из этих событий касалось других душ, затронутых мной; теперь я увидел нанесенные мной обиды и те мои слова, что приносили успокоение, я увидел результат своих самых незначительных, повседневных поступков. Я увидел обеденный зал флорентинцев, и снова среди них я увидел неловкое одиночество, в котором они споткнулись на пути к смерти. Я увидел изоляцию и печаль их душ, сражающихся за то, чтобы остаться в живых.

Единственное, чего я не видел — это лицо моего господина. Я не видел, кто он такой. Я не видел его душу. Я не видел, что значит для него моя любовь, или что значит его любовь для меня. Но это не имело значения. В действительности я осознал это только позже, когда пытался пересказать испытанное. Пока что важно было только понимание того, что означает дорожить остальными и дорожить самой жизнью. Я осознал, что значило рисовать картины, не рубиново‑красные кровавые и животрепещущие венецианские картины, но старинные картины в древнем византийском стиле, которые когда‑то с таким совершенством и безыскусностью выходили из‑под моей кисти. Теперь я понял, что рисовал удивительные вещи, и увидел эффект, произведенный моими картинами… и мне казалось, что меня затопит огромное скопление информации. Ее накопилось такое богатство, и ее было так легко воспринимать, что я почувствовал великую и легкую радость.

Знания эти были похожи на любовь и на красоту; я с великим торжествующим счастьем осознал, что все они, знания, любовь и красота, все они — одно и то же. "Ну да, как же я не понял. Все так просто! — думал я. Если бы я находился в теле с глазами, я бы заплакал, но это были бы сладостные слезы. В действительности же моя душа чувствовала себя победительницей всех мелочных, расслабляющих вещей. Я стоял неподвижно, и знания, факты, то есть сотни и сотни мелких подробностей, которые, как прозрачные капли волшебной жидкости, проходили сквозь меня, наполняли меня и исчезали, уступая дорогу новым нитям этого водопада истины — все они внезапно поблекли.

Там, впереди, стоял стеклянный город, а за ним высилось голубое небо, голубое, как в полдень, только теперь его заполнили все существующие на свете звезды.

Я пошел по направлению к городу. Я пошел к нему с такой стремительностью и с такой убежденностью, что задержать меня смогли только три человека.

Я остановился. Я был потрясен. Но этих людей я знал. Это были священники, старые священники из моей родной страны, которые умерли задолго до того, как я нашел свое призвание, и теперь я видел все это очень отчетливо, я знал их имена, знал, от чего они умерли. На самом деле это были святые из моего города и из великого здания с катакомбами, где я раньше жил.

— Зачем вы меня держите? — спросил я. — Где мой отец? Он же уже здесь, правда?

Только когда я задал этот вопрос, я увидел своего отца. Он выглядел точно так же, как всегда. Здоровый, лохматый мужчина в кожаных охотничьих одеждах, с густой взлохмаченной бородой и длинными каштановыми волосами, того же цвета, что и у меня. Его щека порозовели от холодного ветра, а нижняя губа, выделявшаяся между густыми усами с бородой с проседью, насколько я помнил, была влажной и розовой. Глаза по‑прежнему оставались ярко‑голубыми, как фарфор. Он помахал мне. Он помахал мне, как всегда, небрежно, сердечно, и улыбнулся. Он выглядел точь‑в‑точь так, словно собирался в спеть, невзирая на советы и предостережения не охотиться там, совершенно не боясь, что на него могут налететь монголы или татары. В конце концов, с ним был большой лук, лук, который мог натянуть только он, как мифический герой великих поросших травой полей, с ним были его остро заточенные стрелы и его огромный широкий меч, которым он мог с одного удара отрубить человеку голову.

— Отец, почему они меня держат? — спросил я. Его лицо стало озадаченным. Улыбка просто погасла, а лицо утратило всякое выражение, и к моей глубочайшей печали, к моей ужасной, потрясенной печали, он весь поблек, и его больше не было.

Священники, стоявшие рядом со мной, люди с длинными седыми бородами, облаченные в черные рясы, заговорили со мной сочувственным шепотом:

— Андрей, твое время еще не пришло.

Я чувствовал себя глубоко, глубоко несчастным. Мне стало так грустно, что я не мог подобрать слов возражения. Я понял, что никакие мои возражения ничего не изменят, и один из священников взял меня за руку.

— Нет, ты всегда так себя ведешь, — сказал он. — Спрашивай. — Он не шевелил губами, но в этом не было необходимости. Я слышал его очень отчетливо и знал, что он не держит зла лично на меня. На такое он был не способен.

— Тогда почему, — спросил я, — мне нельзя остаться? Почему вы не разрешаете мне остаться, если я хочу, если я так далеко зашел?

— Подумай обо всем, что ты увидел. Ты знаешь ответ.

И я не мог не признать, что на секунду я действительно понял ответ. Он был сложным и в одновременно глубоко простым, он имел отношение к полученным мной знаниям.

— Ты не сможешь забрать их с собой, — сказал священник. — Ты забудешь все подробности, увиденные здесь. Но помни общий урок — значение имеет только твоя любовь к другим, и их любовь к тебе, и общее усиление любви в окружающей тебя жизни.

Это показалось мне чудесным и исчерпывающим! Не просто клише. Нечто безмерное, неуловимое, но такое тотальное, что все смертные преграды рухнули бы перед лицом этой истины.

Я моментально вернулся в свое тело. Я моментально стал мальчиком с каштановыми волосами, умирающим на кровати. Я почувствовал зуд в руках и ногах. Я изогнулся, и спина загорелась жуткой болью. Я весь горел, потел и корчился, как раньше, только теперь у меня сильно потрескались губы, а язык порезался о зубы и распух.

— Воды, — сказал я, — пожалуйста, воды.

Окружающие тихо всхлипывали. Всхлипывания смешались со смехом и с выражениями благоговейного восторга.

Я был жив, а они решили, что я умер. Я открыл глаза и посмотрел на Бьянку.

— Я пока не умру, — сказал я.

— Что ты говоришь, Амадео? — спросила он. Она наклонилась и поднесла ухо к моим губам.

— Еще не время, — сказал я.

Мне принесли холодного белого вина. В него добавили меда и лимона. Я сел и выпил его глоток за глотком.

— Еще, тихо и слабо сказал я, но я уже засыпал.

Я опустился на подушки и почувствовал, как бьянкина тряпка вытирает мне лоб и глаза. Какое чудесное милосердие, как же важно приносить это небольшое, но благородное успокоение, которое сейчас для меня все равно, что целый мир. Целый мир. Целый мир.

Я забыл, что я видел на той стороне! Мои глаза распахнулись. Восстанови это, отчаянно думал я. Но я помнил священника, так живо, словно мы только что разговаривали в соседней комнате. Он сказал, что я не вспомню. А там было столько всего, бесконечно много, такие вещи, которые сможет понять только мой господин.

Я закрыл глаза. Я заснул. Сон ко мне не шел. Я был слишком болен, слишком горел, но по‑своему, смутно сознавая, что лежу на влажной горячей постели, под балдахином, что вокруг — вялый воздух, что я слышу неясные слова мальчиков и милые наставления Бьянки, я все‑таки спал. Бежали часы. Я узнавал их, и постепенно получил некоторое облегчение, так как моя кожа привыкла к густо покрывавшему ее поту, а горло — к обжигавшей его жажде, и я без возражений лежал, дремал и ждал, когда придет мой господин.

Мне столько нужно тебе рассказать, думал я. Ты узнаешь про стеклянный город! Я должен объяснить, что когда‑то я был… но я не мог вспомнить. Художником, да, но каким именно, каким образом, и как меня звали? Андрей? Когда же меня так называли?

### 7

Постепенно на мое восприятие постели и душной комнаты упала темная пелена небес. Во всех направлениях раскинулись звезды‑часовые, во всем своем великолепии они сияли на блестящие башни стеклянного города, и в этом полусне, теперь уже при поддержке самой спокойной и благословенной из всех иллюзий, звезды запели мне песню.

Из пустоты, каждая звезда со своего устойчивого положения в созвездии издавала бесценный мерцающий звук, словно в глубине каждого пылающего шара брался грандиозный аккорд, посредством его сверкающей циркуляции передаваемый всему миру вселенной.

Никогда мои земные уши не слышали такого звука. Но никакие оговорки не могут дать хотя бы приблизительное представление об этой воздушной и прозрачной музыке, об этой гармонии и праздничной симфонии.

Господь мой, будь ты музыкой, таким был бы твой глас, и никакой разлад не смог бы восторжествовать над тобой. Ею ты очистил бы обычный мир от каждого тревожного шума, чистейшим выражением твоего запутанного и чудесного замысла, и померкла бы всякая банальность перед лицом этого громогласного совершенства.

Такой была моя молитва, моя прочувствованная молитва, в высшей степени интимная и легкая, произнесенная на древнем языке, пока я спал.

Останьтесь со мной, прекрасные звезды, умолял я, и пусть я никогда не буду стремится разгадать это слияние света и звука, а только отдамся ему, окончательно, без сомнений и вопросов.

Источая холодные царственные лучи, звезды увеличились и превратились в бесконечность, постепенно вся ночь ушла, и остался только великолепный свет, льющийся неизвестно откуда.

Я улыбнулся. Я вслепую нащупал на лице свою улыбку, и когда свет зажегся еще ярче и ближе, как будто стал целым океаном света, я почувствовал, как по моему телу разливается спасительная прохлада.

— Не гасни, не уходи, не оставляй меня. — Мой собственный шепот оказался горестным и неслышным. Я вжался дрожащей головой в подушку.

Но его время, время этого величественного и первичного света, истекло, свету предстояло померкнуть и оставить перед моими полузакрытыми глазами обыденно дрожащие свечи, и мне осталось только увидеть отполированный полумрак вокруг кровати и повседневные вещи, например, четки с рубиновыми бусинами и золотым крестом, вложенные в мою правую руку, или лежащий слева открытый молитвенник, чьи страницы мягко гнулись от легкого дуновения ветра, который при этом пустил рябь по гладкой тафте, натянутой на золотую раму.

Какие же они были красивые, простые, заурядные вещи, составлявшие эту безмолвную гибкую сцену. Куда они ушли, моя милая сиделка с лебединой шеей и мои плачущие товарищи? Может быть, ночь утомила их и отправила спать в другое место, чтобы я мог оценить эти тихие минуты бодрствования без свидетелей? Мои мысли венчала мягкая корона тысячи живых воспоминаний.

Я открыл глаза. Никого не было, за исключением одной фигуры, которая сидела рядом со мной на кровати и смотрела на меня одновременно мечтательными и далекими глазами, прохладно голубыми, намного бледнее, чем летнее небо, полные почти отшлифованного света, остановившими на мне праздный и равнодушный взгляд.

Это был мой господин, сложивший руки на коленях, он выглядел посторонним, наблюдавший за всем издалека, словно ничто не могло потревожить величия его изваяния. Казалось, что его лицо всегда хранило установившееся на нем сейчас выражение, лишенное улыбки.

— Безжалостный! — прошептал я.

— Нет, о нет, — сказал он. Его губы не двигались. — Но расскажи мне еще раз эту историю. Опиши мне тот зеркальный город.

— Ах да, мы же о нем уже говорили, не так ли, о тех священниках, они говорили, что я должен возвращаться, и о тех старых картинах, таких древних, я считаю, что они очень красивые. Понимаешь, они создаются не руками, а вложенной в меня силой, она входила в меня, а мне оставалось только взять кисть, и я мог свободно раскрывать лики и богородицы, и святых.

— Не отбрасывай это старые образы, — сказал он, и снова его губы не дрогнули, произнося слова, которые я так ясно слышал, слова, пронзавшие мои уши, как любой человеческий голос, своим тоном, своим тембром. — Ибо образы меняются, а то, что сегодня логично, завтра

станет суеверием, и в той древней строгости лежит великая неземная цель, неослабевающая чистота. Но расскажи мне еще раз про зеркальный город.

Я вздохнул.

— Ты, как и я, видел, — начал я, как из печи достают расплавленное стекло, раскаленный шар, чудовищно горячий, на железном копье, он плавится и капает, чтобы художник мог своим прутом вытянуть его и растянуть, или же наполнить его воздухом, чтобы получить идеально круглый сосуд. Так вот, представь себе, что это стекло поднялось из самой матери Земли, расплавленный поток, выброшенный в облака, а из этих огромных жидких фонтанов родились населенные башни стеклянного города — не в подражание формам, созданным человеком, но идеальные, как предопределенная естественным образом, раскаленная сила самой земли, невообразимых цветов. Кто жил в таком месте? Мне показалось, что оно очень далеко, но вполне достижимо. Всего лишь на расстоянии небольшой прогулки по прекрасным холмам со гибкой зеленой травой и волнующимися цветами тех же фантастических оттенков и тонов, спокойное, оглушительное и невероятное видение.

Я посмотрел на него, потому что раньше смотрел в сторону, погружаясь в зрительные воспоминания.

— Скажи, что все это значит, — попросил я. — Где находится это место, и почему мне позволили на него посмотреть?

Он грустно вздохнул и сам отвел глаза, а потом посмотрел на меня с тем же отчужденным выражением на застывшем лице, только теперь я рассмотрел в нем густую кровь, как позавчера ночью, его наполнило человеческое тепло, перекачанное из человеческих вен — несомненно, его поздняя трапеза в тот же вечер.

— Неужели ты даже не улыбнешься, если пришел попрощаться? — спросил я.

— Если ты ничего не чувствуешь, кроме горечи и холода, и дашь мне умереть от свирепой лихорадки? Я болен и умру, ты же знаешь. Ты знаешь, какую я испытываю тошноту, ты знаешь, как у меня болит голова, ты знаешь, как у меня сводит все суставы, как горят мои раны от бесспорно смертельного яда. Почему же ты так далеко, и все‑таки вернулся домой посидеть со мной, почему ты ничего не чувствуешь?

— Когда я смотрю на тебя, я, как всегда чувствую любовь, — ответил он, — дитя мое, мой любимый, выносливый сын. Любовь. Она замурована там, где ей, наверное, и надлежит остаться, чтобы дать тебе умереть, поскольку ты прав, ты умрешь, и тогда, может быть, твои священники примут тебя, ибо что им останется, если тебе некуда будет вернуться?

— Да, но вдруг таких мест много? Что, если во второй раз я окажусь на новом берегу, где из кипящей земли поднимается не открывшаяся мне красота, а сера? Мне больно. Эти слезы — как кипяток. Столько всего потеряно. Я не могу вспомнить. Кажется, я слишком часто повторяю одно и то же. Я не могу вспомнить! — Я протянул руку. Он не двигался. Моя рука отяжелела и упала на забытый молитвенник. Мои пальцы нащупали жесткие пергаментные страницы.

— Что убило твою любовь? То, что я сделал? Что я привел сюда человека, убившего моих братьев? Или то, что я умер и увидел такие чудеса? Отвечай.

— Я и сейчас тебя люблю. И буду любить, каждую ночь, и каждый день во сне, вечно. Твое лицо — это сокровище, данное мне, которого я никогда не забуду, хотя и могу безрассудно потерять. Его блеск будет мучить меня целую вечность. Амадео, подумай обо всем еще раз, открой свои мысли, как раковину, дай мне увидеть жемчужину того, чему они тебя научили.

— А ты сможешь, господин? Ты сможешь понять, как любовь, и только любовь, может столько значить, что из нее состоит весь мир? Даже травинки, листья деревьев, пальцы руки, которая тянется к тебе? Любовь, господин. Любовь. Но кто поверит в такую простую и огромную вещь, когда существуют хитроумные лабиринты вероучений и философии, полные созданной человеком, неизменно соблазнительной сложности? Любовь. Я слышал ее звук. Я ее видел. Или это были галлюцинации охваченного лихорадкой ума, ума, который боится смерти?

— Может быть, — сказал он с по‑прежнему бесчувственным, неподвижным лицом. Его глаза сузились в плену их собственного уклонения от веры в увиденное. — О да, — сказал он. — Ты умрешь, я дам тебе умереть, и я думаю, что для тебя, возможно, существует только один берег, где ты опять найдешь своих священников, свой город.

— Мое время еще не пришло, — сказал я. — Я знаю. И такое заявление за несколько часов не изменить. Разбей свои часы. Они хотели сказать, что час земного воплощения души еще не пробил. Судьба, при рождении написанная у меня на руке, не может так скоро осуществиться или так легко потерпеть поражение.

— Я могу устранить перевес, дитя мое, — сказал он, и на этот раз его губы двигались. Его лицо приобрело приятный бледно‑коралловый оттенок, глаза по неосторожности широко раскрылись, он снова стал самим собой, тем, кого я знал, тем, кем я дорожил. — Мне так просто было бы забрать у тебя последние силы. — Он наклонился надо мной. Я увидел крошечные пестрые полоски в зрачках его глаз, яркие лучистые звезды за более темной радужной оболочкой. Его рот, так удивительно украшенный крошечными линиями человеческих губ, был розовым, как будто на нем поселился поцелуй человека. — Мне так просто было бы выпить последний роковой глоток твоей детской крови, последнюю каплю свежести, которую я так люблю, и в моих руках останется труп, блистающий такой красотой, что каждый, кто увидит его, прослезится, и труп этот ничего мне не расскажет. Я буду знать, что тебя нет, и больше ничего.

— Ты говоришь это, чтобы меня помучить? Господин, раз уж я не могу попасть туда, я хочу быть с тобой!

Его губы задвигались в откровенном отчаянии. Он стал похож на человека, на настоящего человека, и красная кровь усталости и печали заволокла уголки его глаз. Рука, протянутая, чтобы потрогать мои волосы, дрожала.

Я схватил ее, как высокую колышущуюся на ветру ветку. Я собрал его пальцы, как листья, поднес их к губам и поцеловал. Повернув голову, я приложил их в раненой щеке. Я почувствовал, как завибрировал под ними отравленный порез. Но еще более остро я почувствовал, как сильно они дрожат.

Я прищурился.

— Сколько людей сегодня умерло, чтобы тебя накормить? — прошептал я. — И как такое может быть, а при этом весь мир состоит из одной любви? Ты слишком прекрасен, чтобы упустить тебя из виду. Я запутался. Я этого не понимаю. Но если я выживу, разве я, простой смертный мальчик, разве я смогу это забыть?

— Ты не выживешь, Амадео, — грустно сказал он. — Не выживешь! — Его голос прервался. — Яд проник слишком глубоко, небольшие вливания моей крови его не пересилят. — На его лице отразилась боль. — Дитя, я не могу тебя спасти. Закрой глаза. Прими мой прощальный поцелуй. Между мной и теми, кто стоит на том берегу, нет дружбы, но они не смогут не принять то, что умирает так свободно.

— Господин, нет! Господин, я не могу проверить это один. Господин, они же отослали меня обратно, а ты пришел, ты обязательно пришел бы, неужели они этого не знали?

— Амадео, им все равно. Хранитель мертвых чрезвычайно равнодушны. Они говорят о любви, но не о веках заблуждения и неведения. Что за звезды могут петь такую прекрасную песню, когда весь мир изнывает от диссонанс? Жаль, что ты не смог их заставить, Амадео. — Его голос чуть не надломился от боли. — Амадео, какие право они имели возлагать на меня ответственность за свою судьбу?

Я издал слабый грустный смешок.

Меня затрясло в лихорадке. На меня нахлынула огромная волна тошноты. Если я пошевельнусь или заговорю, то подступил мерзкая сухая тошнота, которая представит меня не в самом выгодном свете. Лучше уж умереть. — Господин, я так и знал, что ты подвергнешь мой рассказ подробному анализу, — сказал я. Мне хотелось не горько и саркастически улыбаться, но добраться до простой истины. Мне стало ужасно тяжело дышать. Мне показалось, проще прекратить дышать, что никакого неудобства это не принесет. Мне вспомнились строгие наставления Бьянки. — Господин, — сказал я, — не бывает в этом мире кошмаров без конечного искупления.

— Да, но для некоторых из нас, — настаивал он, — какова цена такого спасения? Амадео, как они смеют требовать от меня участия в своих непостижимых планах! Я молю бога, чтобы это были иллюзии. Не говори больше о чудесном свете. Не думай о нем.

— Не думать, сударь? А ради чьего успокоения мне стирать все из памяти? Кто здесь умирает?

Он покачал головой.

— Давай, выдави из глаз кровавые слезы, — сказал я. — Кстати, на какую смерть вы сами надеетесь, сударь, ведь вы говорили мне, что даже для вас смерть не невозможна? Объясните мне, если, конечно, у меня осталось время до того, как весь отпущенный мне свет погаснет, и земля поглотит сокровище во плоти, которые вам понадобилось из прихоти!

— Никакая не прихоть, — прошептал он.

— Ну, так куда вы попадете, сударь? Успокойте меня, пожалуйста.

Сколько минут мне осталось?

— Я не знаю, — сказал он шепотом. Он отвернулся от меня и наклонил голову. Никогда я не видел его таким покинутым.

— Дай мне посмотреть на твою руку, — слабо сказал я. — Ведьмы в темных венецианских тавернах научили меня читать линии на ладони. Я скажу, когда ты умрешь. Дай мне руку. Я почти ничего не видел. Все заволокло туманом. Но я говорил серьезно.

— Ты опоздал, — ответил он. — Ни одной линии не осталось. — Он показал мне свою ладонь. — Время стерло то, что люди называют судьбой. У меня ее нет.

— Мне жаль, что ты вообще пришел, — сказал я и отвернулся от него. Я положил голову на чистую, прохладную подушку. — Ты не мог бы оставить меня, мой возлюбленный учитель? Я предпочел бы общество священника и моей сиделки, если ты не отправил ее домой. Я любил тебя всем сердцем, но я не хочу умирать в твоем высочайшем обществе.

Сквозь туман я увидел, как наклоняется ко мне его силуэт. Я почувствовал, как его руки берут мое лицо и разворачивают к себе. Я увидел, как сверкают его голубые глаза, ледяным пламенем, нечетким, но неистовым.

— Хорошо, мой дорогой. Момент настал. Ты хочешь пойти со мной и стать таким, как я? — Его голос, несмотря на боль, звучал выразительно и успокоительно.

— Да, с тобой, навсегда и навеки.

— Втайне процветать только на крови злодея, как процветаю я, отныне и навсегда, и хранить эту тайну до конца света, если придется.

— Обещаю. Я согласен.

— Выучит каждый урок, который я преподам.

— Да, каждый.

Он поднял меня с кровати. Я упал ему на грудь, у меня кружилась голова, и ее пронзила такая острая боль, что я тихо вскрикнул.

— Это ненадолго, любовь моя, моя юная, хрупкая любовь, — сказал он мне на ухо.

Меня опустили в ванну, в теплую воду, с меня осторожно сорвали одежду, а голову заботливо положили на выложенный плиткой край. Я расслабил руки, и они всплыли на поверхности воды. Я почувствовал, как она плещется вокруг моих плеч.

Он набрал полные пригоршни воды, чтобы меня выкупал. Сначала он омыл мое лицо, а затем — все тело. Он провел по моему лицу твердыми атласными кончиками пальцев.

— Еще ни одного случайного волоса на подбородке, но ты уже обладаешь достоинствами мужчины, и теперь тебе придется подняться над наслаждениями, которые ты так любил.

— Да, я согласен, — прошептал я. Ужасный ожог рассек мою щеку. Порез разошелся. Я попытался потрогать его. Он удержал мою руку. Это его кровь капнула на гноящуюся рану. И пока плоть ныла и горела, я чувствовал, как она срастается. То же самое он проделал с царапиной на плече, а потом — с маленьким порезом на руке. Закрыв глаза, я отдался неестественному, парализующему удовольствию этого процесса.

Он опять прикоснулся ко мне рукой, успокаивающе проведя ей по моей груди, миновав интимные места, обследовав по очереди обе ноги, возможно, проверяя, нет ли на коже небольших царапин или недостатков. По моей коже от удовольствия опять пробежала жаркая, пульсирующая дрожь.

Я почувствовал, как меня поднимают из воды, заворачивают во что‑то теплое, а потом воздух вокруг меня содрогнулся, что означало — он перенес меня в другое место, двигаясь быстрее, чем может увидеть любой любопытствующий взгляд. Я стоял босиком на мраморном полу, и в своей лихорадке находил ощущение бодрящего холода очень приятным.

Мы стояли в студии. Мы стояли спиной к картине, над которой он работал несколько ночей назад, лицом к другому шедевру огромного размера, где под сверкающим солнцем густая роща окружала две бегущие на ветру фигуры.

Женщина была Дафной, ее простертые к небу руки превращались в лавровые ветви, уже поросшие листьями, ее ноги переросли в корни, устремившиеся в ярко‑коричневую землю. А за ней обезумевший прекрасный бог Аполлон, атлет с золотыми волосами и стройными мускулистыми ногами, не успевал остановить ее отчаянное волшебное бегство от его опасных объятий, ее роковое превращение.

— Взгляни на равнодушные облака, — прошептал господин мне на ухо. Он указал на великолепные солнечные блики, нарисованные им с большим мастерством, чем теми, кто видел его ежедневно.

Он произнес слова, которые я так давно доверил Лестату, рассказывая ему свою историю, слова, которые он так милосердно подобрал из тех немногочисленных образов, какие я был в состоянии ему показать.

Сейчас, когда я повторяю эти слова, последние из тех, какие мне суждено было услышать в смертной жизни, я слышу голос Мариуса:

«Это единственное солнце, которым отныне ты сможешь наслаждаться. Но в твоем распоряжении будет тысячелетняя ночь, чтобы видеть свет, невидимый смертным, схватить с далеких звезд, подобно Прометею, бесконечный луч, который откроет тебе путь к пониманию.»

И я, кто узрел куда более удивительный, божественный свет в том царстве, которое меня отвергло, жаждал только одного — чтобы он затмил его навсегда.

### 8

Личные покои господина: череда комнат, стены которых он покрыл безупречными копиями творений теми смертных художников, кем он так восхищался: Джотто, Фра Анжелико, Беллини.

Мы стояли в комнате шедевра Беноццо Гоццоли из капеллы Медичи во Флоренции: «Шествие волхвов». В середине века создал Гоццоли это видение и обволок им три стены маленького святилища. Но мой господин, обладавший сверхъестественной памятью и мастерством, расширил великий труд, перенеся все плоскости от начала до конца на одну огромную стену этой безмерно широкой галереи.

Она казалась самим совершенством, как оригинал Гоззоли, — компании прекрасно одетых молодых флорентинцев, каждое бледное лицо — этюд задумчивой невинности, поодаль — конница из великолепных лошадей, следующих за изящной фигурой самого молодого Лоренцо де Медичи, юноши с мягкими вьющимися светло‑каштановыми волосами до плеч и плотским румянцем на белых щеках. С выражением внешнего спокойствия он безразлично взирал на зрителя, царственно восседая в отделанной мехом золотой куртке с длинными рукавами с разрезами на белом коне с прекрасными украшениями. Каждая деталь картины была под стать остальным. Даже уздечка и сбруя состояли из идеально выписанного золота и бархата, отлично сочетаясь с облегающими рукавами туники Лоренцо и его красными бархатными сапогами до колен.

Но большей частью своего очарования картина была обязана лицам юношей, а также нескольких стариков, составлявших необъятную процессию, каждый — со спокойным маленьким ртом и блуждающими по сторонам глазами, словно прямой взгляд вперед может нарушить чары.

Они шли все дальше и дальше, мимо замков и гор, следуя извилистому пути в Вифлеем.

Для освещения этого шедевра по обе стороны комнаты зажигались в ряд десятки серебряных канделябров. Толстые белые свечи из чистейшего воска источали роскошный свет. Наверху потрясающая масса нарисованных облаков окружала овал плывущих святых, касавшихся кончиков вытянутых рук друг друга и взиравших на нас благожелательно и с удовлетворением.

Никакая мебель не закрывала розовые плиты каррарского мрамора, составлявшие отполированный до блеска пол. Этот пол был размечен на большие квадраты с помощью извилистых узоров из вьющихся зеленых растений, покрытых листьями, но в остальных отношениях он оставался простым, глянцевым, и шелковистым для босых ног.

Оказалось, что я с вызванной лихорадкой зачарованностью разглядываю все чудесные поверхности этого зала: «Шествие волхвов», занимавшее всю расположенную справа от меня стену, казалось, в изобилии излучала настоящие звуки — приглушенный топот конских копыт, шарканье шагов странников, идущих рядом, шуршание кустарника с красными цветами, даже отдаленные крики охотников, кто, вместе с тонкими собаками, мелькающих вдалеке на горных тропах.

Мой господин стоял в самом центре зала. Он снял свой привычный красный бархат. На нем была только открытая мантия из золотой ткани, с длинными, доходящими до запястий, широкими рукавами, полы едва касался босых белых ног.

Волосы его мягко падали на плечи и образовывали желтоватый блестящий ореол.

На мне была такое же широкое одеяние, простое и легкое.

— Иди ко мне, Амадео, — сказал он.

Я был слаб, ужасно хотел пить и едва мог стоять. Однако он все это знал, и любые оправдания были бы неуместны. Я делал один неверный шаг за другим, пока не добрался до его протянутых рук. Его ладони легли мне на затылок.

Он приблизил губы. Меня охватило благоговейное чувство страшного конца.

— Сейчас ты умрешь, чтобы остаться со мной в вечной жизни, — прошептал он мне на ухо. — Не бойся ни на секунду. Твое сердце в моих руках, в безопасности.

Его зубы впились в меня, глубоко, жестко, с остротой двух кинжалов, и в моих ушах загрохотало мое собственное сердце. Все мои внутренности съежились, а желудок свело от боли. Однако при этом по всем моим венам разлилось дикое удовольствие, удовольствие, устремившееся к ранам на шее. Я чувствовал, как моя кровь бежит навстречу моему господину, навстречу его жажде и моей неизбежной смерти.

Даже мои руки сковали вызывающие трепет ощущения. Мне показалось, что я внезапно превратился в кукольную сеть раскаленных замкнутых нитей, пока с тихим, явственным и неторопливым звуком мой господин пил кровь моей жизни. Звук его сердца, медленный, ровный, гулкий гремящий стук, отдавался у меня в ушах.

Словно по волшебству, боль в моих внутренностях преобразовалась в тихий острый восторг; мое тело лишилось веса, всякого ощущения себя в пространстве. Его сердце билось внутри меня. Мои руки нащупали его длинные атласные локоны, но я не цеплялся за них. Я плыл, поддерживаемый только настойчивым биением сердца и волнующимся быстрым потоком моей крови.

— Я сейчас умру, — прошептал я. Такого экстаз не может длиться вечно. Мир резко испарился.

Я стоял в одиночестве на ветреном, заброшенном морском берегу. Это была та же земля, куда я уже совершил путешествие, но теперь она резко изменилась, лишенная сияющего солнца и изобилующих цветов. Там были и священники, но их рясы замело пылью, они потемнели и пахли землей. Я узнал этих священников, я хорошо их знал. Я знал их имена. Я узнал их узкие бородатые лица, жидкие сальные волосы и черные войлочные шляпы. Я узнал грязь под их ногтями, я узнал голодные впадины их запавших блестящих глаз. Они манили меня за собой. Ах да, туда, где и есть мое место. Мы взбирались все выше и выше, пока не оказались на отвесном берегу стеклянного города, лежавшего вдали от нас, слева, но каким же он был покинутым и пустым.

Вся расплавленная энергия, освещавшая его бесчисленные прозрачные башни, угасла, исчезла, как будто отключилась у источника. Ничего не осталось от пламенеющих красок, только густые тусклые остатки тонов под безликой гладью безнадежного серого неба. Как же грустно, грустно видеть стеклянный город без волшебного огня.

От него исходил целый хор звуков, звон, как от стекла, глухо бьющегося о другое стекло. Никакой музыки. Только смутное, но явственное отчаяние.

— Иди же, Андрей, — сказал мне один из священников. Его грязные руки с кусочками запекшейся земли дотронулись до меня и потянули за собой, причиняя боль пальцам. Я опустил глаза и увидел, что у меня тонкие и мертвецки белые пальцы. Костяшки пальцев блестели, как будто с них уже сорвали плоть, но это было не так.

Вся кожа просто прилипла ко мне, обвисшая, как и у них. Перед нами появились воды реки, полной льдин и огромных переплетений почерневшего плавника, разлившейся по равнине темной озером. Нам пришлось идти по ней, и холодная вода нас обжигала. Но мы не останавливались, все четверо, трое священников и я. Над нами нависли когда‑то золотые купола Киева. Это был наш Софийский собор, выстоявший после жутких кровопролитий и пожарищ, устроенных монголами, опустошившими наш город, ……………….. все его богатства и всех грешных и светских людей.

— Идем, Андрей.

Я узнал эту дверь. Она вела в Печорскую Лавру. Только свечи освещали эти катакомбы, и повсюду царил запах земли, заглушая даже вонь засохшего пота на грязной нездоровой плоти.

В руках я держал шершавую деревянную ручку маленькой лопаты. Я вонзил ее в кучу земли. Я вскрывал мягкую стену из щебенки, пока мой взгляд не упал на человека, не мертвого, но грезящего под слоем грязи.

— Все еще жив, брат? — прошептал я этой душе, захороненной по самую шею.

— Все еще жив, брат Андрей, дай мне лишь то, что меня подкрепит, — произнесли потрескавшиеся губы. Белые веки так и не поднялись. — Дай мне лишь самую малость, чтобы наш Господь и Спаситель, Христос, избрал время, когда мне вернуться домой.

— О брат, сколько в тебе мужества, — сказал я. Я поднес к его губам кувшин с водой. Он пил, и по его лицу стекали полоски грязи. Его голова откинулась на мягкую кучу щебенки.

— А ты, дитя, — сказал он, с трудом дыша и чуть‑чуть отворачиваясь от предложенного кувшин, — когда ты наберешься сил избрать свою земляную келью среди нас, свою могилу, и ждать прихода Христа?

— Надеюсь, что скоро, брат, — ответил я. Я отступил. Я поднял лопату.

Я начал раскапывать новую келью, и вскоре на меня набросился отвратительный запах, который ни с чем не спутаешь. Стоявший рядом священник задержал мою руку.

— Наш добрый брат Иосиф наконец пребудет с Господом, — сказал он. — Да, открой его лицо, чтобы на убедиться, что он ушел с миром.

Запах сгущался. Только мертвецы так сильно воняют. Такой запах разоренных могил и телег доносится из районов, где бушует чума. Я боялся, что меня стошнит. Но я продолжал копать, пока наконец‑то не открылась голова покойника. Лысая, череп, обтянутый сморщившейся кожей.

Братья, стоявшие за моей спиной, произносили молитвы.

— Закрывай, Андрей.

— Когда ты обретешь мужество, брат? Только Бог может указать тебе, когда…

— Мужество на что? — Я узнаю этот грохочущий голос, этого широкоплечего мужчину, скатившегося вниз, в катакомбы. Я безошибочно узнаю его каштановые волосы и бороду, его короткую кожаную куртку и оружие, висящее на кожаном ремне.

— Так вот чем вы занимаетесь с моим сыном, иконописцем? — Он схватил меня за плечо, как хватал тысячу раз, той же здоровой звериной лапой, которая избивала меня до потери сознания.

— Отпусти меня, пожалуйста, несносный, невежественный бык, — прошептал я. — Мы в доме божьем.

Он потащил меня, так что я упал на колени. Моя ряса затрещала, черная ткань порвалась.

— Отец, прекрати и уходи, — сказал я.

— Закопать в этих ямах мальчика, который рисует с талантом ангела?

— Брат Иван, прекрати орать. Богу решать, кто из нас что будет делать.

Священники побежали за мной. Меня тащили в мастерскую. С потолка свисали ряды икон, покрывающих всю дальнюю стену. Отец швырнул меня на стул у большого тяжелого стола. Он поднял железный подсвечник с дрожащей, протестующей свечой, осветив все остальные тонкие ритуальные свечки.

Свеча бросала огненные отблески на его огромную бороду. Из густых бровей вылезали длинные седые волоски, закручивающиеся вверх, как у дьявола.

— Ты ведешь себя, как деревенский идиот, отец, — прошептал я. — Удивляюсь, как я сам не стал слюнявым блаженным нищим.

— Заткнись, Андрей. Одно мне ясно, здесь тебя никто не учит манерам. Пора мне тебя выдрать.

Он влепил мне по голове кулаком. У меня онемело ухо.

— Я думал, что достаточно колотил тебя, пока не привел сюда, но я ошибся, — сказал он. Он шлепнул меня еще раз.

— Святотатство! — воскликнул нависший надо мной священник. — Этот мальчик благословен Богом.

— Благословен кучкой ненормальных, — сказал отец. Он достал из‑за пазухи сверток. — Ваши яйца, братья! — презрительно сказал он.

Он положил на стол мягкий кожаный мешок и достал одно яйцо.

— Рисуй, Андрей. Рисуй и напомни этим ненормальным, что ты одарен самим Господом.

— Но картину пишет сам Господь! — вскричал священник, самый старый, чьи липкие седые волосы от времени так перепачкались жиром, что стали почти черными. Он протолкнулся между моим стулом и отцом.

Отец положил на стол все яйца, кроме одного. Нагнувшись над маленькой глиняной миской, он разбил скорлупу, аккуратно собрав в одну половинку желток, а остальное пролив на свою кожаную одежду.

— Держи, вот тебе, Андрей, чистый желток. — Он вздохнул и отбросил на пол разбитую скорлупу.

Он поднял небольшой кувшин и налил в желток воды.

— Давай, смешивай, смешивай свои краски и работай. Напомни этим…

— Он работает, когда Господь призывает его к работе, — объявил старец, — а когда Господь призовет его похоронить себя в земле, жить жизнью затворника, отшельника, он так и сделает.

— Черта с два, — сказал отец. — Сам князь Михаил просил икону богородицы. Рисуй, Андрей. Нарисуй три, чтобы мне отдать князю ту, что он просил, а остальные отвези в дальний замок его двоюродного брата, князя Федора, как он хотел.

— Тот замок разрушен, отец, — с презрением сказал я. — Федора и всех его людей убили дикие племена. Там, в диких землях, ты ничего не найдешь, кроме камней, отец, ты это знаешь не хуже меня. Мы достаточно далеко заезжали, чтобы убедиться своими глазами.

— Мы поедем, если князю так будет угодно, — сказал отец, — и оставим икону в ветвях дерева, стоящего рядом с местом, где погиб его брат.

— Суета и безумие, — сказал старец. В комнату вошли и другие монахи.

Поднялся крик.

— Говорите по‑человечески, кончайте песни петь! — закричал отец. — Дайте моему сыну рисовать. Андрей, смешивай краски. Говори свои молитвы, но приступай.

— Отец, ты меня унижаешь. Я тебя презираю. Мне стыдно, что я твой сын. Я твоим сыном не буду. Заткни свой грязный рот, иначе я ничего тебе не нарисую.

— А, узнаю своего милого сыночка, что ни речи, то мед, и пчелы оставили ему свое жало в придачу.

Он опять меня ударил. На этот раз у меня закружилась голова, но я отказался поднимать к ней руки. У меня заболело ухо.

— Гордись собой, Иван‑дурак! — сказал я. — Как я буду рисовать, если я ничего не вижу и даже сидеть не могу?

Монахи закричали. Они спорили друг с другом. Я постарался сосредоточиться на небольшом ряду глиняных кувшинов, готовых для желтка и воды. Наконец я принялся смешивать желток и воду. Уж лучше работать и выбросить их из головы. Я услышал, как отец удовлетворенно засмеялся.

— Давай, покажи им, покажи им, что они собираются закопать в куче грязи.

— Во имя Бога, — сказал старец.

— Во имя тупых идиотов, — сказал отец. — Вам мало получить великого художника. Вам нужно получить святого.

— Ты сам не знаешь, кто твоей сын. Господь направлял тебя, когда ты привел его к нам.

— Не Господь, а деньги, — сказал отец. Со стороны монахов послышались оханья.

— Что ты им врешь, — неслышно сказал я. — Ты чертовски хорошо знаешь, что сделал это из гордыми.

— Да, из гордости, — ответил отец, — что мой сын может нарисовать лик Господа и Богородицы, как великий мастер. А вы, кому я доверил этот гений, слишком невежественны, чтобы это понимать.

Я начал растирать необходимые пигменты, мягкий коричнево‑красный порошок, а потом вновь и вновь перемешивать его с желтком и водой, пока в них не растворился каждый крошечный комок и краска не стала гладкой, идеально разведенной и чистой. Теперь желтый, потом красный.

Они из‑за меня поскандалили. Отец поднял на старца кулак, но я не стал отрываться. Он не посмеет. Он от бешенства пнул мою ногу, вызвав судорогу в мышцах, но я ничего не сказал. Я продолжал смешивать краску.

Слева меня обошел один из монахов и просунул передо мной чистую выбеленную доску, огрунтованную, подготовленную для святого лика.

Наконец все было готово. Я наклонил голову. Я перекрестился по нашему обычаю, справа налево, не слева направо.

— Господи, дай мне силу, дай мне глаза, направь мои руки, как можешь только ты своей любовью! — У меня в руках тотчас оказалась кисть, я взял ее бессознательно, и кисть начала скользить по дереву, сперва обозначая овал лица Богородицы, затем — покатые линии плечей, а далее — контур ее сложенных рук.

Теперь же их вскрики отдавали дань картине. Мой отец смеялся от злорадного удовлетворения.

— Ага, мой Андрей, мой острый на язык, саркастичный, непослушный, неблагодарный, маленький, одаренный Богом гений.

— Ну, спасибо тебе, отец, — язвительно прошептал я, прямо из глубины своего сосредоточенного, напоминавшего транс состояния, когда сам я с благоговением наблюдал за работой кисти. Вот ее волосы, плотно прилегавшие к голове, разделенные на пробор. Мне не требовалось инструментов, чтобы придать идеально круглую форму нимбу вокруг ее головы.

Монахи держали наготове чистые кисти. Один держал в руках чистую тряпку. Я выхватил кисть для красной краски, которую я затем смешивал в белой пастой, пока она не приобрела подходящий для плоти оттенок.

— Ну разве не чудо!

— Вот именно, — проговорил старец сквозь сжатые зубы, — это чудо, брат Иван, и он поступит согласно божьей воле.

— Будьте вы прокляты, пока я жив, он здесь замурован не будет. Он едет с мной в степи.

Я расхохотался.

— Отец, — усмехнулся я, — мое место здесь.

— Он лучший стрелок в семье, и он поедет со мной в степь, — сказал отец монахам, которые обрушили на него шквал протестов и возражений.

— Почему ты наделил Богоматерь слезой в уголке глаза, брат Андрей?

— Это Господь наделил ее слезой, — ответил другой монах. — Это же скорбящая мать. Только посмотри, как прекрасны складки ее плаща.

— Смотрите, маленький Христос! — воскликнул мой отец, и даже его лицо исполнилось почтения. — Бедный младенец Христос, его скоро ждет распятие, смерть на кресте. — Он понизил голос, ставший почти нежным.

— Какой талант, Андрей, смотрите же, посмотрите в глаза младенцу, посмотрите на его ручку, на большой палец, на маленькую ручку.

— Даже тебя озарил свет Господень, — сказал старец. — Даже такого жестокого глупца, как ты, брат Иван.

Монахи подошли ближе, вокруг меня сомкнулся круг. Отец протянул мне полную ладонь маленьких мерцающих камней.

— Для нимбов. Работай быстрее, Андрей, князь Михаил повелел нам ехать.

— Говорю тебе, это безумие, — мгновенно зажурчал хор голосов. Мой отец повернулся и поднял кулак.

Я поднял глаза, протянул руку к свежей, чистой деревянной доске. Мой лоб взмок от пота. Я продолжал работать.

Я сделал три иконы.

Я испытывал такое счастье, чистое, неподдельное счастье. Как приятно было согреться в нем, сознавать его, и я знал, хотя ничего и не говорил, что все устроил мой отец, мой отец, такой веселый, краснощекий и подавляющий, с широкими плечами и блестящим лицом, отец, которого я предположительно должен был ненавидеть.Скорбящая мать с младенцем, салфетка для ее слез и сам Христос. Усталый, с затуманенным взглядом, я откинулся назад. Там было невыносимо холодно. Хоть бы здесь разожгли огонь. А мою руку, левую руку свело от холода. Только правая рука была в порядке благодаря тому темпу, в котором я работал. Мне хотелось сунуть в рот пальцы левой руки, но это было неприлично, только не здесь, не в этот момент, когда все собрались ворковать над иконами.

— Шедевр. Творение Бога.

На меня снизошло ужасное чувство времени, чувство, что я нахожусь вдалеке от этой минуты, вдалеке от Печорской лавры, которой я дал обет посвятить свою жизнь, вдалеке от монахов, моей братии, вдалеке от моего кощунствующего, глупого отца, кто, несмотря на свое невежество, так мной гордился.

Из его глаз текли слезы.

— Мой сын, — сказал он. Он гордо сжал мое плечо. По‑своему он был прекрасен, красивый сильный человек, который ничего не боялся, сам по себе князь среди своих лошадей, своих собак и своих сторонников, одним из которых был я, его сын.

— Оставь меня в покое, туполобая деревенщина, — сказал я. Я улыбнулся ему, чтобы еще больше разозлить. Он засмеялся. Он слишком радовался и слишком гордился, чтобы поддаться на провокацию.

— Смотрите, что сделал мой сын. — У него стал предательски глухой голос. Он чуть не плакал. И при этом не был даже пьян.

— Нерукотворные, — сказал монах.

— Естественно, нет, — загрохотал презрительный отцовский голос. — Просто нарисованные руками моего сына, вот и все.

Шелковистый голос произнес мне на ухо:

— Ты сам разместишь камни в нимбах, брат Андрей, или мне выполнить эту работу?

Вот и все было сделано — паста намазана, камни закреплены — пять камней для иконы Христа. В моей руке опять появилась кисть, чтобы пригладить коричневые волосы Христа, разделенные на пробор и убранные за уши, так что по обе стороны шеи виднелись только части прядей. В моей руке возникла игла, чтобы углубить и оттенить черные буквы в открытой книге, лежавшей в левой руке Христа. С доски, серьезный и строгий, глядел Господь Бог, под изгибом коричневых усов виднелся красный прямой рот.

— Пойдем, князь здесь, князь приехал. — За входом в лавру жестокими порывами валил снег. Монахи помогли мне надеть кожаные одежды, куртку из бараньей кожи. Они застегнули мне пояс. Приятно было снова вдохнуть запах этой кожи, вдохнуть свежий холодный воздух. Отец держал мой меч. Тяжелый, старый, он прибыл из его давней стычки с тевтонскими рыцарями в далеких восточных землях, драгоценные камни давно уже откололись от рукояти, но он оставался хорошим оружием, удобным боевым мечом.

В снежном тумане появилась фигура на коне. Это был сам князь Михаил в меховой шапке, в меховой шубе и перчатках, великий властелин, правивший Киевом за наших завоевателей, принадлежащих к римско‑католической вере, которую мы не принимали, и нам позволили сохранить прежнюю религию. Он был разодет в иностранный бархат и золото, разряженная фигура, уместная при королевском литовском дворе, о котором ходили фантастические слухи. Как же он выносит Киев, разрушенный город?

Лошадь встала на дыбы. Мой отец подбежал к ней, чтобы схватить под уздцы, и пригрозил животному так же, как угрожал мне.

Икону для князя Федора быстро завернули в шерсть и отдали нести мне.Я положил руку на рукоять меча.

— Нет, ты не увезешь его на свое безбожное дело! — воскликнул старец.

— Князь Михаил, ваша светлость, наш могущественный правитель, велите этому безбожнику не забирать нашего Андрея.

Сквозь снег я рассмотрел лицо князя, правильное, сильное, с седыми бровями и бородой, с огромными синими глазами.

— Отпустите его, отец, — крикнул он монаху. — Мальчик охотится с отцом с четырех лет. Никто еще не приносил таких щедрых подарков к моему столу, да и к вашему, отец. Отпустите его.

Лошадь заплясала назад. Отец повис на поводьях. Князь Михаил сплюнул снег с губ.

Наших лошадей подвели ко входу, могучего отцовского жеребца с грациозно изогнутой шеей и мерина пониже, который был моим, пока я не попал в Печорскую лавру.

— Я вернусь, отец, — сказал я старцу. — Благословите меня. Что я могу сделать против своего доброго, мягкосердечного и бесконечно благочестивого отца, когда мне приказывает сам князь Михаил.

— Да заткни ты свой паршивый рот, — сказал мой отец. — Думаешь, мне хочется слушать это всю дорогу до замка князя Федора?

— Ты будешь слушать это всю дорогу в ад! — объявил старец. — Ты ведешь на смерть моего лучшего послушника.

— Послушника, послушника для дыры в земле! Ты забираешь руки, нарисовавшие все эти чудеса…

— Их нарисовал Господь, — ядовит прошептал я, — ты прекрасно это знаешь, отец. Будь добр, прекрати выставлять напоказ свое безбожие и воинственность.

Я сидел в седле. Икону стянули шерстяной тканью и привязали к моей груди.

— Я не верю, что мой брат Федор погиб! — сказал князь, пытаясь сдержать своего коня и поравняться с отцовским жеребцом. — Может быть, странники видели другие развалины, какой‑то старый…

— Сейчас в степях ничто не выживает, — взмолился старец. — Князь, не забирайте Андрея. Не увозите его.

Монах побежал рядом с моим конем.

— Андрей, ты там ничего не найдешь, только дикую стелющуюся траву и деревья. Положи икону в ветвях дерева. Положи ее там на божью волю, чтобы татары, когда найдут ее, узнали его божественную силу. Положи ее там для язычников. И возвращайся домой.

Снег падал так неистово и густо, что я перестал видеть его лицо. Я посмотрел вверх, на ободранные, голые купола нашего собора, след византийской славы, оставленный нам монголами‑завоевателями, ныне собиравшими свою алчную дань через нашего князя‑католика.

Какой она была холодной и заброшенной, моя родина. Закрыв глаза, я мечтал о грязном отсеке в пещерах, о том, чтобы надо мной сомкнулся запах земли, чтобы, когда меня наполовину захоронят, ко мне пришли сны о Боге и о его добре.

Вернись ко мне, Амадео. Вернись. Не дай сердцу остановиться! Я развернулся.

— Кто меня зовет? Густая белая вуаль снега расступилась, приоткрыв далекий стеклянный город, черный, блестящий, словно разогретый кострами ада. К зловещим облакам темнеющего неба поднимались, подпитывая их, клубы дыма. Я поскакал к стеклянному городу.

— Андрей! — зазвучал за моей спиной голос моего отца. Вернись ко мне, Амадео. Не дай сердцу остановиться! Пока я пытался сдержать коня, икона выпала из моей левой руки. Шерстяная ткань развернулась. Икона падала по холму, без конца переворачиваясь, при падении подпрыгивая на углах, шерстяной сверток развалился. Я увидел мерцающее лицо Христа.

Меня подхватили сильные руки, потянули вверх, как ураган.

— Отпустите меня! — запротестовал я. Я оглянулся. На замерзшей земле лежала икона, вверх смотрели вопрошающие глаза Христа.

Мое лицо с обеих сторон сжали твердые пальцы. Я моргнул и открыл глаза. В комнате было тепло и светло. Прямо надо мной неясно вырисовывалось знакомое лицо моего господина, его голубые глаза налились кровью.

— Пей, Амадео, — сказал он. — Пей от меня.

Моя голова упала ему на горло. Забурлил фонтан крови; он забил из его вены, густой струей полившись на воротник его золотой мантии. Я лизнул ее. Кровь воспламенила меня, и я вскрикнул.

— Тяни ее в себя, Амадео. Тяни, сильнее!

Кровь заполнила мой рот. Мои губы прижались к его шелковой белой плоти, чтобы не пропало ни капли. Я сделал глубокий глоток. В тусклой вспышке я увидел, как мой отец скачет через степь, могучая фигура в кожаных одеждах, чем плотно прикреплен к поясу, нога согнута, потрескавшийся, изношенный коричневый сапог твердо стоит в стремени. Он повернулся налево, грациозно приподнимаясь и опускаясь в такт широким шагам его белого коня.

— Отлично, уходи от меня, ты, трус, бесстыдник, жалкий мальчишка! Уходи! — Он посмотрел прямо перед собой. — Я молился, Андрей, я молился, чтобы они не затащили тебя в свои грязные катакомбы, в свои мрачные земляные кельи. Мои молитвы услышаны! Иди с Богом, Андрей. Иди с Богом. Иди с Богом!

Лицо моего господина, восхищенное и прекрасное, горело белым огоньком на фоне дрожащего золотого света бесчисленных свечей. Он стоял надо мной.

Я лежал на полу. Мое тело пело от крови. Я поднялся на ноги, у меня поплыла голова.

— Господин.

Он оказался на дальнем конце комнаты, спокойно стоя босиком на светящемся розовом полу, протянув ко мне руки.

— Иди ко мне, Амадео, подойди сюда, иди, забери остальное.

Я старался подчиниться. Комната пылала разными красками. Я увидел процессию волхвов.

— Какие они яркие, какие живые!

— Иди ко мне, Амадео.

— У меня не хватит сил, господин, я упаду в обморок, я умру в этом великолепном свете.

Я сделал шаг, за ним — еще один, хотя и думал, что это невозможно. Я ставил одну ногу перед другой, подходя все ближе и ближе. Я споткнулся.

— Тогда иди на четвереньках, но иди. Иди ко мне. — Я вцепился в его мантию. Придется взобраться на эту гору, если я решился. Я потянулся вверх и схватился за его согнутую в локте правую руку. Я приподнялся, почувствовав прикосновение золотой ткани. Я распрямлял ноги, пока не встал. Я снова обхватил его; я снова нашел источник. Я пил, пил и пил.

Золотым потоком кровь хлынула в мои внутренности. Она разлилась по моим рукам и ногам. Я был Титаном. Я раздавил его своим телом.

— Дай мне ее, — прошептал я, — дай.

Кровь задержалась на моих губах и полилась мне в горло.

Как будто его холодные мраморные руки поймали мое сердце. Я слышал, как оно бьется, борется, как открываются и закрываются клапаны, слышал мокрый звук вторгающейся крови, хлопки и шлепки принимавших ее и перерабатывающих клапанов, мое сердце росло и набиралось сил, мои вены становились неуязвимыми металлическими каналами, полными этой необычайно крепкой жидкости.

Я лежал на полу. Он стоял надо мной, открыв мне руки.

— Вставай, Амадео. Давай, поднимайся, иди ко мне. Возьми ее.

Я плакал. Я всхлипывал. У меня были красные слезы, и рука оказалась в красных пятнах.

— Помоги мне, господин.

— Я тебе и помогаю. Иди, ищи ее сам.

Новая сила помогла мне подняться на ноги, словно все человеческие ограничения были сняты, как сдерживавшие меня веревки или цепи. Я прыгнул на него, оттянул назад воротник, чтобы быстрее найти рану.

— Сделай новую рану, Амадео.

Я вцепился в плоть, прокусил ее, и кровь брызнула на мои губы. Я сомкнул на ней рот.

— Теки в меня.

Мои глаза закрылись. Я увидел степи, стелющуюся траву, голубое небо. Мой отец все сказал и скакал вперед, а перед ним — небольшая группа всадников. Был ли я среди них?

— Я молился, чтобы ты сбежал! — выкрикнул он со смехом, — так и получилось. Черт тебя подери, Андрей. Черт подери тебя, твой острый язык и твои волшебные руки. Черт тебя побери, щенок, сквернослов, черт побери! — Он смеялся, смеялся и скакал, и трава расступалась перед ним.

— Отец, смотри! — попытался закричать я. Я хотел, чтобы он увидел каменные развалины замка. Но у меня был полный рот крови. Они были правы. Крепость князя Федора была уничтожена, сам он давно погиб. Дойдя до первой груды увитых сорняками камней, отцовская лошадь внезапно попятилась.

Я потрясенно осознал, что подо мной — мраморный пол, удивительно теплый. Я лежал, прижимаясь к нему обеими руками. Я приподнялся. Скопление розовых узоров было таким густым, таким насыщенным, таким чудесным, как будто это вода застыла, превратившись в прекрасный камень. Я мог бы смотреть в ее глубины целую вечность.

— Вставай, Амадео, еще раз.

О, на этот раз подняться было легко — дотянуться до его руки, а потом и до его плеча. Я разорвал плоть его шеи. Я пил. Кровь омыла меня изнутри, снова, к моему потрясению, показав моим пустым черным мыслям мое тело. Я увидел тело мальчика, мое собственное тело, с руками и ногами, и в этом теле я вдыхал свет и тепло, как будто бы я целиком превратился в один большой, состоящий из множества пор орган зрения, слуха, дыхания. Я дышал миллионом разных и сильных крошечных ртов.

Кровь наполнила меня до такой степени, что я больше не мог ее принимать. Я стоял перед моем господином. В его лице я заметил лишь намек на усталость, лишь слабую боль в глазах. Я впервые увидел в его лице настоящие линии его прежнего человеческого облика, мягкие неизменные морщинки в уголках складок его ясных глаз.

Складки его мантии заблестели, ткань переливалась на свету при малейшем его жесте. Он поднял палец. Он указывал на «Шествие волхвов».

— Теперь твоя душа навеки прикована к твоему физическому телу, — сказал он. — И ощущениями вампира, вампирским зрением, осязанием, вкусом и обонянием ты познаешь весь мир. Не отворачиваясь от него во мрачных глубинах земли, но открывая объятья его бесконечному великолепию ощутишь ты конечное величие творений Господа и его чудес, в его божественном снисхождении, воплощенном в деяниях людей.

Облаченные в шелка многочисленные участники «Шествия волхвов» двигались. Я снова услышал стук подков по мягкой земле и шарканье обуви. Мне опять показалось, что я слышу, как скачут по горному склону собаки. Я увидел, как поросль цветущего кустарника качается под тяжестью задевающей ее золоченой процессии; я увидел, как с цветов слетают лепестки. Чудесные звери резвятся в густом лесу. Я увидел, как гордый принц Лоренцо, сидя верхом на коне, повернул ко мне юное лицо, в точности как мой отец, и посмотрел на меня. Мир за его спиной простирался далеко‑далеко, мир каменистых скал, охотников на гнедых жеребцах и скачущих, танцующих псов.

— Он ушел навсегда, господин, — сказал я, и как же гладко и звонко звучал мой голос, откликаясь на все, что я видел.

— Что ушло, дитя мое?

— Русская земля, страна диких степей, мир с темными ужасными кельями в сырой матери‑земле.

Я поворачивался из стороны в сторону. От многочисленных горящих свечей поднимался дым. Воск сползал вниз и капал на держащие их серебряные подсвечники, капал даже на безупречно чистый мерцающий пол. Пол стал как море, неожиданно прозрачным, шелковым, а наверху на бескрайнем прекрасном голубом потолке плыли нарисованные облака. Казалось, эти облака источают туман, теплый летный туман, состоящие из смеси суши и моря.

Я вновь посмотрел на картину. Я двинулся по направлению к ней и раскинул руки ей навстречу, я долго разглядывал белые замки на холмах, тонкие ухоженные деревья, неистовую возвышенную пустыню, так терпеливо ожидавшую медлительного приближения моего кристально‑чистого взгляда.

— Сколько всего! — прошептал я. Никаких слов не хватит, чтобы описать густые коричневые и золотые оттенки бород экзотичных волхвов, или игры теней в нарисованной голове белой лошади, верблюдов с изогнутыми шеями, или ярких раздавленных цветов под беззвучно шагающими ногами.

— Я вижу всем своим существом, — вздохнул я. Я закрыл глаза и прислонился к картине, идеально воссоздавая в уме все подробности, как будто моя голова превратилась в эту комнату, стены которой разрисовал и расписал я сам. — Я вижу ее, ничего не упуская. Вижу, — прошептал я.

Я почувствовал, что господин обнял меня сзади. Он поцеловал мои волосы.

— Ты сможешь еще раз увидеть зеркальный город? — спросил он.

— Я могу его вызвать! — воскликнул я. Я откинул голову ему на грудь и повертел ей из стороны в сторону. Я открыл глаза и выхватил из буйной картины те самые краски, которых мне не хватало, и воссоздавал в воображении этот огромный город из кипящего, бурлящего стекла, пока его башни не пронзили небеса. — Вот он, ты его видишь?

Я, смеясь, описал его потоком сбивчивых слов, блестящие зеленые, желтые и синие шпили, сверкавшие и дрожащие в божественном свете.

— Видишь? — воскликнул я.

— Нет. Но ты видишь, — сказал господин, — и это больше, чем достаточно.

В тусклых покоях мы оделись в траурно‑черные цвета. Никаких сложностей, все вещи утратили свою прежнюю форму и сопротивляемость. Казалось, нужно всего лишь провести пальцами по камзол, чтобы он застегнулся.

Мы поспешили вниз по лестнице, которая, казалось, таяла у меня под ногами, и вышли в ночь.

Взобраться по скользким стенам палаццо было просто ерундой, снова и снова цепляться ногами за трещины в камне, балансируя на пучке папоротника или лозы, протягивая руки к оконным решеткам, и наконец потянуть за решетку и открыть ее, очень просто, а с какой легкостью я уронил металлические прутья в сверкающую зеленую воду! Как приятно видеть, как она тонет, как плещется вода, принимая опускающийся груз, как мерцает в воде отражение факелов.

— Я же упаду в воду.

— Идем.

Внутри, в комнате, из‑за письменного стола поднялся человек. От холода он закутал шею шерстяной тканью. Его широкое темно‑синее одеяние окаймляла жемчужно‑золотая полоса. Богач, банкир. Друг флорентинца, не оплакивающий свою потерю над толстыми листами пергамента, но высчитывающий неизбежные барыши, так как все его партнеры, очевидно, погибли от клинка и яда в частном обеденном зале.

Понял ли он теперь, что это сделали мы, человек в красном плаще и мальчик с каштановыми волосами, появившиеся через высокое окно четвертого этажа морозной зимней ночью?

Я набросился на него, словно он был любовью всей моей недолгой жизни, и развернул шерстяную ткань, скрывавшую артерию, откуда мне предстояло пить кровь.

Он умолял меня остановиться, назвать мою цену. Каким неподвижным казался мой господин, пока тот человек умолял, а я игнорировал его, нащупывая большую, пульсирующую, неотразимую вену, господин следил только за мной.

— Ваша жизнь, сударь, я должен ее забрать, — прошептал я. — У воров сильная кровь, не так ли, сударь?

— О мальчик, — вскричал он, и вся его решимость рухнулся, — неужели Господь посылает правосудие в таком неподходящем виде?

Эта человеческая кровь оказалась острой, едкой и странно противной, приправленная выпитым вином и травами съеденного ужина, почти фиолетовая при свете ламп, пролившись мне на пальцы, прежде чем я успел облизать их языком. После первого глотка я почувствовал, что его сердце остановилось.

— Мягче, Амадео, — прошептал господин. Я отпустил его, и сердце забилось снова.

— Вот так, пей медленно, медленно, пусть сердце перекачивает в тебя кровь, да, да, и мягче пальцами, чтобы не причинять лишних страданий, поскольку хуже судьбы он и представить себе не может — он знает, что умирает.

Мы вместе пошли по узкой набережной. Не нужно было больше удерживать равновесие, хотя мой взгляд затерялся в глубинах поющей, плещущейся воды, набиравшей скорость в многочисленных заключенных в камень соединенных между собой каналах. Мне захотелось потрогать мокрый зеленый мох на камнях.

Мы остановились на маленькой площади, опустевшей, перед угловатыми дверьми высокой каменной церкви. Они уже запирали. Все окна были затворены, все двери заперты. Вечерний звон давно пробил. Тишина.

— Еще раз, моя прелесть, чтобы ты набрался сил, — сказал господин, и его руки схватили меня, а смертоносные клыки пронзили шею.

— Ты обманешь меня? Ты убьешь меня? — прошептал я, заново чувствуя собственную беспомощность, поскольку никакое сверхъестественное усилие не смогло помочь мне вырваться из его хватки.

Он вытянул из меня кровь приливной волной, отчего у меня безвольно повисли и затряслись руки, а ноги задергались, как у повешенного. Я старался оставаться в сознании. Я отталкивал его. Но кровь продолжала течь из меня, из всех моих тканей в его тело.

— Теперь еще раз, Амадео, забери ее у меня. — Он нанес мне сильный удар в грудь. Я чуть было не свалился на землю. Я был так слаб, что упал вперед, только в последний момент ухватившись за его плащ. Я подтянулся и обхватил его левой рукой за шею. Он отступил и выпрямился, чтобы мне было сложнее. Но я был слишком твердо намерен ответить на его вызов, твердо намерен устроить пародию на его урок.

— Отлично, дорогой мой господин, — сказал я, вновь разрывая его кожу. — Я вас схватил, и выпью из вас каждую каплю, сударь, если вы не увернетесь, не успеете увернуться. — Только тогда я понял! У меня тоже появились крошечные клыки!

Он тихо рассмеялся, что только увеличило мое наслаждение — тот, чью кровь я пью, смеется под этими новыми клыками.

Изо всех сил попытался я вытянуть сердце из его груди. Я услышал, как он вскрикнул, а потом рассмеялся от изумления. Я тянул и тянул его кровь, глотая ее с резким, позорным звуком.

— Ну же, дайте мне еще раз услышать ваш крик! — прошептал я, жадно высасывая кровь, расширяя разрез своими зубами, своими новыми, заострившимися, удлинившимися зубами, клыками, принадлежавшими мне, созданными для кровопролития. — Ну же, молите о милосердии, сударь! —

Он мелодично смеялся.

Я пил его кровь глоток за глотком, радуясь, гордясь его беспомощным смехом, тем, что он упал на колени посреди площади, а я все еще не отпускал его, так что ему пришлось поднять руку и оттолкнуть меня.

— Я больше не могу! — объявил я. Я лег на спину, на камни. Вверху чернело замерзшее небо, усыпанное белыми горящими звездами. Я уставился в небо, с восхитительным чувством сознавая, что лежу на камнях, что под моей спиной и головой — твердые камни. Больше не придется волноваться о грязи, о сырости, об опасности болезни. Не придется беспокоиться о том, что могут подумать люди, выглянувшие в окно. Не придется думать о том, что час уже поздний. Смотрите на меня, звезды. Смотрите на меня, как я смотрю на вас. Безмолвные, сверкающие, крошечные глаза небес. Я начал умирать. В желудке поднялась иссушающая боль, потом она двинулась к остальным внутренностям.

— Теперь тебя покинет все, что осталось от смертного мальчика, — сказал господин. — Не бойся.

— Музыка кончилась? — прошептал я. Я перекатился на живот и обнял обеими руками господина, лежавшего рядом со мной, подложив локоть под голову. Он привлек меня к себе.

— Спеть тебе колыбельную? — тихо спросил он. Я отодвинулся от него. Из меня потекла зловонная жидкость. Я почувствовал инстинктивный стыд, но он постепенно прошел. Он поднял меня на руки, легко, как всегда, и уткнул лицом себе в шею. Нас захлестнул порыв ветра.

Потом я почувствовал холодную воду Адриатики и безошибочно определил, что лечу вниз, подхваченный морской волной. Море оказалось соленым, восхитительным и не представляло никакой опасности. Я несколько раз перевернулся и, обнаружив, что остался один, попытался найти точку опоры. Я находился в открытом море, недалеко от острова Лидо. Я оглянулся на главный остров и изумительно острыми глазами рассмотрел за огромным скоплением стоявших на якоре кораблей пылающие факелы герцогского дворца.

Послышались перепутавшиеся голоса темного порта, как будто я тайно плавал между кораблями, но это было не так.

Что за удивительная способность — слышать эти голоса, иметь возможность отточить один конкретный голос, разобрать, что он бормочет под утро, а потом настроить слух на другого человека и впитать другие слова.

Я какое‑то время держался на поверхности моря и смотрел в небо, пока не ушла вся боль. Я чувствовал, что очистился, и не хотел оставаться один. Я перевернулся и без усилий поплыл к гавани, и, приближаясь к кораблям, я двигался под водой.

Меня поразило, что я могу видеть, что происходит под водой. В ней было достаточно жизни — огромные якоря, закрепленные на пористом дне лагуны, изогнутые днища галеонов. Настоящая подводная вселенная. Мне хотелось продолжить исследования, но я услышал голос моего господина — не телепатический голос, как мы сейчас говорим, но слова, произнесенные вслух — очень тихо призывающий меня вернуться на площадь, где он меня ждал.

Я стянул с себя вонючую одежду, выбрался из воды нагишом и поспешил к нему в холодной темноте, восторгаясь тем, что мороз не производит на меня впечатления. Увидев его, я раскинул руки и улыбнулся.

В руках он держал меховой плащ, который он раскрыл мне навстречу, вытер им насухо мои волосы и закутал меня в него.

— Ты чувствуешь новую свободу. Твои босые ноги не задевает ледяной холод камней. Его ты порежешься, твоя эластичная кожа мгновенно исцелится, ни единое маленькое ползучее создание тьмы не вызовет в тебе отвращения. Они не причинят тебе вреда. Болезни тебя не коснутся.

— Он осыпал меня поцелуями. — Самая зачумленная кровь тебя только накормит, так как твое сверхъестественное тело очистит ее и поглотит. Ты — могущественное создание, а что в глубине? В твой груди, к которой я сейчас прикасаюсь, бьется твое сердце, твое человеческое сердце.

— Правда, господин? — спросил я. Я был вне себя от восторга и впал в шутливое настроение. — И с чего бы ему остаться человеческим?

— Амадео, разве ты находил меня бесчеловечным? Разве ты замечал во мне жестокость?

Мои волосы, стряхнув с себя воду, высохли практически мгновенно. Теперь мы вышли с площади рука об руку, я завернулся в тяжелый меховой плащ.

Когда я не ответил, он остановился, снова обнял меня и начал жадно целовать.

— Ты любишь меня, — сказал я, — таким, как сейчас, даже больше, чем раньше.

— О да, — сказал он. Он грубо схватил меня и покрыл поцелуями все горло, все плечи, всю грудь. — Теперь я не причиню тебе вреда, не задушу твою жизнь неловким движением. Ты мой, из моей плоти и крови.

Он остановился. Он плакал. Он не хотел, чтобы я это заметил. Он отвернулся, когда я попытался поймать его лицо дерзкими руками.

— Господин, я люблю тебя, — сказал я.

— Обрати внимание, — сказал он, стряхивая меня, явно недовольный своими слезами. Он указал на небо. — Ты всегда сможешь узнать, когда наступит утро, если будешь внимателен. Ты чувствуешь? Слышишь птиц? В каждой части света есть птицы, которые поют прямо перед рассветом.

Мне пришла в голосу мысль, мрачная и страшная, что одной из тех вещей, которых мне не хватало в подземной Печорской Лавре, было пение птиц. Там, в степи, когда я охотился вместе с отцом и переезжал от рощи к роще, мне всегда нравилось, как поют птицы. Нам никогда не приходилось подолгу торчать в жалких киевских хибарах на реке без этих запрещенных путешествий в степи, откуда не вернулось столько людей.

Но это прошло. Вокруг меня окружала милая Италия, милая Серениссима. Со мной был мой господин и великое, сладострастное чудо этого превращения.

— Ради этого я и поехал в степи, — прошептал я. — Ради этого он и забрал меня из монастыря в тот последний день.

Господин печально посмотрел на меня.

— Надеюсь, — сказал он. — Все, что я знал о твоем прошлом, я прочел в твоих мыслях, пока они были мне открыты, но теперь они закрылись, закрылись, поскольку я сделал тебя вампиром, таким, как я сам, и мы никогда уже не узнаем мыслей друг друга. Мы слишком близки, общая кровь оглушительно ревет в наших ушах, когда мы стараемся в тишине поговорить друг с другом, и я навсегда отпускаю ужасные образы подземного монастыря, которые так ярко мелькали в твоих мыслей, но всегда в агонии, всегда в почти полном отчаянии.

— Да, в отчаянии, и все это ушло, как страницы, вырванные из книги и брошенные по ветру. Вот так, просто ушло.

Он поторопил меня. Мы шли не домой. Мы шли другим путем, темными переулками.

— Мы идем в нашу колыбель, — сказал он, — то есть, в наш склеп, в нашу постель, то есть, в нашу могилу.

Мы вошли в старый обветшалый палаццо, единственными жителями которых было несколько спящих бедняков. Мне там не понравилось. Он приучил меня к роскоши. Но мы вскоре попали в подвал — практически невозможная вещь для зловонной и мокрой Венеции, но этой действительно был подвал. Мы спустились по каменной лестнице, прошли сквозь толстые бронзовые двери, которые не смог бы открыть обычный человек, и в результате в кромешной темноте достигли последней комнаты.

— Когда‑нибудь ты и сам наберешься сил, — прошептал мой господин, — чтобы проделывать этот фокус.

Я услышал бешеный треск и маленький взрыв, и в его руке запылал огромный яркий факел. Чтобы зажечь его, ему понадобилось лишь усилие мысли.

— С каждым десятилетием ты будешь становиться сильнее, а потом и с каждым веком, и много раз за свои долгую жизнь тебе предстоит убеждаться, что твои способности совершили волшебный скачок. Проверяй их с осторожностью, а то, что обнаружишь — защищай. Используй все, что обнаружишь, с умом. Никогда не остерегайся никаких способностей, это так же глупо, как и человеку остерегаться своей силы.

Я кивнул, завороженно уставившись на огонь. Никогда еще я не видел таких красок в простом огне, и я не испытывал никакого отвращения, хотя и знал, что это — единственное, что может меня уничтожить. Он же сам так сказал, правда?

Он сделал жест. Я должен осмотреться в комнате. Что за потрясающее помещение! Оно было обито золотом! Даже потолок золотой! В центре стояло два каменных саркофага, каждый украшен вырезанной в старом стиле фигурой, то есть, строгой и более торжественной, чем обычно; и по приближении я увидел, что эти фигуры представляли собой рыцарей в шлемах и в длинных туниках, с тяжелыми широкими мечами, высеченными у боков, руки в перчатках сложены в молитве, глаза закрыты в вечном сне. Каждая фигура была позолочена и местами покрыта серебром, а также усыпана бесчисленными маленькими драгоценными камнями. На поясах рыцарей сверкали аметисты. Воротники туник украшали сапфиры. Топазы блестели на ножнах их мечей.

— Разве такие сокровища — недостаточное искушение для вора? — спросил я. — Они же лежат просто так, под разрушенным домом!

Он искренне расхохотался.

— Ты уже учишь меня принимать меры предосторожности? — спросил он с улыбкой. — Какая дерзость! Никакой вор не в силах сюда пробраться. Открывая двери, ты не соизмерял свою силы. Взгляни на засов, который я закрыл за нами, раз ты так волнуешься. Теперь посмотрим, сможешь ли ты поднять крышку гроба. Вперед. Посмотрим, сравняется ли твоя сила с твоей наглостью.

— Я не хотел показаться дерзким, — возразил я. — Слава Богу, ты улыбаешься. — Я поднял крышку и сдвинул в сторону нижнюю часть гроба. Мне это не составило труда, но я понял, что камень очень тяжелый. — Я понял, — кротко сказал я. Я улыбнулся ему сияющей, невинной улыбкой. Внутри гроб был отделан дамастом королевски‑пурпурного цвета.

— Ложись в эту колыбель, дитя мое, — сказал он, — Не бойся ждать восхода солнца. Когда оно появится, ты будешь уже крепко спать.

— А мне нельзя спать с тобой?

— Нет, твое место здесь, в этой постели, я уже давно ее для тебя приготовил. Здесь, рядом с тобой, у меня есть своя узкая постель, ее на двоих не хватит. Но теперь ты мой, мой, Амадео. Удостой меня последней стайкой поцелуев, да, вот так, как хорошо…

— Господин, никогда не позволяй мне сердить тебя. Никогда не разрешай мне…

— Нет, Амадео, спорь со мной, задавай вопросы, будь моим дерзким и неблагодарным учеником. — Он выглядел немного грустным. Он ласково подтолкнул меня. Он указал на гроб. Замерцал пурпурный атласный дамаст.

— И я ложусь в гроб, — прошептал я, — так рано.

После этих слов на его лицо набежала тень боли. Я пожалел о них. Мне хотелось сказать что‑нибудь, чтобы все исправить, но он жестом велел мне ложиться.

Как же там было холодно, проклятые подушки, как жестко. Я задвинул крышку на место и неподвижно лег, прислушиваясь, прислушиваясь к звуку задутого факела, к трению камня о камень, когда он открыл свою собственную могилу. Я услышал его голос:

— Спокойной ночи, моя юная любовь, моя маленькая любовь, мой сын, — сказал он. Я безвольно лежал. Как восхитительно было просто расслабиться. Все казалось мне таким новым.

Далеко‑далеко, в стране, где я родился, в Печорской лавре пели монахи.

Я сонно размышлял обо всем, что вспомнил. Я вернулся домой, в Киев. Из свих воспоминаний я создал живописную картину, чтобы оно учило меня всему, что я в состоянии узнать. И в последние моменты ночного сознания я попрощался с ними навсегда, попрощался с их верованиями и с их ограничениями.

Я вызвал в воображении «Шествие волхвов», во всем своем великолепии сияющее на стене господина, процессию, которую смогу вволю изучить, как только сядет солнце. Мне, в глубине моей дикой и страстной души, моего новорожденного вампирского сердца, показалось, что волхвы пришли не только по поводу рождения Христа, но и по поводу моего перерождения.

### 9

Если я и думал, что мое превращение в вампира будет означать конец моего образования или моего ученичества у Мариуса, то я очень заблуждался. Меня не выпустили в тот же миг на свободу купаться в радостях моей новой силы.

На следующую же ночь после моего превращения, мое воспитание началось всерьез. Теперь меня нужно было готовить уже не к временной жизни, а к вечности.

Мой господин дал мне знать, что его сделали вампиром почти пятнадцать веков назад, и что члены нашего рода распространились по всему миру. Скрытные, подозрительные, часто ужасно одинокие, ночные скитальцы, как называл их господин, зачастую бывали плохо подготовлены к бессмертию, и все их существование представляло собой не больше, чем цепочку жутких катастроф, пока их не одолевало отчаяние, и они не приносили себя в жертву, устроив страшный пожар или выйдя на солнечный свет.

Что касается совсем старых, кто, как мой господин, смог выстоять после ухода империй и эпох, они по большей части были мизантропами, выискивая себе города, где можно было править смертными, отгоняя молодых вампиров, пытающихся разделить с ними территорию, даже если это означало уничтожение себе подобных.

Венеция была неоспоримой территорией моего Господина, его охотничьими угодьями, его личной ареной, где он мог руководить играми, которые в этот отрезок своей жизни счел для себя важными.

— Все на свете пройдет, — говорил он, — кроме тебя самого. Ты обязан прислушаться к моим словами, потому что мои уроки — прежде всего уроки выживания; отделка придет позже.

Первым уроком было то, что мы убиваем только «злодея». Когда‑то, в туманные древние века, такой была торжественная клятва тех, кто пьет кровь, в времена античности и язычества нам даже окружала некая смутная религия, когда вампиров боготворили как вершителей правосудия над теми, кто совершил преступление.

— Никогда больше мы не позволим окружить себя и загадку нашей силы подобным суеверием. Мы не безупречны. Мы не получали задания от Бога. Мы бродим по свету, как гигантские кошки в огромных джунглях, и имеем не больше прав на тех, кого убиваем, чем любое существо, стремящееся к выживанию.

— Но существует неизменный принцип — убийство невинных сводит с ума. Поверь мне, что для твоего же душевного спокойствия ты должен пить кровь исключительно злодеев, должен научиться любить их во всей их мерзости и упадке, должен питаться видениями злодеев, которые неизбежно наполнят твое сердце и душу во время убийства.

Убивай невинных — и рано или поздно ты начнешь испытывать чувство вины, а с ним придет бессилие, а вслед за бессилием — отчаяние. Тебе может казаться, что для этого ты слишком холоден и безжалостен. Ты можешь чувствовать себя выше людей и оправдывать свою хищную невоздержанность на тех основаниях, что ты ищешь крови, необходимой тебе ради поддержания собственной жизни. Но в конечном счете это не сработает.

В конечном счете ты поймешь, что ты не столько монстр, сколько человек, что все, что есть в тебе благородного, проистекает от твоих человеческих корней, а усугубление твоей природы может только дать тебе возможность еще больше оценить все человеческое. Ты начнешь жалеть тех, кого убиваешь, даже тех, для кого нет искупления, и начнешь любить людей так отчаянно, что наступят ночи, когда голод покажется тебе намного предпочтительнее, чем кровавая трапеза.

Все это я воспринимал всем сердцем, и не замедлил устремиться вместе с господином в мрачное чрево Венеции, в дикий мир таверн и порока, который я, будучи таинственным, облаченным в бархат учеником Мариуса Римского, никогда прежде не видел в истинном свете. Конечно, я знал места, где можно напиться, я знал модных куртизанок, таких, как наша любимая Бьянка, но я не знал венецианских воров и убийц, кем я и стал питаться.

Очень скоро я понял, что имел в виду мой господин, говоря, что я должен приобрести вкус к злодеям и сохранить его. Видения моих жертв становились сильнее с каждым убийством. Убивая, я начал видеть ослепительные краски. Иногда я даже мог увидеть эти краски, еще не приблизившись к жертве. Некоторые люди ходили, окруженные красноватыми тенями, а другие излучали ярко‑оранжевый свет. Ярость моих подлейших и самых крепких жертв часто бывала блестяще‑желтой, ослепляя меня и обжигая как в те моменты, когда я совершал нападение, так и в те моменты, пока я выпивал из жертвы всю кровь.

Изначально я был ужасно жестоким и импульсивным убийцей. Так как Мариус поместил меня в гнездо убийц, я приступил к делу с неловким неистовством, вытягивая добычу из таверны или из ночлежки, загоняя ее в угол на набережной и разрывая его горло, как дикий пес. Я жадно пил и часто раздирал сердце жертвы. Как только сердце умирает, кровь перекачивать нечему. Так что оно бесполезно.

Но мой господин, невзирая на свои возвышенные речи о людских добродетелях и твердом настоянии на том, что мы несем ответственность, тем не менее учил меня убивать искусно.

— Пей медленно, — говорил он. Мы ходили по узким берегам каналов в тех местах, где таковые встречались. Мы ездили на гондоле, слушая сверхъестественными ушами разговоры, как нам казалось, предназначенные лично для нас. — В половине случаев не нужно даже входить в дом, чтобы вытащить жертву. Встань рядом, прочти его мысли, без слов подбрось ему приманку. Если ты прочел его мысли, то почти наверняка сможешь передать ему послание. Можно выманить его, не говоря ни слова. Можно оказать неодолимое давление. Когда он у тебе выйдет, тогда и убивай.

Никогда не нужно заставлять их страдать, или же проливать кровь в буквальном смысле. Обними свою жертву, люби ее, если сможешь. Медленно ласкай ее и вонзай зубы поосторожнее. Потом пей, пей как можно медленнее. Таким образом его сердце увидит тебя насквозь.

Что касается видений, этих красок, о которых ты говоришь, стремись у них учиться. Пусть умирающая жертва расскажет тебе о жизни, что может. Если перед тобой проходят картины его долгой жизни, наблюдай за ними, или же, смакуй их. Да, смакуй. Поглощай их медленно, как кровь. Что касается красок, пропитайся ими. Пусть тебя наводнят ощущения. То есть, будь одновременно активен и совершенно пассивен. Занимайся с жертвой любовью. И всегда прислушивайся к тому моменту, когда сердце окончательно перестанет биться. В этот момент ты безусловно испытаешь высшие ощущения, но его можно упустить.

После этого избавься от тела, или же убедись, что слизал с горла жертвы все следы укуса. Одна капля твоей крови на кончике языка поможет тебе этого добиться. В Венеции трупы — обычная вещь. Не обязательно прилагать особые усилия. Но когда мы будем охотиться в прилегающих к ней деревнях, тебе часто придется хоронить останки.

Я слушал эти уроки с энтузиазмом. Совместная охота была величайшим удовольствием. Я достаточно быстро осознал, что Мариус совершил те убийства, которым я перед превращением стал свидетелем, с намеренной неловкость. Тогда я понял, наверное, это ясно следует из моего рассказа, что он хотел, чтобы я почувствовал жалость к тем жертвам; он хотел, чтобы я пришел в ужас. Он хотел, чтобы я рассматривал смерть как чудовищное явление. Однако из‑за моей молодости, из‑за преданности ему и из‑за насилия, увиденного мной за мою короткую жизнь, я отреагировал не так, как он рассчитывал.

В любом случае, теперь он был куда более искусным убийцей. Мы часто вместе убивали одну и ту же жертву, я пил их горла нашего пленника, а он — из его запястья. Иногда он наслаждался тем, что крепко держал жертву, пока я выпивал всю кровь.

Будучи молодым вампиром, я испытывал жажду каждую ночь. Да, я мог прожить, не убивая, три ночи, или даже дольше, иногда так и было, но к пятой ночи голодания — это было проверено — я становился слишком слаб, чтобы подняться из гроба. Таким образом, это означало, что если мне когда‑нибудь вдруг придется остаться одному, я должен убивать по меньшей мере каждую четвертую ночь.

Первые несколько месяцев были настоящей оргией. Каждое новое убийство возбуждало меня еще больше, чем предыдущие, меня еще больше парализовало от восторга. Простой вид обнаженного горла доводил меня до такого состояния, что я становился похож на животное, не в состоянии ни говорить, ни сдерживаться. Открывая глаза в холодной каменной темноте, я представлял себе человеческую плоть. Я чувствовал ее своими голыми руками и мечтал о ней, и никаких других событий для меня не существовало, пока я не прикоснусь своими сильными руками того, кого принесу в жертву своей потребности.

Долгое время после убийства мое тело вздрагивало от приятных ощущений, пока теплая ароматная кровь забиралась во все уголки моего тела, накачивая удивительным теплом мое лицо.

Одного этого хватало, чтобы полностью меня поглотить, ввиду моей молодости.

Но в намерения Мариуса не входило позволять мне погрязнуть в крови, нетерпеливому юному хищнику, не думающему ни о чем, кроме того, чтобы обжираться ночь за ночью.

— Ты должен всерьез начать заниматься историей, философией и юриспруденцией, — сказал он мне. — Теперь тебя ждет не университет Падуи. Тебя ждет выживание.

Так что по завершении наших тайных вылазок мы возвращались в теплые комнаты палаццо, и он усаживал меня за книги. Он в любом случае хотел отдалить меня от Рикардо и остальных мальчиков, чтобы они ничего не заподозрили о произошедших со мной переменах. Он даже сказал мне, что они «знают» об этой перемене, сознают они это или нет. Их тела знают, что я больше не человек, хотя их умам потребуется время, чтобы принять этот факт.

— Проявляй по отношению к ним только внимание и любовь, только полное снисхождение, но держись на расстоянии, — говорил мне Мариус. — К тому моменту, когда они осознают, что свершилось немыслимое, ты уже убедишь их, что ты им не враг, что ты остался прежним Амадео, которого они любят, что несмотря на перемены в себе самом, к ним ты не переменился.

Это я понял. И тотчас проникся еще более глубокой любовью к Рикардо. И к остальным мальчикам.

— Но, господин, неужели они никогда тебя не раздражают, они же медленнее соображают, они так неуклюжи. Да, я люблю их, но ты, конечно, видишь их в более уничижительном свете, чем я.

— Амадео, — тихо сказал он, — они же все умрут. — Его лицо исказилось от скорби.

Я прочувствовал это моментально и всей душой, теперь я все так чувствовал. Чувства налетали, как вихрь, и мгновенно преподавали свой урок. Они все умрут. Да, а я бессмертен. После этого я уже никогда не мог бывать с ними нетерпелив и даже доставлял себе удовольствие, вволю наблюдая за ними и изучая их, никогда им этого не показывая, но упиваясь каждой их деталью, как будто они обладали особой экзотичностью, потому что… они все умрут.

Всего здесь не описать, слишком много всего происходило. Не знаю, каким образом записать все, что мне открылось в одни только первые месяцы. И все, что я выяснил в то время, впоследствии только углубилось.

Куда ни посмотри, повсюду я видел развитие; я чувствовал запах гниения, но также созерцал тайну роста, чудо цветения и созревания, и всякий процесс, будь он направлен к взрослению или к могиле, восхищал меня и завораживал, за исключением разрушения человеческого разума.

Изучение систем правления и законодательства было более сложной задачей. Хотя чтение теперь осуществлялось с бесконечно более высокой скоростью и с практически мгновенным восприятием синтаксиса, мне приходилось заставлять себя интересоваться такими вещами, как история римского права с древнейших времен и великий кодекс императора Юстиниана, именуемый «Corpus Juris Civilis», который мой господин считал одним из превосходнейших письменных сводов законов во все эпохи.

— Мир меняется только к лучшему, — объяснял мне Мариус. — С каждым веком цивилизация все больше влюбляется в правосудие, обычные люди делают более широкие шаги к богатству, которое когда‑то считалось привилегией правящих, а искусство от каждого подъема свободы только выигрывает, становится более образным, более изобретательным и более прекрасным.

Я мог это понять только теоретически. Я не питал к юриспруденции ни веры, ни интереса. Фактически, я в теории полностью презирал идеи моего господина. Я хочу сказать, что презирал не его, но в глубине души испытывал презрение к закону, к юридическим учреждениям и к правительству, причем мое презрение было настолько полным, что я сам его не понимал.

Господин же отвечал, что он понимает.

— Ты родился в темной, мрачной земле, — сказал он. — Жаль, что я не могу забрать тебя на двести лет назад, в эпоху, когда Батый, сын Чингиз‑хана, еще не разграбил великолепный русский город Киев, во времена, когда купола Софийского собора действительно были золотыми, а люди славились своим мастерством и были полны надежды.

— Я до тошноты наслушался о былом великолепии, — тихо сказал я, не желая его разозлить. — В детстве меня напичкали сказками о старых временах. Дрожа у огня в жалкой деревянной избе, где мы жили, на расстоянии нескольких ярдов от обледенелой реки, я без конца слушал эту чушь. У нас в доме жили крысы. В нем не было ничего красивого, кроме икон и песен моего отца. Там были сплошные лишения, причем, как тебе известно, мы говорим о громадной стране. Невозможно представить себе ее масштабы, если не побывать там, если не путешествовать, как мы с отцом, в промерзшие северные московские леса, или в Новгород, или на восток, в Краков. — Я замолчал. — Не хочу думать о тех временах и о тех местах, — сказал я. — В Италии и помыслить невозможно, как люди выживают в подобных местах.

— Амадео, эволюция права, форм правления происходит в каждой стране и у каждого народа по‑своему. Я уже давно рассказал тебе, что выбрал Венецию, поскольку это великая Республика, поскольку ее население прочно связано с родной землей благодаря тому, что оно состоит в основном из купцов и занимается торговлей. Я люблю Флоренцию, поскольку ее великая семья, Медичи — банкиры, а не праздные титулованные аристократы, которые презирают любой труд во имя того, что, как они считают, было дано им Богом. Великие города Италии создавались людьми работающими, людьми творческими, людьми деятельными, благодаря чему здесь существует большее сочувствие ко всем системам и бесконечно большие возможности для мужчин и женщин во всех жизненных сферах.

Этот разговор меня обескуражил. Какая разница?

— Амадео, мир теперь принадлежит тебе, — сказал господин. — Ты должен рассматривать более масштабные исторические циклы. Состояние мира со временем начнет тебя удручать, и ты обнаружишь, как обнаруживают все бессмертные, что просто не получится изолировать свое сердце, особенно у тебя.

— Почему бы это? — несколько резко спросил я. — Я думаю, что смогу закрыть глаза. Что мне за дело, банкир человек или купец? Какая мне разница, строит ли город, где я живу, собственный торговый флот? Господин, я могу целую вечность смотреть на картины в этом палаццо. Я еще даже не увидел всех деталей на «Шествии волхвов», а здесь еще столько всего другого! А все остальные картины в этом городе?

Он покачал головой.

— Изучение живописи приведет тебя к изучению человечества, а изучение человечества заставит тебя либо скорбеть, либо прославлять состояние человеческого мира.

Я в это не верил, но изменить расписание мне не позволили. Я учился, как мне велели.

Далее, мой господин обладал многими дарами, которых я не имел, но он сказал, что они разовьются со временем. Он мог разжечь огонь силой мысли, но только при оптимальных условиях — то есть, он мог воспламенить уже просмоленный факел. Он мог без усилий забраться на здание, лишь несколько раз быстро цепляясь руками за подоконники, подталкивая себя наверх стремительными грациозными движениями, и мог заплыть на любые морские глубины.

Естественно, его вампирское зрение и слух были гораздо острее и сильнее моих, и в то время как голоса вторгались в мою жизнь, он умел намеренно изгонять их. Этому мне следовало учиться, и я над этим отчаянно трудился, поскольку временами мне казалось, что вся Венеция состоит из сплошной какофонии голосов и молитв.

Но величайшим его умением, которым не обладал я, была способность подниматься в воздух и на огромной скорости преодолевать огромные расстояния. Ее он демонстрировал мне много раз, но практически всегда, поднимая меня и унося с собой, он заставлял меня закрыть лицо и силой опускал мою голову, чтобы я не видел, куда мы направляемся и каким образом.

Почему он так скрытен относительно этой способности, я понять не мог. Наконец, как‑то ночью, когда он отказался перенести нас как по волшебству на остров Лидо, чтобы посмотреть ночную церемонию с фейерверками и освещенными факелами кораблями, я настоял, чтобы он ответил на мой вопрос.

— Это пугающая сила, — прохладно сказал он. — Отрываться от земли страшно. На раннем этапе не обходится без ошибок и катастроф. С приобретением мастерства, гладкий подъем в верхние слои атмосферы, не только тело, но и душу пробирает дрожь. Эта способность не просто противоестественна, она сверхъестественная. — Я видел, что это причиняет ему страдания. Он покачал головой. — Это единственный талант, который кажется абсолютно нечеловеческим. Я не могу научиться у смертных, как его лучше использовать. Во всех других отношениях мои учителя — люди. Моя школа — человеческое сердце. Здесь же все иначе. Я становлюсь магом. Я становлюсь колдуном или ведьмой. Эта сила соблазнительна, можно стать ее рабом.

— Но каким образом? — спросил я.

Он оказался в затруднении. Ему не хотелось даже говорить об этом. Наконец он несколько потерял терпение.

— Когда‑нибудь, Амадео, ты меня замучаешь своими вопросами. Ты спрашиваешь, как будто я обязан тебя опекать. Поверь мне, это не так.

— Господин, ты меня создал, ты настаиваешь на моем послушании. Разве я стал бы читать «Историю моих бедствий» Абеляра или труды Дунса Скота из Оксфордского Университета, если бы ты не заставлял? — Я остановился. Я вспомнил своего отца, как я не прекращал осыпать его ядовитыми словами, быстрыми ответами и оскорблениями.

Я был обескуражен.

— Господин, — сказал я. — Просто объясни мне.

Он сделал жест, как бы говоря: «Как же все просто!»

— Хорошо, — продолжил он. — Дело обстоит так. Я могу подняться очень высоко в воздух, я могу двигаться очень быстро. Я не часто могу проникнуть через облака. Зачастую они плывут надо мной. Но я передвигаюсь так быстро, что мир превращается в нечеткое пятно. Приземлившись, я оказываюсь в странных местах. Пойми, несмотря на волшебство, это глубоко неприятная и беспокойная вещь. Иногда я теряюсь, теряю почву под ногами, уверенность в своих целях или воле к жизни, после того, как использую эту силу. Перемещение происходит слишком быстро; может быть, дело в этом. Я никогда никому об этом не говорил, а теперь я говорю об этом с тобой, а ты еще маленький и даже отдаленно этого не понимаешь.

Я и не понимал.

Но очень скоро он сам пожелал, чтобы мы предприняли более длительное путешествие, чем те, что мы совершали раньше. Это было делом нескольких часов, но к моему полному изумлению, между заходом солнца и ранним вечером мы добрались до самой далекой Флоренции.

Там, очутившись в мире, в корне отличающемся от мира Венеции, тихо пройдясь рядом с итальянцами совершенно другой породы, я впервые понял, о чем он говорил.

Понимаешь, я и раньше видел Флоренцию, путешествуя в качестве смертного ученика Мариуса, с группой друзей. Но мои беглые наблюдения не шли в сравнение с тем, что я увидел, став вампиром. Теперь я обладал измерительными приборами небольшого бога.

Но дело было ночью. В городе уже пробили обычный вечерний звон. И камни Флоренции выглядели темнее, неряшливее, они напоминали крепость, улицы были узкими и мрачными, так как их не освещали фосфоресцирующие полоски воды, как у нас. Во флорентийских дворцах отсутствовали экстравагантные мавританские орнаменты, свойственные венецианским домам, фантастические отполированные каменные фасады. Они скрывали свой блеск внутри, что чаще встречалось в итальянских городах. Но город при этом был богат, густо населен и полон радовавших глаз чудес.

В конце концов, это же была Флоренция — столица человека, которого прозвали Лоренцо Великолепным, неотразимая личность, доминирующая на копии великой фрески, сделанной Мариусом, которую я увидел в ночь моего темного перерождения, человека, умершего всего несколько лет назад.

Мы обнаружили, что в городе противозаконно много народа, невзирая на темноту, что группы мужчин и женщин задерживаются на жестких мостовых, что над Пьяцца делла Синьория, одной из главнейших площадей города, нависла зловеще нетерпеливая атмосфера.

В тот день состоялась казнь, едва ли из ряда вон выходящее событие во Флоренции, да и в Венеции, если на то пошло. Это было сожжение. Хотя до наступления ночи уже расчистили все следы, я почувствовал запах дров и горелой плоти.

Я испытывал природное отвращение к подобным вещам, что, кстати, свойственно не каждому, и я осторожно пробирался к месту событий, не желая, чтобы мое обостренное восприятие покоробило какое‑нибудь жуткое свидетельство жестокости.

Мариус всегда предостерегал нас, мальчиков, не «наслаждаться» такими зрелищами, а мысленно ставить себя в положение жертвы, чтобы максимально научиться от увиденного.

Как ты знаешь из истории, толпы на казнях часто вели себя безжалостно и неуправляемо, иногда издеваясь над жертвой, думаю, из страха. Мы, мальчики Мариуса, всегда находили ужасно сложным мысленно разделять участь повешенного или сожженного. Короче говоря, он отнял у нас всю забаву.

Конечно, поскольку эти ритуалы совершались практически всегда днем, сам Мариус никогда на них не присутствовал.

И теперь, когда мы вошли на огромную Пьяцца делла Синьория, я увидел, что он недоволен тонкой завесой пепла, все еще витавшего в воздухе, и мерзких запахов.

Я также отметил, что мы легко скользили между людьми, две быстрые фигуры в черном. Наши шаги оставались практически неслышными. Благодаря вампирскому дару мы умели двигаться так незаметно, быстро, с инстинктивной грацией уклоняясь от внезапного случайного смертного взгляда.

— Мы как будто невидимые, — сказал я Мариусу, — как будто ничто не может затронуть нас, потому что наше место не здесь, и мы скоро покинем это место. — Я посмотрел на унылые крепостные стены, обрамлявшие площадь.

— Да, но мы не невидимы, не забывай, — прошептал он.

— Но кто здесь сегодня умер? Люди мучаются и боятся. Прислушайся. Здесь и удовлетворение, и страх. — Он не ответил. Я забеспокоился.

— Что случилось? Не может быть, чтобы что‑то обычное, — сказал я. — Весь город не спит и волнуется.

— Это их великий реформатор Савонарола, — сказал Мариус. — Сегодня днем он умер, повешен, потом сожжен. Благодарение Богу, когда его охватило пламя, он был уже мертв.

— Ты желаешь милосердия по отношению к Савонароле? — спросил я. Он меня озадачил. Этого человека, может быть, и великого реформатора в чьих‑то глазах, проклинали все мои знакомые. Он осуждал любые плотские удовольствия, отказывая в какой бы то ни было обоснованности той самой школе, где, по мнению моего господина, можно было научиться всему.

— Я желаю милосердия каждому человеку, — сказал Мариус. Он жестом позвал меня за собой, и мы двинулись по направлению к ближайшей улице. Мы уходили подальше от этого скверного места.

— Даже тому, кто убедил Ботичелли бросить свои собственные картины в Костры тщеславия? — спросил я. — Сколько раз ты указывал мне на мелкие детали своих копий с шедевров Ботичелли, чтобы показать фрагмент изысканной красоты, чтобы я запомнил ее навсегда?

— Ты что, собираешься спорить со мной до конца света? — воскликнул Мариус. — Я доволен тем, что моя кровь придала тебе новую силу во всех отношениях, но неужели обязательно сомневаться в каждом слове, которое слетает с моих губ? — Он окинул меня яростным взглядом, и свет факелов полностью озарил его полунасмешливую улыбку. — Бывают ученики, которые верят в этот метод, верят, что до истины можно докопаться путем бесконечной борьбы между учеником и учителем. Но только не я! Я считаю, что тебе стоит дать моим урокам хоть на пять минут спокойно улечься у тебя в голове, прежде чем начинать свои контратаки.

— Ты стараешься разозлиться на меня, но не получается.

— Какая у тебя путаница в голове! — сказал он, как будто выругался. Он быстро зашагал впереди меня.

Та узкая флорентийская улочка была тоскливой и больше напоминала проход через большой дом, чем городскую улицу. Мне не хватало венецианского бриза, точнее, его не хватало моему телу, по привычке. Меня же это место просто завораживало.

— Ну не злись так, — сказал я. — Почему они обрушились на Савонаролу?

— Дай людям время, они обрушатся на кого угодно. Он утверждал, что он — пророк, вдохновленный божественной силой Господа, и что наступили последние дни, а это, ты уж мне поверь, самая старая, самая избитая христианская жалоба в мире. Последние дни! Сама христианская религия базируется на идее о том, что мы доживаем последние дни! Эту религию подогревает человеческая способность забывать все ошибки прошлого и в очередной раз наряжаться по поводу последних дней.

Я улыбнулся, но горькой улыбкой. Я хотел выразить свое острое предчувствие — мы всегда доживаем последние дни, и это написано в наших сердцах, потому что мы смертны, когда я довольно неожиданно, но окончательно осознал, что я больше не смертный, во всяком случае, не более смертный, чем весь мир.

Казалось, я всеми внутренностями понял намеренно мрачную атмосферу, нависшую над моим детством в далеком Киеве. Я снова увидел грязные катакомбы и наполовину погребенных монахов, приглашавших меня к ним присоединиться.

Я стряхнул с себя эти мысли, и тогда Флоренция показалась мне ужасно яркой — особенно в тот момент, когда мы вышли на широкую, освещенную факелами Пьяцца дель Дуорно, к великому Собору Санта Марии дель Флоре.

— А, значит, мой ученик хоть иногда меня все‑таки случает, — иронично говорил Мариус. — Да, я больше, чем рад, что Савонаролы больше нет. Но радоваться концу чего‑то не значит одобрять бесконечное шествие жестокости, которое и составляет человеческую историю. Хотел бы я, чтобы все было иначе. Публичные жертвоприношения во всех отношениях превращаются в гротеск. Они притупляют чувства масс. В этом городе это в первую очередь зрелище. Флорентинцы получают удовольствие, как мы от наших регат и процессий. Значит, Савонарола мертв. Что ж, если и был человек, который сам на это напрашивался, то это Савонарола, предсказывающий конец света, проклиная со своей кафедры принцев, убеждая великих художников сжигать свои работы. И к черту его.

— Господи, смотри, крещение, пойдем туда, пойдем к дверям, посмотрим. Площадь почти пуста. Пойдем. У нас есть шанс посмотреть на бронзовые фигуры. — Я потянул его за рукав.

Он последовал за мной и прекратил бормотать, но все еще был вне себя.

То, что мне хотелось посмотреть, и по сей день можно увидеть во Флоренции, на самом деле, практически все сокровища этого города, да и Венеции, что я тебе описал, можно увидеть до сих пор. Нужно только туда съездить. Роспись по дереву на двери, предмет моего восхищения, была создана Лоренцо Гиберти, но там сохранились и более старинные работы — творения Андреа Пизано, изображавшие житие Святого Иоанна‑Крестителя, и я не собирался упустить их из виду.

Мое вампирское зрение было настолько острым, что, изучая эти разнообразные подробные картины в бронзе, я едва мог сдерживать вздохи удовольствия.

Я так хорошо помню этот момент. Думаю, тогда я поверил, будто ничто больше не сможет причинить мне зло или заставить меня отчаяться, что я обрел бальзам спасения в вампирской крови, и, что самое странное, сейчас, диктуя эту историю, я опять так думаю.

Хотя я сейчас несчастлив, и, наверное, это навсегда, я опять верю в первостепенное значение плоти. Мне на ум приходят слова Д. Г. Лоуренса, писателя двадцатого века, который, в своих описаниях Италии вспоминает образ Блейка — «Тигр, тигр, жгучий страх/ Ты горишь в ночных лесах…». Вот слова Лоуренса:

Таково превосходство плоти — она пожирает все, превращаясь в великолепный пламенеющий костер, в настоящее огненное безмолвие.

Это и есть способ превратиться в неугасающий огонь — превращение посредством плотского экстаза.

Но я допустил рискованную для рассказчика вещь. Я оставил свой сюжет, на что, я уверен, Вампир Лестат (кто, возможно, более искусен, чем я, и так влюблен в образ, нарисованный Уильямом Блейком, что, признается он в это или нет, использовал в своей книге тигра точно таким же образом) не преминул бы мне указать, и мне лучше поскорее вернуться к той сцене на Пьяцца дель Дуонио, где я столько веков назад стоял рядом с Мариусом, глядя на гениальные творения Гиберти, воспевшего в бронзе сивилл и святых. Мы не торопились. Мариус тихо сказал, что после Венеции он избрал бы своим городом Флоренцию, ибо здесь многое расцвело великолепным светом.

— Но я не могу оставаться вдали от моря, даже здесь, — доверительно объяснил он. — И, как ты можешь убедиться своими глазами, этот город с мрачной бдительностью цепляется за свои сокровища, в то время как в Венеции сами искрящиеся в лунном свете каменные фасады наших дворцов предлагаются в жертву Всемогущему Богу.

— Господин, а мы ему служим? — настаивал я. — Я знаю, ты осуждаешь монахов, которые меня воспитали, ты осуждаешь неистовые речи Савонаролы, но не намерен ли ты провести меня другой дорогой к тому же самому Богу?

— Именно так, Амадео, этим я и занимаюсь, — сказал Мариус. — Будучи настоящим язычников, я не собираюсь так уж легко в этом признаваться, иначе можно неправильно понять его сложность. Но ты прав. Я обретаю Бога в крови. Я обретаю Бога в крови. Я не считаю, что таинственный Христос навсегда остался со своими последователями во плоти и крови, символизируемой перешедшим в новое качество хлебцем, по чистой случайности.

Как же меня тронули эти слова! Мне показалось, что солнце, от которого я отрекся навеки, снова поднялось на небо, чтобы озарить ночь своим светом.

Мы проскользнули в боковую дверь темного собора, именуемого Дуорно. Я стоял, глядя вдоль длинный, выложенный камнем проход на алтарь.

Неужели возможно обрести Христа по‑новому? Может быть, я все‑таки не отрекся от него навсегда. Я попытался выразить эти беспокойные мысли моему господину. Христос… по‑новому. Я не мог всего объяснить и наконец сказал:

— Не могу подобрать слов.

— Амадео, все мы не можем подобрать слов, так бывает и с каждым, кто входит в историю. Много веков не находится слов, чтобы выразить концепцию высшего существа; Его слова и приписываемые Ему принципы тоже после него пришли в беспорядок; таким образом, Христа в его странствиях урывает, с одной стороны, пуританин‑проповедник, с другой — умирающий от голода отшельник в земле, а здесь — позолота Лоренцо ди Медичи, который хотел чествовать своего Господа в золоте, краске и мозаике.

— Но Христос — это Бог во плоти? — прошептал я. Ответа не было.

Моя душа пошатнулась в агонии. Мариус взял меня за руку и сказал, что нам пора идти, чтобы тайно проникнуть в Монастырь Сан‑Марко.

— Это тот самый священный дом, что отказался от Савонаролы, — сказал он. — Мы проскользнем туда, оставив его благочестивых обитателей в неведении.

И опять мы переместились в пространстве, как по волшебству. Я чувствовал только сильные руки господина и даже не увидел дверной проем, когда мы покинули это здание и попали в другое место.

Я знал, что он собирается показать мне работы художника Фра Анжелико, который давно умер, всю жизнь проработав в том самом монастыре, монаха‑живописца, каким, наверное, суждено было стать и мне в далекой сумрачной Печорской лавре.

Через несколько секунд мы беззвучно опустились на сырую траву квадратного монастыря Сан‑Марко, безмятежного сада, окруженного аркадами Микелоццо за надежными каменными стенами.

В моих вампирских ушах тотчас зазвучал хор молитв, отчаянные, взволнованные молитвы братьев, которые были верны Савонароле или сочувствовали ему. Я поднес руки к ушам, как будто этот дурацкий человеческий жест мог подать сигнал небесам, что я больше не выдержу.

Поток чужих мыслей прервал успокаивающий голос моего господина.

— Идем, — сказал он, сжимая мою руку. — Мы проскользнем в кельи по очереди. Тебе хватит света, чтобы рассмотреть работы этого монаха.

— Ты хочешь сказать, что Фра Анжелико расписывал сами кельи, где спят монахи? — Я‑то думал, что его работы украшают молельню и другие общинные места или публичные помещения.

— Поэтому я и хочу, чтобы ты посмотрел, — сказал господин. Он провел меня по лестнице в широкий каменный коридор. Он заставил первую дверь распахнуться, и мы мягко двинулись внутрь, бесшумно и быстро, не побеспокоив свернувшегося на жесткой постели монаха, чья голова потела на подушке.

— Не смотри на его лицо, — ласково сказал господин. — Если посмотришь, то увидишь мучающие его беспокойные сны. Я хочу, чтобы ты взглянул на стену. Ну, смотри, что ты видишь?

Я моментально все понял. Искусство Фра Джованни, прозванного Анжелико в честь его возвышенного таланта, представляло собой странную смесь чувственного искусства нашего времени и благочестивого, аскетичного искусства прошлого.

Я смотрел на яркую, элегантно воссозданную сцену захвата Христа в Гефсиманском саду. Тонкие плоские фигуры очень напоминали удлиненные эластичные образы русских икон, и в то же время лица смягчались от искренних, трогательных эмоций. Такое впечатление, что всех участников картины переполняла доброта, не только самого Господа, осужденного на предательство одним из своих же сторонников, но и взиравших на него апостолов, и даже злополучного солдата в кольчуге, который протягивал руки, чтобы забрать нашего господа, и наблюдавших за ними солдат.

Меня гипнотизировала их несомненная доброта, невинность, сквозящая в каждом из них, возвышенное сострадание со стороны художника ко всем актерам этой трагической драмы, предшествующей спасению мира.

Меня немедленно перенесло в следующую келью. И опять дверь подалась по приказу господина, и ее спящий хозяин так и не узнал о нашем появлении.

На этой картине был изображен тот же сад, и сам Христос, перед арестом, один среди спящих апостолов, оставшийся молить своего небесного отца дать ему силы. Я снова заметил сходство со старым стилем, в котором я, будучи русским мальчиком, чувствовал себя так уверенно. Складки ткани, использование арок, нимб над каждой головой, общая строгость — все относилось к прошлому, но здесь в то же время просвечивала новая итальянская теплота, безусловная итальянская любовь к человечности, просвечивала во всех без исключения, даже в самом Господе.

Мы переходили из кельи в келью. Мы путешествовали по жизни Христа взад‑вперед, посетив сцену первого святого причащения, в которой Христос так трогательно раздал хлеб, содержащий его тело и кровь, как просфора во время мессы, а потом — проповедь на горе, где не только его грациозное одеяние, но и гладкие складчатые камни, окружавшие Господа и его слушателей, казались сшитыми из ткани.

Когда мы дошли до сцены Распятия, где наш Господь оставил Святому Иоанну свою мать, меня в самое сердце поразила мука на лице Господа. Какая задумчивость читалась сквозь горе на лице девы Марии, каким покорным выглядел стоявший рядом с ней святой с мягким, светлым флорентийским лицом, таким похожим на тысячи других картин этого города, едва окаймленным светло‑коричневой бородой.

И в тот момент, когда я решил, что в совершенстве постиг урок господина, мы наткнулись на новую картину, и я еще сильнее ощутил связь между сокровищами моего детства и спокойным светлым благородством монаха‑доминиканца, который так украсил эти стены. Наконец мы оставили этот чистый, милый дом, полный слез и произносимых шепотом молитв.

Мы вышли в ночь и вернулись в Венецию, промчавшись сквозь холодную и шумную тьму, прибыв домой как раз вовремя, чтобы успеть немного посидеть в залитой теплым светом роскошной спальне и поговорить.

— Видишь? — торопил меня Мариус. Он сидел за своим столом с пером в руке. Он окунул его в чернила и принялся писать, переворачивая большие пергаментные страницы своего дневника.

— В далеком Киеве кельями было сама земля, сырая и чистая, но темная и всеядная, пасть, в конце концов съедающая всю жизнь, разрушающая искусство. — Я вздрогнул. Я сел, растирая ладонями руки, поглядывая на него. — Но здесь, во Флоренции, что завещал своим братьям проницательный учитель Фра Анжелико? Потрясающие картины, чтобы настроить их умы на страдания Господа?

Перед тем, как ответить, он написал несколько строк.

— Фра Анжелико никогда не презирал усладу для глаз, никогда не избегал заполнять взор всеми красками, силой видеть которые наделил тебя Бог, ибо он дал тебе два глаза не для того, чтобы… чтобы зарывать себя в мрачную землю.

Я долго размышлял. Одно дело — знать все это в теории. Другое дело — пройти по погруженным в тишину и сон монастырским кельям, увидеть, как настоящий монах воплотил в жизнь принципы моего господина.

— Сейчас чудесные времена, — мягко сказал Мариус. — Сейчас заново открывается то хорошее, что было свойственно древним, и ему придают новую форму. Ты спрашиваешь меня, Бог ли Христос. Я скажу тебе, Амадео, может быть, поскольку сам он никогда не учил ничему, кроме любви, или же в это нас заставили поверить его апостолы, знали они его или нет…

Я ждал, так как понимал, что он не закончил. В комнате было так хорошо — тепло, чисто, светло. В моем сердце навсегда сохранился его образ в этот момент — высокий светловолосый Мариус, отбросивший назад красный плащ, чтобы высвободить руку, держащую перо, гладкое задумчиво лицо, голубые глаза, заглядывающие за пределы нашей эпохи и всех остальных, в которых ему довелось жить, в поисках истины. Тяжелая книга стояла на низком переносном аналое под удобным углом. Чернильница располагалась внутри богато украшенной серебряной подставки. А за его спиной — тяжелый канделябр с восемью толстыми оплывающими свечами, покрытой гравировкой из бесчисленных херувимов, наполовину погруженных в серебро, бьющих, должно быть, крыльями, чтобы вылететь на свободу, с крошечными круглощекими личиками, повернутыми в разные стороны, с большими довольными глазами под распущенными змеевидными кудрями.

Казалось, целая аудитория ангелочков собралась посмотреть на Мариуса и послушать, как он говорит, масса, масса крошечных лиц, равнодушно уставившихся перед собой с серебра, не обращая внимания на падающие ручейки чистого тающего воска.

— Я не смогу жить без этой красоты, — вдруг сказал я, — я без нее не выдержу. О Господи, ты показал мне ад, и он лежит позади, несомненно, в той стране, где я родился.

Он услышал мою короткую молитву, мою короткую исповедь, мою отчаянную мольбу.

— Если Христос и есть Господь, — сказал он, возвращаясь к теме, возвращая нас обоих к уроку, — если Христос и есть Господь, то какое же прекрасное чудо — это христианское таинство… — Его глаза заволокли слезы. — Чтобы сам Господь спустился на землю и облек себя в плоть, чтобы лучше узнать нас и понять. О, какой Бог, возникавший в человеческом воображении, может быть лучше, чем тот, который стал плотью? Да, скажу я тебе, да, твой Христос, их Христос, даже Христос киевских монахов и есть Бог! Только никогда не забывай обращать внимание на ложь, произносимую в его имя, и деяния, свершаемые ради него. Ведь Савонарола выкликал его имя, восхваляя врага‑чужестранца, напавшего на Флоренцию, а те, кто сжег Савонаролу как ложного пророка, также, разжигая вязанки хвороста под его болтающимся телом, также взывали к Господу Христу.

Меня душили слезы.

Он сидел молча, может быть, в знак уважения, или же просто собираясь с мыслями. Потом он опять обмакнул перо в чернильницу и долго писал, намного быстрее, чем обычные люди, проворно и элегантно, ни разу не вычеркнув ни слова.

Наконец он положил перо. Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Я намеревался показать тебе кое‑что, но у меня никогда не получается действовать по плану. Сегодня вечером я хотел, чтобы ты увидел в способности летать опасность, увидел, что нам слишком легко переноситься с места на место, и что это чувство легкости появления и исчезновения обманчиво, его следует остерегаться. Но видишь, все получилось совсем по‑другому.

Я ему не ответил.

— Я хотел, чтобы ты, — сказал он, — немножко испугался.

— Господин, — сказал я, утирая нос тыльной стороной ладони, — можешь рассчитывать, что, когда придет время, я как следует испугаюсь. Я вижу, у меня будет такая сила. Я уже ее чувствую. А пока что она кажется мне потрясающей, но из‑за нее, из‑за этой силы, у меня на сердце появилась одна темная мысль.

— Какая же? — самым доброжелательным голосом спросил он. — Знаешь, я считаю, что твое ангельское лицо подходит для печали не больше, чем лица Фра Анжелико. Что это за тень? Что за мрачные мысли?

— Отнеси меня обратно, господин, — сказал я. Меня затрясло, но я все же продолжал. — Давай используем твою силу, чтобы пересечь Европу миля за милей. Пойдем на север. Отведи меня назад, посмотреть на ту жестокую землю, которая стала в моем воображении чистилищем. Унеси меня в Киев.

Он медлил с ответом.

Близилось утро. Он подобрал плащ, поднялся с кресла и повел меня вверх по лестнице, ведущей на крышу.

Вдалеке мы видели уже бледнеющие воды Адриатики, мерцающие под луной и звездами, за знакомым лесом корабельных мачт. На далеких островах мигали огоньки. Мягкий ветер нес с собой соль и морскую свежесть, а также особенную прелесть, которая чувствуется только тогда, когда окончательно теряешь страх перед морем.

— У тебя смелая просьба, Амадео. Если ты действительно этого хочешь, завтра ночью мы отправимся в путь.

— А ты когда‑нибудь совершал такое далекое путешествие?

— В милях, в пространстве — да, неоднократно, — сказал он. — Но в чужих поисках понимания? Нет, такого далекого не было.

Он обнял меня и отвел в палаццо, скрывавший нашу могилу. К тому времени, когда мы ступили на грязную каменную лестницу, где спало столько бедняков, я совершенно замерз. Мы пробрались через спящих и в конце концов добрались до входа в подвал.

— Зажгите, пожалуйста, мне факел, сударь, — сказал я. — Я вздрогнул. — Я хочу увидеть вокруг золото, если можно.

— Вот, получай, — сказал он. Мы стояли в нашем склепе, перед нам — два богато украшенных саркофага. Я положил руку на крышку своего гроба, и мне внезапно посетило новое предчувствие, мне показалось, будто все, что я люблю, через очень короткое время кончится.

Должно быть, Мариус заметил мою неуверенность. Он провел правой рукой прямо по пламени факела и приложил в моей щеке потеплевшие пальцы. Потом он поцеловал меня туда, где задержалось тепло, и его поцелуй получился теплым.

### 10

До Киева мы добирались четыре ночи. Охотились мы только в предрассветные часы. Мы устраивали себе могилы в настоящих местах захоронений, в подземельях замков, в гробницах под заброшенными и разрушенными церквями, где богохульники приспособились держать скотину и сено.

Я мог бы рассказать немало историй об этом путешествии, о храбрых крепостях, где мы бродили под утро, о дикий горных деревнях, где мы разыскивали злодея в его примитивном логове.

Естественно, Мариус во всем видел уроки, он учил меня, как просто находить укрытия, одобрял скорость, с которой я продвигался по густому лесу, и не испытывал страха перед разбросанными то там, то здесь поселениями, которые нам приходилось посещать из‑за моей жажды. Он хвалил меня за то, что я не шарахаюсь от темных пыльных кучек костей, похожих на гнезда, куда мы ложились на день, напоминая, что эти захоронения, уже разграбленные, вряд ли подвергнутся вторжению людей даже при свете дня.

Наши изысканные венецианские одежды вскоре запачкались грязью, но мы запаслись для путешествия плотными плащами, отороченными мехом, и они все скрывали. Даже здесь Мариус видел урок — мы должны не забывать, какую хрупкую, бессмысленную защиту дает нам одежда. Смертные забывают одеваться легко, забывают, что одежда служит только для прикрытия тела. Вампиры же об этом забывать не должны, поскольку мы намного меньше зависим от одежды, чем люди.

К последнему перед прибытием в Киев утру я слишком хорошо узнавал каменистые северные леса. Повсюду нас окружала лютая северная зима. Мы добрались до одного из самых занимательных моих воспоминаний — до снега.

— Мне больше не больно брать его в руки, — сказал я, набирая полные ладони восхитительного мягкого, холодного снега и прижимая его к лицу.

— Я больше не холодею от его вида, какой же он, оказывается, красивый, накрывает своим одеялом даже самые бедные города и хижины. Господин, смотри, смотри, в нем отражаются даже самые бледные звезды.

Мы стояли на краю земли, которую люди называли Золотой Ордой — в южных русских степях, которые уже двести лет, со того времени, как ее завоевал Чингиз‑хан, была слишком опасной для крестьянина, и часто сулила смерть войску или рыцарю.

Когда‑то эта прекрасная и плодородная степь входила в состав Киевской Руси, простираясь далеко на восток, почти доходя до Европы, а также на юг от Киева, города, где я родился.

— Последний отрезок совсем короткий, — сказал мне господин. — Мы преодолеем его завтра ночью, чтобы ты смог получить первые впечатления от дома свежим и отдохнувшим.

Когда мы стояли на каменистом утесе и смотрели вдаль, на заросли дикой травы, развевающейся на зимнем ветру, впервые с той ночи, когда я стал вампиром, я почувствовал, что мне ужасно не хватает солнца. Я хотел увидеть эту землю при солнечном свете. Я не смел признаться в этом моему господину. В конце концов, о скольких благах можно мечтать одновременно?

В последнюю ночь я проснулся сразу после заката. Мы нашли укрытие под полом церкви в деревне, где уже никто не жил. Кошмарные монгольские орды, снова и снова разрушавшие мою родную страну, давным‑давно сожгли этот город дотла, так сказал мне Мариус, и у церкви даже не осталось крыши. Некому было растащить камни с пола для продажи или строительства, так что мы спустились по забытой лестнице и легли рядом с монахами, похороненными здесь около тысячи лет назад.

Поднявшись из могилы, высоко наверху я увидел прямоугольник неба — там, где мой господин вытащил с пола мраморную плиту, несомненно, могильный камень с надписью, чтобы я мог выбраться. Я подтолкнул свое тело вверх. То есть, я согнул ноги в коленях и изо всех сил дернулся вверх, как будто умел летать, и прошел сквозь это отверстие, приземлившись на ноги.

Мариус, неизменно встававший раньше меня, сидел неподалеку. Он не замедлил отреагировать одобрительным смехом, как я и ожидал.

— Ты приберегал свой фокус для этой минуты? — спросил он. Я оглядывался по сторонам, меня слепил снег. Как же мне было страшно смотреть на обледенелые сосны, возвышавшиеся над руинами деревни. Я едва мог говорить.

— Нет, — сумел сказать я. — Я не знал, получится у меня или нет. Я не знаю, на какую высоту я смогу прыгнуть, не знаю, сколько у меня сил. Но ты доволен?

— Да, а почему мне быть недовольным? Я хочу, чтобы ты был сильным, чтобы никто не смог причинить тебе вред.

— А кому это нужно, господин? Мы путешествуем по миру, но ведь никто не знает, откуда мы пришли и куда направляемся.

— Встречаются и другие вампиры, Амадео. Они есть и здесь. Я могу услышать их, если захочу, но у меня есть веские причины к ним не прислушиваться.

Я понял.

— Слушая их, ты открываешь свои мысли, и они могут узнать, что мы рядом?

— Да, умник. Так ты готов вернуться домой?

Я закрыл глаза. Я перекрестился по старому обычаю, справа налево. Я подумал об отце. Мы были в диких степях, он высоко поднялся в стременах, держа в руках свой гигантский лук, лук, который мог согнуть только он; как мифический Одиссей, выпускал он стрелу за стрелой в налетевших на нас разбойников, прямо на скаку, держась на коне с таким мастерством, словно он сам был турком или татарином. Стрелу за стрелой быстро выхватывал он из висевшего за спиной колчана, вкладывал ее в лук и стрелял, несмотря на то, что конь галопом несся по высокой траве. Ветер развевал его рыжую бороду, а небо было таким синим, таким синим, что…

Я прервал свою молитву и чуть не потерял равновесие. Господин поддержал меня.

— Очень надеюсь, что ты покончишь с этим побыстрее, — сказал он.

— Поцелуй меня, — сказал я, дай мне свою любовь, обними меня, как всегда, мне так нужны твои руки. Направляй меня. Но обними меня, да. Дай мне положить голову тебе на плечо. Да, ты мне нужен. Да, я хочу побыстрее со всем покончить, а все уроки, которые останутся в голове, забрать домой.

Он улыбнулся.

— Дом теперь у Венеции? Ты так быстро принял решение?

— Да, я даже сейчас это понимаю. Впереди лежит земля, где я родился, это не обязательно дом. Идем?

Подхватив меня на руки, он поднялся в воздух. Я закрыл глаза, лишившись тем самым последней вспышки неподвижных звезд. Мне казалось, что я заснул, прижимаясь к нему, не видя снов, не чувствуя страха. Потом он поставил меня на ноги.

Я мгновенно узнал высокий темный холм, голый дубовый лес с обледенелыми черными стволами и скелетообразными ветвями. Вдалеке, внизу, блестела полоска Днепра. У меня зашлось сердце. Я осмотрелся, ища глазами унылые башни верхнего города, той части города, что мы называли Владимирской, то есть, старый Киев.

Я стоял в нескольких ярдах от куч камней, которые когда‑то были городскими стенами.

Я шел первым, легко взбираясь на камни, блуждая среди развалин церквей, церквей, когда‑то славившихся своей красотой, пока хан Батый не сжег город в 1240 году.

Я вырос в этих джунглях древних церквей и разрушенных монастырей, где часто спешил на службу в Софийском соборе, в одном из немногих памятников, которые пощадили монголы. В свое время он гордился своими золотыми куполами, подавляя все прочие церкви, и, по слухам, считался даже более величественным, чем его тезка в далеком Константинополе, поскольку был больше по размеру и хранил массу сокровищ.

Я же знал только его величавые останки, поцарапанную скорлупу. Сейчас мне не хотелось заходить в церковь. Мне хватило и внешнего осмотра, потому что теперь, проведя несколько счастливых лет в Венеции, я представлял себе былое величие этой церкви. После великолепных византийских мозаик и картин собора Сан‑Марко, после древней византийской церкви на венецианском остров Торчелло, я понимал, какое это когда‑то было потрясающее зрелище. Вспоминая оживленные толпы венецианцев, ее ученых, школяров, юристов, купцов, я мог наделить кипящей энергией этот унылый, запущенный пейзаж.

На земле лежал глубокий, плотный слой снега, и в тот холодный ранний вечер немногие вышли на улицу. Так что мы могли чувствовать себя свободно, легко ходить по снегу, не выбирая удобную тропу, как смертные.

Мы подошли к длинной полосе разрушенной крепостной стены, к бесформенной заснеженной ограде, и оттуда я взглянул на нижний город, который мы называли Подол, на единственную оставшуюся часть Киева, на город, где, в грубой бревенчатой избе, в нескольких ярдах от реки, я родился и вырос. Я посмотрел вниз, на закопченные крыши, на покрытую очищающим снегом кровлю, на дымящие трубы, на узкие, изогнутые, засыпанные снегом улицы. У реки давно уже выстроилась целая сеть таких домов и прочих зданий, которые выдерживали как пожар за пожаром, так и самые страшные татарские набеги.

Население города состояло из торговцев, купцов и мастеровых, прикованных к реке и богатствам, которые она приносила с востока, к деньгам, которые некоторые могли заплатить за товары, которые она везла на юг, в европейский мир. Мой отец, неукротимый охотник, торговал медвежьими шкурами, которые он в одиночку привозил из чащи огромного леса, простиравшегося далеко на север. Лиса, куница, бобр, овчина — он торговал всеми этими мехами, и так велики были его сила и удача, что ни одному мужчине и ни одной женщине из нашей семьи никогда не приходилось продавать свое рукоделие или нуждаться в пище. Если мы голодали — а мы голодали, то причина заключалась в том, что пищу съедала зима, что кончалось мясо, а на отцовские деньги нечего было купить.

Стоя на крепостной владимирской стене, я вдохнул запах Подола. Я различил зловоние гниющей рыбы, скота, грязной плоти и речной слякоти.

Я завернулся в свой плащ, сдул с меха снег, попавший мне на губы, и оглянулся на темные купола собора, выделявшиеся на фоне неба.

— Давай пройдем дальше, давай пройдем мимо замка воеводы, — сказал я.

— Видишь то деревянное здание, в прекрасной Италии никто не назвал бы его дворцом или замком. Здесь это замок.

Мариус кивнул. Он сделал успокаивающий жест. Я вовсе не обязан был вдаваться в объяснения по поводу этого чуждого ему места, откуда я пришел.

Воевода был нашим правителем, в мое время воеводой был князь Михаил из Литвы. Кто стал воеводой сейчас, я не знал.

Я сам удивился, что использовал правильное слово. В своем предсмертном видении я не сознавал языковых различий, и странное слово «воевода» ни разу не срывалось с моих губ. Но я видел его вполне отчетливо — круглая черная шапка, темная плотная бархатная туника и войлочные сапоги. Я пошел первым.

Мы приблизились к приземистому зданию, больше всего напоминавшему крепость, построенную из громадных бревен. Его стены поднимались вверх под элегантным уклоном; четырехъярусную крышу венчали многочисленные башни. Я рассмотрел центральную крышу, своеобразный пятигранный деревянный купол, его четкий силуэт на фоне звездного неба. В огромном дверном проеме пламенели факелы, как и вдоль стен внешнего ограждения. Все окна были плотно закрыты, чтобы не впускать ни зиму, ни ночь.

Были времена, когда я считал, что это — величайшее строение христианского мира.

Нам не составило труда ослепить стражу несколькими быстрыми словами и стремительными движениями, проскользнуть мимо и войти в сам замок.

Внутрь мы попали через заднее хранилище и тихо пробрались к наблюдательному пункту, откуда можно было подсматривать за небольшой толпой закутанных в меха благородных господ, сбившихся в центральном зале под голыми балками деревянного потолка вокруг бушующего огня.

Они сидели на огромной куче разбросанных ярких турецких ковров в огромных русских креслах, геометрическая резьба на которых не представляла для меня загадки. Из золотых кубков они пили вино, разливаемое двумя мальчиками в кожаной одежде, а их длинные, просторные, перехваченные поясами одеяния были синими, красными, золотыми — не менее яркими, чем разнообразные узоры ковров.

Грубо оштукатуренные стены покрывали европейские гобелены. Знакомые старые сцены охоты в бесконечных лесах Франции, Англии или Тосканы. На длинной скамье, заставленной пламенеющими свечами, были накрыты простые блюда из мяса и птицы.

В комнате было настолько холодно, что господа надели русские меховые шапки. Какой экзотикой казались они мне в детстве, когда отец привел меня предстать перед князем Михаилом, испытывавшим вечную благодарность перед отцом за чудеса доблести, благодаря которым тот приносил из диких степей великолепную дичь, или же доставлял ценные свертки союзникам князя Михаила в западные литовские форты. Но это были европейцы. Я их никогда не уважал. Отец слишком хорошо научил меня, что они всего лишь ханские лакеи, они платят за право нами управлять.

— Никто не восстанет против этих воров, — говорил отец. — Так пусть поют свои песни о чести и храбрости. Они ничего не значат. Ты слушай мои песни.

А мой отец песни петь умел.

При всей его выносливости в седле, при всей его гибкости в обращении с луком и стрелами, при всей его грубой звериной силе в обращении с широким мечом, он обладал способностью извлекать длинными пальцами музыку из струн старых гуслей и даром петь песни, повествующие о древних временах, когда Киев был великой столицей, когда его церкви соперничали с храмами Византии, когда его богатства потрясали весь мир.

Через минуту я был готов идти. Я бросил на память последний взгляд на этих старомодных людей, съежившихся над золотыми кубками с вином, поставив ноги в меховых сапогах на замысловатые турецкие коврики, на стенах играли их тени. Они даже не подозревали о нашем присутствии, и мы удалились.

Теперь пора было пройти к другому городу на холме, к Печерску, под которым лежали обширные катакомбы Печерской Лавры. Я вздрагивал при одной мысли о ней. Казалось, пасть лавры поглотит меня, я пророю нору через влажную, сырую землю, буду вечно стремиться к солнечному свету и никогда не найду выход.

Но я все же пошел туда, тащась через слякоть и снег, и снова сумел пробраться внутрь благодаря нашей бархатной гибкости, на сей раз я шел впереди Мариуса, бесшумно срывая замки с помощью своей не сравнимой с людьми силы, приподнимая двери, когда открывал их, чтобы ничто не давило на скрипучие петли, и стремительно, как молния, пересекая комнаты, чтобы смертные глаза воспринимали нас лишь как холодные тени, если они вообще нас замечали.

Воздух здесь оказался теплым, застывшим — настоящее благо, но память подсказывала мне, что смертному мальчику было не так уж ужасно жарко. В скриптории при дымном свете дешевого масла несколько братьев согнулись над наклонными столами, трудясь над копиями текстов, как будто изобретение печатного станка их не коснулось — так оно, несомненно, и было на самом деле.

Я разглядел тексты, над которыми они работали, и узнал их — Патерикон Киево‑Печерской лавры, содержащий удивительные сказания об основателях монастыря и его многочисленных живописных святых.

В этой самой комнате, в трудах над этим самым текстом, я окончательно научился читать и писать. Я прокрался вдоль стена, пока моим глазам не открылась страница, которую переписывал один из монахом, распрямляя левой рукой рассыпающийся оригинал.

Эту часть Патерикона я знал наизусть. Сказание об Исааке. Исаака провели демоны; они пришли к нему в виде прекрасных ангелов и даже притворялись самим Иисусом Христом. Когда Исаак попался в их ловушку, они танцевали от восторга и насмехались над ним. Но после долгих медитаций и епитимьи Исаак смог противостоять этим демонам.

Монах только что обмакнул в чернила перо, а теперь писал произнесенные Исааком слова:

Вводя меня в заблуждение, являясь ко мне в обличье Иисуса Христа и ангелов, вы не заслуживали этого звания. Но теперь вы предстаете в своем истинном свете…

Я отвел глаза. Дальше я читать не стал. Так хорошо слившись со стеной, я мог бы простоять незамеченным целую вечность. Я медленно посмотрел на другие страницы, переписанные монахом, он положил их сохнуть. Я нашел предыдущий отрывок, который так и не смог забыть — описание Исаака, удалившегося от мира и недвижимо пролежавшего без пищи два года:

Ибо ослаб Исаак и мыслью, и телом, и не мог повернуться на другой бок, встать или сесть; он оставался лежать на боку, и часто под его бедрами из нечистот собирались черви.

Вот до чего довели Исаака демоны своим коварством. Подобные искушения, подобные видения, подобное смятение и подобную кару надеялся переживать и я весь остаток жизни, когда попал сюда ребенком.

Я прислушался к звукам пера, царапавшего бумагу. Я незаметно удалился, как будто меня здесь никогда и не было.

Я оглянулся на свою ученую братию.

Изможденные, одетые в дешевую черную шерсть, провонявшую застарелым потом и грязью, головы практически выбриты. Длинные бороды — жидкие, нечесаные.

Я подумал, что узнал одного из них и даже отчасти любил его когда‑то, но это было давно, решил я, и думать об этом больше не стоит.

Мариусу, верно стоявшему рядом со мной, как тень, я признался, что не выдержал бы такого, но оба мы знали, что это неправда. По всей вероятности я бы все выдержал и умер бы, так и не узнав, что существует и другой мир.

Я прошел в первый из длинных тоннелей, где погребали монахов, и, закрыв глаза и прильнув к земляной стене, я прислушался к мечтам и молитвам тех, кто лежал, замурованный заживо, во имя любви к Богу.

Именно это я себе и представлял, в точности, как я и запомнил. Я услышал знакомые, не представляющие больше для меня загадки слова, произносимые шепотом на церковно‑славянском языке. Я увидел предписанные образы. Меня обжигал шипящий костер подлинной веры и подлинного мистицизма, воспламенившийся от слабого огня жизней полного самоотречения.

Я стоял, наклонив голову. Я прижался виском к земляной стене. Я мечтал найти того мальчика, такого чистого душой, который вскрывал эти кельи, чтобы принести отшельникам немного пищи и воды, чтобы поддержать в них жизненные силы. Но я не мог найти его. Не мог. И по отношению к нему я испытывал только бешеную жалость из‑за того, что ему вообще пришлось здесь страдать, худому, жалкому, отчаявшемуся, невежественному, да, ужасно невежественному, знающему только одну чувственную радость жизни — смотреть на отблески огня в красках иконы. Я задыхался. Я повернул голову и, оцепенев, упал в объятья Мариуса.

— Не плачь, Амадео, — нежно сказал он мне на ухо.

Он отвел мои волосы с глаз и своим мягким пальцем даже вытер мне слезы.

— Попрощайся с ними навсегда, сын мой, — сказал он. Я кивнул.

Через мгновение ока мы стояли на улице. Я с ним не разговаривал. Он шел за мной. Я спускался по холму к прибрежному городу.

Запах реки усиливался, усиливалось и человеческое зловоние, и в конце концов я дошел до здания, в котором узнал собственный дом. Вдруг мне показалось, что это настоящее безумие! Чего я добиваюсь? Измерить все это по новым стандартам? Найти подтверждение тому, что у меня, смертного мальчика, никогда не было ни единого шанса?

Господи, моему новому существованию вообще не было оправдания — нечестивый вампир, питающийся жирными сливками порочного венецианского мира, я это прекрасно понимал. Неужели это просто тщеславное проявление самооправдания? Нет, не только это влекло меня к длинному прямоугольному дому, его толстые обмазанные глиной стены разделяли грубые балки, с четырехъярусной крыши свисали сосульки, и этот большой примитивный дом был моим домом. Как только мы добрались до него, я прокрался вокруг его стен. Сугробы здесь подтаяли и потекли, речная вода заливала улицу и все остальное, совсем как в моем детстве. Вода просочилась в мои венецианские сапоги тонкой работы. Но теперь она не парализовала ноги, потому что я черпал силы у неведомых этим людям богов и у созданий, чьих имен эти грязные крестьяне, одним из которых раньше был я, не знали.

Я прижался лбом к шершавой стене, как в монастыре, приникнув к глине, словно ее плотная поверхность могла защитить меня и передать мне все, что я хотел узнать. Через крошечную дыру в вечно осыпающейся глине я увидел знакомые огоньки свечей, более яркое пламя ламп — семья собралась вокруг большой теплой кирпичной печи.

Я знал каждого их этих людей, хотя чьи‑то имена стерлись из моей памяти. Я знал, что это моя родня, я знал, какая среди них царит атмосфера.

Но мне нужно было заглянуть глубже. Мне нужно было знать, все ли у них хорошо. Мне нужно было знать, смогли ли они продолжать жить с былой энергией после того рокового дня, когда меня похитили, а отца, несомненно, убили в дикой степи. Может быть, мне нужно было знать, о чем они молились, когда вспоминали Андрея, мальчика с даром писать подлинные иконы, нерукотворные иконы.

Я услышал, что внутри играют на гуслях, я услышал песню. Голос принадлежал моему дяде, одному из братьев моего отца, такому молодому, что он мог бы быть и моим братом. Его звали Борис, и с раннего детства он отличался способностями к пению, легко запоминая старые думы, или саги, о богатырях и героях, и сейчас он пел одну из этих песен, очень ритмичную и трагическую. Гусли были старые и маленькие, отцовские, и Борис перебирал струны в такт речитативу, практически пересказывая историю жестокой и роковой битвы за древний и великий Киев.

Я вслушивался в знакомые распевы, переходившие среди нашего народа от певца к певцу на протяжении сотен лет. Я поднял пальцы и отломил кусочек глины. Сквозь крошечное отверстие я увидел иконостас — прямо напротив семьи, собравшейся вокруг мерцающего в открытой печи огня.

Что за зрелище! Среди десятков свечных огарков и глиняных ламп с горящим жиром стояли, прислоненные к стене, около двадцати икон, некоторые — в золотых рамах, старые, потемневшие, остальные — светлые, как будто божья сила оживила их только вчера. Среди картин были воткнуты крашеные яйца, покрытые прекрасными узорами, которые я прекрасно помнил, хотя даже с вампирским зрением находился от них слишком далеко, чтобы все увидеть. Много раз наблюдал я, как женщины расписывают к пасхе эти священные яйца, деревянными палочками накладывая тающий воск, чтобы наметить ленты, звезды, кресты или линии, обозначавшие бараньи рога, или же символ, означавший бабочку или аиста. Когда яйцо покрывалось воском, его окунали в холодный краситель поразительно густого цвета. Мне тогда казалось, что существует бесконечное разнообразие красок, а также бесконечные возможности выражения глубокого смысла в простых узорах и знаках.

Эти хрупкие, прекрасные яйца хранились для исцеления больных, или же для защиты от бури. Я сам прятал такие яйца в саду, на счастье, чтобы урожай был лучше. Одно из них я поместил над дверью дома, куда ушла жить моя сестра, молодая невеста.

Об этих расписных яйцах есть прекрасная легенда — пока существуют эти яйца, мир находится в безопасности от злого чудовища, которое всегда готово прийти и проглотить все, что есть в мире.

Приятно было увидеть, что эти яйца лежат в горделивом углу икон, как всегда, среди святых ликов. Я забыл этот обычай, что мне показалось не только позором, но и предвестником грядущей трагедии.

Но внезапно меня захватили святые лики, и я обо всем забыл. Я увидел, как сверкает в свете огня лик Христа, моего блестящего, нахмуренного Христа, каким я часто его рисовал. Я столько нарисовал этих картин, но как же она была похожа на ту, что я потерял в тот день в густой траве!

Но такого быть не может. Кто смог бы вернуть икону, которую я уронил, когда разбойники взяли меня в плен? Нет, конечно, это другая икона, ведь я уже говорил, что нарисовал их очень много, прежде чем родители набрались мужества отвести меня к монахам. Ведь мои иконы распространились по всему городу. Мои отец даже гордо носил их князю Михаилу в качестве даров, и сам князь сказал, что мой талант должны увидеть монахи.

Каким строгим выглядел наш Господь по сравнению с нежным, задумчивым Христом Фра Анжелико или благородным, печальным Господом Беллини! Но его согрела моя любовь! Он был Христом нашего стиля, любящим в строгих линиях, любящим в мрачных красках, любящим в манере моей земли. И его согревала любовь, которую, как я верил, он дарил мне!

Мне стало дурно. Я почувствовал, как руки господина легли мне на плечи. Он не потянул меня прочь, как я боялся. Он просто обнял меня и прижался щекой к моим волосам.

Я уже чуть было не ушел. Теперь с меня хватит. Но музыка смолкла. Та женщина, это же моя мать, не так ли? Нет, моложе, моя сестра Аня, теперь взрослая женщина; она устало заговорила о том, что мой отец смог бы опять запить, если бы им удалось спрятать от него все спиртное и привести его в чувство.

Дядя Борис усмехнулся. Иван безнадежен, сказал Борис. Ивану уже не прожить трезвым ни дня, ни ночи, ему недолго осталось. Иван отравлен спиртом, как хорошим вином, что он покупает у торговцев, продавая все, что ему удается украсть из этого дома, так и крестьянском самогоном, что он выбивает силой, по сей день оставаясь грозой округи.

У меня волосы встали дыбом. Иван, мой отец, жив? Иван остался в живых, чтобы умереть с позором? Ивана не убили в дикой степи?

Но в их темных лбах кончились и мысли о нем, и слова. Мой дядя запел новую песню, танцевальную. В этом доме танцевать было некому — все устали от тяжелой работы, женщины слепли, продолжая латать лежащую на коленях одежду. Но музыка их подбодрила, и один из них, мальчик, младше, чем я был, когда умер, да, мой младший брат, тихо прошептал молитву за моего отца, чтобы отец сегодня не замерз до смерти, свалившись пьяным в сугроб, что случалось нередко.

— Прошу тебя, приведи его домой, — шептал мальчик. Потом я услышал за своей спиной голос Мариуса — он пытался расставить все по местам и успокоить меня:

— Да, это, несомненно, правда. Твой отец жив.

Не успел он предостеречь меня, как я обошел дом и открыл дверь. Я сделал это сгоряча, не подумав, мне следовало спросить разрешения у Мариуса, но я уже говорил, что был неуправляемым учеником. Я не мог иначе.

В дом ворвался ветер. Съежившиеся фигуры вздрогнули и натянули на плечи густой мех. В пасти кирпичной печи великолепно полыхнул огонь.

Я знал, что нужно обнажить голову, в моем случае — снять капюшон, встать лицом к иконам и перекреститься, но этого я сделать не мог.

В действительности, чтобы замаскироваться, я, закрывая дверь, натянул капюшон на голову. Я прислонился к двери. Я поднес ко рту край плаща, чтобы скрыть все лицо, за исключением глаз, и, может быть, копны рыжеватых волос.

— Почему Иван запил? — прошептал я на вернувшемся ко мне старом русском языке. — Иван был в городе самым сильным. Где он сейчас?

Мое вторжение вызвало только настороженность и злобу. Пламя в печи затрещало и заплясало, пожирая свежий воздух. Иконостас сам по себе казался костром сияющих огней — светлые лики и разбросанные между ними свечи, пламя другого, вечного характера. В дрожащем свете я ясно видел лицо Христа, казалось, он не сводил с меня глаз, пока я стоял у двери.

Дядя поднялся и сунул гусли в руки маленького, незнакомого мне мальчика. Я увидел, что в тени на своих кроватках садились дети. Я увидел, как в темноте поблескивают их обращенные ко мне лица. Те же, кто сидел на свету, сбились вместе и посмотрели мне в лицо.

Я увидел свою мать, иссохшую, унылую, как будто с момента моего исчезновения минули века — настоящая старуха в углу, вцепившаяся в коврик, прикрывавший ее колени. Я всматривался в нее, пытаясь разгадать причины расстройства ее здоровья. Беззубая, дряхлая, большие, стертые, блестящие от работы костяшки пальцев — может быть, просто работа слишком быстро сводила ее в могилу.

На меня обрушилось огромное скопление мыслей и слов, словно меня осыпали ударами. Кто ты — ангел, дьявол, ночной гость, ужас тьмы? Я увидел, как поспешно они поднимают руки, осеняя себя крестным знамением. Но в их мыслях я прочел ясный ответ на свой вопрос.

Кто не знает, что Иван‑охотник стал Иваном Кающимся, Иваном‑пьяницей, Иваном‑сумасшедшим из‑за последствий того дня в степи, когда он не смог остановить татарских разбойников, похитивших его любимого сына Андрея?

Я закрыл глаза. То, что с ним случилось, хуже смерти! А я даже ни разу не поинтересовался, ни разу не посмел помыслить о том, что он жив, или же меня недостаточно волновала его судьба, чтобы надеяться, что он выжил, чтобы задуматься, что ждет его, если он выжил? По всей Венеции разбросаны лавки, где я мог бы набросать ему письмо, письмо, которое знаменитые венецианские купцы могли бы довезти до какого‑нибудь порта, откуда его доставили бы по назначению по прославленным ханским почтовым дорогам.

Я все это знал. Это знал маленький эгоист Андрей, знал все подробности, которые, должно быть, так прочно сковали его прошлое, что он чуть не забыл его. Я мог бы написать:

Семья моя, я жив, я счастлив, хотя никогда и не смогу вернуться домой. Примите эти деньги, что я посылаю для моих братьев, сестер и матери…

Но с другой стороны, откуда мне было знать? Прошлое для меня превратилось в мучительный и хаос.

Стоило ожить самой тривиальной картине, как она перерастала в пытку.

Передо мной стоял мой дядя. Такой же здоровый, как мой отец, он был хорошо одет — в подпоясанную кожаную рубаху и валенки. Он спокойно, но строго просмотрел на меня.

— Кто вы, чтобы так приходить в наш дом? — спросил он. — Что за князь стоит перед нами? Вы принесли нам вести? Тогда говорите, и мы простим вас за то, что вы сломали замок на нашей двери.

Я затаил дыхание. У меня не осталось вопросов. Я понял, что смогу найти Ивана‑пьяницу. Что он — в харчевне с рыбаками и торговцами мехами, так как он других закрытых помещений не переносил, за исключением дома. Левой рукой я нащупал кошель, который всегда носил, как положено, на поясе. Я сорвал его и протянул этому человеку. Он бросил на него взгляд. Потом он оскорбленно выпрямился и отступил.

И тогда мне показалось, что он слился с нарочитой обстановкой дома. Я увидел весь дом. Я увидел резную мебель, гордость смастерившей ее семьи, резные деревянные кресты и подсвечники, поддерживающие многочисленные свечи. Я увидел символические росписи, украшавшие деревянные рамы на окнах, полки с расставленными на них красивыми домашними горшками, котелками и мисками.

Тогда я увидел всю семью в свете их чувства собственного достоинства — женщин с вышивкой, и тех, кто штопал одежду, и вспомнил с чувством успокоения стабильность и теплоту их повседневной жизни. Но как же это уныло, как ужасно грустно в сравнении с тем миром, который знал я! Я сделал шаг вперед, опять протянул ему кошель, и произнес сдавленным голосом, все еще прикрывая лицо:

— Умоляю вас, окажите мне любезность, чтобы я смог спасти свою душу. Это от вашего племянника, Андрея. Он сейчас далеко, далеко, в той стране, куда его увезли работорговцы, и он уже не вернется домой. Но он живет хорошо и должен разделить с семьей то, что у него есть. Он велел мне рассказать ему, кто из вас жив, а кто умер. Если я не отдам вам эти деньги, если вы их не возьмете, я буду проклят и попаду в ад.

Словесного ответа не последовало. Но их мысли сказали мне все, что нужно. Я все выяснил. Да, Иван жив, а теперь я, странный гость, говорю, что Андрей тоже не умер. Иван оплакивал сына, который не только выжил, но и процветал. Жизнь в любом случае трагедия. Известно только одно — всех ждет смерть.

— Я вас умоляю, — сказал я.

Мой дядя принял протянутый кошель, но с сомнением. Он был полон золотых дукатов, которые принимали повсюду.

Я уронил плащ и стянул левую перчатку, а потом — кольца, унизывающие каждый палец. Опал, оникс, аметист, топаз, бирюза. Я прошел мимо мужчины и мальчиков к дальнему углу у печи и почтительно положил их на колени поднявшей глаза старушки, моей матери.

Я понял, что через секунду она меня узнает. Я снова закрыл лицо, но левой рукой вынул из‑за пояса кинжал. Это был всего лишь короткий «мизерикорд», кинжальчик, которым воин на поле боя расправляется с жертвой, если она слишком сильно ранена, чтобы спастись, но еще не умерла. Декоративная вещица, скорее украшение, чем оружие, и его позолоченные ножны густо усыпали безупречные жемчужины.

— Это вам, — сказал я, — матери Андрея, которая всегда любила свои бусы из речного жемчуга. Возьмите это, ради спасения его души. — Я положил кинжал у ног матери.

Потом я поклонился, низко‑низко, так, что голова почти коснулась пола, и вышел, не оборачиваясь, закрыв за собой дверь, но задержался снаружи, слушая, как они вскочили со своих мест и столпились вокруг нее, чтобы посмотреть кольца и кинжал, а кто‑то пошел починить засов.

Охватившие меня эмоции лишили меня сил. Но ничто не помешало бы мне сделать то, что я решил сделать. Я не поворачивался к Мариусу, потому что просить его поддержки или согласия в этом деле было бы малодушием. Я спустился по слякотной заснеженной улице через грязное месиво, к прибрежной харчевне, где, как я думал, мог находиться мой отец.

Ребенком я чрезвычайно редко переступал порог этого дома, и то лишь в тех случаях, когда нужно было позвать отца домой. У меня практически не сохранилось о нем воспоминаний — я только помнил, что там пили и ругались чужеземцы.

Харчевня располагалась в длинном здании, построенном из тех же необработанных бревен, что и мой дом, с той же глиной в качестве скрепляющего материала, швы и трещины неизбежно пропускали ужасный холод. Крыша была очень высокой, с шестью ярусами, чтобы выдерживать вес снега, с карниза свисали сосульки, как и с крыши моего дома.

Меня восхищало, что люди могут так жить, что даже холод не вынуждает их построить более долговечное и более надежное укрытие, но в этом месте, как мне думалось, так было всегда, в стране бедных, больных, загруженных работой и голодных, жестокие зимы лишали их слишком многого, а короткая весна и лето приносили им слишком мало, и в результате самоотречение превратилось в высшую добродетель.

Но, может быть, я заблуждался, может быть, заблуждаюсь и сейчас. Важно то, что в этом месте господствовала безнадежность, и хотя оно не было уродливо, поскольку нет уродства в дереве, в грязи, в снеге и в печали, красоты там тоже не было, за исключением икон и далекого силуэта элегантных куполов стоявшего на вершине горы Софийского собора, выделявшегося на фоне усеянного звездами неба. И этого мало.

Войдя в харчевню, я прикинул, что в ней сидит человек двадцать — они пили и разговаривали с удивившей меня веселостью, учитывая спартанскую природу этого дома, который давал им только крышу над головой и защиту от ночи, да возможность расположиться у большого очага. Здесь их не могли приободрить иконы. Но кто‑то пел, кто‑то перебирал неизменных струны гуслей, кто‑то играл на маленькой дудке.

Некоторые из многочисленных столов покрывали скатерти, некоторые стояли пустые, и часть посетителей, насколько я помнил, были иностранцами. Трое итальянцев, мгновенно услышал я и вычислил, что они генуэзцы. Я и не ожидал, что здесь будет так много иностранцев. Но этих людей привлекала речная торговля, и, возможно, в Киеве сейчас жилось не так уже и бедно.

За прилавком, где хозяин продавал свои запасы кружками, стояло немало бочонков пива и вина. Я заметил кучу бутылок итальянского вина, несомненно, довольно дорогого, и ящики с белым испанским вином.

Чтобы не привлекать внимания, я прошел вперед и забрался в дальний левый угол, поглубже в тень, где, может быть, итальянский путешественник в богатых мехах не будет так уж выделяться, потому что, в конце концов, красивые меха были их единственным настоящим достоянием.

Эти люди были слишком пьяны, чтобы обращать на меня внимание. Хозяин попытался пробудить в себе интерес к новому посетителю, но потом снова захрапел, подперев голову ладонью. Музыка продолжалась, пели новую думу, далеко не такую веселую, как дядя пел у нас дома, наверное, потому что музыкант очень устал. Я увидел отца.

Он растянулся во весь рост на спине, лежа на широкой голой засаленной скамье, одетый в свою короткую кожаную куртку, аккуратно укутанный в свою самую большую шубу, должно быть, когда он отвалился, остальные его укрыли. Медвежья шуба, признак относительного богатства.

Он храпел сквозь пьяный сон, от него исходили пары алкоголя, и он не шелохнулся, когда я встал рядом с ним на колени и заглянул ему в лицо.

Его щеки похудели, но сохранили розовый оттенок, однако под скулами появились впадины, а в волосах мелькала седина, наиболее заметная в усах и длинной бороде. Мне показалось, что волосы на висках поредели, а тонкие гладкие брови приподнялись, но, возможно, это была просто иллюзия. Плоть вокруг глаз была темной и мягкой. Его рук, сцепленных под шубой, я не видел, но мне было ясно, что он до сих пор полон сил, до сих пор сохранил крепкое телосложение, и любовь к спиртному не успела его уничтожить.

Внезапно я с беспокойством ощутил его жизненную энергию; от него пахло кровью, пахло жизнью, как будто мне на пути попалась потенциальная жертва. Я выбросил это из головы и только смотрел на него с любовью, думая об одном — как я рад, что он жив. Он выбрался из степей. Он спасся от разбойников, которые в тот момент казались мне вестниками смерти.

Я подтянул табурет, чтобы спокойно посидеть рядом с отцом и рассмотреть его лицо. Левую перчатку я так и не одел.

Я положил холодную руку ему на лоб, легко, не желая позволять себе вольности, и он медленно открыл глаза. Мутные, они оставались удивительно яркими, невзирая на лопнувшие сосуды и влажность, и он какое‑то время спокойно смотрел на меня, не говоря ни слова, как будто не видел причин, чтобы двигаться, как будто я казался ему видением из сна.

Я почувствовал, что капюшон упал мне на плечи, но я не стал его останавливать. Я не видел того, что увидел он, но знал, что ему открылось — лицо его сына, чисто выбритое, как в те дни, когда он его знал, и длинные волны заснеженных распущенных каштановых волос.

За моей спиной на фоне ярко пламенеющего огня виднелись грузные силуэты посетителей — они пели, говорили. Вино текло рекой.

Ничто не мешало мне в этот момент, ничто не встало между мной и этим мужчиной, который так отчаянно старался сразить разбойников, посылая им вслед одну стрелу за другой, хотя на него самого сыпался град их собственных стрел.

— Тебя так и не ранили, — прошептал я. — Я люблю тебя и только сейчас понимаю, каким ты был сильным.

Разобрал ли он мои слова?

Он прищурился, глядя на меня, и я увидел, как он провел по губам языком. У него были яркие, как коралл, губы, просвечивавшие через густые заросли усов и бороды.

— Ранили, — сказал он низким голосом, тихим, но не слабым. — В меня попали, два раза попали, в плечо и в руку. Но они меня не убили, и Андрея не отпустили. Я упал с коня. Я поднялся. Ноги мне не задело. Я погнался за ними. Я все бежал, бежал и стрелял. Поганая стрела торчала у меня из правого плеча, вот здесь.

Из‑под шубы появилась его рука, и он положил ее на темный холм его правого плеча.

— Я все равно стрелял. Я ее даже не почувствовал. Я видел, что они уходят. Они забрали его с собой. Я даже не знаю, был ли он жив. Не знаю. Зачем им было его увозить, если бы они его убили? Стрелы летели во все стороны. Настоящий дождь стрел! Их было человек пятьдесят. Все остальные погибли! Я велел остальным продолжать стрелять, не останавливаться ни на миг, не трусить, стрелять, стрелять, скакать прямо на них, пригнуться, пригнуться к коням и скакать на них. Может, так и было. Не знаю.

Он опустил веки. Он огляделся. Он захотел встать, а потом посмотрел на меня.

— Дай мне выпить. Купи что‑нибудь приличное. У того мужика есть испанское белое вино. Купи мне бутылку вина. Черт возьми, в былые дни я сидел в засаде и ждал купцов там, на реке, мне никогда не приходилось ничего ни у кого покупать. Купи мне бутылку белого вина. Я вижу, ты богач.

— Ты не узнаешь меня? — спросил я.

Он посмотрел на меня в явном недоумении. Этот вопрос даже не приходил ему в голову.

— Ты из замка. Ты говоришь с литовским акцентом. Мне плевать, кто ты такой. Купи мне вина.

— С литовским акцентом? — тихо спросил я. — Какой кошмар. Наверное, это венецианский акцент, и мне очень стыдно.

— Венецианский? Тогда тебе нечего стыдиться. Видит Бог, они пытались спасти Константинополь, пытались. Все катится к черту. Мир сгорит в огне. Купи мне вина, пока он не сгорел, ладно?

Я встал. У меня остались деньги? Я все еще размышлял об этом, когда надо мной замаячила безмолвная фигура моего господина — он протянул мне бутыль испанского белого вина, откупоренную, подготовленную для моего отца.

Я вздохнул. Ее запах для меня теперь ничего не значил, но я знал, что вино отличного качества, к тому же, он этого хотел.

Тем временем он сел на скамье и уставился на бутыль в моих руках. Он потянулся за ней, забрал и принялся пить, так же жадно, как я пил кровь.

— Посмотри на меня получше, — сказал я.

— Дурак, здесь слишком темно, — ответил он. — Как я посмотрю получше? Мммм, хорошее вино. Спасибо. — Он внезапно застыл, поднеся бутыль к губам. Застыл в необычной позе. Как будто он находился в лесу и только что почувствовал приближение медведя или какого‑то другого смертельно опасного зверя. Он окаменел, не выпуская бутыль из рук, шевелились только обращенные ко мне глаза. — Андрей, — прошептал он.

— Я жив, отец, — мягко сказал я. — Меня не убили. Меня похитили, чтобы продать, и продали выгодно. Потом меня увезли на корабле на юг, затем — на север, в Венецию, там я сейчас и живу.

Его глаза оставались спокойными. Им завладела удивительная безмятежность. Он был слишком пьян, чтобы протестовать или восхищаться дешевым сюрпризом. Напротив, истина закралась в его душу и захлестнула его единой волной, и он сумел понять каждое ее ответвление — что я не страдал, что я богат, что я живу хорошо.

— Я пропал, — продолжил я тем же ласковым шепотом, который мог услышать только он. — Да, я пропал, но меня нашел другой человек, добрый человек, он вернул меня к жизни, и с тех пор я никогда не страдал. Отец, я проделал долгий путь, чтобы сказать тебе об этом. Я и не знал, что ты жив. Мне и не снилось, что ты жив. То есть, я решил, что ты погиб в тот день, когда рухнул весь мой мир. А теперь я пришел сюда, чтобы сказать тебе — ты никогда, никогда не должен из‑за меня горевать.

— Андрей, — прошептал он, но его лицо не изменилось. На нем проявилось только степенное удивление. Он неподвижно сидел, положив руки на бутылку, которую поставил на колени, распрямив огромные плечи, а его развевающиеся рыже‑седые волосы, длиннее, чем я когда‑либо видел, сливались с мехом его шубы.

Он был красивым мужчиной, красивым. Чтобы понять это, мне потребовались глаза монстра. Мне потребовалось зрение демона, чтобы увидеть силу в его глазах в сочетании с мощью гигантского тела. Только налитые кровью глаза выдавали его слабость.

— Теперь забудь меня, отец, — сказал я. — Забудь меня, как будто меня отослали монахи. Но помни, что только из‑за тебя я никогда не буду погребен в земляных монастырских могилах. Нет, может быть, со мной случится что‑то другое. Но от этого я не пострадаю. Благодаря тебе, потому что ты не стал этого терпеть и пришел в тот день потребовать, чтобы я поехал с тобой, чтобы я стал твоим сыном.

Я повернулся, чтобы уйти. Он метнулся вперед, сжимая левой рукой бутыль за горлышко, а могучей правой рукой схватил меня за запястье. С былой силой он потянул меня вниз, к себе, и прижался губами к моей склоненной голове.

Господи, только бы он не понял! Не дай ему почувствовать, как я изменился. Я в отчаянии закрыл глаза.

Но я был молодым, далеко не таким жестким и холодным, как мой господин, нет, и наполовину не таким, даже на четверть. Он почувствовал только, что у меня мягкие волосы, и, может быть, мягкая, но холодная, как лед, благоухающая зимой кожа.

— Андрей, мой ангел, мой талантливый, золотой сынок! — Я повернулся и крепко обнял его левой рукой. Я расцеловал всю его голову, так, как ни за что не сумел бы ребенком. Я прижал его к сердцу.

— Отец, не пей больше, — сказал я ему на ухо. — Вставай, стань опять охотником. Стань самим собой, отец.

— Андрей, мне в жизни никто не поверит.

— А кто посмеет это сказать, если ты будешь таким, как раньше? — спросил я.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Я крепко сжал губы, чтобы он ни в коем случае не заметил подаренные мне вампирской кровью острые зубы, крошечные зловещие вампирские зубы, которые непременно увидит такой проницательный человек, как он, прирожденный охотник.

Но он не искал подобных недостатков. Он искал только любви, а любовь мы смогли дать друг другу.

— Мне пора идти, у меня нет выбора, — сказал я. — Я тайно улучил момент, чтобы прийти к тебе. Отец, расскажи маме, что это я приходил в дом, что это я отдал ей кольца и передал твоему брату деньги.

Я отстранился. Я сел рядом с ним на скамью, поскольку он спустил ноги на пол. Я стянул правую перчатку и посмотрел на свои кольца — их было семь или восемь, каждое из золота или серебра, богато украшенные камнями, и стащил их с пальцев одно за другим под его громкие протестующие стоны, и вложил их в его ладонь. Какая же она была мягкая и горячая, раскрасневшаяся, живая.

— Забери их, у меня из море. Я напишу тебе и пришлю тебе еще, еще, чтобы тебе никогда не приходилось ничего делать, только то, что ты любишь — скакать, охотиться, рассказывать у огня повести о старых временах. Купи себе хорошие гусли, купи книги для малышей, если хочешь, купи, что хочешь.

— Мне ничего не нужно; мне нужен ты, сынок.

— Да, а мне нужен ты, отец, но нам ничего не осталось, кроме этой ограниченной возможности.

Я взял в обе руки его лицо, показав свою силу, наверное, неблагоразумно, но тем самым я заставил его сидеть на месте, пока целовал его, а затем, тепло обняв его на прощание, я поднялся.

Я так быстро вылетел из комнаты, что он наверняка ничего не заметил, разве только увидел, как захлопнулась дверь.

Пошел снег. В нескольких ярдах я увидел своего господина и пошел ему навстречу, и мы вместе начали подниматься на гору. Я не хотел, чтобы отец вышел на улицу. Я хотел исчезнуть, и чем быстрее, тем лучше.

Я уже собрался попросить его, чтобы мы перешли на вампирскую скорость и покинули Киев, когда увидел, что к нам бежит чья‑то фигурка. Это оказалась маленькая женщина, чьи тяжелые длинные меха волочились по мокрому снегу. В руках она держала какой‑то яркий предмет.

Я застыл на месте, господин ждал меня. Это моя мать пришла меня повидать. Это моя мать пробиралась к харчевне, неся в руках обращенную лицом ко мне икону с изображением нахмуренного Христа, ту самую, на которую я так долго смотрел сквозь трещину в стене.

Я затаил дыхание. Он подняла икону за оба угла и вручила ее мне.

— Андрей, — прошептала она.

— Мама, — сказал я. — Прошу тебя, оставь ее для малышей. — Я обнял ее и поцеловал. Она состарилась, ужасно состарилась. Но это произошло из‑за рождения детей, они вытянули из нее все силы, пусть даже младенцев приходилось хоронить на маленьких участках земли. Я подумал, скольких детей она потеряла в течение моего детства, а сколько их было до моего рождения? Она называла их своими ангелочками, своих младенцев, слишком маленьких, чтобы выжить. — Оставь ее, — сказал я. — Сохрани ее в семье.

— Хорошо, Андрей, — ответила она. Она смотрела на меня бледными, страдающими глазами. Я видел, что она умирает. Я внезапно понял, что ее снедает не просто возраст, не тяготы деторождения. Ее снедает внутренняя болезнь, она действительно скоро умрет. Глядя на нее, я почувствовал настоящий ужас, ужас за весь смертный мир. Просто утомительная, заурядная, неизбежная болезнь.

— Прощай, милый ангел, — сказал я.

— И ты прощай, мой милый ангел, — ответила она. — Мое сердце и душа радуются, видя, какой ты стал гордый князь. Но покажи мне, ты правильно крестишься?

С каким отчаянием она это сказала! Она говорила то, что лежало у нее на душе. Она попросту спрашивала — не приобрел ли я свои бесспорные богатства, перейдя в западную веру? Вот что ее волновала.

— Мама, это несложное испытание. — Я перекрестился по нашему обычаю, по‑восточному, справа налево, и улыбнулся.

Она кивнула. Потом она осторожно извлекла какую‑то вещь из своего тяжелого шерстяного платья и протянула мне, выпустив ее только тогда, когда я подставил сложенные ладони. Это было крашеное пасхальное яйцо, темное, рубиново‑красное.

Прекрасное, изящно расписанное яйцо. Его по всей длине оплетали желтые ленты, а в месте их пересечения было нарисована настоящая роза — или восьмиконечная звезда. Я посмотрел на него и кивнул ей.

Я достал платок из тонкого фламандского льна и обернул им яйцо, окружив его со всех сторон мягкой тканью, а потом честно опустил эту незначительную тяжесть в складки свей туники, под куртку и плащ.

Я наклонился и еще раз поцеловал ее в мягкую сухую щеку.

— Мама, — сказал я, — ты для меня — радость всех печалей!

— Милый мой Андрей, — ответила она, — ступай с Богом, если так нужно. — Она посмотрела на икону. Она хотела, чтобы я ее рассмотрел. Она развернула икону, чтобы я мог взглянуть на блестящее золотое лицо Господа, такое же бледное и прекрасное, как и в тот день, когда я нарисовал его для нее. Только я рисовал его не для нее. Нет, это была та самая икона, которую я в тот день повез в степи.

Настоящее чудо, что отец привез ее с собой домой, за многие мили от сцены ужасного поражения. Но с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы такому человеку этого не сделать?

На икону падал снег. Он падал на суровый лик Спасителя, как по волшебству засиявший под моей быстрой кистью, лицо, чей строгий гладкий рот и слегка нахмуренные брови символизировали любовь. Христос, мой Господь, умел выглядеть еще строже, взирая с мозаик Сан‑Марко. Христос, мой Господь, казался не менее строгим на многих старинных картинах. Но Христос, мой Господь, каков бы ни был его образ, в каком бы его ни рисовали стиле, был полон безграничной любви.

Снег повалил хлопьями, и они таяли, касаясь его лица.

Я испугался за него, за хрупкую деревянную доску, за блестящий лакированный образ, предназначенный для того, чтобы сиять во все времена. Но она тоже об этом подумала и быстро загородила шубой икону от мокрого тающего снега. Больше я ее не видел.

Но найдется ли теперь тот, кто будет спрашивать, что значит для меня икона? Найдется ли тот, кто спросит, почему, когда я увидел лицо Христа на покрывале Вероники, когда Дора высоко подняла покрывало, принесенное из Иерусалима в часа страстей Христовых самим Лестатом, прошедшее через ад, чтобы попасть в наш мир, почему я упал на колени и вскричал: «Это Господь!»?

### 11

Обратный путь из Киева казался мне путешествием во времени, вернувшим меня туда, где находилось мое настоящее место. По возвращении вся Венеция, казалось мне, сияла блеском обитой золотом комнаты, где располагалась моя могила. Как в тумане, блуждал я целыми ночами по городу, в обществе Мариуса, или один, упиваясь свежим воздухом Адриатики и внимательно осматривая потрясающие здания и муниципальные дворцы, к которым за последние несколько лет уже успел привыкнуть.

Вечерние церковные службы притягивали меня, как мед притягивает муху. Я впитывал хоровое пение, распевы священников, но прежде всего — радостное, чувственное восприятие паствы, проливавшие целительный бальзам на те части моего тела, с которых сорвало кожу возвращение в Печерскую лавру.

Но в самой глубине души я сохранил негаснущий, жаркий огонь благоговения перед русскими монахами из Печерской лавры. Мельком увидев несколько слов святого брата Исаака, я находился под постоянным впечатлением от его учений — брат Исаак, раб божий, отшельник, способный видеть духов, жертва дьявола и его победитель во имя Христа.

Вне всякого сомнения, я обладал религиозной душой и, получив на выбор две великих модели религиозного мышления, отдавшись войне между этими двумя моделями, я разжег войну внутри себя, поскольку с одной стороны я не намеревался отказаться от роскоши и великолепия Венеции, сияющей в веках красоты уроков Фра Анжелико и потрясающих достижений его последователей, творивших Красоту во имя Христа, я втайне канонизировал проигравшего в моей битвы благословенного Исаака, который, как воображал мой юный мозг, избрал истинный путь, ведущий к Богу.

Мариус знал о моей борьбе, он знал, какую власть имеет надо мной Киев, он знал, что все это для меня жизненно важно. Никто за всю мою жизнь лучше его не понимал, что каждое существо сражается с собственными ангелами и дьяволами, каждое существо становится жертвой необходимого набора ценностей, одной темы, без которой немыслимо жить настоящей жизнью.

Для нас жизнью была жизнь вампиров. Но она оставалась во всех отношениях жизнью, причем жизнью чувственной, жизнью плотской. Я не мог укрыться в ней от давления и наваждений, мучивших меня в смертной детстве. Напротив, они теперь усилились.

Через месяц после возвращения я понял, что задал тон новому подходу к окружающему миру. Да, я погрязну в пышной красоте итальянской живописи, музыки и архитектуры, но делать это буду с рвением русского святого. Я превращу все чувственные переживания в добро и чистоту. Я буду учиться, я достигну нового уровня понимания, я буду с новым сочувствием относиться к окружающим меня смертным, и ни на миг не прекращу давить на себя, чтобы душа моя стала, по моим представлениям, хорошей.

Быть хорошим прежде всего означало быть добрым; быть мягким. Ничего не упускать зря. Рисовать, читать, учиться, даже молиться, хотя я толком не знал, кому молюсь, а также пользоваться каждой возможностью поступать великодушно с теми смертными, кого я не убивал.

Что касается тех, кого я убивал, с ними необходимо расправляться милосердно, и мне предстояло достичь небывалых вершин милосердия, чтобы не причинить жертве боли, не вызывать в ее душе смятения, по возможности ловить жертву в ловушку чар, наложенными либо моим мягким голосом, либо глубокими глазами, созданными для выразительных взглядов, либо какой‑то иной силой, которой я, видимо, обладал, и которую был в состоянии развить, силой проникать своими мыслями в мысли бедного беспомощного смертного и помогать ему вызывать собственные успокаивающие душу картины, чтобы смерть становилась восторженной вспышкой пламени, а наступившая тишина — блаженством.

Я также сосредотачивался на том, чтобы наслаждаться кровью, проникать глубже, дальше бурной потребности собственной жажды, чувствовать вкус жизненно важной жидкости, которой я лишал мою жертву, в полной мере прочувствовать, что она несет в себе к неизбежному концу — судьбу смертной души.

Мои занятия с господином на какое‑то время прекратились. Но в конце концов он ласково пришел ко мне и сказал, что пора начать серьезно заниматься, что нас ждут определенные вещи.

— У меня свои занятия, — сказал я. — Ты прекрасно это знаешь. Тебе известно, что я не слоняюсь без дела, ты знаешь, что мой ум так же голоден, как и мое тело. Так что оставь меня в покое.

— Все это прекрасно, маленький господин, — доброжелательно сказал он, — но ты должен вернуться в школу, которую я для тебя устроил. Тебе нужно многому у меня учиться.

Пять ночей я его отталкивал. Потом, когда я дремал на его кровати, уже после полуночи, так как ранний вечер я провел на Пьяцца Сан‑Марко на большом празднестве, слушая музыкантов и наблюдая за жонглерами, я подскочил от неожиданности, когда его хлыст обрушился на мои ноги.

— Просыпайся, дитя, — сказал он.

Я перевернулся и поднял голову. Я был поражен. Он стоял надо мной, скрестив руки, держа наготове длинный хлыст. Он был одет в длинную подпоясанную тунику из фиолетового бархата, а волосы убрал назад и перевязал у основания шеи.

Я отвернулся от него. Я решил, что он устраивает сцену, и в результате уйдет. Но хлыст снова опустился со свистом, и на сей раз на меня обрушилась лавина ударов.

Я чувствовал удары так, как никогда не чувствовал их в смертной жизни. Я стал сильнее и приобрел повышенную сопротивляемость, но на долю секунды каждый удар прорывал мою сверхъестественную оборону и вызывал крошечный взрыв боли.

Я пришел в бешенство. Я попытался выбраться из постели и, скорее всего, ударил бы его, так меня разозлило подобное обращение. Но он поставил колено мне на спину и продолжал хлестать меня, пока я не закричал.

Тогда он встал и, потянув меня за воротник, поставил меня на ноги. Меня трясло от гнева и смятения.

— Хочешь еще? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я, сбрасывая его руку, и он с легкой усмешкой уступил. — Наверное! То мое сердце тебя беспокоит больше всего на свете, то ты обращаешься со мной, как со школьником. Так?

— У тебя было достаточно времени горевать и плакать, — сказал он, — чтобы переоценить все, что ты получил. Теперь возвращайся к работе. Иди к столу и будь готов писать. Или я еще раз тебя выпорю.

Я разразился целой тирадой.

— Я не собираюсь терпеть такое обращение; для этого не было абсолютно никакой необходимости. Что мне писать? В душе я исписал тома. Ты думаешь, что можно загнать меня в мерзкие рамки послушного ученика, ты считаешь, что это самый подходящий вариант для переворота в моих мыслях, который мне нужно обдумать, ты думаешь…

Он дал мне пощечину. У меня закружилась голова. Когда ко мне вернулась ясность зрения, я посмотрел ему в глаза.

— Я хочу вернуть твое внимание. Я хочу, чтобы ты закончил свои медитации. Садись за стол и напиши мне вкратце, что значило для тебя твое путешествие, и что ты теперь здесь видишь такого, чего раньше не видел. Пиши сжато, воспользуйся самыми точными уподоблениями и метафорами, пиши аккуратно и быстро.

— Примитивная тактика, — пробормотал я. Но в моем теле еще отдавалось эхо ударов. Совсем по‑другому, чем боль смертного тела, но тоже неприятно, и мне было противно.

Я уселся за стол. Я собирался написать что‑нибудь погрубее, например: «Я узнал, что я — раб тирана». Но подняв глаза и увидев, что он стоит рядом с хлыстом в руке, я передумал.

Он знал, что сейчас наступил самый подходящий момент, чтобы подойти и поцеловать меня. Что он и сделал, и я осознал, что поднял лицо навстречу его поцелую еще раньше, чем он успел наклонить голову. Это его не остановило.

Я испытал сокрушительное счастье, уступая ему. Я поднял руки и обнял его за плечи.

После нескольких долгих сладостных минут он отпустил меня, и тогда я действительно написал много предложений, описывая примерно то же, что я уже объяснял. Я писал о том, что во мне воюют плотское и аскетическое начала; я писал о том, что моя русская душа стремится к высшему уровню экзальтации. Я достигал его, когда писал иконы, но иконы удовлетворяли потребности моего чувственного начала благодаря своей красоте. И по мере того, как я писал, я впервые начал понимать, что древнерусский стиль, византийский стиль, сам по себе воплощает борьбу между чувственным началом и аскетизмом — сдержанные, плоские, дисциплинированные фигуры среди ярких красок, и в целом представляющие собой настоящую усладу для глаз, одновременно символизируя самоотречение.

Пока я писал, господин ушел. Я это сознавал, но не обращал внимания. Я глубоко погрузился в рукопись, и постепенно я отошел от анализа и начал рассказывать старую повесть.

В древние времена, когда на Руси не знали Иисуса Христа, Владимир, великий киевский князь — а в те дни Киев был великолепным городом — послал своих посланников изучить три религии Господа: мусульманскую, которая, по мнению этих людей, дурно пахла и отдавала безумием; религию папского Рима, в которой эти люди не видели никакого великолепия; и, наконец, византийское христианство. В Константинополе русским показали удивительные церкви, где греческие католики поклонялись своему Богу, и они сочли эти здания такими прекрасными, что не могли понять, попали ли они на небеса или остались на земле. Никогда еще русские не видели подобной красоты; они исполнились уверенности, что Господь пребудет среди людей в религии Константинополя, поэтому на Руси приняли именно такое христианство. Таким образом, именно в красоте зародилась наша русская церковь.

Прежде в Киеве можно было найти то, что стремился воссоздать Владимир, но Киев сейчас лежит в руинах, а в Константинополе турки захватили храм Святой Софии, и приходится ехать в Венецию, чтобы посмотреть на великую Теотокос, деву‑богородицу, и ее сына, когда он становится Пантократором, божественным Творцом. В Венеции, в искрящихся золотых мозаиках и в мускулистых изображениях новой эпохи я нашел то самое чудо, которое принесло свет Господа нашего Иисуса Христа в страну, где я родился, свет Господа нашего Иисуса Христа, и по сей день горящий в лампадах Печерской лавры.

Я положил перо. Я оттолкнул страницу, уронил голову на руки и тихо заплакал про себя в темной тишине спальни. Мне было все равно, пусть меня бьют, пинают ногами или игнорируют.

В конце концов Мариус пришел за мной и отвел меня в наш склеп, и теперь, несколько веков спустя, я осознаю, что я навсегда запомнил те уроки, потому что он в ту ночь заставил меня писать.

На следующую ночь, прочтя все, что я написал, он сокрушался, что избил меня, и сказал, что ему сложно обращаться со мной не как с ребенком, но я не ребенок. Скорее, я дух, в чем‑то похожий на ребенка — наивный, маниакально преследующий определенные темы. Он никогда не думал, что будет так меня любить.

Из‑за истории с хлыстом мне хотелось держаться отчужденно и надменно, но я не смог. Я только удивлялся, что его прикосновения, его поцелуи, его объятья теперь значат для меня даже больше, чем при жизни.

### 12

Жаль, что я не могу оставить счастливую картину нашей с Мариусом жизни в Венеции и перейти к современной эпохе, к Нью‑Йорку. Я хочу продолжить с того момента в нью‑йоркском доме, когда Дора подняла перед собой покрывало Вероники, реликвию, принесенную Лестатом из его путешествия в преисподнюю, поскольку тогда мой рассказ разделится на две четкие половины — о том, каким я был ребенком и каким стал верующим, и о том существе, каким я являюсь сейчас.

Но нельзя так легко себя обманывать. Я знаю — все, что произошло с Мариусом и со мной в месяцы, последовавшие за нашим путешествием в Киев, — неотъемлемая часть моей жизни.

Ничего не поделаешь, придется пересечь Мост вздохов в моей жизни, длинный темный мост протяженностью в несколько веков моего мучительного существования, связывающий меня с современным миром. Тот факт, что Лестат уже так хорошо описал мою жизнь во время этого перехода, не означает, что я могу отделаться, не добавив от себя ни слова, и прежде всего не подтвердить, что я триста лет пробыл рабом Господа Бога.

Жаль, что мне не удалось избежать подобной участи. Жаль, что Мариусу не удалось спастись от того, что с нами случилось. Теперь совершенно ясно, что он пережил наше расставание с намного большей прозорливостью и силой, чем я. Но он был мудрецом и прожил много веков, а я был еще маленьким.

Никакое предзнаменование грядущих событий не омрачало наших последних месяцев в Венеции. Он с твердой решимостью продолжал преподавать мне свои уроки.

Одной из самых важных задач было научиться притворяться смертным среди людей. После своего превращения я не очень близко общался с другими учениками, и совершенно избегал общества моей любимой Бьянки, перед которой я был в огромном долгу не только за прошлую дружбу, но и за то, что она выхаживала меня, когда я так сильно болел.

Теперь же я должен был столкнуться с Бьянкой лицом к лицу, так велел Мариус. Именно мне предстоял написать ей вежливое письмо, объясняя, что из‑за своей болезни я не мог зайти к ней раньше.

И вот рано вечером, после быстрой охоты, где я выпил кровь двух жертв, мы, нагрузившись подарками, отправились ее навестить и застали ее в окружении английских и итальянских друзей.

Мариус по этому случаю оделся в элегантный темно‑синий бархат и, что было для него необычно, в плащ того же цвета, а меня заставил надеть свои любимые небесно‑голубые вещи. Я нес ей корзину с винными ягодами и сладкими пирожными.

Ее дверь была, как всегда, открыта, и мы скромно вошли, но она сразу же нас заметила.

Едва увидев ее, я ощутил душераздирающую потребность в определенного рода близости, то есть, мне захотелось рассказать ей обо всем, что произошло! Конечно, это было запрещено, и Мариус настаивал, что я должен научиться любить ее, не доверяясь ей.

Она поднялась и подошла ко мне, обняла и приняла обычные пылкие поцелуи. Я сразу же понял, почему Мариус в тот вечер настоял на двух жертвах. От крови мое тело потеплело и вспыхнуло.

Бьянка не почувствовала ничего, что могло бы ее испугать. Она обвила мою шею своими шелковыми руками. В тот вечер она блистала в желтом шелковом платье, усыпанном вышитыми розами, едва прикрывавшим белую грудь, что могла себе позволить только куртизанка.

Когда я начал целовать ее, следя за тем, чтобы скрыть свои крошечные клыки, я не почувствовал голода, поскольку крови жертв мне хватило с лихвой. Я целовал ее с любовью, только с любовью, мои мысли быстро перенеслись к жарким эротическим воспоминаниям, а мое тело, безусловно, проявило ту же настойчивость, что и в прошлом. Мне хотелось всю ее потрогать, как слепой может потрогать скульптуру, чтобы с помощью рук лучше увидеть каждый изгиб.

— О, да ты не просто поправился, ты в прекрасной форме, — сказала Бьянка. — Проходите, проходите оба, вы с Мариусом, идемте в соседнюю комнату.

Она небрежно махнула гостям, и без нее способным себя занять — они болтали, спорили, играли в карты, разбившись на небольшие группы. Она потянула нас за собой в более интимную гостиную, смежную со спальней, комнату, забитую устрашающе дорогими дамастовыми креслами и кушетками, и велела мне садиться.

Я вспомнил про свечи, что к ним никогда не следует приближаться, что я должен держаться в тени, чтобы никакой смертный не мог воспользоваться оптимальными условиями и рассмотреть мою изменившуюся, безупречную кожу.

Это оказалось не так уже сложно, поскольку она, несмотря на свою любовь к свету и склонность к роскоши, расставляла канделябры по разным углам для создания настроения.

Чем меньше света, тем меньше будет заметен блеск моих глаз; это я тоже знал. И чем больше говорить, тем больше я буду оживляться, тем больше я буду похож на человека.

Молчание и неподвижность опасны для нас, учил меня Мариус, ибо в неподвижности мы кажемся смертным безупречными, неземными, а в результате даже несколько жуткими, так как они чувствуют, что мы не те, за кого себя выдаем.

Я выполнял все эти правила. Но меня охватило волнение — ведь я никогда не смогу рассказать ей, что со мной сделали! Я заговорил. Я объяснил ей, что болезнь полностью утихла, но Мариус, куда более мудрый, чем любой врач, прописал мне отдых и уединение. Когда я не лежал в постели, я был один и пытался восстановить силы.

— Держись как можно ближе к правде, так ложь получится лучше, — учил меня Мариус. Теперь я следовал его указаниям.

— А я‑то уже думала, что я тебя потеряла, — сказала она. — Когда ты, Мариус, прислал мне известия, что он выздоравливает, я сперва даже не поверила. Я решила, что ты хочешь смягчить неизбежный удар.

Она была прелестна, настоящий цветок. Ее светлые волосы разделялись на пробор, густые локоны с обеих сторон унизывал жемчуг, а инкрустированный жемчугом гребень стягивал их на затылке. Остальные локоны падали на плечи в стиле Ботичелли, ручейками блестящего золота.

— Ты вылечила его, как только мог вылечить человек, — сказал ей Мариус. — В мою задачу входило дать ему некоторые старые лекарства, кроме меня, о них никто не знает. А потом я дал лекарствам время сделать свое дело. — Он говорил искренне, но мне он показался грустным.

Меня охватила ужасная печаль. Я не мог рассказать ей, кем я стал, не мог рассказать, что теперь она видится мне по сравнению с нами совсем другой, яркой, светонепроницаемой благодаря человеческой крови, что ее голос приобрел новый, чисто человеческий тембр, от которого с каждым произнесенным ей словом мои уши ощущают нежный толчок.

— Ну, теперь вы оба здесь, и должны оба приходить почаще, — сказала она. — Давайте больше не допускать таких долгих расставаний. Мариус, я бы пришла к тебе, но Рикардо сказал мне, что ты хочешь тишины и покоя. Я бы сидела с Амадео в любом состоянии.

— Я знаю, милая, — сказал Мариус. — Но, как я и сказал, ему требовалось одиночество, а твоя красота опьяняет, да и твои слова — более сильный стимул, чем тебе кажется. — В его речи не присутствовало оттенка лести, она больше походила на искреннюю исповедь.

Она немного грустно покачала головой.

— Выяснилось, что без вас Венеция мне не дом. — Она осторожно посмотрела в сторону передней гостиной. — Мариус, ты освободил меня от тех, кто имел надо мной власть.

— Это было довольно легко, — сказал он. — На самом деле, это доставило мне удовольствие. Как же они были гнусны, твои, если не ошибаюсь, родственники, и как они стремились использовать твою репутацию несравненной красавицы в своих запутанных финансовых делах.

Он покраснела, и я поднял руку, умоляя его быть поосторожнее в выражениях. Теперь я понимал, что во время бойни в обеденном зале флорентинца он прочел в мыслях жертв вещи, о которых я и не подозревал.

— Родственники? Может быть, — сказала она. — Мне удобнее было забыть об этом. Но без колебаний могу сказать, что они представляли страшную опасность для тех, кого они вынуждали брать дорогие займы и заманивали в опасные авантюры. Мариус, со мной произошли странные вещи, вещи, на которые я никогда не рассчитывала.

Мне нравилось серьезное выражение нежных черт ее лица. Она казалась мне слишком красивой, чтобы обладать мозгами.

— Я становлюсь богаче, — сказала она, — поскольку могу оставлять себе большую часть своего собственного дохода, а люди, вот что самое странное, люди, а благодарность за то, что нашего банкира и вымогателя больше нет, осыпают меня бесчисленными подарками, золотом и драгоценными камнями, да, даже это ожерелье, посмотри, видишь, это все морской жемчуг, одного размера, здесь его целая веревка, и все это мне просто дарят, хотя я сто раз уверяла их, что не имеют к тем событиям никакого отношения.

— Но как же обвинения? — спросил я. — Как же опасность публичного осуждения?

— Их никто не защищает и никто не оплакивает, — быстро ответила она.

Она осыпала мою щеку новым дождиком поцелуев.

— А сегодня, до того, как вы пришли, меня, как всегда, навестили мои друзья из Верховного Совета, почитали мне новые стихи, посидели в покое, отдыхая от клиентов и бесконечных требований своих семей. Нет, не думаю, чтобы кто‑то меня в чем‑то обвинил, и всем известно, что в ночь, когда свершились убийства, я находилась здесь, в обществе того ужасного англичанина, Амадео, того самого, кто пытался тебя убить, кто, конечно…

— Да, что с ним? — спросил я.

Мариус посмотрел на меня и прищурился. Он легко постучал по голове облаченным в перчатку пальцем. Прочти ее мысли, хотел он сказать. Но я и помыслить об этом не мог. Слишком она была хорошенькая.

— Англичанина, — сказала она, — который исчез. Подозреваю, что он где‑то утонул, что он, слоняясь пьяным по городу, свалился в канал или, еще того хуже, в лагуну.

Конечно, господин говорил мне, что позаботился обо всех осложнениях, устроенных англичанином, но я никогда не спрашивал, что конкретно он сделал.

— Значит, считается, что ты наняла убийц, чтобы расправится с англичанами? — спросил ее Мариус.

— Похоже на то, — сказала она. — Находятся и такие, кто думает, что я также устроила расправу над англичанином. Я становлюсь могущественной женщиной, Мариус.

Оба они рассмеялись, он — низким, но металлическим смехом сверхъестественного существа, она — выше, но более хрипло, благодаря человеческой крови.

Мне захотелось проникнуть в ее мысли. Я попытался поскорее прогнать эту идею прочь. Я испытывал заторможенность, совсем как с Рикардо и самыми близкими мне мальчиками. Эта способность, на самом деле, казалась мне таким ужасным вторжением в чужую личную жизнь, что я использовал ее только во время охоты, чтобы опознать злодея, которого можно убивать.

— Амадео, ты краснеешь, в чем дело? — спросила Бьянка. — У тебя горят щеки. Дай, я их поцелую. Да у тебя жар, как будто лихорадка вернулась.

— Посмотри в его глаза, ангел, — сказал Мариус. — Они чисты.

— Ты прав, — сказала она, заглядывая мне в глаза с таким откровенным и милым любопытством, что показалась мне неотразимой.

Я отодвинул желтую ткань ее платья и тяжелый бархат ее темно‑зеленой накидки без рукавов и поцеловал ее обнаженное плечо.

— Да, ты выздоровел, — проворковала она влажными губами мне на ухо.

Я посмотрел на нее и проник в ее мысли; мне показалось, что я ослабил золотую пряжку под ее грудью и раздвинул ее объемные темно‑зеленые бархатные юбки. Я уставился на впадинку между ее полуобнаженными грудями. В крови было дело, или в чем‑то другом, но я вспомнил, какую питал к ней жаркую страсть, и я испытал ее снова, странным всеобъемлющим образом, не сосредоточенную, как раньше, в забытом органе. Мне захотелось взять в руки ее груди и медленно их целовать, возбуждая ее, в ожидании ее влаги, ее аромата, в ожидании, когда она запрокинет голову. Да, я покраснел. Я погрузился в приятное смутное забытье.

Я хочу вас, хочу сейчас же, вас с Мариусом, в моей постели, мужчину и мальчика, бога и херувима. Вот что говорили мне ее мысли, и она вспоминала меня. Я как будто увидел свое отражение в дымном зеркале, мальчика, практически голого, за исключением открытой рубашки с широкими рукавами, сидящего рядом с ней на подушках, обнажив полувозбужденный орган, готовый завершить этот процесс с помощью ее нежных губ или длинных грациозных белых пальцев.

Я выкинул это из головы. Я сосредоточил взгляд только на ее прекрасных сужающихся глазах. Она рассматривала меня, не с подозрением, но с восхищением. Она не красила губы в вульгарной манере, они были от природы ярко‑розовыми, а ее длинные ресницы, подкрашенные и завитые только с помощью легкой помады, обрамляя светящиеся глаза, походили на лучи звезды.

Я хочу вас, хочу немедленно. Вот что она думала. Ее мысли ударили мне в уши. Я наклонил голову и поднял руки.

— Милый ангел, — сказала она. — Обоих! — прошептала она Мариусу. Она взяла меня за руки. — Идемте со мной.

Я был уверен, что он положит этому конец. Он предостерегал меня, чтобы я избегал близкого осмотра. Однако он только поднялся с кресла и двинулся в сторону ее спальни, распахнув обе расписных двери.

Издалека, из гостиных, доносился ровный гул разговоров и смеха. К нему добавилось пение. Кто‑то играл на спинете. Все шло своим чередом.

Мы скользнули в ее постель. Меня всего трясло. Я увидел, что мой господин нарядился в плотную тунику и в красивый темно‑синий камзол, на что раньше я почти не обращал внимания. На руки он надел мягкие обтягивающие темно‑синие перчатки, перчатки, идеально прилегающие к пальцам, а все ноги до прекрасных остроконечных туфель скрывали плотные мягкие кашемировые чулки. Он прикрыл всю свою жесткость, подумал я.

Устроившись у изголовья кровати, он безо всяких угрызений совести помог Бьянке сесть непосредственно рядом с собой. Я отвел глаза, занимая место около нее. Но когда она обхватила ладонями мое лицо и с энтузиазмом меня поцеловала, я заметил, что он совершает одно действие, которого я раньше не видел.

Приподняв ее волосы, он, казалось, поцеловал ее сзади в шею. Этого она не почувствовала и никак не отреагировала. Однако, когда он отодвинулся, его губы были в крови. И, подняв обтянутый перчаткой палец, он растер эту кровь, ее кровь, всего несколько капель из поверхностной, разумеется, царапины, по всему лицу. Для моих глаз это выглядело как сияние жизни, но она увидит все совсем иначе.

Кровь оживила ставшие практически невидимыми поры его кожи, а также углубила линии вокруг глаз и рта, которые иначе терялись. Она в целом придала ему более человеческий вид и послужила защитой от ее приблизившихся глаз.

— Я получила вас обоих, как всегда мечтала, — тихо проговорила она. Мариус оказался прямо перед ней, подтянув ее сзади рукой, и начал целовать ее не менее жадно, чем в свое время я. Сперва я поразился и почувствовал уколы ревности, но она нашла меня свободной рукой и притянула к себе, отвернулась от Мариуса и стала целовать меня тоже.

Мариус перегнулся через нее и прижал меня к ней плотнее, чтобы я прикоснулся к ее мягким изгибам, почувствовал все тепло, исходившее от ее чувственных бедер.

Он лег на нее сверху, легко, чтобы не причинить ей неудобства весом своего тела, правой рукой поднял ее юбку и просунул пальцы между ее ног.

Это было очень дерзко. Прижимаясь к ее плечу, я смотрел, как вздымается ее грудь, а дальше виднелся крошечный, покрытый пушком холмик, который уместился в его руке.

Она окончательно забыла о всяких приличиях. Он осыпал поцелуями ее шею и ее грудь, обхватив пальцами пушок между ее ног, и она начала извиваться от неприкрытой страсти, приоткрыв рот; ее ресницы трепетали, все тело внезапно увлажнилось и источало новый, горячий аромат.

Я осознал, что чудо заключается в том, чтобы довести человеческое тело до состояния такой повышенной температуры, чтобы оно источало все эти сладкие запахи и даже интенсивное, невидимое глазу мерцание эмоций; все равно что разжигать огонь, пока не запылает костер.

Пока я целовал ее, по моему лицу разливалась кровь моих жертв. Казалось, она снова ожила, разгоряченная моей страстью, но в моей страсти не было демонической потребности. Я прижался открытым ртом к коже ее горла, накрыв то место, где виднелась артерия, словно голубая река, текущая от головы вниз. Но я не хотел причинять ей боль. Я не испытывал потребности причинять ей боль. На самом деле, обнимая ее, я испытывал только удовольствие, просовывая руку между ней и Мариусом, чтобы покрепче прижать ее к себе и покачивать, пока он продолжает играть с ней, то поднимая, то опуская пальцы на нежном холмике между ее бедер.

— Что ты меня дразнишь, Мариус, — прошептала она, тряся головой. Подушка под ней промокла и утопала в запахе ее волос. Я поцеловал ее в губы. Они впились в мой рот. Чтобы не дать ее языку обнаружить мои вампирские зубы, я сам ввел язык в ее рот. Ее вторые губы не могли бы быть приятнее, плотнее, влажнее.

— А, тогда вот так, милая, — ласково ответил Мариус, и в нее проскользнули его пальцы.

Она приподняла бедра, как будто ее поднимали его пальцы, чего ей как раз и хотелось.

— Господи, помоги мне, — прошептала она, достигая вершин страсти, ее лицо потемнело от прилившей крови, а грудь охватило розоватое пламя. Я сдвинул ткань и увидел, что краснота распространяется по всей груди, а соски затвердели и торчат вверх, как изюминки.

Я закрыл глаза и лег рядом с ней. Я отдался восприятию страсти, раскачивающей ее тело, а потом ее, когда ее огонь стал угасать, она почти погрузилась в сон. Она отвернулась от меня. Ее лицо успокоилось. Веки изящно прикрыли глаза. Она вздохнула и непринужденно приоткрыла прелестные губки.

Мариус отвел волосы с ее лица, расправил мелкие непокорные колечки, промокшие от влаги, и поцеловал ее в лоб.

— Теперь спи и знай, что ты в безопасности, — сказал он ей. — Я всегда буду о тебе заботиться. Ты спасла Амадео, — прошептал он. — Ты не давала ему умереть до моего прихода.

Она сонно повернулась к нему и медленно открыла блестящие глаза. — Разве я недостаточно хороша для тебя, чтобы любить меня просто за мою красоту? — спросила она.

Я внезапно осознал, что она говорит об этом с горечью и удостаивает его своим доверием. Я чувствовал ее мысли!

— Я люблю тебя, и мне все равно, одеваешься ли ты в золото и жемчуг, отвечаешь ли ты мне остроумно и быстро, содержишь ли ты освещенный и элегантный дом, где я могу отдохнуть, я люблю тебя вот за это сердце, которое привело тебя к Амадео, когда ты знала, что это опасно, что те, кто знает или любит англичанина, могут причинить тебе зло, я люблю тебя за мужество и за что, что ты знаешь об одиночестве.

Ее глаза на секунду расширились.

— За то, что я знаю об одиночестве? О да, я прекрасно знаю, что значит быть совсем одной.

— Да, моя храбрая Бьянка, а теперь ты знаешь, что я тебя люблю, — прошептал он. — А что Амадео тебя любит, ты всегда знала.

— Да, я тебя очень люблю, — прошептал я, лежа рядом с ней и обнимая ее.

— А теперь ты знаешь, что я тебя тоже люблю.

Она рассматривала его так пристально, как только позволяла ей ее томность.

— У меня на языке вертится столько вопросов, — сказала она.

— Все это ерунда, — сказал Мариус. Он поцеловал ее и, мне кажется, дотронулся зубами до ее языка. — Я заберу твои вопросы и развею их по ветру. Спи, девственное сердце, — сказал он. — Люби, кого хочешь, под надежной защитой нашей любви к тебе.

Это был сигнал уходить.

Пока я стоял в ногах кровати, он накрыл ее расшитыми покрывалами, аккуратно подогнув тонкую простыню из фламандского полотна под край более грубого белого шерстяного одеяла, а потом поцеловал ее еще раз, но она крепко спала, как маленькая девочка, мягкая и безмятежная.

На улице, стоя на берегу канала, он поднес к ноздрям свою обтянутую перчаткой руку, смакуя сохранившимся на ней запахом.

— Ты сегодня многому научился, не так ли? Ты не сможешь рассказать ей, кем ты стал. Но ты видишь, насколько близко ты можешь к ней подойти?

— Да, — сказал я. — Но только в том случае, если мне взамен ничего не нужно.

— Ничего? — спросил он. Он укоризненно посмотрел на меня. — Она дала тебе свою преданность, привязанность, интимность; что еще тебе нужно взамен?

— Больше ничего, — сказал я. — Ты хорошо меня научил. Но прежде я обладал ее пониманием, она была для меня зеркалом, в котором я мог изучать свое отражение и тем самым судить о своем развитии. Сейчас она уже не может быть таким зеркалом, правда?

— Нет, во многом может. Показывай ей, кто ты такой, жестами и прямыми словами. Не нужно рассказывать ей истории о вампирах, они только сведут ее с ума. Она прекрасно сможет принести тебе успокоение, даже не зная, отчего тебе плохо. А ты, ты должен помнить, что рассказав ей обо всем, ты ее уничтожишь. Только представь себе.

Я долго молчал.

— Тебе что‑то пришло в голову, — сказал он. — У тебя торжественный вид. Говори.

— А ее нельзя сделать…

— Амадео, ты подводишь меня к новому уроку. Ответ отрицательный.

— Но она состарится и умрет, а…

— Конечно, так и будет, это ее судьба. Амадео, сколько может быть в мире таких, как мы? И на каких основаниях мы повели бы ее за собой? Ты уверен, что мы захотим провести в ее обществе вечность? Что мы захотим сделать ее своей ученицей? Что мы захотим слушать ее крики, если волшебная кровь доведет ее до безумия? Эта кровь — не для каждой души, Амадео. Она требует великой силы и большой подготовки, что я нашел в тебе. Но в ней я этого не вижу.

Я кивнул. Я знал, о чем он говорит. Мне не пришлось вспоминать о том, что со мной приключилось или даже мысленно возвращаться к взрастившей меня грубой колыбели России. Он был прав.

— Ты с каждым из них захочешь разделить эту кровь, — сказал он. — Знай же, что это невозможно. Знай, что с каждым из них придет ужасная ответственность и ужасная опасность. Дети восстают против своих родителей, и с каждым своим вампиром ты породишь ребенка, который будет вечно испытывать к тебе любовь или ненависть. Да, ненависть.

— Дальше можешь не объяснять, — прошептал я. — Я знаю. Я понимаю.

Мы вместе вернулись домой, в ярко освещенные комнаты палаццо.

Тогда я понял, чего он от меня хочет — чтобы я общался со своими старыми друзьями, с мальчиками, чтобы я был добр с ними, особенно с Рикардо, который, как я вскоре осознал, винил себя в смерти беззащитных малышей, павших от руки англичанина в тот роковой день.

— Притворяйся, и с каждым разом набирайся сил, — прошептал он мне на ухо. — Точнее, сближайся с ними с любовью и люби, не позволяя себе роскошь быть до конца честным. Ибо любовь преодолевает любую пропасть.

### 13

За последующие месяцы я столькому научился, что здесь бесполезно об этом рассказывать. Я с энтузиазмом занимался и даже потратил время на изучение формы правления города, которое, по моему мнению, было в основном не менее утомительно, чем любая другая форма правления, а также ненасытно читал великих ученых‑христиан, завершая чтение Абеляром, Дунсом Скотом и прочими мыслителями, которых высоко ставил Мариус.

К тому же Мариус нашел для меня целую кипу русской литературы, так что впервые я смог изучить письменные источники, рассказывающие о том, что в прошлом я знал только по песням отца и его братьев. Сперва мне казалось, что для серьезного изучения это будет слишком болезненный процесс, но Мариус постановил это безапелляционно, и не зря. Неотъемлемая ценность предмета изучения вскоре поглотила мои болезненные воспоминания, и в результате я обрел более глубокие знания и понимание.

Все эти документы были составлены на церковно‑славянском, на языке письменности моего детства, и скоро я приспособился читать на нем с необычайной легкостью. Меня приводило в восторг «Слово о полку Игореве», но мне нравились и переведенные с греческого произведения Святого Иоанна Хризостома. Я получал удовольствие от невероятных повестей о царе Соломоне и о спуске святой девы в ад, которые не вошли в канонизированный «Новый завет», однако очень отчетливо вызывали в памяти русскую душу. Также я прочел нашу великую летопись «Повесть Временных Лет». Еще я читал «Моление на гибель Руси» и «Повесть о падении Рязани».

Это упражнение, чтение рассказов о родной стране, помогло мне увидеть их в перспективе относительно прочих изученных мной аспектов. В целом, оно извлекло их из царства моих собственных грез.

Постепенно я понял всю мудрость этого задания. Я стал отчитываться перед Мариусом с большим энтузиазмом. Я стал просить достать мне новые рукописи на церковно‑славянском, и вскоре получил «Повесть о благочестивом князе Довмонте и его доблести» и "Героические подвиги Меркурия Смоленского ". В результате произведения на церковно‑славянском начали приносить мне неподдельное удовольствие, и после официальных занятий я часами сидел над ними, чтобы обдумать старые легенды и даже сочинять на их основе собственные скорбные песни.

Их я иногда пел другим ученикам на сон грядущий. Они считали, что я пою на очень экзотическом языке, и подчас сама музыка и мои грустные модуляции вызывали на их глазах слезы.

Тем временем мы с Рикардо опять стали близкими друзьями. Он никогда не спрашивал, почему я, как господин, превратился теперь в создание ночи. Я никогда не проникал в глубины его сознания. Конечно, я бы это сделал ради безопасности как моей, так и Мариуса, но я использовал свой вампирский ум, чтобы истолковывать его поведение по‑другому, и неизменно обнаруживал в нем преданность, верность и отсутствие сомнений.

Как‑то я спросил Мариуса, что о нас думает Рикардо.

— Рикардо передо мной в слишком большом долгу, чтобы усомниться хоть в одном моем действии, — ответил Мариус, впрочем, без высокомерия и без гордости.

— Тогда он намного лучше воспитан, чем я, правда? Потому что я точно так же перед тобой в долгу, но ставлю под сомнение каждое твое слово.

— Да, ты — сообразительный, острый на язык чертенок, это правда, — согласился Мариус со слабой улыбкой. — Рикардо проиграл в карты его пьяный отец звероподобному купцу, который заставлял его работать день и ночь. Рикардо ненавидел своего отца, ты — никогда. Рикардо было восемь лет, когда я выкупил его за цену золотого ожерелья. Он видел самых плохих людей — тех, в ком дети не вызывают естественной жалости. Ты видел, что делают люди с детской плотью ради удовольствий. Это не так плохо. Рикардо не представлял себе, что хрупкое маленькое существо может вызвать в людях сострадание, и ни во что не верил, пока я не окутал его безопасностью, не насытил его знаниями и не объяснил ему в самых недвусмысленных выражениях, что он стал моим принцем.

Но отвечая на твой вопрос по существу, Рикардо считает, что я — маг, и что я решил поделиться своими чарами с тобой. Он знает, что ты стоял на пороге смерти, когда я даровал тебе свои секреты, и что я не дразню его и всех остальных этой честью, но скорее рассматриваю ее как ужасное последствие. Он не стремится к нашим знаниям. И будет защищать нас ценой собственной жизни.

Я с этим согласился. Я не чувствовал необходимости довериться ему, как Бьянке.

— Я испытываю потребность оберегать его, — сказал я господину. — Очень надеюсь, что ему никогда не придется защищать меня.

— Я чувствую то же самое, — сказал Мариус. — По отношению к каждому из них. Бог оказал твоему англичанину великую услугу, лишив его жизни до моего возвращения домой, когда я обнаружил, что он убил моих малышей. Достаточно уже, что он тебя искалечил. Но еще более отвратительно, что он принес на моем пороге двоих детей в жертву своей гордыне и горечи. Ты занимался с ним любовью, ты мог защититься. Но на его пути оказались невинные.

Я кивнул.

— Что стало с его останками? — спросил я.

— Все очень просто, — пожал он плечами. — Зачем тебе знать? Я тоже бываю суеверным. Я разбил его тело на куски и рассеял по ветру. Если правду говорят старые легенды, что его дух будет изнывать в надежде восстановить тело, то его душа гоняется за ветром.

— Господин, а что станет с нашими духами, если уничтожить наши тела?

— Одному Богу известно, Амадео. Я отчаялся выяснить. Я прожил слишком долго, чтобы думать о самоуничтожении. Возможно, меня постигнет та же участь, что и весь физический мир. Вполне вероятно, что мы возникли из ниоткуда и уйдем в никуда. Но давай лучше тешить себя иллюзиями о бессмертии, как смертные тешат себя своими иллюзиями.

Уже хорошо.

Господин дважды отлучался из палаццо, чтобы совершить свои таинственные путешествия, причину которых он, как и прежде, отказывался мне объяснять.

Я ненавидел эти отлучки, но понимал, мне предоставляется случай проверить свои новые силы. Я должен был мягко и ненавязчиво управлять домом, мне приходилось самостоятельно охотиться, а потом, по возвращении Мариуса, давать ему отчет в том, чем я занимался в свободное время.

После второго путешествия он вернулся домой утомленный и непривычно грустный. Он сказал, как уже говорил однажды, что «Те, Кого Нужно Хранить», видимо, в порядке.

— Я ненавижу этих тварей! — сказал я.

— Нет, никогда не смей так говорить со мной, Амадео! — взорвался он. На мгновение он так разозлился и потерял самообладание, каким я никогда в жизни его не видел. Не уверен, что за время нашей совместной жизни я вообще видел, чтобы он по‑настоящему злился.

Он подошел ко мне, и я отпрянул, не на шутку испугавшись. Но когда он ударил меня наотмашь по лицу, он уже пришел в себя, и удар получился обычным, до сотрясения мозга.

Я принял его и бросил на него злобный обжигающий взгляд.

— Ты ведешь себя, как ребенок, — сказал я, — как ребенок, изображающий господина, а мне приходится обуздывать свои чувства и мириться с этим.

Конечно, для этой речи мне понадобилась вся моя сдержанность, особенно с таким головокружением, и на моем лице отразилось настолько упрямое презрение, что он внезапно расхохотался. Я тоже засмеялся.

— Нет, правда, Мариус, — сказал я, чувствуя себя ужасным нахалом, — кто они, эти существа, о которых ты говоришь? — Здравый смысл заставил меня вести себя вежливо и почтительно. В конце концов, мне искренне было интересно. — Ты возвращаешься домой несчастным. Ты же сам понимаешь. Так кто они такие, и зачем их хранить?

— Амадео, хватит вопросов. Иногда, перед самым рассветом, когда мои страхи обостряются больше всего, я воображаю, что у нас есть враги среди тех, кто пьет кровь, и что они уже близко.

— Другие? Такие же сильные, как ты?

— Нет, те, кто появился в последние годы, не могут сравняться со мной по силе, поэтому‑то их здесь и нет.

Я увлекся. Он уже раньше намекал, что никого не допускает на нашу территорию, но в подробности не вдавался, а теперь он был расстроен, смягчился и хотел поговорить.

— Но я воображаю, что бывают и другие, что они придут нарушить наш покой. У них нет веской причины. Так всегда бывает. Им захочется охотиться в Венеции, или же они сформируют небольшое упрямое войско и попытаются уничтожить нас просто развлечения ради. Я представляю себе… короче говоря, дитя мое — а ты мое дитя, умник! — я рассказываю тебе о древних тайнах не больше, чем тебе следует знать. Таким образом никто не сможет выкопать из твоего неоформившегося ума его глубочайшие тайны, ни с твоего согласия, ни без твоего ведома, ни против твоей воли.

— Если у нас есть история, которую стоит узнать, ты должен мне рассказать. Что за древние тайны? Ты засыпаешь меня книгами по истории человечества. Ты заставил меня изучать греческий и даже эту несчастную египетскую письменность, которую никто на свете не знает, ты без конца меня допрашиваешь о судьбе древнего Рима или древних Афин, о битвах каждого крестового похода, отправлявшегося с наших берегов в Святую Землю. А как же мы?

— Мы всегда были здесь, — ответил он, — я же говорил. Древние, как само человечество. Мы всегда были здесь, нас всегда было мало, мы всегда воюем, нам всегда лучше всего быть одним, нам нужна любовь в лучшем случае одного‑двух существ. Вот наша история, коротко и ясно. Я жду, что ты напишешь ее мне на каждом из пяти известных тебе языков.

Он раздраженно уселся на кровать, зарывшись грязным сапогом в атласную простыню. Он откинулся на подушки. Он выглядел совсем разбитым, очень странно и молодо.

— Мариус, ну хватит тебе, — уговаривал его я. Я сидел за письменным столом. — Какие древние тайны? Кто такие Те, Кого Нужно Хранить?

— Иди раскопай наши подвалы, дитя, — сказал он, подбавив в свой голос сарказма. — Разыщи там статуи, которые я храню с так называемых языческих дней. От них не меньше пользы, чем от Тех, Кого Нужно Хранить. Оставь меня в покое. Когда‑нибудь я тебе расскажу, но пока что я даю тебе только то, что имеет значение. Предполагалось, что в мое отсутствие ты будешь заниматься. Рассказывай, что ты выучил.

Перед отъездом он потребовал, чтобы я изучил всего Аристотеля, не по рукописям, который в избытке водились на площади, но по его личному старому тексту — этот текст, по его словам, был написан на настоящем греческом. Я все прочел.

— Аристотель, — сказал я, — и Святой Фома Аквинский. Да ладно, великие системы приносят успокоение, а когда мы сами почувствуем, что впадаем в отчаяние, нам следует изобрести великие схемы окружающей нас пустоты, и тогда мы не поскользнемся, а повиснем на созданных нами стропила, так же лишенных смысла, как и пустота, но слишком досконально проработанных, чтобы ими с легкостью пренебрегать.

— Отличная работа, — красноречиво вздохнул он. — Может быть, когда‑нибудь, в далеком будущем, ты займешь более многообещающую позицию, но поскольку ты, кажется, насколько возможно, воодушевлен и счастлив, к чему мне жаловаться?

— Откуда‑то же мы все‑таки произошли, — нажимал я с другой стороны. Он был слишком удручен, чтобы отвечать.

Наконец он оживился, вскочил с подушек и направился ко мне.

— Пойдем отсюда. Давай найдем Бьянку и переоденем ненадолго ее в мужчину. Принеси костюм получше. Нужно хоть на какое‑то время дать ей возможность не сидеть взаперти.

— Сударь, возможно, подобная грубость вас шокирует, но у Бьянки, как и у многих женщин, давно уже появился такой обычай. Переодевшись мальчиком, она без конца выскальзывает из дома, чтобы совершать экскурсии по городу.

— Да, но не в нашем обществе, — сказал он. — Мы покажем ей самые страшные места! — Он сделал театрально‑комическое лицо. — Пошли.

Я был в восторге.

Как только мы рассказали ей о своем плане, она тоже пришла в восторг. Мы ворвались к ней с целым гардеробом изысканной одежды, и она моментально ускользнула с нами, чтобы переодеться.

— Что вы мне принесли? О, я сегодня буду Амадео, потрясающе! — сказала она. Она захлопнула двери, оставив за ними свою компанию, которая, как обычно, продолжала развлекаться и без меня, несколько человек пели, собравшись вокруг спинета, а остальные разгоряченно спорили над игрой в кости.

Она сорвала с себя одежду и вышла из нее, обнаженная, как Венера, выходящая из моря. Мы оба нарядили ее в синие чулки, в тунику и камзол. Я покрепче затянул на ней пояс, а Мариус собрал ее волосы и прикрыл их мягкой бархатной шляпой.

— Ты — самый хорошенький мальчик в Венеции, — сказал он, отходя на шаг. — Что‑то подсказывает мне, что придется защищать тебя ценой наших жизней.

— Вы действительно решили отвести меня в самые жуткие притоны? Мне хочется увидеть самые опасные места! — Он воздела руки. — Дайте мне стилет. Вы же не думаете, что я пойду безоружной.

— Я принес тебе все подобающее случаю оружие, — сказал Мариус. Он захватил меч на прекрасной отделанной бриллиантами перевязи, и теперь застегнул его у нее на бедрах. — Попробуй его выхватить. Это не тренировочная рапира. Это военный меч. Вперед.

Она ухватилась за рукоять обеими руками и уверенно, с размаху, рассекла им воздух.

— Жаль, что у меня нет врага, — воскликнула она, — а то ему пришлось бы готовиться к смерти!

Я посмотрел на Мариуса. Он посмотрел на нее. Нет, ей нельзя быть такой, как мы.

— Это было бы слишком эгоистично, — прошептал он мне на ухо. Я не мог не подумать — если бы я не умирал после поединка с англичанином, если бы меня не поразила болезнь, сделал ли бы он меня когда‑нибудь вампиром?

Мы втроем сбежали по каменным ступенькам на набережную. Там ждала наша гондола с балдахином. Мариус назвал адрес.

— Господин, вы уверены, что вам стоит туда ехать? — спросил потрясенный гондольер, поскольку он знал тот район, где собирались выпить и подраться самые опасные моряки‑иностранцы.

— Абсолютно уверен, — сказал он.

Когда мы двинулись прочь, рассекая черную воду, я обвил рукой талию хрупкой Бьянки. Откинувшись на подушки, я чувствовал себя неуязвимым, бессмертным, и был уверен, что ничто никогда не сможет нанести удар нам с Мариусом, а Бьянка на нашем попечении всегда будет чувствовать себя в безопасности. Как же глубоко я заблуждался.

Наверное, после путешествия в Киев нам оставалось провести вместе месяцев девять. Девять или десять, я не могу обозначить кульминацию ни одним событием внешнего мира. Перед тем, как перейти к кровавой катастрофе, скажу только, что в те последние месяцы Бьянка постоянно была с нами. Когда мы не подсматривали за участниками буйных попоек, мы оставались у нас дома, где Мариус писал ее портреты, изображая как ту или иную богиню, как библейскую Юдифь с головой флорентинца в качестве Голоферна, или как деву Марию, восторженно взирающую на крошечного Иисуса, изображенного Мариусом с законченностью, свойственной всем его работам.

Картины — возможно, некоторые из них сохранились и по сей день. Как‑то ночью, когда весь дом спал, за исключением нас троих, Бьянка, уже готовая сдаться сонливости, лежа на кушетке, пока Мариус рисовал, вздохнула и сказала:

— Я слишком полюбила ваше общество. Мне никогда не хочется домой.

Если бы она любила нас меньше. Если бы она не была с нами в тот роковой вечер в 1499 году, накануне нового столетия, когда эпоха Возрождения, воспетая художниками и историками, достигла своего расцвета, если бы она оставалась в безопасности, когда наш мир запылал пожаром.

### 14

Если ты читал книгу «Вампир Лестат», то тебе известно, что произошло дальше, поскольку я мысленно передал это Лестату двести лет назад. Лестат в письменной форме описал все образы, которые я ему показал, боль, которую я с ним разделил. И хотя сейчас я намереваюсь оживить в памяти эти ужасы и изложить ту повесть своими словами, будут моменты, где я не смогу выразиться лучше, чем он, и время от времени я, может быть, воспользуюсь его выражениями.

Все началось внезапно. Я проснулся и обнаружил, что Мариус поднял позолоченную крышку моего саркофага. За его спиной на стене горел факел.

— Быстрее, Амадео, они здесь. Они намерены сжечь наш дом.

— Кто, господин? И зачем?

Он выхватил меня из блестящего ящика‑гроба, и я помчался следом на ним по рассыпающейся лестнице на первый этаж разрушенного здания.

Надев красный плащ с капюшоном, он двигался так быстро, что мне потребовались все силы, чтобы не отставать.

— Это Те, Кого Нужно Хранить? — спросил я. Он обхватил меня рукой, и мы перемахнули на крышу нашего палаццо.

— Нет, дитя, это стая безрассудных вампиров, решивших уничтожить всю мою работу. Бьянка в их власти, и мальчики тоже.

Мы вошли в дом через дверь на крыше и спустились по мраморной лестнице. С нижних этаже поднимался дым.

— Господин, мальчики, они кричат! — заорал я. Внизу к подножью лестницы подбежала Бьянка.

— Мариус! Мариус! Это демоны! Колдуй же, Мариус! — кричала она, ее волосы растрепались со сна, одежда была в беспорядке. — Мариус! — Эхо донесло ее вопли на третий этаж палаццо.

— Господи, все комнаты в огне! — закричал я. — Нужно найти воды, потушить пожар. Господин, картины!

Мариус перепрыгнул через перила и моментально оказался внизу, рядом с ней. Побежав к нему, я увидел, как вокруг него сомкнулась целая толпа фигур в черных одеяниях, которые, к моему вящему ужасу, пытались поджечь его одежды, размахивая факелами, испуская пронзительные вопли и шипя проклятья из‑под капюшонов.

Эти демоны являлись отовсюду. Страшно было слышать крики смертных подмастерьев.

Мариус оттолкнул нападавших согнутой рукой, факелы покатились по мраморному полу. Он обернул Бьянку плащом.

— Они хотят убить нас! — кричала она. — Они хотят сжечь нас, Мариус, они перебили мальчиков, а остальных захватили в плен!

Не успели первые нападавшие подняться на ноги, как моментально к нам подбежали новые фигуры в черном. Я увидел, кто это. Те же белые лица и руки, что и у нас; в каждом текла волшебная кровь. Такие же создания, как мы!

Мариуса снова атаковали, и снова он стряхнул их с себя. Все гобелены большого зала воспламенились. Из смежных комнат валил темный вонючий дым. Дымом затянуло всю ведущую наверх лестницу. От адского пламени в доме внезапно стало светло, как днем.

Я ринулся драться с демонами и обнаружил, что они поразительно слабы. Подобрав один из их факелов, я бросился на них, отгоняя их подальше по примеру господина.

— Богохульник, еретик! — прошипел один из них.

— Демонопоклонник, язычник! — послышались проклятья другого. Они наступали, и я снова начал сражаться с ними, поджигая их одежды, так что они закричали и умчались к безопасным водам канала.

Но их было слишком много. Пока мы дрались, в зал вливались новые силы.

Неожиданно, к моему полному ужасу, Мариус оттолкнул Бьянку от себя к открытым дверям палаццо.

— Беги, милая, беги. Убирайся подальше от этого дома.

Он неистово дрался с теми, кто решил последовать за ней, кто помчался за ней, сражая одного за другим тех, кто пытался ее остановить, пока я не увидел, как она исчезла за открытой дверью.

У нас не было времени удостовериться, в безопасности она, или нет. Меня окружали новые фигуры. Пылающие гобелены попадали со своих прутьев. Статуи переворачивались и разбивались о каменный мраморный пол. Меня чуть было не стащили вниз два демона, вцепившихся в мою левую руку, но я воткнул в лицо одного из них факел, а другого не поджег полностью.

— На крышу, Амадео, быстрее! — крикнул Мариус.

— Господин, картины, картины в хранилищах! — закричал я.

— Забудь картины. Слишком поздно. Мальчики, бегите отсюда, бегите отсюда, скорее, спасайтесь от огня.

Оттолкнув нападавших, он взлетел вверх по лестнице и позвал меня с самого верхнего пролета.

— Давай, Амадео, дерись с ними, поверь в свои силы, дитя, дерись.

На втором этаже меня окружили со всех сторон, не успевал я поджечь одного, как на меня набрасывался другой, они не стремились меня сжечь, но хватали за руки и за ноги. Они цеплялись за все мои конечности, и наконец им удалось вырвать факел из моей руки.

— Господин, оставь меня, уходи! — закричал я. Я вертелся, брыкался, извивался и, посмотрев наверх, увидел, что его опять окружили, и на сей раз сотня факелов полетела в его раздувающийся алый плащ, сотня пламенеющих головешек ударила в его золотые волосы и неистовое белое лицо. Настоящий рой пылающих насекомых, их количество и тактика сначала лишили его возможности двигаться; а потом, с шумным взрывом пламя поглотило все его тело.

— Мариус! — кричал я без остановки, не в силах отвести глаза, продолжая сражаться с захватившими меня врагами, выдергивая ноги только для того, чтобы их снова схватили холодные твердые пальцы, толкая руками только для того, чтобы меня опять связали. — Мариус! — С этим криком из меня вылетала вся моя боль, весь ужас.

Мне казалось, что ни один из моих былых страхов не мог бы быть таким чудовищным, таким невыносимым, как то, что я увидел высоко наверху, у каменных перил, когда его с головы до ног охваченным пламенем. Его длинное тонкое тело на секунду обрело очертания, и мне показалось, что я увидел его профиль с запрокинутой головой, взорвавшиеся волосы, пальцы, как черные пауки, цепляющиеся за огонь в поисках воздуха.

— Мариус! — кричал я. Все, что было в мире ободряющего, доброго, вся надежда горела вместе с этой черной фигурой, от которой я не мог отвести глаз даже в тот миг, когда она растаяла и потеряла все ощутимые очертания. Мариус! Вместе с ним умерла и моя воля.

От нее осталось одно воспоминание, и это воспоминание, словно по команде вторичной души, созданной из волшебной крови и силы, бездумно продолжало драться.

На меня накинули сеть, сеть из стальных нитей, таких тяжелых и тонких, что через мгновение я уже ничего не видел, только чувствовал, как вражеские руки заворачивают меня в нее и перекатывают по полу. Меня выносили из дома. Повсюду слышались крики. Я слышал топот бегущих ног тех, кто меня нес, а когда рядом провыл ветер, я понял, что мы оказались на берегу.

Меня протащили вниз, в недра корабля, а в моих ушах продолжали звучать смертные крики. Они захватили не только меня, но и учеников. Меня бросили туда же, куда и их, рядом со мной и сверху навалились их тела, а я, крепко опутанный сетью, не мог даже говорить, не мог произнести слова утешения, к тому же, мне нечего было им сказать.

Я почувствовал, как поднимаются и опускаются весла, услышал неизменный плеск воды, и огромный деревянный галеон дрогнул и двинулся в открытое море. Он набирал силу, словно никакая ночь не затрудняла его ход, а гребцы наваливались на весла с силой, недоступной смертным мужчинам, направляя корабль на юг.

— Богохульник, — зашептали мне в ухо. Мальчики всхлипывали и молились.

— Прекратите свои нечестивые молитвы, — сказал холодный сверхъестественный голос, — вы, слуги язычника Мариуса. Вы умрете за грехи своего господина, все умрете.

Я услышал зловещий смех, хриплым громом заглушивший влажные, мягкие звуки их страданий и боли. Я услышал долгий, сухой и жестокий смех.

Я закрыл глаза, я ушел в себя глубоко‑глубоко. Я лежал в грязи Печерской лавры, призрак самого себя, погрузившись в самые безопасные и самые жуткие воспоминания.

— Господи, — прошептал я, не шевеля губами, — спаси их, и клянусь тебе, я навсегда захороню себя заживо среди монахов, я откажусь от всех удовольствий, я ничего не буду делать, только час за часом восхвалять твое священное имя. Господи Боже, избави меня. Господи… — Но по мере того, как меня охватывало паническое безумие, по мере того, как я терял ощущение времени и пространства, я начал вызывать Мариуса. — Мариус, ради Бога, Мариус!

Кто‑то меня ударил. Ударил по голове ногой в кожаном сапоге. Следующий ударил меня по ребрам, еще один раздробил мне руку. Меня окружили ноги, они свирепо пинали меня и колотили. Я расслабился. Я воспринимал удары как краски, и горько думал про себя — что за красивые краски, да, краски. Потом послышались усилившиеся вопли моих братьев. Им тоже приходится страдать, и какого убежища искать их душам, душам хрупких молодых учеников, каждого из которых так любили, так учили, так воспитывали для выхода в огромный мир, когда они оказались во власти этих демонов, чьи цели оставались мне неизвестны, чьи цели лежали за пределами того, о чем я мог помыслить.

— Зачем вам все это нужно? — прошептал я.

— Чтобы наказать вас! — раздался тихий шепот. — Чтобы наказать вас за тщеславные и богохульные деяния, за вашу светскую, безбожную жизнь. Что такое ад в сравнении с этим, дитя?

Вот как, эти самые слова тысячи повторяли палачи, ведя еретиков на костер.

— Разве адское пламя сравнится с этим кратким страданием?

Какая удобная, самонадеянная ложь.

— Думаешь? — ответил шепот. — Обуздай свои мысли, дитя, ибо существуют те, кто может опустошить твой разум и не оставить в нем ни единой мысли. Возможно, ты и не увидишь ада, дитя, но тебе уготованы вечные страдания. Кончились твои ночи роскоши и похоти. Тебя ожидает истина.

Я еще раз забрался в самое сокровенное убежище моей души. У меня не осталось тела. Я лежал в монастыре, в земле, и тела не чувствовал. Я настроил мысли на тон окружавших меня голосов, нежных жалобных голосов. Я определял мальчиков по именам и постепенно сосчитал их. Больше половины нашей компании, нашей великолепной компании херувимов, попала в эту чудовищную тюрьму.

Рикардо слышно не было. Но потом, когда наши стражи ненадолго прекратили побои, я услышал Рикардо.

Он затянул речитативом псалом по‑латыни, хриплым, отчаянным шепотом.

— Славься, Господь…

Остальные быстро подхватили:

— Славься, имя твое.

Так и продолжались молитвы, голоса постепенно слабли с тишине, и в конце концов молиться остался один Рикардо. Я не отвечал.

Но и теперь, когда его подопечные погрузились в милосердный сон, он продолжал молиться, чтобы обрести успокоение, или же просто во славу Бога. Он перешел от псалма к «Pater Noster», а дальше — к утешительным вековечным словам «Ave Maria», которые он повторял вновь и вновь в полном одиночестве, лежа в темнице на дне корабля.

Я не обращался к нему. Я даже не дал ему знать, что я рядом. Я не мог спасти его. Я не мог его утешить. Я даже не мог объяснить, что за ужасная судьба обрушилась на нас. И прежде всего я не мог открыть ему, что я видел: что наш господин погиб, что нашего господина поглотил простой и вечный огненный взрыв.

Я погрузился в состояние шока, близкое к отчаянию. Я позволил себе мысленно восстановить в памяти вид горящего Мариуса, Мариуса, превратившегося в живой факел, поворачивающегося и извивающегося в огне, его пальцев, тянущихся к небу, как пауки в оранжевом пламени. Мариус умер; Мариус сгорел. Для Мариуса их было слишком много. Я знал, что он сказал бы, приди он ко мне утешающим призраком. «Их было просто слишком много, Амадео, слишком много. Я не смог их остановить, но я пытался.»

Я погрузился в мучительные сны. Корабль продвигался через ночь, унося меня далеко от Венеции, от руин всего, во что я верил, всего, что было мне дорого.

Я проснулся от звуков песнопений и запаха земли, но это была не русская земля.

Мы уже не плыли по морю. Нас содержали на земле. Опутанный сетью, я слушал, как глухие сверхъестественные голоса поют со злодейским энтузиазмом жуткий гимн Dies Irae — «День Гнева».

Низкий барабанный бой задавал энергичный ритм, как будто это был не столько ужасный плач Последних дней, сколько аккомпанемент для танцев. Не смолкали латинские слова о дне, когда весь мир обернется пеплом, когда великие трубы Господа возвестят об открытии могил. Содрогнутся как природа, так и сама смерть. Все души соберутся в одном месте, ни одна их них не сможет больше скрывать ничего от Бога. Из его книги вслух будет зачитан каждый грех. На каждого падет кара. Кто же защитит нас, если не сам Судья, наш величественный Господь? Наша единственная надежда — жалость нашего Господа, Господа, страдавшего за нас на кресте, он не допустит, чтобы его жертва пропала напрасно.

Да, прекрасные древние слова, но они вылетали из дурного рта, рта того, кто даже не понимал их смысла, кто радостно бил в барабан, словно готовясь к пиршеству.

Прошла уже целая ночь. Мы находились в заточении, а теперь нас освобождали под песню жуткого голоса, аккомпанирующего себе на резвом барабане.

Я услышал перешептывания мальчиков постарше, старавшихся успокоить маленьких, и ровный голос Рикардо, уверяющий их всех, что скоро они, несомненно, узнают, что нужно этим существам, и, может быть, их отпустят на свободу.

Один я слышал повсюду шелестящий, дьявольский смех. Только я знал, сколько скрывается вокруг нас сверхъестественных монстров, пока нас выносили к свету чудовищного костра.

С меня сорвали сеть. Я перевернулся, цепляясь за траву. Я поднял голову и увидел, что мы находимся на огромной поляне под высокими и безразличными звездами. Летний воздух; нас окружали громадные, похожие на башни зеленые деревья. Но все искажали порывы бушующего огня. Мальчики, скованные друг с другом цепью, в рваной одежде, с поцарапанными, перепачканными кровью лицами, отчаянно закричали, увидев меня, но меня оттащила от них и удерживала, ухватив за обе руки, стая маленьких демонов в капюшонах.

— Я не могу вам помочь! — крикнул я. Это было эгоистично и жестоко. Это породила моя гордость. Я только посеял среди них панику.

Я увидел Рикардо, избитого не меньше остальных, он поворачивался слева направо, стараясь их успокоить, его руки были связаны спереди, а камзол практически сорван со спины.

Он бросил взгляд на меня, и мы вместе огляделись по сторонам, осматривая огромное кольцо окруживших нас черных фигур. Видит ли он, какие у них белые лица и руки? Знает ли он на инстинктивном уровне, кто они такие?

— Если вы намерены убить нас, давайте быстрее! — выкрикнул он. — Мы ничего не сделали. Мы не знаем, кто вы, не знаем, почему вы нас похитили. Мы невиновны, каждый из нас.

Меня тронула его храбрость, и я постарался собраться с мыслями. Нужно прекратить в ужасе шарахаться от последнего воспоминания о господине, нужно представить себе, что он жив, и подумать, что он велел бы мне сделать.

Они, несомненно, превосходили нас численно, и я смог определить улыбки на лицах фигур в капюшонах, которые, хотя и скрывали глаза в тени, обнажали длинные перекошенные рты.

— Кто здесь главный? — спросил я, повышая голос его до нечеловеческой громкости. — Конечно, вы видите, что эти мальчики — простые смертные. Вы должны все обсудить со мной!

Услышав эти слова, длинная цепочка фигур в черных одеяниях отступила, перешептываясь и вполголоса обмениваясь какими‑то фразами. Те, кто сгрудился у группы скованных цепями мальчиков, уплотнили свои ряды. И когда остальные, кого я с трудом мог разглядеть, начали подкидывать в костер новые дрова и подливать смолы, стало ясно, что враг готовится к действиям.

Перед учениками, которые за своими слезами и криками, казалось, не осознавали, что все это значит, выросли две пары черных фигур. Я же сразу все понял.

— Нет, вы должны поговорить со мной, поговорить со мной разумно! — заорал я, вырываясь от тех, кто меня удерживал. К моему ужасу, они только засмеялись.

Внезапно снова загрохотали барабаны, раз в сто громче, чем раньше, словно нас — и шипящий, потрескивающий костер — окружило целое кольцо барабанщиков. Они подхватили ровный ритм гимна Dies Irae, и внезапно все собравшиеся в круг фигуры выпрямились и сцепили руки. Они начали распевать латинские слова о страшном горестном дне. Каждая фигура начала насмешливо покачиваться, поднимая в насмешливом марше колени под аккомпанемент сотни голосов, шипящих текст в ритме танца. Получалась отвратительная насмешка над благочестивыми словами.

К барабанам присоединились пронзительный визг труб и монотонные хлопки в бубен, и внезапно весь круг танцоров, держась за руки, задвигался, тела от пояса раскачивались из стороны в сторону, головы болтались, рты ухмылялись. "Дииии‑еееес иииии‑реее, дииии‑еееес иииии‑реее!» — пели они.

Я поддался панике. Но я не мог освободиться от тех, кто вцепился мне в руки. Я закричал. Одна пара фигур в длинных свободных одеяниях, стоящая перед мальчиками, оторвала от остальных первого из тех, кому предстояла пытка, и подбросила его сопротивляющееся тело высоко в воздух. Вторая пара фигур подхватила его и сильным сверхъестественным толчком швырнула беспомощного ребенка в огромный костер.

С жалобными криками мальчик упал в пламя и исчез, другие ученика, уверившись теперь в уготованной им судьбе, обезумели — плакали, всхлипывали, кричали, но тщетно.

Одного за другим мальчиков выдирали из кучи и кидали в огонь.

Я метался взад‑вперед, пиная ногами землю и своих противников. Один раз я вырвал руку, но ее моментально захватили три другие фигуры с жесткими давящими пальцами. Я всхлипывал:

— Не надо, они невиновны. Не убивайте их. Не надо.

Но как бы громко я ни кричал, я все равно слышал предсмертные крики горящих в огне мальчиков: «Амадео, спаси нас!», были ли то слова последнего ужаса, или нет. В конце концов все, кто еще оставался в живых, подхватили этот распев. «Амадео, спаси нас!» Но от их группы осталось меньше половины, а вскоре не осталось и четверти — их, извивающихся, отбивающихся, кидали в воздух навстречу немыслимой смерти.

Барабаны не смолкали, как и насмешливое позвякивание бубнов и завывания рожков. Голоса составляли устрашающий хор, каждый слог окрашивался ядом.

— Вот и все твои сторонники! — прошипела ближайшая ко мне фигура. — Значит, ты их оплакиваешь, не так ли? В то время как во имя Бога ты должен был по очереди сделать каждого из них своей пищей!

— Во имя Бога! — закричал я. — Да как ты смеешь говорить об имени Бога! Вы устроили бойню детей! — Мне удалось повернуться и ударить его ногой, ранив его намного сильнее, чем он ожидал, но, как и прежде, его место заняли трое новых стражей.

Наконец в сполохах огня осталось только трое бледных, как смерть, детей, самых младших из нашего дома, никто из них не произносил не звука. Их молчание производило жуткое впечатление, их мокрые личики дрожали, неверящие глаза потускнели, и их тоже предали огню.

Я выкрикнул их имена. Как можно громче я закричал:

— На небеса, братья, вы отправляетесь на небеса, в объятья Бога!

Но как их смертные уши услышали бы меня на фоне оглушающей песни хора?

Вдруг я осознал, что Рикардо среди них не было. Рикардо либо бежал, либо его пощадили, либо его оставили для еще более страшной участи. Я покрепче свел брови, чтобы помочь себе запереть эти мысли в голове, чтобы сверхъестественные звери не вспомнили Рикардо. Но меня выдернули

из моих мыслей и потащили к костру.

— Теперь твоя очередь, храбрец, Ганимед богохульников, твоя, твоя, упрямый, бесстыдный херувим.

— Нет! — Я врос ногами в землю. Это немыслимо. Не может быть, чтобы я так умер; не может быть, чтобы меня сожгли. Я отчаянно доказывал себе: «Но ты же только что видел, как погибли твои братья, чем ты лучше?» — и все‑таки не мог смириться с тем, что такое возможно, нет, только не я, я же бессмертный, нет!

— Да, твоя, и огонь поджарит тебя так же, как их. Чувствуешь, как пахнет жареной плотью? Чувствуешь, как пахнет горящими костями?

Сильные руки подбросили меня высоко в воздух, достаточно высоко, чтобы почувствовать, как ветер развевает мои волосы, а потом взглянуть вниз, в огонь, и его смертоносная волна ударила мне в лицо, в грудь, в вытянутые руки.

Я падал все ниже, ниже, ниже в пекло, раскинув руки и ноги, навстречу оглушительному треску дров и танцующему оранжевому пламени. Значит, я умираю! — думал я, если я вообще о чем‑то думал, но, скорее всего, я испытывал только панику и заранее отдавался, отдавался предстоящей мне невыразимой боли.

Меня схватили чьи‑то руки, горящие дрова рухнули и подо мной заревело пламя. Меня вытаскивали их огня. Меня тащили по земле. По моей горящей одежде топали ноги. С меня сорвали горящую тунику. Я хватал ртом воздух. Всем телом я чувствовал боль, жуткую боль обожженной плоти, и я намеренно закатил глаза в надежде на забвение. Приди за мной, господин, приди, если для нас бывает рай, приди за мной. Я вызвал его образ — обгоревший, черный скелет, но он протянул мне навстречу руки.

Надо мной выросла какая‑то фигура. Я лежал на влажной, сырой земле, слава Богу, и от моих обожженных рук, лица, волос продолжал подниматься дым. Фигура оказалась широкоплечей, высокой, черноволосой.

Он поднял сильные мускулистые белые руки и сбросил с головы капюшон, открыв густую массу блестящих черных волос. У него были большие глаза с жемчужно‑белыми белками и угольно‑черными зрачками, а брови, несмотря на густоту, имели красивую изогнутую форму. Он, как и остальные, был вампиром, но обладал выдающейся красотой и замечательной осанкой; он смотрел на меня с таким видом, как будто я интересовал его больше, чем он сам, хотя он и ждал, что все глаза обратятся к нему.

По моей коже пробежала дрожь благодарности за то, что, благодаря этим глазами и гладкому, изогнутому, как лук, рту, он производил впечатление существа, обладающего подобием человеческого рассудка.

— Ты будешь служить Богу? — спросил он. У него был мягкий голос образованного человека, а в глазах отсутствовала насмешка. — Отвечай, будешь ли ты служить Богу, ибо в противном случае тебя бросят обратно в костер.

Всем своим существом я испытывал боль. Ко мне не шла ни одна мысль — только то, что он произнес невероятные слова, в них не было смысла, поэтому я не мог на них ответить.

Его злобные помощники моментально подхватили меня снова, смеясь и распевая в такт несмолкающему гимну:

— В огонь, в огонь!

— Нет! — крикнул их вождь. — В нем я вижу искреннюю любовь к нашему Спасителю. — Он поднял руку. Остальные ослабили хватку, но держали меня в воздухе, растянув за руки и ноги.

— Ты хороший? — отчаянно прошептал я фигуре? — Как же так? — Я заплакал.

Он подошел ближе. Он склонился надо мной. Какой он обладал красотой! Его полный рот, как я уже сказал, имел прекрасную изогнутую форму, но только сейчас я увидел, что он густо‑темного естественного цвета, и даже рассмотрел тень головы, несомненно, сбритой в последний день смертной жизни, покрывавшей нижнюю часть его лица, придавая ему отчетливо мужское выражение. Его высокий широкий лоб казался вырезанным из идеально белой кости только по сравнению с округлыми висками и остроконечной линией волос, изящно откинутых назад темных кудрей, контрастно обрамляющих лицо.

Но меня, как всегда, гипнотизировали глаза, да, глаза, большие овальные мерцающие глаза.

— Дитя, — прошептал он. — Неужели я вынес бы такие ужасы, если не во имя Бога?

Я еще громче заплакал.

Я больше не боялся. Мне стало все равно, больно мне или нет. Боль была красно‑золотистой, как пламя, и растекалась по мне, как жидкость, но хотя я ощущал ее, больно мне не было, мне было все равно.

Не сопротивляясь, закрыв глаза, я чувствовал, что меня внесли в туннель, где шаркающие шаги тех, кто меня нес, мягким, скрипучим эхом разносились среди низкого потолка и стен.

Меня выпустили на пол, и я повернулся к нему лицом, расстроившись, что лежу в кучке старых тряпок, потому что не имею возможности почувствовать под собой влажную сырую землю, когда она мне так нужна, но потом и это утратило всякое значение, я прижался щекой к засаленной тряпке и погрузился в полузабытье, как будто меня положили спать.

Моя обожженная кожа, часть моего тела, не имела ко мне отношения. Я издал долгий вздох, зная, хотя я и не формулировал своих мыслей, что все мои бедные мальчики умерли и теперь в безопасности. Нет, огонь не мог бы долго их мучить. Слишком он разогрелся, и, конечно же, их души улетели на небеса, как соловьи, занесенные ветром в дымное пламя.

Мои мальчики покинули землю, и теперь никто не причинит им зла. Все добро, что Мариус для них сделал — учителя, полученные навыки, выученные уроки, танцы, смех, песни, нарисованные картины — ничего больше нет, а души на мягких белых крыльях поднялись на небеса.

Последовал ли бы я за ними? Принял ли бы Бог душу вампира в свой золотистый заоблачный рай? Оставил ли бы я ужасные латинские песнопения демонов ради царства ангельских песен?

Почему те, кто находится со мной рядом, оставили мне эти мысли — конечно, они читают их у меня в голове. Я чувствовал присутствие вождя, черноволосого, могущественного. Возможно, я остался с ним один. Если он наделяет это каким‑то смыслом, если он видит в этом цель и тем самым сдерживает зверства, значит, он, должно быть, святой. Я увидел грязных, голодающих монахов в пещерах.

Я перекатился на спину, блаженствуя во всплесках омывшей меня красно‑желтой боли, и открыл глаза.

### 15

Мягкий успокаивающий голос обращался ко мне, непосредственно ко мне:

— Все тщеславные работы твоего господина сгорели; от его картин остался один пепел. Да простит его Бог, что он использовал свои величайшие силы не во службу Господу, но во службу Миру, Плоти и Дьяволу, да, я говорю — Дьяволу, несмотря на то, что Дьявол — наш знаменосец, ибо Нечистый Дух гордится нами и удовлетворен нашими страданиями; но Мариус служил Дьяволу безотносительно к желаниям Бога, к дарованному им милосердию, ибо мы не горим в адском пекле, а царим в земном мраке.

— А, — прошептал я, — я разобрался в твоей перекошенной философии. — Увещеваний не последовало.

Постепенно, хотя я предпочел бы слышать только голос, окружающие предметы начали обретать очертания. В куполообразный потолок над моей головой были вдавлены человеческие черепа, побелевшие, покрытые пылью. Черепа закреплялись в земле известковым раствором, так что весь потолок состоял из черепов, как их чистых белых морских раковин. Раковины мозга, подумал я, ведь что остается от них, выпирающих из скрепленной раствором земли, кроме купола, когда‑то прикрывавшего мозг, и круглых черных дыр, откуда раньше смотрели желеобразные глаза, бдительные, как танцоры, чтобы неусыпно доложить о чудесах мира заключенному в панцирь разуму.

Сплошные черепа, купол из черепов, а там, где купол переходил в стены — обрамление из берцовых костей по всей окружности, а внизу — разные кости человеческих тел, не образующие определенного узора, как простые камни, подобным образом вдавленные в раствор при постройке стены.

Это помещение состояло из одних костей и освещалось свечами. Да, я уловил запах свечей, чистейший пчелиный воск, как в богатом доме.

— Нет, — задумчиво сказал голос, — скорее, как в церкви, ибо ты находишься в церкви Господа, хотя наш Верховный Глава — Дьявол, святой‑основатель нашего ордена, так почему бы не пчелиный воск? Предоставляю тебе, тщеславному светскому венецианцу, считать его роскошью, путать его с богатством, в котором ты барахтался, как свинья в помоях.

Я тихо засмеялся.

— Поделись со мной еще своей великодушной и идиотской логикой, — сказал я. — Фома Аквинский от Дьявола. Давай, говори.

— Не стоит надо мной насмехаться, — искренне и умоляюще ответил он. — Я же спас тебя от огня.

— Иначе я был уже мертв.

— Ты хочешь сгореть?

— Нет, только не так мучиться, нет, я и помыслить не могу, чтобы мне или кому‑то еще пришлось так страдать. Но умереть — да, хочу.

— А как ты думаешь, если ты все‑таки умрешь, какая участь тебя ожидает? Разве адский огонь не в пятьдесят раз жарче костра, разожженного для тебя и твоих друзей? Ты — дитя ада; ты стал им в тот момент, когда богохульник Мариус влил в тебя нашу кровь. Никто не сможет изменить этот приговор. Твою жизнь хранит проклятая кровь, противоестественная кровь, кровь, приятная Сатане, кровь, приятная Богу лишь потому, что ему приходится держать при себе Сатану, чтобы проявлять свою доброту и давать человечеству выбор между добром и злом.

Я опять засмеялся, но постарался проявить побольше уважения.

— Вас так много, — сказал я. Я повернул голову. Многочисленные свечи меня ослепили, но мне не стало неприятно. Казалось, на фитилях танцует другое пламя, не то, что поглотило моих братьев.

— Они были твоими братьями, эти избалованные, изнеженные смертные? — спросил он. Его голос не дрогнул.

— А сам ты веришь в тот вздор, который ты мелешь? — спросил я, передразнивая его тон.

Он рассмеялся в ответ, скромно, как в церкви, как будто мы перешептывались друг с другом о нелепости проповеди. Но здесь не было святого причастия, как в освященной церкви, зачем же шептаться?

— Дорогой мой, — сказал он, — как просто было бы устроить тебе пытки, вывернуть наизнанку твои высокомерные мозги, превратить тебя в инструмент для хриплых криков. Как просто было бы замуровать тебя в стену, чтобы твои крики доносились не слишком шумно, а стали бы приятным аккомпанементом для наших ночных медитаций. Но я не питаю вкуса к подобным вещам. Вот почему я так хорошо служу Дьяволу; я так и не полюбил зло и жестокость. Я их ненавижу, и если бы мне было дозволено взглянуть на распятие, я смотрел бы на него со слезами, как смотрел смертным человеком.

Я прикрыл глаза, принося в жертву танцующие огоньки, окроплявшие полумрак. Я украдкой послал навстречу его мыслям сильнейший посыл, но наткнулся на закрытую дверь.

— Да, этим образом я преграждаю тебе путь. Болезненно буквальный образ для такого образованного язычника. Но ведь твою преданность Господу нашему Иисусу Христу взрастила сухая и наивная среда? Но подожди, сюда несут дары для тебя, он весьма ускорит наше соглашение.

— Соглашение, сударь, о каком соглашении идет речь? — спросил я. Я тоже услышал чье‑то приближение. Мне в ноздри ударил крепкий, отвратительный дух. Я не шевелился и не открывал глаз. Я услышал, как пришелец рассмеялся низким грохочущим смехом, так хорошо освоенным теми, кто распевал Dies Irae с непристойным лоском. Удушающий запах вызывал в памяти горелую человеческую плоть или что‑то в этом роде. Мне было противно. Я начал было отворачиваться, но постарался остановиться. Звуки и боль я мог выдержать, но не этот ужасный, ужасный запах.

— Подарочек для тебя, Амадео, — сказал пришелец.

Я поднял глаза. Я смотрел прямо в лицо вампиру, созданного из молодого человека с пепельно‑белыми волосами и длинным худощавым телом скандинава. В обеих руках он держал большую урну. Потом он ее перевернул.

— Нет, нет, прекрати! — Я вскинул руки. Я понял, что это. Но было уже слишком поздно.

На меня посыпался поток пепла. Я задохнулся, крикнул и перевернулся. Я не мог вытрясти его из глаз и рта.

— Прах твоих братьев, Амадео, — сказал скандинав. Он разразился безудержным взрывом смеха.

Беспомощно лежа на животе, прижав к лицу руки, я стряхивал с себя горячую кучу пепла. В результате я перевернулся, вскочил на колени, потом поднялся. Я попятился к стене. Перевернулась огромная железная подставка для свечей, перед моим затуманенным взглядом заискрились огоньки, сами свечки попадали в грязь. Я услышал, как загремели кости. Я вскинул руки к лицу.

— А где же наша очаровательная сдержанность? — спросил скандинав. — Что это, наш херувимчик плачет? Так называл тебя твой господин, херувимчик, нет? Держи! — Он дернул меня за руку, а второй рукой попытался размазать по мне пепел.

— Проклятый демон! — крикнул я. Я обезумел от бешенства и негодования. Я схватил его голову обеими руками и изо всех сил повернул ее вокруг шеи, переломав все кости, и посильнее пнул его правой ногой. Он со стоном опустился на колени, не умирая, несмотря на сломанную шею, но я поклялся, что не оставлю ему жизнь ни в одном кусочке тела, и с размаху ударив его правой ногой, я сбил с него голову, кожа порвалась и лопнула, из зияющей дыры на туловище хлынула кровь, и я окончательно оторвал голову.

— На себя посмотрите, сударь, — уставился я в его отчаянные глаза. Зрачки все еще дергались. — Умри же, умри, ради себя самого. — Я покрепче вцепился пальцами левой руки в его волосы и, повертевшись по сторонам, нащупал правой рукой свечку, сорвал ее с железного гвоздя и по очереди вдавил ее в его глазницы, пока он не лишился обоих глаз.

— Ага, значит, так тоже можно, — сказал я, поднимая голову и сощурив глаза от слепящего света.

Постепенно я различил его фигуру. Его густые вьющиеся черные волосы спутались, он сидел в углу, вокруг его табурета развевались черные мантии, его лицо хотя и было обращено немного вбок, от меня не отворачивалось, и при свете я легко смог определить очертания его лица. Благородное, прекрасное лицо, в изогнутых губах не меньше силы, чем в огромных глазах.

— Он никогда мне не нравился, — мягко сказал он, поднимая брови, — однако должен сказать, что ты произвел на меня впечатление, я не ожидал, что он уйдет так рано.

Я содрогнулся. Меня охватил ужасный холод, бездушная, противная злость, возобладавшая над печалью, возобладавшая над безумием, возобладавшая над надеждой.

Я ненавидел голову в своих руках, мне хотелось ее отбросить, но она еще не умерла. Кровоточащие глазницы вздрагивали, язык метался с одной стороны рта на другую.

— Как же мерзко! — вскрикнул я.

— Он всегда говорил очень необычные вещи, — сказал черноволосый вампир. — Видишь ли, он был язычником. Ты — никогда. То есть, он верил в богов северного леса, верил, что Тор кружит вокруг мира со своим молотом…

— Ты никогда не перестанешь болтать? — спросил я. — Даже сейчас необходимо это сжечь, да? — Он одарил меня очаровательной невинной улыбкой. — Дурак ты, что сидишь в этом месте, — прошептал я. У меня безудержно тряслись руки. Не дожидаясь ответа, я повернулся и схватил новую свету, так как та полностью затухла, и поджег волосы мертвеца. От зловония меня затошнило. Я издал звук, напоминающий плачущего ребенка.

Я уронил пылающую голову на обезглавленное тело. Я бросил в пламя свечу, чтобы подлить в огонь воска. Собрав остальные сбитые мной свечи, я скормил их огню и, когда труп охватил слишком сильный жар, я отошел.

Мне показалась, что голова катается в огне больше, чем должна бы, поэтому я схватил перевернутый железный канделябр и, используя его как кочергу, я растер горящую массу и раздробил все, что скрывал огонь.

В самый последний момент его раскинутые руки свернулись, пальцы врезались в ладони. Надо же, жить в таком состоянии, устало подумал я и кочергой подтолкнул руки к туловищу. Костер вонял тряпками и человеческой кровью, выпитой им кровью, вне всякого сомнения, но больше человеческих запахов не ощущалось, и я в отчаянии заметил, что сделал из него костер прямо среди праха моих друзей.

Что же, это показалось мне вполне уместным.

— Хотя бы одному я за вас отомстил, — разбито вздохнул я. Я отбросил примитивную кочергу из канделябра. Так я его и оставил. Места было много. Я удрученно перешел, босиком, так как мои туфли сгорели в огне, на другое широкое свободное место среди железных канделябров, где чернела чистая на вид влажная земля, и там я и лег на пол, как раньше, не заботясь, что черноволосому вампиру теперь прекрасно меня видно, поскольку сейчас я казался прямо перед ним.

— Тебе знаком этот северный культ? — спросил он, как будто ничего страшного не произошло. — Тот самый, где Тор вечно ходит кругами со своим молотом, а круг все сужается и сужается, за ним лежит хаос, а мы находимся внутри теплого кольца, обреченные на вырождение. Никогда не слышал? Он был язычником, его создали маги‑ренегаты, чтобы он убивал их врагов. Я рад от него избавиться, но что же ты плачешь?

Я не ответил. Здесь не на что было надеяться, в жуткой комнате под куполом из черепов, где мириады свечей озаряли своим светом исключительно свидетельства смерти, а среди этого кошмара — прекрасное, крепко сложенное черноволосое существо, которое не испытывает никаких чувств по поводу смерти того, кто служил ему, а теперь превратился в кипу тлеющих вонючих костей.

Я представил себе, что я дома. Я находился в безопасности, в спальне моего господина. Мы сидели рядом. Он читал текст по‑латыни. Мне было все равно, какие он произносит слова. Повсюду нас окружали блага цивилизации, красивые, приятные вещи, а каждый предмет в комнате вышел из человеческих рук.

— Суетные мысли, — сказал черноволосый вампир. — Суетные и безрассудные, но тебе еще предстоит в этом убедиться. Ты сильнее, чем я рассчитывал. Но ведь он прожил много веков, твой создатель, никто и не помнит рассказов о временах, когда не было Мариуса, одинокого волка, который никого не допускает на свою территорию, Мариуса, убийцы молодых.

— Насколько я знаю, он убивал только злодеев, — прошептал я.

— А мы разве не злодеи? Каждый из нас злодей. Вот он и убивал нас без сожаления. Он считал, что мы не представляем для него опасности. Он повернулся к нам спиной! Он считал, что мы недостойны его внимания, а потом, смотри‑ка, он расщедрился и передал всю свою силу простому мальчику. Но должен сказать, что ты очень красивый мальчик.

Раздался шум, зловещий шорох, довольно знакомый. Запахло крысами.

— О да, мои дети, крысы, — сказал он. — Они ко мне приходят. Хочешь посмотреть? Перевернись и посмотри на меня, если не сложно. Не думай больше о святом Франциске с его птицами, белками и волком. Думай о Сантино с его крысами.

Я действительно посмотрел. Я затаил дыхание. Я сел на землю и уставился на него. На его плече сидела громадная серая крыса, чье крошечное усатое рыльце буквально целовало его ухо, ее хвост свернулся за его головой. К нему на колени забралась еще одна крыса и, как зачарованная, смирно уселась на месте. У ног собрались другие крысы.

Видимо, не желая двигаться, чтобы они не испугались, он осторожно окунул правую руку в чашу с сухими хлебными крошками. Только сейчас я уловил этот запах, смешавшийся с запахом крыс. Он протянул пригоршню крошек крысе, сидящей на плече, которая съела их с благодарностью и с странной деликатностью, а потом уронил немного хлеба на колени, куда моментально вспрыгнули три крысы.

— Думаешь, мне это нравится? — спросил он. Он внимательно посмотрел на меня и расширил глаза, подчеркивая значение своих слов. Его черные волосы окутывали плечи густым спутанными покрывалом, лоб был очень гладкий и в свете свечей отливал белизной.

— Думаешь, мне нравится жить здесь, в земных недрах, — печально спросил он, — под великим городом Римом, где сквозь землю сочатся нечистоты гнусной толпы, и иметь в качестве спутников паразитов? Думаешь, я никогда не обладал плотью и кровью, или же, претерпев эти изменения во имя Всемогущего Господа и его божественного замысла, я утратил стремление к той жизни, которой ты жил со своим жадным господином? Или у меня нет глаз, чтобы увидеть блистательные краски, которые твой господин размазывал по холстам? Или мне не нравятся звуки нечестивой музыки? — Он издал мягкий, мучительный смешок.

— Что из созданного Господом, что из того, ради чего он страдал, противно само по себе? — продолжал он. — Грех сам по себе не отвратителен; эта мысль абсурдна. Никто не может полюбить боль. Мы можем лишь надеяться ее вытерпеть.

— Зачем это нужно? — спросил я. Меня ужасно тошнило, но я сдержал рвоту. Я дышал как можно глубже, чтобы все запахи этого жуткого помещения затопили, наконец, мои легкие и прекратили меня мучить.

Я скрестил ноги и откинулся назад, чтобы рассмотреть его получше. Я стер с глаз пепел.

— Зачем? Твои мысли далеко не новы, но что значит это царство вампиров в черных монашеских рясах?

— Мы — защитники Истины, — искренне ответил он.

— Господи, а кто же не защитник истины? — горько спросил я. — Смотри, у меня все руки в крови твоего брата во Христе! А ты сидишь, странная, напичканная кровью копия человека, и смотришь на это, как на перебранку среди свечей!

— А у тебя жгучий язык для такого милого личика, — сказал он с прохладным удивлением. — Твои мягкие карие глаза, твои темные осенние рыжие волосы производят весьма уступчивое впечатление, но ты неглуп.

— Неглуп? Ты сжег моего господина! Ты его уничтожил. Ты сжег его детей! Я твой пленник, разве нет? Зачем? И ты еще говоришь со мной об Иисусе Христе? Ты? Ты? Отвечай, зачем нужна эта трясина грязи и фантазий, вылепленная из глины и священных свечей?

Он засмеялся. В углах его глаз появились морщинки, лицо стало веселым и приятным. Его волосы, несмотря на грязь и колтуны, сохранили сверхъестественный блеск. Как бы он блистал, если бы его освободить от предписаний этого кошмара.

— Амадео, — сказал он. — Мы — Дети Тьмы, — терпеливо объяснил он. — Мы, вампиры, созданы быть бичом рода человеческого, как эпидемия чумы. Мы — часть испытаний и несчастий этого мира; мы пьем кровь, мы убиваем во славу Господа, который хочет испытать человечество.

— Не произноси такие страшные слова. — Я прикрыл уши руками. Я съежился от страха.

— Но ты же понимаешь, что это правда, — настаивал он, не повышая голоса. — Глядя на меня в моей сутане, рассматривая мою комнату, ты все понимаешь. Я живу, ограничивая себя со всем во имя Господа, как в старину жили монахи, пока они не научились расписывать стены эротическими картинами.

— Ты говоришь, как сумасшедший, я не понимаю, зачем тебе это нужно. — Я отказывался вспоминать Печерскую лавру!

— Нужно, потому что здесь я обрел здесь свою цель, я увидел цель Господа, а превыше ее ничего нет. Ты бы предпочел остаться проклятым, одиноким, эгоистом, влачащим бессмысленное существование? Ты бы отвернулся от замысла столь великого, что в нем есть место самому крошечному младенцу? Ты думал, что можно прожить вечность без великолепия этого грандиозного замысла, пытаясь отрицая участие Господа в создании каждой прекрасной вещи, которую ты возжелал и получил в собственность?

Я замолчал. Не думать о древних русских святых. Он был мудр и потому не настаивал. Напротив, он очень мягко, без дьявольского ритма, запел латинский гимн:

Dies irae, dies illa

Solvet saeclam in favilla

Teste David cum Sibylla

Quantus tremor est futuris…

— И в этот День, в последний День, мы исполним свой долг, мы, его Темные Ангелы, заберем в преисподнюю грешные души согласно его божественной воле.

Я опять поднял глаза.

— А та, последняя мольба, чтобы он смилостивился над нами, разве он страдал не за нас? — Я тихо пропел эту строку по‑латыни:

Recordare, Jesu pie,

Quod sum causa tuae viae….

Я поспешил продолжить, с трудом находя в себе мужество окончательно выразить этот кошмар.

— Какой монах из монастыря моего детства не надеялся в один прекрасный день быть с Богом? И что ты мне говоришь, что мы, Дети Тьмы, служим ему безо всякой надежды когда‑нибудь оказаться с ним?

Он внезапно расстроился.

— Я молю Бога, что существует какая‑то неизвестная нам тайна, — прошептал он. Он отвел глаза, как будто действительно молился. — Как он может не любить Сатану, если Сатана так хорошо служит ему? Как может он не любить нас? Я не понимаю, но я — то, что я есть, а ты — такой же, как я. — Он взглянул на меня, снова мягко приподняв брови, чтобы подчеркнуть свое удивление. — И мы должны служить ему. Иначе мы пропадем.

Он соскользнул с табурета и опустился рядом со мной, устроился напротив меня, скрестив ноги, и, вытянув длинную руку, положил ее мне на плечо.

— Великолепное создание, — сказал я, — подумать только, Бог породил как тебя, так и мальчиков, которых ты убил сегодня ночью, прекрасные тела, что ты предал огню…

Он глубоко огорчился.

— Амадео, прими другое имя и останься с нами, живи с нами. Ты нам нужен. Что ты будешь делать один?

— Скажи мне, зачем ты убил моего господина.

Он отпустил меня и уронил руку на колени, на черную ткань.

— Нам запрещено использовать свои таланты, прельщая смертных. Нам запрещено дурачить их своим мастерством. Нам запрещено искать утешения в их обществе. Нам запрещено появляться в освещенных местах. — Меня это не удивляло.

— В сердце своем мы истинные монахи, как у Клуния, — сказал он. — Мы содержим свои монастыри в строгости и святости, мы охотимся и убиваем, чтобы совершенствовать Сад Господа нашего, Долину Слез. — Он сделал паузу, а потом продолжил, еще больше смягчив голос и добавив в него удивления. — Мы подобны жалящим пчелам, крысам, крадущим зерно; мы подобны Черной Смерти, уносящей молодых и старых, прекрасных и уродливых. — Он посмотрел на меня взглядом, молящим о понимании. — Соборы поднимаются из пыли, — сказал он, — чтобы человек увидел чудо. И в камне люди вырезают танец скелетов, чтобы напомнить о быстротечности жизни. Мы вооружаемся косами и вступаем в армию скелета в черном, вырезанного на тысяче дверей, на тысяче стен. Мы — последователи Смерти, чей жестокий лик запечатлен в миллионах крошечных молитвенников, лежащих в руках как богачей, так и бедняков. — У него были огромные, мечтательные глаза. Он посмотрел по сторонам на мрачную келью с куполообразным потолком, под которым мы сидели. В его черных зрачках отражались свечи. На секунду его глаза закрылись, потом открылись — яркие, прояснившиеся.

— Твой господин это понимал, — с сожалением сказал он. — Он понимал. Но он был родом из языческих времен, он был ожесточен и сердит, он неизменно отказывался признавать божью благодать. В тебе он увидел божью благодать, потому что твоя душа чиста. Ты молод и чувствителен, ты открываешься навстречу ночному свету, как лунный цвет. Сейчас ты нас ненавидишь, но со временем ты все поймешь.

— Не знаю, пойму ли я еще что‑нибудь, — сказал я. — Я равнодушен, я уничтожен, я не имею понятия о чувствах, о желаниях, даже о ненависти. Я должен бы тебя ненавидеть, но это не так. Я пуст. Я хочу умереть.

— Но ты умрешь только по воле божьей, Амадео, — сказал он. — Не по собственной воле. — Он пристально уставился на меня, и я понял, что больше не могу скрывать от него свое воспоминание о киевских монахах, медленно изнуряющих себя голодом, но утверждающих, что им необходимо подкреплять себя пищей, ибо Бог определит, когда им умереть.

Я пытался скрыть эти образы, я рисовал себе маленькие картинки и запирал их. Я ни о чем не думал. У меня на языке вертелось только одно слово: ужас. А потом — мысль, что до сих пор я был дураком.

В комнату вошла настоятельница. Женщина‑вампир. Она вошла через деревянную дверь, осторожно подождав, пока она закроется, чтобы не поднимать ненужного шума. Она подошла к нему и встала за его спиной.

Ее густые седые волосы, как и у него, были грязными и спутанными, и тоже образовывали за ее плечами грациозное прекрасное покрывало, тяжелое и плотное. Она носила древние лохмотья. Низкий пояс на бедрах, характерный для женщин ушедших эпох, украшал узкое платье, подчеркивавшее тонкую талию и гибкие пышные бедра, костюм придворной, который можно увидеть на каменных фигурах на богатых саркофагах. У нее, как и у него, были огромные глаза, вбирающие в себя в полумраке каждую частицу света. У нее был сильный полный рот, а через тонкий слой серебристой пыли явственно просвечивали изящные кости скул и подбородка. Шея и грудь оставались практически обнаженными.

— Он останется с нами? — спросила она. Она говорила таким приятным, таким успокаивающим голосом, что он меня даже тронул. — Я молилась за него. Я слышала, как он плачет изнутри, не произнося ни звука.

Я отвел взгляд, заставляя себя испытывать к ней отвращение, к своему врагу, убийце тех, кого я любил.

— Да, — ответил темноволосый Сантино. — Он останется к нам, из него может выйти лидер. У него столько силы. Видишь, он убил Альфредо! О, что за чудесное зрелище — столько ярости, столько детской злобы в лице.

Она посмотрела на останки того, кто раньше был вампиром, а я и сам не знал, что он него осталось. Я в ту сторону не поворачивался.

Ее лицо смягчилось от выражения глубокой, горькой печали. В жизни она, должно быть, была прекрасна; прекрасна она была бы и сейчас, если стереть с нее пыль.

Она мгновенно стрельнула в меня укоризненным взглядом, но быстро смягчилась.

— Суетные мысли, дитя, — сказала она. — Я живу не ради зеркал, как твой господин. Чтобы служить моему Господину, мне не нужны ни шелка, ни бархат. Ах, Сантино, он еще совсем младенец. — Она говорила обо мне. — В былые века я могла бы сложить стихи, восхваляя эту красоту, пришедшую к нам от Бога, чтобы осветить запачканные сажей щели, лилия в темноте, сын феи, подложенный лунным светом в колыбель молочницы, чтобы поработить наш мир своим девичьим взглядом и тихим мужским голосом.

Ее лесть взбесила меня, но я не пережил бы, если бы в этом аду мне пришлось бы лишиться красоты ее голоса, его глубинного очарования. Мне было все равно, что она скажет. И глядя на ее белое лицо, чьи вены превратились в прожилки в мраморе, я знал, что она слишком стара для моих стремительных порывов отомстить. И все же убей ее, да, сорви с тела голову, да, проткни ее свечами, да, да. Я думал об этом, стиснув зубы, а он, как мне расправиться с ним, ведь он отнюдь не так стар, и вполовину не так стар, судя по его оливковой коже, но эти порывы увяли, как сорняки, вырванные из моих мыслей северным ветром, ледяным ветром моей умирающей воли. Да, но они были красивы.

— Тебе не придется отказаться от всей красоты, — доброжелательно сказала она, наверное, выудив мысли из моей головы, невзирая на все мои усилия их скрыть. — Ты увидишь новый вариант красоты, суровой и разносторонней красоты, когда будешь лишать людей жизни и смотреть, как чудесный материальный узор превращается в раскаленную паутину по мере того, как ты выпиваешь его досуха, и предсмертные мысли окутают тебя, как траурная вуаль, они затуманят твой взор и превратят тебя в школу для бедных душ, для которых ты ускоришь переход к благодати или к вечным мукам — да, это красота. Ты увидишь красоту звезд, они всегда будут приносить тебе успокоение. И земли, да, самой земли, в ней ты найдешь тысячу оттенков темноты. Такой будет твоя красота. Ты всего лишь отказываешься от хрупких красок человечества и оскорбительного света тщеславных богачей.

— Я ни от чего не отказываюсь, — сказал я.

Она улыбнулась, и ее лицо озарилось неотразимым теплым светом, в свете пылающих дрожащих свечек поблескивали длинные густые сбившиеся, местами вьющиеся белые волосы.

Она взглянула на Сантино.

— Как хорошо он понимает, о чем мы говорим, — сказала она. — Но при этом ведет себя как непослушный ребенок, высмеивающий в своем невежестве все подряд.

— Он понимает, понимает, — ответил он ей с неожиданной горечью. Он кормил крыс. Он посмотрел на нас с ней. Он, казалось, погрузился в раздумья и даже напевал про себя старое григорианское песнопение.

В темноте я слышал остальных. Вдалеке продолжали бить в барабаны, но это уже было совершенно невыносимо. Я посмотрел на потолок, на ослепленные черепа безо ртов, взиравшие на нас с безграничным терпением.

Я посмотрел на них, на сидящую фигуру Сантино, отягощенного заботами или погруженного в мысли, и на нее, возвышающуюся за его спиной, ее похожий на статую силуэт в рваных лохмотьях, на ее разделенные на пробор седые волосы, на пыль, украшающую ее лицо.

— Те, Кого Нужно Хранить, дитя, кто они? — внезапно спросила она.

Сантино устало махнул правой рукой.

— Алессандра, этого он не знает. Не сомневайся. Мариус был слишком умен, чтобы ему рассказать. И что с ней стало, со старой легендой, за которой мы гоняемся столько лет, что потеряли им счет? Те, Кого Нужно Хранить. Если они таковы, что их нужно хранить, то их больше нет, поскольку самого Мариуса больше нет, и хранить их некому.

Меня затрясло от ужаса, что из моих глаз польются безудержные слезы, что это случится прямо при них, нет, это чудовищно. Мариуса больше нет…

Сантино поспешно продолжил, как будто испугался за меня:

— На то божья воля. Бог пожелал, чтобы все здания рассыпались, чтобы все тексты были расхищены или сгорели, чтобы все свидетельства очевидцев таинства были уничтожены. Подумай, Алессандра. Подумай. Время избороздило каждое слово, написанное рукой Матвей, Марка, Луки, Иоанна, Павла. Где хоть один свиток, что носит подпись Аристотеля? А Платон, если бы нам осталась хоть один клочок, брошенный им в огонь во время беспокойных занятий…

— Что нам до этого, Сантино? — с упреком спросила она, но посмотрела на него и положила руку ему на голову. Она разгладила его волосы, как настоящая мать.

— Я хотел сказать, что таковы устои Господа, — ответил Сантино, — устои его мироздания. Время смывает даже письмена в камне, под огнем и пеплом ревущих гор ложатся целые города. Я хотел сказать, что земля пожирает все, а теперь она поглотила и его, эту легенду, этого Мариуса, кто был намного старше, чем все, чьи имена нам известны, а с ним ушли и его драгоценные тайны. Да будет так.

Я сжал руки, чтобы они не дрожали. Я ничего не говорил.

— Жил я в одном городе, — вполголоса продолжал он. Он держал на руках жирную черную крысу и гладил ее, как самую пушистую кошку, а та, поблескивая крошечным глазом, не могла и пошевелиться, свесив вниз длинный изогнутый хвост, напоминавший косу. — Прелестный был город, с высокими прочными стенами, а каждый год там бывала такая ярмарка, что словами не описать; все купцы выставляли там свои товары, со всех деревень, ближних и дальних, собирался стар и млад — покупали, продавали, танцевали, пировали… замечательное место! Но все забрала чума. Чума пришла, не заметив ни ворот, ни стен, ни башен, прошла незамеченной мимо стражников властелина, мимо отца в поле, мимо матери в кухне. Всех забрала чума, всех, за исключением самых неисправимых грешников. В собственном доме они замуровали меня, наедине с раздувшимися трупами моих братьев и сестер. Только вампир нашел меня, от голода, поскольку, кроме моей крови, ему нечего было искать. А сколько их было!

— Разве мы не отрекаемся от нашей смертной истории во имя Господа? — спросила Алессандра с величайшей осторожностью. Ее рука гладила его волосы, откинув их с его лба.

Его глаза расширились от мыслей и воспоминаний, но, заговорив снова, он посмотрел на меня, хотя, наверное, даже меня не увидел.

— Тех стен уже нет. На их месте сейчас деревья, дикая трава и кучи камней. И в далеких замках можно встретить камни из бастиона нашего властелина, из наших лучших мостовых, из зданий, какими мы гордились. Так уж устроен этот мир — все уничтожается, и пасть времени не менее кровожадна, чем любая другая.

Повисла тишина. Я не мог остановить дрожь. Все мое тело тряслось. С моих губ сорвался стон. Я посмотрел по сторонам и наклонил голову, крепко сжимая руками горло, чтобы не закричать. Когда я поднял глаза, то заговорил.

— Я вам служить не буду! — прошептал я. — Я вашу игру насквозь вижу. Мне знакомы ваши писания, ваша благочестие, ваша страсть к самоотречению! Вы, как пауки, плетете темную запутанную паутину, вот и все, а кроме кровавого племени, вы ничего не знаете, вы умеете только плести свои скучные силки, вы жалкие, как птицы, вьющие гнезда в грязи на мраморных подоконниках. Ну и плетите свою ложь. Я вам служить не буду!

С какой любовью они на меня посмотрели.

— Ах, бедное дитя, — вздохнула Алессандра. — Твои страдания только начинаются. Так зачем страдать во имя гордыни, не во имя Бога?

— Я вас проклинаю!

Сантино щелкнул пальцами. Почти незаметно. Но из темноты, из дверей, спрятанных в земляных стенах как немые рты, явились его слуги, в широких одеяниях, в капюшонах, как раньше. Они схватили меня, обезопасив руки и ноги, но я не сопротивлялся.

Они потащили меня в камеру с железными решетками и земляными стенами. Но когда я попытался прорыть себе выход, мои скрюченные пальцы наткнулись на окованный железом камень, и дальше копать было бесполезно.

Я лег на землю. Я плакал. Я оплакивал своего господина. Мне было все равно — пусть меня слышат, пусть надо мной смеются. Я знал только, как велика моя потеря, и потеря эта равнялась по размеру моей любви, а узнав размер своей любви, можно как‑то почувствовать ее величие. Я все плакал и плакал. Я ворочался и ползал по земле. Я цеплялся за нее, рвал ее, а потом лежал без движения, и только немые слезы текли по моим щекам.

Алессандра стояла за дверью, положив руки на прутья решетки.

— Бедное дитя, — прошептала она. — Я буду с тобой, я всегда буду с тобой. Только позови.

— Ну почему? Почему? — выкрикнул я, и каменные стены отозвались эхом. — Отвечай!

— В самых глубинах ада, — сказала она, — разве демоны не любят друг друга?

Прошел час. Ночь подходила к концу. Я испытывал жажду.

Я сгорал от жажды. Она это знала. Я свернулся на полу, наклонил голову и сел на корточки. Я умру прежде, чем смогу еще раз выпить кровь. Но больше я ничего не видел, больше я ни о чем не мог думать, больше я ничего не хотел. Кровь.

После первой ночи я решил, что умру от жажды. После второй я думал, что с криками погибну. После третьей я только представлял ее себе в мечтах, отчаянно плача и слизывая с пальцев кровавые слезы.

Через шесть таких ночей, когда жажда стала совершенно невыносимой, мне привели отбивающуюся жертву.

Я почуял кровь из конца длинного черного коридора. Я услышал запах прежде, чем увидел свет факела.

К моей камере волокли здорового, дурно пахнущего молодого мужчину, он брыкался и проклинал их, рычал и брызгал слюной, как безумный, крича от одного вида факела, которым его запугивали, подгоняя мне навстречу. Я вскарабкался на ноги, что стоило мне больших усилий, и рухнул на него, рухнул на его сочную горячую плоть и разорвал его горло, одновременно смеясь и плача, давясь кровью.

Ревя и спотыкаясь, он упал. Кровь, пузырясь, текла в мои губы и на мои тонкие пальцы. Они стали совсем как кости, мои пальцы. Я пил, пил, пил, пока не напился досыта, и тогда простое удовлетворение голода, простое жадное, ненавистное, эгоистичное поглощение благословенной крови затмило всю боль и все отчаяние.

Меня оставили одного наслаждаться своей прожорливостью, своим, бездумным, непристойным пиршеством. Потом, отвалившись от жертвы, я почувствовал, что видеть в темноте стало яснее. Стены снова заискрились капельками руды, как звездный небосвод. Я оглянулся и увидел, что убитой мной самим жертвой был Рикардо, мой любимый Рикардо, мой блистательный и мягкосердечный Рикардо — голый, в позорной грязи, откормленный пленник, специально для этого содержавшийся в вонючей земляной камере. Я закричал.

Я ударил по решетке и стал биться от нее головой. Мои белолицые стражи подбежали к решетке и в страхе попятились, посматривая на меня через темный коридор. Я в слезах упал на труп.

Я схватил труп.

— Рикардо, пей! — Я прокусил себе язык и выплюнул кровь на его запачканное жиром, уставившееся в потолок лицо. — Рикардо! — Но он был мертв, пуст, а они ушли, оставив его гнить в моей камере, гнить рядом со мной.

Я пел «Dies irae, dies illa» и смеялся. Три ночи спустя, выкрикивая проклятья, я оторвал от зловонного трупа Рикардо руки и ноги, чтобы выбросить тело из камеры по частям. С ним рядом невозможно было находиться! Я вновь и вновь швырял на решетку вздувшееся туловище, а потом, всхлипывая, упал на землю, так как не мог заставить себя разорвать его на части кулаками или ногами. Я заполз в самый дальний угол, чтобы убраться от него подальше.

Пришла Алессандра.

— Дитя, что мне сказать, чтобы тебя утешить? — Бестелесный шепот в темноте.

Но рядом появилась другая фигура, Сантино. Повернувшись к ним, в каком — то случайно просочившемся туда свете, различить который могут только глаза вампира, я увидел, как он поднес палец к губам и покачал головой, мягко поправляя ее.

— Он должен остаться один, — сказал Сантино.

— Кровь! — заорал я. Я налетел на решетку, вытянув руку, они оба перепугались и поспешили прочь.

Так прошло еще семь ночей, и к концу последней из них, когда я дошел до такого состояния, что меня не воодушевлял даже запах крови, они положили жертву — маленького мальчика, уличного ребенка, плачущего о милосердии — прямо мне на руки.

— О, не бойся, не бойся, — прошептал я, быстро впиваясь зубами в его шею. — Мммм, доверься мне, — шептал я, смакуя кровь, выпивая ее медленно, стараясь не засмеяться от восторга, и на его личико капали мои кровавые слезы облегчения. — Пусть тебе приснится сон, сон про что‑нибудь красивое и доброе. Сейчас за тобой придут святые; видишь их?

Потом я лег на спину, насытившись, и начал выискивать на грязном потолке бесконечно малые звезды из твердого яркого камня или кремнистого железа, врезавшегося в землю. Я повернул голову в сторону, чтобы не смотреть на труп бедного ребенка, который я аккуратно, словно подготовив его к савану, уложил его у стены за своей спиной.

В своей камере я увидел фигуру, маленькую фигурку. Она стояла и смотрела прямо на меня, и я рассмотрел ее выделяющийся на фоне стены полупрозрачный силуэт. Еще один ребенок? Я в ужасе поднялся. От нее ничем не пахло. Я повернулся и пристально посмотрел на труп. Он лежал в прежнем положении. И все‑таки у дальней стены стоял тот же самый мальчик, маленький, бледный, потерянный.

— Как это может быть? — прошептал я.

Но маленькое жалкое существо не смогло ответить. Оно могло только смотреть. Оно было одето в ту же самую белую рубашку, что и труп, задумчивость смягчала его большие бесцветные глаза.

Откуда‑то издалека до меня донесся звук. Звук шаркающих шагов в длинных катакомбах, ведущих к моей темнице. Не вампирские шаги. Я подтянулся и чуть‑чуть пошевелил ноздрями, пытаясь уловить его запах. Сырой затхлый воздух не изменился. Единственным запахом в моей камере оставался аромат смерти, бедного сломленного тельца.

Я напряг глаза, глядя на цепкий маленький дух.

— Что ты здесь ждешь? — отчаянно прошептал я. — Почему я тебя вижу?

Он шевельнул ртом, как будто собирался заговорить, но лишь едва заметно качнул головой, красноречивым жалобным жестом выражая свое замешательство.

Шаги приближались. Я еще раз попробовал уловить запах. Но его не было, не было даже пыльной вони вампирских одежд, только приближающийся шаркающий звук. Наконец к решетке подошла высокая, похожая на тень, фигура изможденной женщины.

Я знал, что она мертвая. Знал. Я знал, что она мертва, как и замешкавшийся у стены малыш.

— Поговори со мной, пожалуйста, ну пожалуйста, умоляю тебя, заклинаю тебя, поговори! — выкрикнул я.

Но призраки не могли отвести глаз друг от друга. Быстрой поступью мальчик поспешил укрыться в объятьях женщины, и она, отвернувшись, забрав свое чадо, начала таять, несмотря на то, что ее ноги продолжали производить тот самый сухой звук, царапающий жесткий земляной пол, который возвестил о ее появлении.

— Посмотри на меня! — тихо умолял ее я. — Хоть одним глазком! — Она остановилась. От нее почти ничего не осталось. Но она повернула голову, и из ее глаз на меня полился тусклый свет. Потом она беззвучно исчезла, полностью.

Я лег на спину, в легкомысленном отчаянии протянул руку и потрогал детский труп, все еще довольно теплый. Я не каждый раз видел их призраки. Я не стремился освоить способы их вызывать. Они не друзья мне, а новое проклятье, эти духи, периодически собирающиеся на сцене моего кровавого убийства. Когда они проходили по сцене моей агонии, когда кровь во мне бывала еще теплой, в их лицах не появлялось никакой надежды. Их не озарял яркий луч светлых чаяний. Может быть, эта способность развилась во мне благодаря голоданию?

Я никому о них не рассказывал. В той гнусной камере, в проклятом месте, где неделю за неделей ломалась моя душа, лишенная даже утешения закрытого гроба, я боялся их и постепенно их возненавидел.

Только в далеком будущем я обнаружу, что другие, вампиры по большей части их не видят. Было ли это милосердие? Я не знал. Но я забегаю вперед.

Давай же вернемся к тому невыносимому времени, к тем испытаниям. В таком плачевном состоянии я провел около двадцати недель. Я больше не верил, что существует яркий, фантастический мир Венеции. Я знал, что мой господин умер. Я это понял. Я знал, что все, что я любил, умерло.

Я тоже умер. Иногда мне снилось, что я дома, в Киеве, в Печерской лавре, что я стал святым. В такие моменты мое пробуждение было мучительным.

Когда ко мне пришли Сантино и седовласая Алессандра, они, как всегда, вели себя ласково, Сантино пролил слезы, увидев меня в таком состоянии, и сказал:

— Пойдем ко мне, идем же, пойдем, ты начнешь заниматься со мной всерьез, идем. Даже такие жалкие создания, как мы, не должны так страдать. Идем со мной.

Я доверился его рукам, я открыл губы ему навстречу, я наклонил голову, чтобы прижаться лицом к его груди, и, слушая, как бьется его сердце, я сделал глубокий вдох, словно до этого момента мне отказывали даже в воздухе.

Алессандра очень нежно прикоснулась ко мне своими прохладными мягкими руками.

— Бедный маленький сирота, — сказала она. — Заблудшее дитя, какой же длинный путь ты прошел, чтобы найти нас.

Удивительно, но все, что они со мной сделали, показалось мне нашей общей бедой, общей и неизбежной катастрофой.

Келья Сантино.

Я лежал на полу, меня обнимала Алессандра, она покачивала меня и гладила мои волосы.

— Я хочу, чтобы сегодня ночью ты пошел с нами охотиться, — сказал Сантино. — Ты пойдешь с нами, со мной и с Алессандрой. Мы не позволим другим тебя мучить. Ты голоден. Ты же очень голоден, правда?

Так началось мое пребывание среди Детей Тьмы. Ночь за ночью я молча охотился со своими новыми спутниками, со своими новыми возлюбленными, со своим новым господином и со своей новой госпожой, а когда я был готов серьезно заняться новыми уроками, Сантино, мой учитель, кому изредка помогала Алессандра, сделал меня своим учеником, оказав мне таким образом великую честь, о чем мне не замедлили сообщить, улучив момент, остальные члены собрания.

Я узнал то, о чем Лестат написал после моих откровений, — великие законы.

Первое. По всему миру мы собираемся в собрания, у каждого собрания есть свой глава, и мне предстоит стать таким главой, как настоятелем монастыря, и в мои руки попадут все вопросы власти. Я, и только я буду определять, когда следует создать нового вампира; я, и только я буду следить, чтобы превращение производилось надлежащим образом.

Второе. Темный Дар, ибо у нас это так называется, запрещается передавать тем, кто не обладает физической красотой, ибо порабощение Темной Кровью красивых людей более приятно Справедливому Богу.

Третье. Нельзя допускать, чтобы молодого вампира создавал древний вампир, ибо со временем наши силы возрастают, и силы старейших слишком велики для молодых. Свидетельство тому — моя собственная трагедия, меня создал последний из известных нам Детей Тысячелетий, великий и ужасный Мариус. Я обладаю силой демона и телом ребенка.

Четвертое. Ни один из нас не смеет уничтожить себе подобного, за исключением главы собрания, который должен был готов в любой момент уничтожить непокорных членов своей стаи. Все странствующие вампиры, не принадлежащие ни к какому собранию, должны уничтожаться таким главой собрания немедленно.

Пятое. Никакое вампир не имеет права разоблачить свою личность или волшебную силу в присутствии смертного и остаться в живых. Никакой вампир не имеет права записывать слова, способные выдать тайну. Смертный мир не должен знать ни одного вампирского имени, и все свидетельства нашего существования, попадающие в царство смертных, должны уничтожаться любой ценой, как и те, кто допустил столь ужасное нарушение божьей воли.

Это еще не все. Там были и ритуалы, и песнопения, своего рода фольклор.

— Мы не входим в церкви, ибо в этом случае Господь поразит нас молнией, — объявлял Сантино. — Мы не смотрим на распятие, и присутствия такового на цепочке, висящей на шее смертного, достаточно для того, чтобы оставить его в живых. Мы отворачиваем глаза и пальцы перед медальонами с изображениями Святой Девы. Мы трепещем перед ликами святых.

Но тех, кто не защищается, мы разим божественным огнем. Мы питаемся, где нам угодно и когда нам угодно, жестоко, как невинными, так и теми, кто благословен красотой и богатством. Но мы не похваляемся перед миром своими деяниями, не похваляемся и друг перед другом.

Великие замки и залы закрыты для нас, ибо мы ни при каких обстоятельствах не смеем вмешиваться в судьбу, уготованной Господом нашим для тех, кто создан по его образу и подобию, иначе, чем вмешиваются в нее паразиты, или пылающий огонь, или Черная Смерть. Мы — проклятье тени. Мы вечны. А завершив во имя Господа свои труды, мы сходимся вместе, избегая удобств, богатства и роскоши, в подземельях, благословенных нами для сна, и лишь при свете огня и свечей мы собираемся, чтобы читать молитвы, петь песни и танцевать, да, танцевать вокруг костра, тем самым укрепляя волю, тем самым разделяя свою силу с нашими братьями и сестрами.

Шесть долгих месяцев прошло за изучением этих уроков. В это время я совершал вместе с остальными вылазки в римские переулки, где охотился и объедался теми, от кого отвернулась судьба, кто так легко попадал в мои руки.

Я не искал больше в их мыслях преступления, оправдывающего мою хищную трапезу. Я больше не тренировался в утонченном искусстве убивать, не причиняя жертве боли, я больше не заслонял несчастных смертных от жуткого вида моего лица, моих отчаянных рук, моих клыков.

Однажды ночью я проснулся и обнаружил, что меня окружили мои братья. Седовласая женщина помогла мне подняться из свинцового гроба и сообщила, что я должен пойти за ними.

Мы поднялись на землю, к звездам. Там горел высокий костер, как в ночь гибели моих смертных братьев.

Прохладный воздух благоухал весенними цветами. Я слышал, как поют соловьи. Вдали шептался и бормотал огромный, кишащий людьми Рим. Я обратил взгляд к городу. Я увидел семь холмов, покрытых неяркими дрожащими огоньками. Наверху я увидел подкрашенные золотом тучи, нависшие над рассеянными по холмам прекрасными маячками, словно небесная тьма готовилась вот‑вот разродиться младенцем.

Я увидел, что вокруг костра образовалось плотный круг. Дети Тьмы стояли в глубину по двое, по трое. Сантино, облаченный в новую, дорогую мантию из черного бархата — ужасное нарушение наших строгих правил богослужения, вышел вперед и расцеловал меня в обе щеки.

— Мы отсылаем тебя далеко, на север Европы, — сказал он, — в город Париж, где глава Собрания ушел, как рано или поздно бывает со всеми нами, в огонь. Его дети ожидают тебя. Они наслышаны о тебе, о твоей доброте, о твоем благочестии, о твоей красоте. Ты станешь их главой, их святым.

Мои братья по очереди подошли поцеловать меня. Мои сестры, их было меньше, тоже запечатлели на моих щеках поцелуи.

Я молчал. Я тихо стоял и слушал песни птиц в соседних соснах, то и дело буравя взглядом снижающиеся небеса и думал, пойдет ли дождь, ароматный дождь, такой чистый и ясный, единственная дозволенная мне очищающая вода, сладкий римский дождь, ласковый и теплый.

— Принимаешь ли ты торжественный обет возглавлять Собрание согласно Темным Обычаям, согласно воле Сатаны и воле его Творца и Господа?

— Принимаю.

— Клянешься ли ты подчиняться любым приказам, поступившим из Римского Собрания?

— Клянусь.

Слова, слова, слова.

В огонь подбросили дров. Зазвучал барабанный бой. Торжественный тон.

Я заплакал.

Я почувствовал прикосновение мягких рук Алессандры, мягкую массу ее седых волос на моей шее.

— Я пойду с тобой на север, дитя мое, — сказала она.

Меня переполняла благодарность. Я обхватил ее обеими руками, почувствовал, как ко мне прижалось ее холодное жесткое тело, и затрясся от рыданий.

— Да, мой дорогой, мой маленький, — говорила она. — Я останусь с тобой. Я стара, я останусь с тобой, пока не придет мой срок предстать перед судом Господа, как подобает каждому из нас.

— Так возрадуемся и станцуем! — воскликнул Сантино. — Сатана и Христос, братья в доме Господа, вверяем вам эту очистившуюся душу! — Он воздел руки.

Алессандра отошла от меня, ее глаза блестели от слез. Я не мог думать ни о чем, кроме благодарности за том, что она будет со мной, что мне не придется совершать одному это жуткое, ужасное путешествие. Со мной, Алессандра, со мной. О раб Сатаны и создавшего его Бога!

Она встала рядом с Сантино, такая же высокая, величественная, и тоже подняла руки, качая волосами из стороны в сторону.

— Да начнется танец! — крикнула она.

Загремели барабаны, взвыли трубы, в моих ушах зазвенели бубны.

Огромное плотное кольцо вампиров испустило долгий глухой крик, и, взявшись за руки, они пустились в пляс.

Меня затянули в цепочку, образовавшуюся вокруг бушующего пламени. Меня бросало справа налево в такт вертящимся по сторонам фигурам, потом я вырвался и, кружась, подпрыгнул высоко в воздух.

При повороте, в прыжке, ветер коснулся моей шеи. Я с предельной точностью поймал с обеих сторон от себя руки, мы качнулись направо, потом — опять налево.

Безмолвные тучи над головой сгущались, скручивались, плыли по темнеющему небу. Начался дождь, его тихий раскат затерялся среди криков обезумевших танцоров, треска костра и грохота барабанов.

Но я его услышал. Я повернулся, прыгнул повыше и добрался до него, до серебристого дождя, хлынувшего на меня, как благословение темных небес, как крещение святой водой проклятых.

Музыка нарастала. Все поглотил варварский ритм, организованная цепочка танцоров была забыта. Под дождем, при неиссякаемых сполохах гигантского огня вампиры раскидывали руки, выли, извивались, сокращали мышцы рук и ног, топали, согнув спины, грохотали подошвами по земле, открывали рты, вращали бедрами, вертелись и прыгали, и хриплыми гортанными голосами затянули громогласный гимн, Dies irae, dies illa. О да, да, день беды, день огня!

Потом, когда дождь полил темной, ровной стеной, когда от костра остались только черные развалины, когда все давно уже отправились на охоту, когда по мрачной поляне после шабаша осталось кружиться всего несколько фигур, распевая молитвы в мучительном исступлении, я тихо лежал, уткнувшись лицом в землю, и дождь смывал с меня грязь.

Мне казалось, что рядом стоят монахи из старого киевского монастыря. Они подсмеивались надо мной, но по‑доброму. Они говорили:

— Андрей, с чего ты взял, что сможешь сбежать? Разве ты не знал, что тебя призвал Бог?

— Уходите от меня, вас здесь нет, а меня вообще нет; я заблудился в темных пустынях бесконечной зимы.

Я старался представить себе его, его святой лик. Но рядом была только Алессандра, она пришла помочь мне подняться на ноги. Алессандра, пообещавшая рассказать мне о темных временах, задолго до создания Сантино, когда ей передали Темный Дар в лесах Франции, куда мы отправимся вместе.

— О Господи, Господи, услышь мои молитвы, — прошептал я. Если бы я мог только увидеть его лицо.

Но такие вещи нам запрещались. Ни при каких обстоятельствах не сметь смотреть на его изображения! До конца света нам суждено трудиться без этого утешения. Ад есть отсутствие Бога.

Что мне теперь сказать в свое оправдание? Что мне сказать?

Эта повесть уже рассказана другими, повесть о том, как я на протяжении целых веков оставался стойким главой Парижского Собрания, как я жил все эти годы в невежестве и мраке, подчиняясь старым законам, пока не осталось ни Сантино, ни Римского Собрания, чтобы посылать мне новые, как я, оборванец, в тихом отчаянии, цеплялся за Старую Веру и Старые Обычаи, пока другие уходили в огонь или же просто разбредались по свету.

Что мне сказать в оправдание того новообращенного и святого, каким я стал?

Триста лет я пробыл бродячим ангелом, сыном Сатаны, я был его убийцей с детским лицом, его заместителем, его рабом. Алессандра всегда оставалась со мной. Когда другие погибали или отрекались, Алессандра поддерживала во мне веру. Но это был мой грех, мое путешествие, мое страшное безрассудство, и мне одному предстоит нести это бремя, пока я жив.

В то последнее утро в Риме, перед уходом на север, было решено, что мне необходимо сменить имя.

Амадео, имя, содержащее в себе самом слово, обозначающее Бога, меньше всего подходило для Сына Тьмы, особенно для того, кому предстояло возглавить Парижское Собрание.

Из всех предложенных вариантов Алессандра выбрала имя «Арман». Так я стал Арманом.

## ЧАСТЬ II

## МОСТ ВЗДОХОВ

### 16

Я отказываюсь еще хотя бы минуту обсуждать прошлое. Оно мне не нравится. Оно меня не волнует. Как я буду рассказывать о том, что меня не интересует? Считается, что это заинтересует тебя? Вся сложность в том, что о моем прошлом уже слишком много писали. А если ты не читал эти книги? А если ты не барахтался в цветистых описаниях Вампира Лестата, живописавшего меня и приписанные мне заблуждения и ошибки? Хорошо, хорошо. Еще немного, но только для того, чтобы перенести меня в Нью‑Йорк, в ту секунду, когда я увидел покрывало Вероники, чтобы тебе не пришлось возвращаться к его книгам, чтобы моей книги тебе хватило. Ладно. Продолжим, пересечем этот мост вздохов. Три сотни лет я оставался верен Старым Обычаям Сантино, даже после исчезновения самого Сантино. Причем вампир этот совсем не умер. Он объявился в современном мире, вполне здоровый, сильный, молчаливый, и отнюдь не собирался оправдываться по поводу тех кредо, что он затолкал мне в горло, прежде чем отправить меня на север, в Париж. В те времена я был совершенно не в своем уме. Я действительно руководил Собранием и достиг совершенства в устройстве и организации его церемоний, его причудливых темных молебствий и кровавых крещений. С каждым годом моя физическая сила росла, как бывает у всех вампиров, и жадно выпивая кровь своих жертв — о другом удовольствии я и мечтать не мог, — вскармливал свои вампирские способности. Убивая, я научился окутывать своих жертв чарами, и выбирая себе самых красивых, самых одаренных, самых дерзких и блистательных, я, тем не менее, передавал им фантастические видения, чтобы притупить их страх и страдания. Я был просто помешанный. Отрекшись от освещенных мест, от утешительного посещения самой маленькой церкви, я запыленным духом бродил по темнейшим переулкам Парижа, превращая в глухой звон его самую замечательную поэзию и музыку затычками благочестия и фанатизма, которыми я забивал свои уши, слепой к уносящемуся ввысь величию его соборов и дворцов. Всю мою любовь поглотило собрание, болтовня о том, как нам лучше всего стать святыми Сатаны или стоит ли предложить дерзкой, прекрасной отравительнице заключить наш пакт и пополнить наши ряды. Но иногда я переходил от приемлемого безумия к состоянию, опасность которого знал только я. В земляной келье в потайных катакомбах под огромным парижским кладбищем Невинно Убиенных, где мы устроили свое логово, мне ночь за ночью мерещилась одна‑единственная странная, бессмысленная вещь: что стало с маленьким прекрасным сокровищем, подаренным мне моей смертной матерью? Что стало с тем странным артефактом из Подола, который он сняла с иконостаса и вложила мне в руки, с крашеным яйцом, с крашеным яйцом малинового цвета, с искусно нарисованной звездой? Где оно сейчас находится? Что с ним стало? Ведь я оставил его, плотно завернув в мех, в золотом гробу, в моем бывшем жилище, нет, неужели это было на самом деле, та жизнь, которую я, кажется, вспоминал, жизнь в городе с блестящими белокаменными дворцами и сверкающими каналами, с необъятным свежим серым морем, полном быстрых изящных кораблей, усердно взмахивавших вверх‑вниз длинными веслами в унисон, как живые, кораблей, расписных кораблей, часто украшенных цветами, с белоснежными парусами, нет, так не бывает, и подумать только, золотая комната с золотым гробом внутри, а в нем — ни на что не похожее сокровище, хрупкая, прелестная вещица, крашеное яйцо, ломкое, законченное творение, чья раскрашенная скорлупа скрывала внутри предельно безупречный, влажный, таинственный концентрат живых жидкостей — что за странные фантазии. Но что с ним случилось? Кто его нашел? Кто‑то нашел. Либо так, либо оно до сих пор там, спрятано глубоко под палаццо в водонепроницаемом подземелье, вырытом в глубине протекающей земли под водами лагуны. Нет, никогда. Не так, только не там. Не думай об этом. Не думай, что оно попало в руки нечестивца. А ведь ты знаешь, ты, лживая предательская душонка, что ты так и не вернулся в то место, в тот невысокий город с залитыми ледяной водой улицами, где твой отец, несомненно, существо мифическое, небылица, испил из твоих рук вино и простил тебя за то, что ты ушел и превратился в черную птицу с сильными крыльями, птицу ночи, воспарившую даже выше владимирских куполов, словно кто‑то разбил яйцо, то тщательно, изумительно разрисованное яйцо, которым так дорожила твоя мать, передавая его тебе, злобно разбил его большим пальцем, раздавил, и из прогнившей жидкости, из зловонной жидкости родился ты, ночная птица, перелетевшая через коптящие трубы Подола, через владимирские купола, поднимаясь все выше, все дальше, удаляясь от диких степей, от всего мира, пока не залетела в темный лес, в густой, темный, безграничный лес, из какого никогда не выбраться, в холодное, унылое дикое царство голодного волка, чавкающей крысы, ползучего червя и кричащей жертвы. Ко мне приходила Алессандра. — Проснись, Арман. Проснись. Тебе снятся грустные сны, сны, предшествующие безумию, ты не оставишь меня, дитя мое, не оставишь, я боюсь смерти еще больше, чем этого, но я не останусь одна, ты не уйдешь в огонь, ты не уйдешь, не оставишь меня здесь.

Нет. Не уйду. На такой шаг у меня не хватило бы мужества. Я ни на что не надеялся, пусть даже на протяжении десятилетий от Римского Собрания не поступало никаких вестей.

Но моим долгим векам на службе Сатаны наступил конец.

Он пришел в красном бархате, в излюбленном облачении моего бывшего господина, короля из сна, Мариуса. Он с важным видом прохаживался по освещенным улицам Парижа, словно его создал сам Бог. Но его, как и меня, создал вампир, он был сыном семнадцати столетий, по подсчетом тех времен, яркий, наглый, неуклюжий, веселый и дразнящий вампир, переодетый в молодого человека, и он пришел растоптать тот священный огонь, что все еще тлел в разъеденной шрамами ткани моей души и развеять пепел.

Это был Вампир Лестат.

Он не виноват. Если бы кто‑то из нас смог сразить его, разрубить на части его же разукрашенным мечом и поджечь, нам, возможно, досталось бы еще несколько десятилетий жалких заблуждений. Но это никому не удалось. Для нас он, проклятый, оказался слишком силен. Созданный могущественным древним ренегатом, легендарным вампиром по имени Магнус, этот Лестат, двадцати смертных лет от роду, странствующий деревенский аристократ без гроша за душой из диких земель Оверни, перескочивший через обычаи, респектабельность и всякие надежды на статус придворного, которых у него в любом случае не было, поскольку он даже не умел читать и писать, и к тому же обладал слишком оскорбительным нравом, чтобы прислуживать какому‑то королю или королеве, ставший необузданной золотоволосой знаменитостью низкопробных бульварных спектаклей, любимый как мужчинами, так и женщинами, веселый, безалаберный, до слепоты амбициозный, самовлюбленный гений, этот Лестат, этот голубоглазый и бесконечно самоуверенный Лестат остался сиротой в ночь своего создания по воле древнего монстра, превратившего его в вампира, вверившего ему состояние, спрятанное в тайнике рассыпающейся на куски средневековой башни и ушедшего обрести вековечное утешение во всепоглощающее пламя. Этот Лестат, и не подозревавший о Старых Собраниях, о Старых Обычаях, о вымазанных сажей разбойниках, обитавших под кладбищами и считавших, что имеют право заклеймить его как еретика, бродягу и ублюдка Темной Крови, прохаживался по самым модным уголкам Парижа, одинокий, терзаемый своими сверхъестественными дарованиями, но одновременно упивавшийся своей новой силой, танцевал в Тюильри с потрясающе одетыми женщинами, купался в прелестях балета, и не только слонялся по освещенным местам, как мы их называли, но и скорбно блуждал по самому Собору Парижской Богоматери, прямо перед главным алтарем, причем Бог так и не поразил его никакой молнией. Он нас уничтожил. Он уничтожил меня.

Алессандра, которая к тому моменту уже лишилась рассудка, как и большинство старейших тех времен, вступила с ним в веселую перепалку после того, как я, исполненный сознания долга, арестовал его и приволок на наш подземный суд, а потом она тоже ушла в огонь, оставив меня наедине с очевидным абсурдом: нашим Старым Обычаям пришел конец, наши суеверия смехотворны, наши пыльные черные одеяния нелепы, наши самобичевания и самоотречения бессмысленны, наша вера в то, что мы служим Богу и Дьяволу — самообман, наивный и глупый, наша организация среди веселых парижан‑атеистов в Век Разума так же нелепа, какой ее счел бы несколько веков назад мой возлюбленный венецианец Мариус. Лестат был разрушителем, смеющимся пиратом, который, не творя себе кумира ни из чего и ни из кого, вскоре покинул Европу, чтобы найти себе безопасную и удобную территорию в Новом Свете, в колонии Нового Орлеана. Он не мог предложить мне в утешение никакой философии, дьякону с детским лицом, вышедшему из самой черной темницы, лишившийся всякой веры, чтобы облачиться в модную одежду современной эпохи и снова пройтись по широким улицам, как триста лет назад, в Венеции. А мои последователи, те немногие, кого я не смог одолеть и с горечью предать огню, как беспомощно, ощупью двигались они по новообретенной свободе — свободе вытаскивать золото из карманов своих жертв, рядясь в их шелка и напудренные парики, свободе в восторженном изумлении наслаждаться чудесами яркой сцены, блистательной гармонией сотни скрипок, проделками актеров‑рифмоплетов. Какая участь ждала бы нас, когда мы вслепую пробирались бы ранними вечерами сквозь толпу на бульваре, сквозь изысканные особняки и пышные бальные залы? Мы убивали в обитых атласом будуарах, на парчовых подушках позолоченных карет. Мы купили себе красивые гробы, с причудливой резьбой, а на ночь мы запирались в отделанных золотом и красным деревом подвалами. Что стало бы с нами, разобщенными, когда мои дети боялись меня, а я точно не знал, в какой момент щегольство и сумасбродство французского освещенного города заставит их совершить опрометчивую или пагубную выходку с чудовищными последствиями? Именно Лестат дал мне ключ, Лестат дал мне место, где я смог найти приют для своего обезумевшего и бешено бьющегося сердца, где я смог свести вместе своих последователей и предоставить им подобие новообретенного здравомыслия. Перед тем, как выбросить меня на мель среди останков моих старых законов, он передал мне тот самый бульварный театр, где он когда‑то был молодым пастушком комедии дель арте. Все смертные актеры уехали. Оставалась только элегантная соблазнительная скорлупа, сцена с веселыми декорациями и позолоченной аркой авансцены, бархатный занавес и пустые скамьи, дожидающиеся своей шумной публики. Там мы и обрели свое самое безопасное укрытие, готовые с энтузиазмом спрятаться под маской грима, идеально прикрывающей нашу блестящую белую кожу и фантастическую грацию и гибкость. Мы стали актерами, профессиональной труппой бессмертных, которые сошлись вместе, чтобы поставить бодрые декадентские пантомимы для смертной публики, так и не заподозрившей, что мы, белолицые лицедеи, намного страшнее любого из чудовищ, фигурировавших в наших фарсах или трагедиях. Так родился Театр Вампиров. И я, никчемная шелуха, одетая в стиле человека — титул, на который я имел еще меньше прав, чем за все предыдущие провальные годы, я стал его наставником. Это было самое меньшее, что я мог сделать для моих осиротевших приверженцев Старой Веры, счастливых, со вскруженными головами, в безвкусном и безбожном мире накануне политической революции.

Почему я так долго правил этим театром, служившим для нас щитом, почему я год за годом оставался с этим своеобразным собранием, я не знаю, знаю только то, что я нуждался в нем, нуждался не меньше, чем в Мариусе и в нашем венецианском доме, или же в Алессандре и в Собрании под кладбищем Невинно Убиенных. Мне нужно было место, куда можно направиться перед рассветом, где, как я знал, надежно укрывались другие представители моего рода. И могу точно сказать, что мои последователи‑вампиры нуждались во мне. Им необходимо было верить в мое руководство, и когда доходило до самого худшего, я не подводил их, обуздывая легкомысленных бессмертных, которые периодически начинали подвергать нас опасности, публично демонстрируя сверхъестественную силу или крайнюю жестокость, а также улаживая с математическим талантом ученого‑идиота деловые вопросы. Налоги, билеты, афиши, отопление, рожки для освещения, поощрение свирепых баснописцев, всем этим занимался я. И иногда меня охватывала острая гордость и удовольствие. С каждым сезоном мы разрастались, разрасталась и наша аудитория, примитивные скамейки сменились бархатными креслами, а грошовые пантомимы — более поэтичными постановками. Много ночей, занимая место в отдельной ложе за бархатными портьерами, джентльмен несомненно со средствами, в узких, по моде, брюках, в соответствующем жилете из набивного шелка и в элегантного покроя ярком шерстяном пиджаке, зачесав волосы назад и стянув их черной лентой, или же в результате обрезая их выше жесткого воротничка, я думал о потерянных веках протухших ритуалов и демонических снов, как думают подчас о долгой мучительной болезни, прошедшей в темной комнате среди горьких микстур и бессмысленных песнопений. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле — зачумленные оборванцы, нищие хищники, воспевавшие Сатану в морозном полумраке. И все прожитые мной жизни, все увиденные мной миры, казались мне еще менее реальными. Что скрывалось за моими дорогими оборками, за моими спокойными, не задающими вопросов глазами? Кем я стал? Неужели во мне не осталось ни одного воспоминания о более теплом огоньке, чем тот, что освещал серебристым светом мою смутную улыбку, обращенную к тем, кто ее от меня ждал? Я не помнил, чтобы в моем тихо передвигающемся теле кто‑то жил и дышал.

Распятие, нарисованное кровью, приторная дева Мария на странице молитвенника или запечатленная на пастельных цветов фарфоре — они ни о чем мне не говорили, разве только служили вульгарным напоминанием о грубом, немыслимом времени, когда отвергнутые ныне силы таились в золотой чаше или сверкали вселяющим страх огнем в лице над пылающим алтарем. Я об этом ничего не знал. Кресты, сорванные с девственных шей, переплавлялись на мои золотые кольца. А четки отбрасывались в сторону, пока воровские пальцы, мои пальцы, обрывали бриллиантовые пуговицы жертвы. За восемь десятилетий существования Театра Вампиров я развил в себе — мы выдержали испытание Революцией, потрясающе быстро восстановив силы, поскольку публика шумно требовала наших фривольных и мрачных представлений — и надолго после гибели театра, до конца двадцатого века, сохранил в себе тихий, скрытный характер, предоставляя своей молодой внешности вводить в заблуждение моих противников, моих потенциальных врагов (я практически не принимал их всерьез) и моих вампирских рабов. Хуже главы не бывает — равнодушный, холодный вождь, вселяющий страх в каждое сердце, но не задающийся трудом полюбить хоть кого‑нибудь; так я и содержал Театр Вампиров, как мы называли его в семидесятых годах девятнадцатого века, когда туда забрел сын Лестата, Луи, в поисках ответов на вечные вопросы, оставленные без таковых его нахальным, дерзким создателем: Откуда произошли мы, вампиры? Кто создал нас и с какой целью? Да, но прежде чем я начну подробнее распространяться о прибытии знаменитого, неотразимого вампира Луи и его маленькой обворожительной возлюбленной, вампира Клодии, я хотел бы рассказать об одном незначительном происшествии, случившемся со мной в том же девятнадцатом веке, но раньше. Может быть, это ничего не значит, или же я выдам тайну чьего‑то уединенного существования. Не знаю. Я упоминаю об этой истории только потому, что она причудливым образом, если не наверняка относится с тому, кто сыграл весьма немаловажную роль в моей повести. Не могу определить год этого эпизода. Скажу лишь, что Париж благоговел перед очаровательным, мечтательным пианино Шопена, что романы Жорж Санд были последним криком моды, что женщины уже отказались от изящных, навевающих сладострастные мысли платьев имперской эпохи в пользу широких платьев из тафты, с тяжелыми юбками и осиными талиями, в которых они так часто появляются на блестящих старых дагерротипах. Театр, выражаясь современным жаргоном, гудел, и я, управляющий, устав от его представлений, бродил в одиночестве по лесистой местности как раз за кромкой Парижа, неподалеку от деревенского дома, полного веселых голосов и ярких люстр. Там я наткнулся на другого вампира. Я немедленно определил ее по бесшумным движениям, по отсутствию запаха и почти божественной грации, с которой она пробиралась сквозь дикий кустарник, справляясь с длинным развевающимся плащом и обильными юбками маленькими бледными руками, и целью ее были соседние, ярко освещенные, манящие окна. Она почувствовала мое присутствие почти так же быстро, как и я; учитывая мой возраст и мою силу, это был тревожный знак. Она застыла на месте, не поворачивая головы. Хотя злобные вампиры‑актеры и сохранили за собой право расправы с бродягами или нарушителями границ в царстве Живых Мертвецов, мне, их главе, прожившему столько лет жизнью обманутого святого, на подобные вещи было наплевать. Я не желал вреда этому существу и бездумно, мягким небрежным голосом, бросил ему предупреждение по‑французски:

— Грабишь чужую территорию, дорогая. Вся дичь здесь уже заказана. К рассвету будь в более безопасном городе.

Этого не услышало бы ни одно человеческое ухо. Она не ответила, но, должно быть, наклонила голову, так как на ее плечи упал капюшон из тафты. Потом, повернувшись, она показалась мне в длинных вспышках золотого света, падавшего из створчатых стеклянных окон за ее спиной. Я узнал ее. Я узнал ее лицо. Я его знал. И на ужасную секунду, на роковую секунду, я почувствовал, что она, наверное, меня не узнала — с моими‑то еженощно подстригаемыми волосами, в темных брюках и тусклом пиджаке, в тот трагический момент, когда я изображал из себя мужчину, коренным образом изменившись со времен пышно разодетого мальчика, которого она помнила, нет, она не могла меня узнать. Почему же я не крикнул? Бьянка! Но это было непостижимо, невероятно, я не мог пробудить свое унылое сердце, чтобы с торжеством подтвердить правду, открытую моими глазами, что изящное овальное лицо в рамке золотых волос и капюшона принадлежало ей, несомненно, обрамленное волосами совсем как в прежние дни, и это была она, она, чье лицо запечатлелось в моей перевозбужденной душе прежде, чем я получил Темный Дар, да и после этого. Бьянка. Она исчезла! На долю секунды я увидел ее расширившиеся настороженные глаза, полные вампирской тревоги, более острой и угрожающей, чем та, что способна мелькнуть в глазах человека, а потом фигура пропала, растворилась в лесу, ушла с окраин, ушла из раскинувшихся повсюду больших садов, которые я по инерции обыскивал, качая головой, бормоча про себя — нет, не может быть, нет, конечно, нет. Нет. Больше я ее не видел. Я до сих пор не знаю, была ли это Бьянка, или нет. Но сейчас, диктуя этот рассказ, в душе, в душе, исцелившейся и не чуждой надежде, я верю, что это была Бьянка! Я до мельчайших подробностей вспоминаю ее образ, обернувшийся ко мне в зарослях сада, и в этом образе скрывается последняя подробность, последнее доказательство — в ту ночь в окрестностях Парижа, в ее светлых волосах были вплетены жемчужины. О, как же Бьянка любила жемчуг, как она любила вплетать его в волосы. И в свете окон деревенского дома, под тенью ее капюшона, я увидел нити жемчуга, вплетенные в золотые волосы, и в этой оправе находилась флорентийская красавица, которую я так и не смог забыть — такая же утонченная в вампирской белизне, как и в те времена, когда в ней играли краски Фра Филиппо Липпи. Тогда меня это не задело. Не потрясло. Я слишком поблек духовно, слишком отупел, слишком привык рассматривать каждое событие как фикцию из не связанных друг с другом снов. Скорее всего, я не позволил себе в это поверить. Только теперь я молю Бога, чтобы это была она, моя Бьянка, и чтобы кто‑то, и ты прекрасно догадываешься, о ком я говорю, рассказал мне, была ли это моя милая куртизанка. Может быть, один из членов исполненного ненависти, кровожадного Римского Собрания, преследуя ее по ночной Венеции, пал жертвой ее чар, отрекся от Темных Обычаев и навеки сделал ее своей возлюбленной? Или же мой господин, как мы знаем, переживший страшный огонь, разыскал ее ради подкрепившей его крови и увлек ее в бессмертие, чтобы она способствовала его исцелению? Я не могу заставить себя задать Мариусу этот вопрос. Может быть, ты его задашь. Вполне вероятно, что я предпочитаю надеяться, что это была она, чем слушать опровержения, уменьшающие мои надежды. Я не мог не рассказать. Не мог. Теперь давай вернемся в Париж конца девятнадцатого века, на несколько десятилетий вперед, к тому моменту, когда Луи, молодой вампир Нового Света, вошел в мою дверь в поисках, как ни прискорбно, ответов на ужасные вопросы — откуда мы взялись и с какой целью. Какая трагедия для Луи, что ему случилось задать эти вопросы мне. Какая трагедия для меня. Кто с большей холодностью, чем я, глумился над самой идеей искупления для созданий ночи, которые, будучи в прошлом людьми, никогда не смогут освободиться от греха братоубийства, поглощения человеческой крови? Я познал ослепительный, искусный гуманизм Ренессанса, мрачный рецидив аскетизма Римского Собрания и холодную циничность романтической эры. Что я мог сказать Луи, вампиру с неиспорченным лицом, слишком человеческому порождению боле сильного и дерзкого Лестата? Разве только, что в мире Луи сможет найти достаточно красоты, чтобы поддержать свои силы, что мужество жить он должен найти в своей душе, если уж он сделал выбор и решил продолжать жить, не оглядываясь на образы Бога или дьявола, способные принести только искусственный или краткосрочный покой. Я так и не поведал Луи свою собственную горькую историю, однако я доверил ему ужасную, болезненную тайну — в 1870 году, прожив среди Живых Мертвецов более четырехсот лет, я не знал ни одного вампира старше себя. Само это признание вызвало во мне гнетущее чувство одиночества, и, глядя на измученное лицо Луи, преследуя его тонкую, элегантную фигуру, пробиравшуюся по суматошным улицам девятнадцатого века, я понимал, что этот темноволосый джентльмен в черном, такой стройный, так изящно вылепленный, такой чувствительный в каждой своей черте, являет собой пленительное воплощение моего собственного несчастья. Он оплакивал потерю прелести одной человеческой жизни. Я оплакивал потерю прелести целых столетий. Поддавшись стилю сформировавшей его эпохи — одевшей его в широкий черный сюртук, изящный жилет из белого шелка, высокий, как у священника, воротничок и отделку из безупречного льна, я безнадежно влюбился в него, и, оставив Театр Вампиров в руинах (он сжег его дотла, и имел на то веские основания), я продолжал скитаться с ним по миру практически до наступления современной эпохи. В результате время уничтожило нашу любовь друг к другу. Время иссушило нашу спокойную интимность. Время поглотило все беседы и наслаждения, которым мы с удовольствием предавались. В наше разрушение неотвратимо вмешивался еще один ужасный, незабываемый ингредиент. Нет, я не хочу говорить об этом, но кто из вас позволит мне хранить молчание по поводу Клодии, девочки‑вампира, в уничтожении которой все постоянно меня обвиняют? Клодия. Кто из вас, для кого я диктую эту повесть, кто из современной аудитории, читающей эти книги как аппетитную художественную литературу, не хранит в памяти ее животрепещущий образ, златокудрой девочки, превращенной в вампира в Новом Орлеане одной злополучной, безрассудной ночью Лестатом и Луи, девочки‑вампира, чей разум и душа выросли до необъятных размеров, как у бессмертной женщины, в то время как тело ее осталось телом дорогой, безупречно раскрашенной фарфоровой французской куколки? Для информации, ее убило мое Собрание, состоявшее из безумных, демонических актеров и актрис, поскольку, когда она оказалась в Театре Вампиров вместе с Луи, ее скорбным, охваченным чувством вины защитником и возлюбленным, слишком многим стало ясно, что она покушалась на убийство своего основного Создателя, Вампира Лестата. За такое преступление полагалась смертная казнь, за убийство или покушение на убийство своего создателя, но она уже сама по себе стояла в очереди смертников с той минуты, как о ней стало известно Парижскому Собранию, будучи существом вне закона, бессмертным ребенком, слишком маленьким, слишком хрупким, несмотря на все свое обаяние и коварство, нацеленное на выживание в одиночку. Да, бедное создание, богохульное и прекрасное. Ее тихий монотонный голос, исходящий из миниатюрных, напрашивающихся на поцелуй губ, будет преследовать меня вечно. Но я не был ее палачом. Она умерла такой страшной смертью, какой никто и не представлял себе, и сейчас у меня не хватит сил рассказывать ту историю. Скажу только, что перед тем, как ее вытолкнули в кирпичную вентиляционную шахту ожидать смертного приговора бога Феба, я попытался исполнить ее самое заветное желание — получить тело женщины, подходящую оболочку для размаха ее души. Что же, занявшись грубой алхимией, срезая головы с тел и с запинками трансплантируя их, я потерпел неудачу. Однажды ночью, если я буду пьян от крови нескольких жертв и больше, чем сейчас, привыкну исповедоваться, я расскажу о своих неумелых зловещих операциях, произведенных со своеволием чародея и с по‑детски грубыми ошибками, и опишу во мрачных и гротескных подробностях извивающуюся дергающуюся катастрофу, поднявшуюся из‑под моего скальпеля, хирургической иглы и нити. Пока же я скажу, что она снова стала самой собой, получив жуткие увечья, залатанным подобием прежнего ангелочка, когда ее заперли встречать жестокое утро и свою смерть с прояснившимся рассудком. Небесный огонь уничтожил ужасные неизлечимые свидетельства моей сатанисткой хирургии, превратив ее в памятник из пепла. В камере пыток моей импровизированной лаборатории не осталось никаких улик, свидетельствующих о том, как она провела свои последние часы. Никому не нужно бы знать о том, что я сейчас рассказываю. Она преследовала меня много лет. Я не мог выбить из головы неясный образ ее девичьей головки и ниспадающих кудрей, неловко прилаженной с помощью толстой черной нити к бьющемуся в конвульсиях, спотыкающемуся и падающему телу женщины‑вампира, чьи голову я выбросил в огонь за ненадобностью. Что за небывалая катастрофа — женщина‑чудище с головой ребенка, неспособная говорить, кружащая в неистовом танце, кровь, пузырящаяся на содрогающихся губах, закатившиеся глаза, взмахивающие, как сломанные кости невидимых крыльев, руки. Я поклялся навсегда скрыть правду как от Луи де Пуант дю Лака, так и от тех, кто будет задавать вопросы. Пусть лучше думают, что я приговорил ее к смерти, не попытавшись устроить ей побег как от вампиров из Театра, так и от злосчастной дилеммы ее маленькой, соблазнительной, плоскогрудой оболочки с шелковой кожей. После провала моей бойни она не годилась для освобождения; она напоминала преступницу, отданную на расправу палачу, способную лишь горько и мечтательно улыбаться, пока ее, несчастную, измученную, ведут к последнему кошмару — на костер. Она была безнадежным пациентом в пропахшей антисептиками палаты для смертника в современной больнице, высвободившимся наконец из рук молодых, чрезмерно рьяных врачей, оставивших призрак на белой подушке в покое. Хватит. Я не хочу это воскрешать. И не буду. Я никогда ее не любил. Я не умел. Я выполнял свой план с леденящей душу отрешенностью и с дьявольским прагматизмом. Осужденная, тем самым лишившись права считаться кем‑то или чем‑то, она стала идеальным образцом для моей прихоти. В этом‑то и был самый ужас, тайный ужас, который затмил всякую веру, к которой я мог бы обратиться в разгар моих экспериментов. Так что тайна осталась со мной, с Арманом, свидетелем веков невыразимой, утонченной жестокости, эта история не подходила для нежных ушей охваченного отчаянием Луи, который никогда бы не вынес таких описаний ее деградации или страданий, который в душе так и не смог пережить ее смерть, жестокую саму по себе. Что касается остальных, моей глупой, циничной стаи, так похотливо подслушивавшей крики, доносящиеся из‑за моих дверей, возможно, догадавшихся о степени моего неудачного колдовства, эти вампиры погибли от руки Луи. Весь театр поплатился за его горе и ярость, наверное, по справедливости. Не мне судить. Я не любил тех циничных французских лицедеев‑декадентов. Те, кого я любил, те, кого я мог бы полюбить, находились, за исключением Луи де Пуант дю Лака, вне пределов досягаемости. Я получу Луи, таков был мой вердикт. Больше мне никто не был нужен. Поэтому я не стал вмешиваться, когда Луи испепелил Собрание и печально известный театр, напав на него, рискуя собственной жизнью, с огнем и с косой, в час рассвета. Почему же он согласился пойти со мной? Почему он не сторонился того, кого винил в смерти Клодии? «Ты был их главой; ты мог бы их остановить». Он сказал мне эти самые слова. Почему мы столько лет скитались вместе, скользя, как элегантные фантомы, в бархатном и кружевном саване, добравшись до кричащих электрических огней и электронного шума современной эпохи? Он остался со мной, потому что у него не было выбора. Только так он мог продолжать жить, а для смерти у него никогда не хватало мужества, и никогда не хватит. Поэтому он терпел потерю Клодии, как я терпел века подземелий и годы мишурных бульварных спектаклей, но со временем он все‑таки научился быть один. Луи, мой спутник, с иссохшей волей, напоминавший прекрасную розу, мастерски дегидрированную в песке, чтобы она сохранила свои пропорции, нет, даже свой запах, даже свою окраску. Сколько бы крови он ни пил, сам он становился сухим, бессердечным, чужим для самого себя и для меня. Прекрасно понимая ограниченность моего извращенного духа, он забыл обо мне задолго до того, как отпустил меня, но и кое‑чему у него научился. Некоторое время, испытывая по отношению к миру благоговение и замешательство, я тоже жил один — наверное, впервые я остался по‑настоящему один. Но сколько каждый из нас может прожить без общества? Со мной в самый черный час всегда была древняя монахиня Старых Обычаев, Алессандра, или, по крайней мере, болтовня тех, кто считал меня маленьким святым. Почему же сейчас, в последнее десятилетие двадцатого века, мы ищем общества друг друга хотя бы для того, чтобы обменяться несколькими словами или изъявлениями участия? Почему мы собрались здесь, в старом, пыльном монастыре, где столько пустых комнат с кирпичными стенами, оплакивать Вампира Лестата? Почему самые древнейшие из нас пришли сюда своими глазами взглянуть на свидетельство его недавнего устрашающего поражения? Мы не выносим одиночества. Мы не можем его пережить, как древние монахи, люди, отказывавшиеся от всего остального во имя Христа, тем не менее собирались в братства, чтобы быть рядом друг с другом, пусть даже они навязывали себе жесткие правила жизни в уединенных кельях и нерушимого молчания. Они не переносили одиночества. Мы остаемся слишком похожими на людей; мы все‑таки слеплены по образу и подобию Творца, а что мы можем сказать о нем с уверенностью? Только то, что чем бы они ни был — Христом, Яхве, Аллахом, он создал нас, не так ли, потому что даже он в своем бесконечном совершенстве не смог выносить одиночество. Со временем у меня, естественно, родилась новая любовь, любовь к смертному мальчику Дэниелу, которому Луи излил свою историю, опубликованную под абсурдным названием «Интервью с вампиром», которого я впоследствии сделал вампиром по тем же причинам, что и Мариус сделал вампиром меня: этот мальчик, мой верный смертный спутник, лишь временами превращавшийся в невыносимого зануду, должен был умереть. В самом по себе создании Дэниела никакой тайны нет. Одиночество неизбежно заставляет нас совершать подобные поступки. Но я твердо верил, что наши создания всегда будут презирать нас за это. Не могу утверждать, будто я никогда не презирал Мариуса за то, что он создал меня, за то, что не вернулся доказать мне, что он пережил ужасный огонь, разожженный Римским Собранием. Я предпочел искать Луи, чем создавать новых вампиров. И создание Дэниела наконец‑то убедило меня, что мои страхи были оправданы. Дэниел, пусть он жив и странствует, пусть он вежлив и мягок, выносит мое общество не больше, чем я его. Вооруженный моей могущественной кровью, он может справиться с любым, у кого хватит глупости прервать его планы на вечер, на месяц, на год, но не может постоянно переносить мое общество; я тоже. Я превратил Дэниела из мрачного романтика в настоящего убийцу; я вселил в клетки его нормальной крови тот ужас, который, как он воображал, он прекрасно воспринимает во мне. Я ткнул его лицом в плоть первой юной невинной жертвы, которую ему пришлось разорвать, чтобы утолить неизбежную жажду, и тем самым рухнул с пьедестала, куда он возвел меня в своем ненормальном, богатом, неистово поэтичном и буйном смертном воображении. Но потеряв Дэниела, или приобретя Дэниела в качестве своего сына, я обрел остальных, я потерял его как смертного любовника и постепенно начал с ним расставаться. Я обрел остальных, потому что по причинам, которые я не могу объяснить ни себе, ни другим, я образовал новое Собрание, занявшее место Парижского Собрания и Театра Вампиров, на сей раз укрытием ему послужило шикарное современное строение, где нашли убежище самые древние, самые образованные, самые выносливые представители нашего рода. Оно напоминало пчелиные соты, но соты эти состояли из роскошных покоев, скрытых в глубине этого самого умело замаскированного из зданий — современного курортного отеля и торгового центра, больше похожего на дворец, выстроенного на острове у побережья Майами, Флорида, на острове, где никогда не гасят огни, где никогда не смолкает музыка, на острове, куда тысячами стекаются с материка на маленьких катерах мужчины и женщины, чтобы просмотреть содержимое дорогих бутиков или же заняться любовью в богатых, декадентских, великолепных и неизменно модных гостиничных апартаментах и номерах попроще. «Остров Ночи» был моим творением — собственная площадка для вертолетов, бухта, тайные незаконные казино, его спортивные залы с зеркальными стенами и подогреваемые бассейны, его хрустальные фонтаны, его серебряные эскалаторы, его торговый центр с умопомрачительными товарами, его бары, кабачки, комнаты отдыха и театра, где я, нарядившись в элегантную бархатную куртку, узкие холщовые штаны и плотные темные очки, каждую ночь подстригая волосы (так как они ежедневно вырастают до той длины, какой они были в эпоху Возрождения), мог спокойно и анонимно купаться в тихом, ласкающем бормотании окружающих смертных, выискивая, когда меня обуревала жажда, того единственного человека, который по‑настоящему ждал встречи со мной, того единственного человека, который по причинам, связанным со здоровьем, бедностью, здравостью или слабостью рассудка, хотел попробовать погрузиться в уступчивые объятья смерти, чтобы та высосала из него всю кровь и всю жизнь. Я не ходил голодным. Я бросал свои жертвы в глубокие, теплые, чистые воды Карибского моря. Я открыл двери для всех бессмертных, кто вытирал перед входом ноги. Словно вернулись прежние дни в Венеции, когда палаццо Бьянки было открыто для всех и каждого, для дам и господ, для художников, поэтов, мечтателей и прожектеров, кто только осмеливался ей представиться. Но нет, они не вернулись. Чтобы разогнать собрание Острова Ночи, не потребовалось кучки разбойников в черных одеждах. Те, кто ненадолго притаились на острове, просто разбрелись в разные стороны. Вампирам не особенно требуется общество других вампиров. Да, они стремятся к любви других бессмертных, постоянно стремятся, она нужна им, нужны глубокие узы верности, неизбежно сковывающие тех, кто отказывается становиться врагами. Но общество им не требуется. И мои потрясающие гостиные со стеклянными стенами на Острове Ночи быстро опустели, причем сам я задолго до этого начал уходить на недели и даже на месяцы. Он до сих пор существует, Остров Ночи. Он есть, и иногда я сам возвращаюсь туда, и нахожу там какого‑нибудь одинокого бессмертного, кто, как говорится в современном мире, вписался, чтобы посмотреть, как дела у остальных, или же у другого случайного гостя. Знаменитое предприятие я продал за целое состояние, по понятиям смертных, но сохранил за собой четырехэтажную виллу (частый клуб под названием Иль Вилладжио), где имеются глубокие подземные склепы, открытые для любого представителя нашего рода. Любого. Их не так много. Но я расскажу тебе о них. Расскажу о тех, кто продержался столетиями, кто возник на поверхности после нескольких веков таинственного отсутствия, кто откликнулся, чтобы быть зачисленным в неписаную перепись современных Живых Мертвецов. Прежде всего, это Лестат, автор четырех книг о своей жизни и похождениях, включающих в себя все, что даже теоретически можно захотеть узнать о нем и о некоторых из нас. Лестат, вечный скиталец и смеющийся ловкач. Шести футов ростом, он был превращен в вампира в возрасте двадцати лет; огромные теплые голубые глаза, густые ярко‑золотистые волосы, квадратный подбородок, великодушный, прекрасной формы рот и кожа, потемневшая от пребывания на солнце, убившем бы более слабого вампира, дамский угодник, фантазия Оскара Уайльда, зеркало моды, периодически — самый наглый и пренебрегающий всеми авторитетами грязный бродяга, одиночка, странник, разбивающий сердца, всезнайка, прозванный моим господином «беспризорным принцем» — да, представь себе, моим Мариусом, да, моим Мариусом, кто на самом деле пережил пожарище, устроенное Римским Собранием, — прозванный Мариусом «беспризорным принцем», хотя при чьем дворе, по какому Божественному праву, какой королевской крови, хотел бы я знать. Лестат, напичканный кровью древнейших, кровью самой Евы нашего рода, пережившей свой потерянный рай на пять‑семь тысячелетий, настоящий кошмар, выросший из обманчиво поэтического титула «Королевы Акаши из Тех, Кого Нужно Хранить», чуть было не уничтоживший мир. Неплохой друг. Лестат, ради него я мог бы отдать свою собственную бессмертную жизнь, бывали времена, когда я добивался его любви и умолял его стать моим спутником, он сводит меня с ума, завораживает и невыносимо раздражает, без него я не могу существовать. И хватит о нем. Луи де Пуант дю Лак, которого я уже описал выше, но чей образ всегда приятно вызвать в памяти: худощавый, несколько ниже его создателя Лестата, черные волосы, мрачный, белая кожа, потрясающе длинные и изящные пальцы, его шаги всегда беззвучны. Луи, в чьих зеленых глазах сквозит душа и отражается терпеливое горе, у кого тихий голос, кто похож на человека, слаб, поскольку прожил всего двести лет, кто не владеет ни телепатией, ни левитацией, кто не умеет налагать чары, разве что по случайности, что бывает необычайно весело, бессмертный, в которого влюбляются смертные. Луи, убивающий всех подряд, хотя он слишком слаб, чтобы рисковать смертью жертвы у себя на руках, не имеющий гордыни и тщеславия, заставивших бы его создать иерархию специально отобранных жертв, таким образом, убивающий каждого, кто попадается ему на пути, вне зависимости от возраста, физических достоинств или благ, дарованных природой или судьбой. Луи, смертоносный и романтичный вампир, из тех созданий ночи, что таятся в темных уголках оперного театра, слушая, как Королева Ночи Моцарта исполняет свою пронзительную и неотразимую песню. Луи так никуда и не исчез, о нем всегда все знают, его легко выследить и легко бросить, Луи, отказывающийся создавать новых вампиров после трагических ошибок с его прежними детьми, Луи, оставивший позади поиски Бога, дьявола, истины и даже любви. Пленительный пыльный Луи, читающий при свече Китса. Луи, стоящий под дождем на скользкой пустынной центральной улице, наблюдающий, как на телеэкране в витрине магазина блистательный молодой актер Леонардо Ди Каприо в роли шекспировского Ромео целует свою нежную, милую Джульетту (Клер Дэйнз).

Габриэль. Она никуда не исчезла. Она была с нами на Острове Ночи. Все ее терпеть не могут. Она мать Лестата, она бросает его на столетия, ей почему‑то никогда не удается расслышать неизбежные периодические отчаянные призывы Лестата о помощи, которые она хотя и не в состоянии принять, будучи его созданием, она вполне могла бы узнать из мыслей других вампиров, горящих от новостей по всему миру, когда Лестат попадает в неприятности. Габриэль, она на него ужасно похожа, только она женщина, настоящая женщина — то есть, у нее более резкие черты лица, тонкая талия, пышная грудь, в высшей степени противное и нечестное милое выражение глаз, она потрясающе выглядит в черном бальном платье с распущенными волосами, но чаще надевает пыльный бесполый чехол из мягкой кожи или хаки, неутомимый путешественник и настолько коварный и хладнокровный вампир, что она уже забыла, каково быть человеком или испытывать боль. Я‑то думаю, что она забыла об этом в одну ночь, если вообще когда‑то помнила. В смертной жизни она была из тех, кто без конца недоумевает — что это все так суетятся? Габриэль, с низким голосом, бессознательно жестокая, ледяная, недоступная, неспособная давать, бродяга снежных лесов дальнего севера, убийца гигантских белых медведей и белых тигров, равнодушная легенда диких племен, она чем‑то ближе к доисторической рептилии, чем к человеку. Разумеется, красавица, с густой косой, переброшенной на спину, почти царственная в шоколадного цвета кожаной куртке для сафари и в маленьком тропическом шлеме с сутулыми полями, крадущийся, быстрый убийца, безжалостное, на вид задумчивое, но бесконечно скрытное существо. Габриэль, практически бесполезная для всех, кроме себя самой. Когда‑нибудь она, полагаю, кому‑нибудь что‑нибудь скажет.

Пандора, дитя двух тысячелетий, спутница моего возлюбленного Мариуса за двести лет до моего рождения. Богиня из окровавленного мрамора, могущественная красавица и глубочайшая, древнейшая душа Римской Италии, обладающая горячим нравственным духом старого класса сенаторов из величайшей империи в этом мире. Я ее не знаю. Ее овальное лицо мерцает под вуалью волнистых коричневых волос. Она кажется слишком прекрасной, чтобы причинить кому‑нибудь вред. У нее нежный голос, невинные умоляющие глаза, безупречное лицо, мгновенно реагирующее на обиду и теплеющее от сопереживания, настоящая загадка. Не представляю себе, как Мариус мог ее оставить. В короткой рубашке из тонкого, как паутина, шелка, с браслетом‑змейкой на обнаженной руке, она — предмет вожделения смертных мужчин и зависти смертных женщин. В длинных же скрывающих тело узких платьях она привидением движется по комнатам, словно они нереальны, а она, призрак танцовщицы, ищет подходящую обстановку, доступную только ей. Ее сила, безусловно, равна силе Мариуса. Она пила из райского источника — то есть, кровь Королевы Акаши. Она силой мысли умеет воспламенять сухие хрустящие предметы, подниматься в воздух и исчезать в черном небе, убивать молодых вампиров, если они представляют для нее угрозу, но одновременно она выглядит совершенно безвредной, бесконечно женственной, хотя и равнодушной к вопросам пола, болезненно бледной и несчастной женщиной, которую мне хотелось бы заключить в объятья.

Сантино, старый римский святой. Он добрел до катастроф современной эпохи, не запятнав своей красоты — прежние широкие плечи, сильная грудь, побледневшая от трудов волшебной крови оливковая кожа, черные вьющиеся волосы, которые он часто состригает на закате, наверное, для сохранения инкогнито, не выставляется напоказ, неизменно одевается в черное. Он ни с кем не разговаривает. Он молча смотрит на меня, словно мы никогда не разговаривали друг с другом о теологии и мистицизме, словно он не разрушал моего счастья, не сжег дотла мою юность, не довел моего создателя до выздоровления длиной в сто лет, не отнял у меня всякой поддержки.

Возможно, он воображает, что мы с ним — товарищи по несчастью, жертвы могущественной интеллектуальной морали, увлеченности концепцией цели, двое погибших, ветераны общей войны. Подчас он выглядит сварливым и даже злобным. Ему многое известно. Он не недооценивает силу древнейших, которые, остерегаясь оставаться незамеченными обществом, как в прошедшие века, с удивительной легкостью появляются среди нас. Он смотрит на меня пристальными пассивными черными глазами. Тень его бороды, навеки запечатленная крошечными сбритыми волосками, врезавшимися в кожу, по‑прежнему только добавляет ему красоты. Он в любом отношении мужчина, жесткая белая рубашка открыта у горла, частично обнажая покрывающие его грудь густые черные завитки, и та же соблазнительная черная шерсть покрывает открытую для глаз плоть его рук повыше запястий. Он предпочитает узкие, но плотные черные пиджаки с лацканами из кожи или меха, невысокие черные машины, развивающие двести миль в час, золотые зажигалки, от которых несет горючей жидкостью — он без конца зажигает их полюбоваться огоньком. Где он живет и когда проявится, никто не знает.

Сантино. Больше мне о нем ничего не известно. Мы, как джентльмены, выдерживаем дистанцию. Подозреваю, что на его долю выпали ужасные страдания; я не стремлюсь разбить сияющий черный панцирь его выдержки, чтобы обнаружить под ним страшную кровавую трагедию. Узнать Сантино я всегда успею. Теперь же для самых девственных моих читателей я опишу, каким стал мой господин, Мариус. Теперь нас разделяет столько времени и опыта, что между нам как будто легла ледяная пропасть, и мы только смотрим друг на друга через блестяще белую непреодолимую пустыню, только и способные, что разговаривать усыпляюще вежливыми голосами, ужасно воспитанно, я, на вид совсем юное существо, слишком симпатичное для непостоянства во мнениях, и он, неизменно искушенный в светских делах, исследователь настоящего, философ века, знаток этики тысячелетия, историк во все времена. Он ходит, выпрямившись во весь рост, как всегда, великолепный, но в более сдержанной манере двадцатого века, шьет верхнюю одежду из старинного бархата как смутный намек на великолепие его былых одеяний. Теперь он иногда стрижет длинные развевающиеся золотые волосы, которыми так гордился в Венеции. Он всегда быстро соображает и быстро отвечает, стремится к разумным решениям, обладает бесконечным терпением и неутолимым любопытством, отказывается отречься от судьбы как своей, так и нашей, так и мировой. Никаким знаниям не под силу его победить; закаленный огнем и временем, он слишком силен до технологических кошмаров или научных чар. Ни микроскопы, ни компьютеры не поколебали его веры в бесконечность, пусть даже когда‑то его строгие подопечные — Те, Кого Нужно Хранить, вселявшие столько надежд на обретение искупления — давно уже свергнуты с устаревших тронов. Я боюсь его. Не знаю, почему. Возможно, я боюсь его, потому что могу полюбить его снова, а полюбив его, я стану у него учиться, а начав у него учиться, я опять превращусь в его верного ученика во всех отношениях и выясню, что его терпение не заменит страсти, так давно горевшей в его глазах.

Мне нужна эта страсть! Нужна. Но хватит о нем. Две тысячи лет он прожил, безо всяких угрызений совести вливаясь в поток человеческой жизни, доводя до совершенства искусство быть человеком, сквозь все века пронося с собой красоту и тихое достоинство эпохи Августа кажущегося неуязвимым Рима, где он и родился. Есть и другие, сейчас их нет рядом со мной, но они побывали на Острове Ночи, мы с ними еще встретимся. Это древние близнецы, Мекаре и Маарет, хранительницы первобытной крови, из которой проистекает наша жизнь, корни лозы, так сказать, на который мы цветем с таким упрямством и с такой красотой. Это наши Королевы Проклятых. Потом, есть еще и Джесс Ривз, вампирка двадцатого века, созданная Маарет, самой древней и, благодаря этому, — ослепительное чудовище, я ее не знаю, но восхищаюсь ей. Принеся с собой в мир Живых мертвецов несравнимые познания в области истории, паранормальных явлений, философии и языков, она остается загадкой. Поглотит ли ее огонь, как многих из тех, кто, устав от жизни, не смог справиться с бессмертием? Или ее разум двадцатого века даст ей радикальную, нерушимую броню против немыслимых перемен, лежащих, как мы знаем, впереди? Да, бывают и другие. Скитальцы. Время от времени я слышу их голоса в ночи. Вдали от нас встречаются те, кто ничего не знает о наших традициях, кто, из враждебного отношения к нашим произведениям и, забавляясь нашими выходками, прозвали нас «Собранием Красноречивых», странные «незарегистрированные» существа различного возраста, силы, позиций, кто, иногда приметив в кипе книг в бумажных обложках экземпляр «Вампира Лестата», раздирают его в клочья и своими сильными презрительными руками стирают в порошок.

Возможно, в непредсказуемом будущем они добавят к нашим нескончаемым хроникам своей мудрости или своего разума. Кто знает? Пока что, перед тем, как продвигаться в моей повести дальше, необходимо ввести еще одного персонажа. Это ты, Дэвид Талбот, кого я практически не знаю, ты, кто с неистовой скоростью записывает каждое слово, неторопливо выходящее из моего рта, пока я сам наблюдаю за тобой, до некоторой степени загипнотизированный самим фактом того, что эти переживания, так долго горевшие в моей душе, теперь переносятся на бесконечную, по‑видимому, страницу. Кто ты, Дэвид Талбот, потративший на смертное образование более семи десятков лет, ученый, глубокая, любящая душа? Кто в тебе разберется? Такого, каким ты был при жизни, умудренного летами, закаленного повседневными бедствиями и всеми четырьмя временами года земного существования человека, тебя переместили, не задев ни памяти, и знаний, в потрясающее тело молодого мужчины. А потом это тело, идеальный кубок для Грааля твоей личности, кто отлично знал цену обоим элементам, подверглось нападению со стороны твоего ближайшего друга, любящего изверга, вампира, пожелавшего, чтобы ты присоединился к его путешествию по вечности, дашь ты ему разрешение или не дашь, нашего любимого Лестата.

Не представляю себе такого насилия. Я слишком далек от человечества, поскольку так и не дорос до взрослого мужчины. В твоем лице я вижу энергию в красоту англо‑индуса с кожей цвета темного золота, чьим телом ты пользуешься в свое удовольствие, а в твоих глазах — спокойствие и до опасного закаленную душу старика. У тебя черные волосы, мягкие, искусно подстриженные за ушами. Ты одеваешься с небывалым тщеславием, укрощенным стойким британским чувством стиля. Ты смотришь на меня так, как будто твое любопытство может застать меня врасплох, хотя это чрезвычайно далеко от истины. Тронь меня, и я тебя уничтожу. Мне все равно, сколько у тебя сил, какую кровь передал тебе Лестат. Я знаю больше тебя. То, что я показываю тебе свою боль, отнюдь не означает, что я тебя люблю. Я делаю это ради себя и ради других, ради самой мысли о других, ради тех, кому это интересно, и ради своих смертных, ради тех, кого я так недавно взял под свое крыло, двух дорогих мне существ, которые превратились в заводной механизм моей способности жить. Симфония для Сибель. С тем же успехом я мог бы дать своей исповеди и такое название. И стараясь изо всех сил для Сибель, я стараюсь и для себя. Может быть, хватит прошлого? Может быть, хватит пролога к тому моменту в Нью‑Йорке, когда я увидел на покрывале лицо Христа? Здесь начинается заключительная глава моей книги. Это все. Остальное ты знаешь, что здесь еще требуется? Хватит и беглого мучительного описания событий, что привели меня сюда. Давай будем друзьями, Дэвид. Я не собирался говорить тебе такие ужасные вещи. У меня болит сердце. Ты нужен мне, хотя бы для того, чтобы сказать — продолжай скорее. Помоги мне своим опытом? Неужели не хватит? Можно, я продолжу? Я хочу послушать, как играет Сибель. Я хочу поговорить о моих любимых спасителях. Я не могу измерить пропорции своего рассказа. Я только знаю, что готов… Я достиг дальнего конца Моста вздохов. Да, это мне решать, ты прав, и ты ждешь, чтобы записать, что я скажу. Так давай перейдем к покрывалу.

Позволь мне перейти к лику Христа, как будто я иду в гору по Подолу давней снежной зимой, под сломанными владимирскими башнями, чтобы отыскать в Печерской лавре краски и доску, на которой оно на моих глазах обретет форму: его лик. Христа, да, Спасителя, Бога во плоти — еще раз.

## ЧАСТЬ III

## АПАССИОНАТА

### 17

Я не хотел к нему идти. Стояла зима, я удобно устроился в Лондоне, без конца посещая театры, чтобы посмотреть пьесы Шекспира и читая целыми ночами его пьесы и сонеты. Шекспир занимал все мои мысли. Его подарил мне Лестат. И когда я становился по горло сыт отчаянием, я открывал книги и начинал читать. Но меня позвал Лестат. Лестат испугался, во всяком случае, он так утверждал. Я не мог не пойти. Когда он в последний раз попал в неприятности, у меня не было возможности примчаться к нему на помощь. Это отдельная история, но совсем не такая важная, как та, что я сейчас рассказываю. Теперь же я знал, что мое с такими трудами завоеванное душевное спокойствие разобьется вдребезги от простого столкновения с ним, но он хотел, чтобы я пришел, так что я пошел. Сначала я застал его в Нью‑Йорке, хотя он и не подозревал об этом; при всем желании он не смог бы завести меня более в … буран. В ту ночь он убил смертного, жертву, в которую он успел влюбиться, по своему недавно заведенному обычаю выбирая прославленных мастеров изощренного преступления и страшного убийства и преследуя их вплоть до ночи пиршества. Так что же ему понадобилось от меня, недоумевал я. Ты был рядом, Дэвид. Ты мог ему помочь. Такое складывалось впечатление. Поскольку он — твой создатель, ты не услышал его призыв напрямую, но он как‑то добрался до тебя, и вы сошлись вдвоем, вполне порядочные джентльмены, чтобы низким неестественным шепотом обсудить последние страхи Лестата. В следующих раз я нагнал его в Новом Орлеане. Он изложил мне все простыми словами. Ты тоже там был. К нему явился дьявол в человеческом обличье. Этот дьявол умел изменять форму, в одну секунду — жуткое, отвратительное чудовище с перепончатыми крыльями и копытами на ногах, в другую — заурядный человек. Лестат сходил с ума от этих историй. Дьявол сделал ему ужасное предложение — чтобы он, Лестат, стал помощником дьявола на службе у Бога. Помнишь, как спокойно я отреагировал на его историю, на его вопросы, на мольбы дать ему совет? О, я твердо сказал ему, что безумием было бы последовать за этим духом, поверить, что бесплотная тварь решилась раскрыть ему истину. Но только теперь ты знаешь, какие раны открыл он своей странной и удивительной басней. Значит, дьявол сделает его помощником в аду и даст таким образом возможность служить Богу? Я чуть было не рассмеялся или не заплакал на месте, бросив ему в лицо тот факт, что я сам когда‑то считал себя слугой зла и дрожал в лохмотьях, преследуя мои жертвы парижской зимой, и все — в честь и во славу Господа. Но он и сам все знал. Бессмысленно было дальше его мучить, отталкивать его от прожекторов собственной сказки, которые необходимы Лестату — яркой звезде. Мы культурными голосами разговаривали подо мхом, свисавшим с дубов. Мы с тобой умоляли его остерегаться. Естественно, он проигнорировал все наши слова. Во все это была впутана очаровательная смертная, Дора, проживавшая тогда в этом самом здании, в старом кирпичном монастыре, дочь человека, которого преследовал и убил Лестат. Когда он связал нас обязательством последить за ней, я разозлился, но лишь умеренно. Я и сам влюблялся в смертных. Мне есть, что рассказать. Я и сейчас влюблен в Сибель и Бенджамина, кого я называю своими детьми, а в смутном прошлом я становился тайным трубадуром для других смертных. Хорошо, он влюбился в Дору, он преклонил голову на ее груди, он вожделел крови из ее чрева, что не составило бы для нее потери, он был влюблен без памяти, сходил с ума, его подгонял призрак ее отца, с ним флиртовал сам Князь тьмы. А она, что мне сказать о ней? Что за лицом послушницы в монастыре скрывалась сила Распутина, что она на самом деле была не мистиком, а практикующем теологом, вождем‑проповедником, не провидцем, что ее церковные амбиции свели бы на нет амбиции Святого Петра и Святого Павла вместе взятых, и что она, конечно, походила на любой цветок, сорванный Лестатом в Диком Саду этого мира: в высшей степени утонченное и привлекательное создание, великолепный образец создания Господа — волосы цвета воронова крыла, надутый ротик, фарфоровые щеки и стремительные ноги нимфы. Конечно, я понял, что он покинул наш мир, в тот самый момент, когда это произошло. Я почувствовал. Я уже был в Нью‑Йорке, недалеко от него, я знал, что ты тоже рядом. Оба мы собирались по возможности не спускать с него глаз. Потом наступил момент, когда его поглотил буран, когда его высосали из земной атмосферы, словно его никогда и не было. Поскольку он — твой создатель, ты не услышал, как при его исчезновении опустилась завеса полного безмолвия. Ты не представлял себе, насколько всецело его оторвали от каждой крохотной, но материальной мелочи, которая раньше откликалась эхом на биение его сердца. Я знал, это понял, и, наверное, чтобы нам обоим отвлечься, я предложил пойти к измученной смертной, наверняка потрясенной смертью отца от рук красивого блондина, чудовища, жадно лакающего кровь, превратившего ее в своего друга и в свое доверенное лицо. Нам не составило труда помогать ей в те краткие, но богатые событиями ночи, когда на один кошмар нагромождался другой, когда обнаружилось убийство ее отца, когда его подлая жизнь в мгновения ока по волшебству прессы превратилось в центр сумасбродных разговоров по всему миру. Кажется, сто лет прошло, хотя на самом деле это было совсем недавно, с тех пор, как мы двинулись на юг, в эти комнаты, к наследству ее отца, состоявшему из распятий и статуй, из икон, с которыми я обращался так холодно, словно мне и не доводилось любить эти сокровища. Кажется, сто лет прошло с тех пор, как я оделся ради нее поприличнее, отыскав в одном модном магазине на Пятой авеню хорошо пошитый пиджак их старинного красного бархата, рубашку поэта, как из сейчас называют, из накрахмаленного хлопка, с изобилием болтающихся кружев, а для завершения картины — зауженные брюки из черной шерсти и сверкающие сапоги, застегивающиеся на лодыжках, и все ради того, чтобы проводить ее в огромный, переполненный людьми морг, на опознание отрубленной головы ее отца под лучами флуоресцентных ламп. Что приятно в последнем десятилетии двадцатого века — мужчина любого возраста может носить волосы какой угодно длины. Кажется, сто лет прошло с тех пор, как я расчесал их, густые, вьющиеся, для разнообразия — чистые, специально ради нее. Кажется, сто лет прошло с тех пор, как мы верно стояли рядом с ней, даже поддерживали ее, длинношеюю ведьму‑чаровницу с короткими волосами, пока она оплакивала смерть своего отца и засыпала нас лихорадочными, маниакально умными и бесстрастными вопросами по поводу нашей зловещей природы, как будто интенсивный курс по анатомии вампира каким‑то образом сможет завершить цикл кошмаров, угрожавших ее безопасности и здравости ее рассудка, и как‑нибудь вернуть ее порочного, бессовестного отца. Нет, на самом деле она молилась не о возвращении Роджера; слишком слепо она верила во всеведение и милосердие Господа. К тому же, вид отрубленной человеческой головы вызывает определенный шок, пусть даже она заморожена, да и какая‑то собака успела пожевать Роджера прежде, чем его обнаружили, и, учитывая строгое правило современной криминалистики «не прикасаться», он даже на меня произвел впечатление. (Я помню, что помощница коронера душевно сказала мне, что я ужасно молод для подобного зрелища. Она решила, что я — младший брат Доры. Что за милая женщина! Может быть, стоит время от времени совершать набеги на официальный смертный мир, чтобы получить прозвище «настоящего комедианта» вместо «ангела Ботичелли» — ярлык, приклеившийся ко мне в царстве Живых мертвецов.) Дора мечтала о возвращении Лестата. Что еще дало бы ей вырваться из‑под власти наших чар, если бы не последнее благословение самого коронованного принца? Я стоял у темных окон квартиры высотного этажа, выглядывая на глубокие сугробы Пятой авеню, ждал и молился вместе с ней, жалея, что огромная земля лишилась моего старого врага, и в глубине своей безрассудной души считая, что тайна его исчезновения разрешится, как и любое из чудес, оставив нам грусть и небольшие потери, как остальные маленькие откровения, после которых я оставался точно таким же, как на протяжении всей жизни с той давней ночи в Венеции, когда нас разлучили с моим господином, и я просто научусь получше притворяться, будто я до сих пор жив. За Лестата я не особенно испугался. Я не возлагал на это приключение никаких надежд, я только ждал, что он рано или поздно появится и расскажет очередную фантастическую байку. Состоится типичный для Лестата разговор, поскольку никто не преувеличивает так, как он в рассказах о своих нелепейших приключениях. Я не говорю, что он не менялся телами с человеком, я знаю, что менялся. Я не говорю, что не он разбудил нашу вселяющую ужас богиню и мать, Акашу; я знаю, что он. Я не говорю, что не он растер в пыль наше старое суеверное Собрание в безвкусные годы, предшествовавшие Французской Революции. Я уже рассказывал. Но меня сводит с ума та манера, в какой он описывает все, что с ним приключилось, манера связывать один случай с другим, словно каждое из разрозненных неприятных событий на самом деле — звенья одной цепи, наделенной великим смыслом. Это не так. Это выходки. Он и сам знает. Но ему непременно нужно устроить бульварный спектакль, стоит ему ушибить палец. Джеймс Бонд вампиров, Сэм Спейд своих собственных книг! Рок‑певец, провывший на смертной сцене два часа кряду и сошедший со сцены с кучей пластинок, и по сию ночь подкармливающих его грязные банковские счета. У него настоящий дар устраивать из несчастья трагедию, прощать себе все на свете в каждом абзаце исповеди, выходящей из‑под его пера. Нет, я него не виню. Я не могу не злиться из‑за того, что он лежит здесь, в коме, на церковном полу, уставившись перед собой в самодостаточном молчании, не обращая внимания на созданных им вампиров, окружающих его по той же причине, что и я — они пришли посмотреть своими глазами, не изменила ли его кровь Христа, не превратился ли он в грандиозное свидетельство чудесного перехода в другую сущность. Но я уже скоро до этого дойду. Я додекламировался до того, что загнал себя в угол. Я знаю, почему я так его оскорбляю, почему испытываю такое облегчение, вбивая гвозди в его репутацию, почему стучу обоими кулаками по его величию. Он слишком многому меня научил. Он довел меня до этого самого момента, когда я стою здесь и диктую рассказ о своем прошлом, связно и спокойно, что ни за что не удалось бы мне до того, как я пришел ему на помощь в истории с его драгоценным Мемнохом‑дьяволом и его уязвимой маленькой Дорой. Двести лет назад он сорвал с меня все иллюзии, всю ложь, все оправдания, и в голом виде выставил меня на парижские мостовые, чтобы я искал путь к красоте звездного света, когда‑то мне знакомой и слишком мучительно потерянной. Но пока мы ждали его в красивой поднебесной квартире над собором Святого Патрика, я и понятия не имел, сколько еще ему предстоит с меня сорвать, и я ненавижу его хотя бы за то, что не представляю себе без него свою душу, и, будучи перед ним в долгу за все, что я есть, за все, что я знаю, я ничем не могу пробудить его из неподвижного сна.

Но — все по порядку. Что толку спускаться обратно в молельню, прикасаться к нему и умолять выслушать меня, когда он лежит, словно его действительно покинул рассудок, покинул и уже не вернется. Я не могу с этим смириться. И не смирюсь. Я потерял терпение; я потерял оцепенение, в котором находил прибежище. Это невыносимо… Но мне нужно продолжать рассказ. Нужно рассказать тебе, что случилось, когда я увидел покрывало, когда меня поразило солнце, и самое ужасное — что я увидел, когда наконец пришел к Лестату и приблизился к нему настолько, что смог выпить его кровь. Да, не сбиваться с курса. Теперь я понимаю, зачем он выстраивает цепь. Не из гордости, правда? Из необходимости. Нельзя рассказывать историю, не соединяя ее части друг с другом, а мы, бедные сироты уходящего времени, не знаем другого средства измерения, кроме последовательного. Упав в снежную черноту, в мир, который хуже вакуума, я ведь тоже потянулся за цепочкой? О Господи, чего бы я не отдал во время того ужасного вознесения, лишь бы ухватиться за металлическую цепь! Он вернулся так неожиданно — к тебе, к Доре, ко мне. На третье утро, незадолго до рассвета. Я услышал, как внизу, в стеклянной баше хлопнули двери, а потом раздался звук, звук, с каждым годом набирающий сверхъестественную силу, биение его сердца. Кто первым поднялся из‑за стола? Я застыл от страха. Он пришел так быстро, вокруг него вились дикие ароматы, запахи леса и сырой земли. Он пробивался через каждую преграду, словно за ним гнались те, кто похитил его, однако за ним так никто и не появился. Он проник в квартиру один, захлопнул за собой дверь и предстал перед нами в таком жутком виде, что я и представить себе не мог, никогда еще после его предыдущих поражений не видел я его таким убитым. С предельной любовью Дора побежала к нему, и с отчаянной, слишком человеческой потребностью он сжал ее так крепко, что я подумал — он ее раздавит.

— Милый, теперь все хорошо! — закричала она, стараясь, чтобы он ее понял. Но нам хватило и одного взгляда на него, чтобы понять — все только начинается, хотя перед лицом увиденного мы бормотали те же пустые слова.

### 18

Он вышел прямо из вихря. У него остался один ботинок, вторая нога была босой, пиджак изорвался, волосы спутались, утыканные колючками, сухими листьями и головками диких цветов. Он вцепился в плоский сверток сложенной ткани, прижимая ее к груди, как будто на нем была вышита судьба всего мира. Но что хуже всего, страшнее всего — с его прекрасного лица вырвали один глаз, и вампирские веки, обрамлявшие глазницу, морщились и дрожали, пытаясь закрыться, отказываясь признавать, что тело, на протяжении всей его вампирской жизни остававшееся безупречным, ужасным образом изуродовали. Я хотел обнять его. Я хотел успокоить его, сказать ему, что куда был он ни попал, что бы ни произошло, теперь он с нами, в безопасности, но он никак не мог утихомириться. Глубокое измождение избавило нас от неизбежного рассказа. Пора было укрыться от любопытного солнца в наших тайных уголках, придется ждать следующей ночи — тогда он выйдет к нам и расскажет, что случилось. Сжимая в руках сверток, отказываясь от помощи, он заперся наедине со своей раной. У меня не было выбора, пришлось его оставить. Опускаясь в то утро в свое убежище, обеспечив себе чистую современную темноту, я плакал и плакал от его вида, как маленький. Ну зачем я пришел ему на помощь? Почему мне пришлось стать свидетелем такого унижения, когда мою любовь к нему скрепило столько болезненных десятилетий? Однажды, сто лет назад, он пришел, спотыкаясь, в Театр Вампиров по следам своих детей‑ренегатов, кроткого сентиментального Луи и обреченной девочки, и я не пощадил его, как бы ни испещряли его кожу шрамы после глупого и неловкого покушения, совершенного Клодией. Любить его я любил, да, но то была телесная рана, излечимая с помощью его порочной крови, и наше старое знание гласило, что в исцелении он приобретет большую силу, чем ту, что способно дать безмятежное время. Но сейчас в его измученном лице я видел опустошенную, разоренную душу, а смотреть на единственный голубой глаз, так ярко сверкавший на его испещренном полосами и несчастном лице, было невыносимо. Я не помню, чтобы мы разговаривали, Дэвид. Я помню только, что наступление утра заставило нас побыстрее разойтись, и если ты тоже плакал, я этого не слышал, мне и в голову не пришло прислушаться. Что касается свертка в его руках, что это могло быть? Вряд ли я об этом задумывался. На следующую ночь… Когда на небо вскарабкалась темнота и на несколько драгоценных минут засияли звезды, прежде чем их скрыл унылый снег, он тихо вошел в гостиную. Он вымылся, оделся, его окровавленная раненая нога, несомненно, исцелилась. Он надел новые ботинки. Но ничто не могло уменьшить ту гротескную картину, что представляло собой его поцарапанное лицо, где шрамы, оставленные ногтями или когтями, окружали дыру между сморщенными веками. Он молча сел. Он посмотрел на меня, и его лицо озарилось слабой обаятельной улыбкой.

— Не бойся за меня, дьяволенок Арман, — сказал он. — Бойся за всех нас. Я теперь ничто. Я ничто.

Тихим голосом я прошептал ему свой план.

— Позволь мне выйти на улицу, позволь мне похитить у какого‑нибудь смертного, гнусного смертного, растратившего каждое физическое достоинство, данное ему Богом, позволь мне похитить для тебя глаз! Твоя кровь прильет к нему, и он оживет. Ты же знаешь. Ты сам однажды видел это чудо, у древней Маарет, в ее могущественной крови плавает пара смертных глаз, зрячих глаз! Я все сделаю. Всего одну минуту, и я принесу тебе глаз, я буду твоим врачом, я его вставлю. Ну пожалуйста.

Он только покачал головой. Он быстро поцеловал меня в щеку.

— Почему ты меня любишь после всего, что я с тобой сделал? — спросил он.

Нельзя было отрицать красоту его гладкой, без единой поры кожи, и даже темная щель пустой глазницы, казалось, буравила меня некой тайной силой, чтобы передать увиденное его сердцу.

Он был красив и весь светился, его лицо залил темноватый румянец, словно он увидел какую‑то великую тайну. — Да, это правда, — сказал он и заплакал. — Увидел, и я должен все вам рассказать. Поверьте мне, как верили в то, что видели вчера ночью своими глазами — запутавшиеся в моих волосах сорняки, порезы — посмотрите на мои руки, они затягиваются, но недостаточно быстро, — поверьте мне.

Тогда вмешался ты, Дэвид.

— Рассказывай, Лестат. Мы прождали бы тебя целую вечность, если бы понадобилось. Рассказывай. Куда тебя забрал этот демон, Мемнок? — Какой у тебя стал успокаивающий, уравновешенный голос, совсем как сейчас. Наверное, ты создан для этого, для аргументации, и отдан нам, если ты разрешишь мне сделать такое предположение, чтобы заставить увидеть свои катастрофы в новом свете современного сознания. Но для таких разговоров у нас еще будет много ночей. Пока что я вернусь к месту действия, где мы втроем уселись вокруг стеклянного стола в черных лакированных китайских креслах, и вошла Дора, моментально поразившись его присутствию, о чем и не подозревали ее смертные органы восприятия, хорошенькая, как картинка — короткие, блестящие, мошеннически черные волосы, подстриженные достаточно коротко, чтобы открыть взгляду хрупкую заднюю часть ее лебединой шеи, длинное податливое тело в свободном фиолетово‑красном платье без пояса, изящными складками прикрывающее ее маленькую грудь и тонкие бедра. Ну и ангел Господень, раздумывал я, наследница отрубленной головы короля наркобизнеса. На каждом шагу она проповедует свою доктрину, и каждый ее шаг мог бы заставить похотливых языческих богов ее канонизировать, причем с превеликой радостью. На бледной хорошенькой шейке она носила распятие, такое крошечное, что оно напоминало позолоченную мушку, подвешенную на невесомой цепочке, состоявшей из сплетенных феями миниатюрных звеньев. Что они теперь, священные предметы, с такой легкостью падающие на молочную грудь, если не рыночные безделушки? Безжалостные мысли, но я лишь равнодушно раскладывал по полочкам ее красоту. Ее вздымающаяся грудь, темная впадина, вполне заметная благодаря глубокому вырезу ее простенького темного платья, говорили о Боге и Божественном еще больше. Но величайшим ее украшением в тот момент служила печальная и страстная любовь к нему, отсутствие страха перед его изувеченным лицом, грация белых рук, вновь обнявших его, такая самоуверенность, такая благодарность, что его тело мягко подалось под ее руками. Я был так признателен, что она его любит.

— Значит, властелину лжи есть, что рассказать? — сказала она. Она не смогла побороть дрожь в голосе. — Значит, он забрал тебя в свой ад и отправил обратно? — Она взяла лицо Лестата обеими руками и развернула к себе. — Тогда расскажи нам, что такое этот ад, расскажи, почему нам следует бояться. Расскажи, почему боишься ты, но мне кажется, в твоем лице я вижу нечто большее, чем страх.

Он кивнул головой в знак согласия. Он оттолкнул китайское кресло и, скрещивая руки, зашагал по комнате — неизбежная прелюдия к рассказу.

— Выслушайте меня до конца, а уж потом судите, — объявил он, уставясь на нас, на троицу, собравшуюся вокруг стола, на взволнованную аудиторию, готовую сделать все, что бы он ни попросил. Его взгляд задержался на тебе, Дэвид, на тебе, на английском ученом в типично мужском твиде, кто, невзирая на слишком очевидную любовь, взирал на него критически, готовясь оценить его слова с присущей тебе мудростью. Он заговорил. Шли часы, а он все говорил. Шли часы, а слова изливались из него потоком, разгоряченные, поспешные, иногда натыкающиеся друг на друга, так что ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух, но он ни разу не сделал настоящей паузы, выливая на нас всю долгую ночь повесть о своем приключении. Да, дьявол по имени Мемнок отвел его в ад, но то был ад, созданный по плану Мемнока, чистилище, куда выбирались с их собственного согласия души всех, кто когда‑либо жил на земле, из вихря унаследовавшей их смерти. И в этом аду, в этом чистилище, оказавшись лицом к лицу с каждым из своих деяний, они узнавали самый чудовищный урок в мире — что нет конца последствиям любого совершенного поступка. Как убийца, так и мать, бездомные дети, убитые в невинном возрасте, солдаты, купающиеся в крови, все допускались в это страшное место, полное дыма и огня, но лишь для того, чтобы взглянуть на чужие зияющие раны, нанесенные их гневными или неразумными руками, чтобы вскрыть глубины чужих раненых ими душ и сердец! Любой ужас в этом месте становился иллюзией, но главным кошмаром была личность Бога во плоти, позволившего создать эту конечную школу для тех, кто хочет заслужить право на вход в его рай. Лестат увидел и это, небеса, миллион раз мелькавшие перед святыми и умирающими, вечно цветущие деревья и вечно благоуханные цветы, бесконечные хрустальные башни, населенные счастливыми, счастливыми существами, лишенными плоти, и, наконец, бесчисленные хоры поющих ангелов. Старая сказка. Слишком старая. Слишком много раз рассказывали эту сказку — о небесах с распахнутыми воротами, о Творце, озаряющем бесконечным светом тех, кто карабкался по мифической лестнице, чтобы навеки присоединиться к небесным придворным. Сколько смертных, пробуждаясь от сна, близкого к сну смерти, пытались описать те же самые чудеса! Сколько святых утверждали, что им удалось заметить эти неописуемые и вечные небеса? И как хитроумно этот дьявол, Мемнок, изложил свою ситуацию, умоляя о смертном сострадании к его греху — он и только он противостоял безжалостному и равнодушному Богу, моля его взглянуть сочувственным взором на плотскую расу существ, которые своей беззаветной любовью смогли породить души, заслуживающие его интереса? Так вот каким было падение Люцифера с неба, как утренней звезды — ангела, просившего за сынов и дщерей человеческих, ибо теперь они обладали ликами и сердцами ангелов.

— Дай им рай, Господи, дай, когда они научатся в моей школе любить каждое твое творение.

О, этого приключения хватило на целую книгу. «Мемнока‑дьявола» нельзя пересказать в нескольких несправедливых абзацах. Но вкратце именно это и обрушилось на мои уши, пока я сидел в промозглой нью‑йоркской квартире, то и дело поглядывая мимо неистовой, меряющей шагами комнату фигуры Лестата на белое небо, на нескончаемый снег, изгоняя за его громогласной повестью грохот далекого города и борясь с ужасным страхом, что по время кульминации его рассказа мне придется его разочаровать. Напомнить ему, что он всего лишь придал новую, аппетитную форму мистическим путешествиям тысячи святых. Значит, кольца вечного огня, описанных поэтом Данте в таких подробностях, чтобы читателям становилось дурно, искушавших даже деликатного Фра Анжелико написать место, где обнаженным, купающимся в пламени смертным, предназначалось страдать вечно, заменила школа. Школа, место надежды, надежды на искупление, может быть, настолько грандиозная, что в ней найдется место и для нас, для Детей Ночи, среди грехов которых насчитывается не меньше грехов, чем у древних ханов или монголов. О, как это мило — картина загробной жизни, ужасов естественного мира, освобожденного от мудрого, но далекого Бога, дьявольского безрассудства, переданной с небывалым умом. Если бы это было правдой, если бы все стихи и картины мира были лишь зеркалами столь обнадеживающего великолепия. Я мог бы поддаться печали; я мог бы расстроиться до такой степени, что повесил бы голову и не смотрел на него. Но один эпизод из его рассказа, эпизод, для него оказавшийся лишь мимолетной встречей, для меня возвышался над всем остальным, прицепился к моим мыслям; он продолжал, а я все не мог выбросить его из головы: он, Лестат, испил кровь самого Христа, направлявшегося на Голгофу. Он, Лестат, разговаривал с Богом во плоти, по собственной воле избравшего ужасную смерть на Голгофе. Он, Лестат, дрожащий, исполненный страха очевидец, оказался на узких пыльных улицах древнего Иерусалима и видел, как проходит по ним Господь, и наш Господь, Господь во плоти, с несущий на плечах привязанный ремнями крестам, подставил горло Лестату, избранному ученику. Ну и фантазия, просто безумие, а не фантазия. Я и не ожидал, что меня так заденет какая‑то часть его рассказа. Я не ожидал, что у меня будет гореть в груди, встанет комок в горле, не дающих выговорить ни слова. Это мне было не нужно. Единственное спасение для моего кровоточащего сердца крылось в мысли о том, как нелепо, как глупо, что в такой живописной картине — Иерусалим, пыльная улица, злая толпа, истекающий кровью Господь, избиваемый бичами, хромающий под тяжестью деревянного креста — нашлось место для старой милой легенды о женщине, протянувшей Христу покрывало, чтобы утереть его лицо и ослабить его страдания, тем самым навсегда получив его изображение. Не нужно быть ученым, Дэвид, чтобы знать — такие святые изобретались в последующих столетиях другими святыми как актеры и актрисы, изображавшие страсти Христовы в деревенском захолустье. Вероника! Вероника — само ее имя означает «подлинная икона». А наш герой, наш Лестат, наш Прометей, кому сам Бог протянул это покрывало, сбежал из чудовищного и грандиозного царства рая, ада и основ христианства с криками «Нет!» и «Не буду!» и вернулся, задыхаясь, пробежав, как безумец, под нью‑йоркским снегопадом, стремясь только к нам, повернувшись к ним спиной. У меня кружилась голова. В моей душе разразилась война. Я не мог на него смотреть. Он двигался дальше, вернувшись к разговору о сапфировых небесах и песне ангелов, споря с самим собой, с тобой, с Дорой, и ваша беседа начинала напоминать груду осколков. Я больше не мог. В нем — кровь Христа? Кровь Христа прошла через его губы, его нечистые губы, его губы Живого мертвеца, кровь Христа превратила его в чудовищный циборий? Кровь Христа?

— Дай мне выпить! — неожиданно крикнул я. — Лестат, дай мне выпить, дать мне выпить твоей крови, где есть и его кровь! — Я сам не верил, что говорю так серьезно, так неистово и отчаянно.

— Лестат, дай мне выпить! Дай мне найти его кровь как языком, так и сердцем. Ну пожалуйста, ты не откажешь мне в одной минуте интимности. А если это было Христом… Если это… — Я не смог закончить.

— Маленький глупый безумец, — сказал он. — Вонзив в меня зубы, ты узнаешь только то, что каждый из нас узнает, когда смотрит видения своих жертв. Ты узнаешь то, что я, как мне кажется, видел. Ты узнаешь, что в моих жилах течет моя кровь, это ты и сейчас знаешь. Ты узнаешь, что я верю, будто это был Христос, только и всего.

Он разочарованно покачал головой, окинув меня сердитым взглядом.

— Нет, я ее узнаю, — сказал я. Я поднялся из‑за стола, у меня тряслись руки. — Лестат, не откажи мне в одном‑единственном объятье, и я никогда больше за целую вечность ничего у тебя не попрошу. Дай мне приложить губы к твоему горлу, дай мне попробовать твой рассказ на вкус, ну же!

— Ты разобьешь мне сердце, дурачок, — сказал он со слезами на глазах. — Как всегда.

— Не суди меня! — закричал я.

Он продолжал, обращаясь ко мне одному, как мысленно, так и вслух. Я не знал, слышали ли его остальные. Но я слышал. И не забуду ни единого слова.

— Арман, а что, если это действительно кровь Христа, — спросил он, — а не частица какой‑то титанической лжи, что ты обретешь во мне? Ступай к ранней утренней мессе и схвати себе жертву из тех, кто выходит из‑за алтарной преграды! Прелестная охота, Арман — питаться исключительно причастившимися! Любой из них даст тебе кровь Христа. Я тебе объясняю, я не верю этим духам — богу, Мемноку, этим лжецам; я тебе объясняю, я отказался! Я не согласился остаться, я сбежал из их проклятой школы, я дрался с ними и потерял глаз, они вырвали его, злые ангелы, вцепившиеся в меня, когда я убегал! Тебе нужна кровь Христа — так иди в темную церковь на ночную мессу, оттащи, если хочешь, сонного священника от алтаря и выхвати чашу из его освященных рук. Давай, вперед! Кровь Христа! — продолжал он, и его лицо превратилось в один огромный глаз, светящий на меня безжалостным лучом. — Если она во мне и побывала, эта священная кровь, то мое тело растворило ее и сожгло, как воск пожирает фитиль свечи. Ты же понимаешь. Что остается от Христа в желудке верующего, когда он выходит из церкви?

— Нет, — сказал я. — Нет, но мы же не люди! — прошептал я, пытаясь мягкостью как‑то заглушить его злобную горячность. — Лестат, я узнаю! Это была его кровь, не перешедший в новое качество хлеб и вино! Его кровь, Лестат, я пойму, есть она в тебе или нет. Дай мне выпить, я тебя умоляю. Дай мне выпить, чтобы я смог забыть твой проклятый рассказ со всеми его подробностями!

Я едва удержался и не набросился на него, чтобы подчинить его своей воле, забыв о его легендарной силе, о его ужасной вспыльчивости. Я схвачу его и заставлю покориться. Я получу кровь… Безрассудные, пустые мысли. Весь рассказ безрассуден и пуст, но я повернулся и злобно прошипел:

— Что же ты не остался? Почему не ушел с Мемноком, раз он мог забрать тебя из нашего общего ужасного ада на земле?

— Тебе дали сбежать, — сказал ему ты, Дэвид. Ты вмешался, успокоив меня еле заметным умоляющим жестом левой руки. Но у меня не хватало терпения на анализ и неизбежные толкования. Я не мог выбросить из головы его образ, образ окровавленного Христа, нашего Господа с привязанным к плечам крестом, и ее, Веронику, этот милый вымысел с покрывалом в руках. И как подобная фантазия настолько глубоко забросила свой крючок?

— Отойдите от меня, все отойдите! — воскликнул он. — У меня с собой покрывало. Я же говорил. Я вынес ее с собой из преисподней Мемнока, хотя все его черти пытались у меня ее отобрать.

Я почти ничего не слышал. Покрывало, настоящее покрывало, что еще за фокус? У меня болела голова. Ночная месса. Если внизу, в соборе Святого Патрика, ее служили, то мне хотелось туда пойти. Я устал от этой высотной комнаты со стеклянными стенами, отрезанный от вкуса ветра и неукротимой, освежающей влажности снега. Зачем Лестат попятился к стене? Что он вытащил из‑за пазухи? Покрывало! Новый витиеватый трюк, чтобы скрепить этот шедевр потрясений? Я поднял глаза, обвел взглядом снежную ночь за окном и постепенно дошел до цели: развернутая ткань, что он поднял ввысь, склонив голову, ткань, показанная им с таким же почтением, как ее могла бы показывать Вероника.

— Мой Господь! — прошептал я. Весь мир унесся прочь в клубах невесомого звука и света. — Господь. — Я увидел его лицо, не нарисованное, не отпечатанное, не элегантно и хитроумно вплетенное в волоконца тонкой белой ткани, но горящее огнем, не способным разрушить сосуд, хранившей его жар. Мой Господь, мой оживший господь, мой Господь, мой Христос, человек в черном остром терновом венце, человек с длинными спутанными коричневыми волосами, испачканный запекшейся кровью, с огромными удивленными темными глазами, смотрящими прямо на меня — ласковые и живые зеркала души Господа, светящиеся такой неизмеримой любовью, что перед ней меркнет любая поэзия, с мягким, шелковым ртом, выражающим простоту, не задающую вопросов и не выносящую суждений, приоткрытый, чтобы сделать беззвучный, мучительный вздох в тот самой момент, когда к нему поднесли покрывало, смягчившее его страшные муки. Я плакал. Я зажал рот рукой, но не мог остановить слов.

— О Христос, мой трагичный Христос! — прошептал я. — Нерукотворный! — вскричал я. — Какие жалкие слова, слабые, полные грусти. — Это человеческое лицо, лицо Бога и Человека. У него идет кровь. Ради Бога всемогущего, вы только посмотрите!

Но я не издал ни звука. Я не мог двигаться. Я не мог дышать. От потрясения я беспомощно упал на колени. Мне хотелось никогда не сводить с него глаз. Мне вообще больше ничего никогда не хотелось. Только смотреть на него, и я его увидел, я оглянулся назад, назад, через века, на его лицо при свете глиняной лампы, горящей в моем доме в Подоле, на его лицо, взирающее на меня с доски, что я сжимал дрожащими пальцами среди свечей скриптория Печерской лавры, на его лицо, которого я никогда не видел на великолепных фресках в Венеции и Флоренции, где я так долго и отчаянно его искал. В его лице, в мужском лице, присутствовало и божественное, мой трагичный Бог, когда‑то взирающий на меня из рук матери в морозной слякоти на улице Подола, мой Господь в кровавом величии. Мне было все равно, что говорила Дора. Мне было все равно, что она прокричала вслух его священное имя. Все равно. Я все узнал. И когда она возвестила о своей вере, когда выхватила покрывало из рук самого Лестата и выбежала с ней из квартиры, я последовал за ней, за ней и за покрывалом, хотя в святилище моего сердца я так и не двигался. Я не шелохнулся. Мой разум охватила полная неподвижность, а что делало мое тело, не имело значения. Не имело значения, что Лестат спорил с ней и предупреждал, чтобы она не смела в это верить, что мы втроем стояли на ступеньках собора, что с невидимых и бездонных небес, как благословение, падал снег. Не имело значения, что скоро встанет солнце, яростный серебряный шар под пологом тающих облаков. Теперь я мог умереть. Я увидел его, а все остальное — слова Мемнока и его воображаемого Бога, мольбы Лестата уходить, спрятаться, пока нас всех не поглотило утро — не имело значения. Теперь я мог умереть.

— Нерукотворный, — шептал я. Вокруг нас у входа собиралась толпа. Восхитительным, сильным порывом из церкви хлынул теплый воздух. Какая разница?

— Покрывало, покрывало! — кричали они. Они увидели! Они увидели его лицо. Стихали отчаянные умоляющие вопли Лестата. Спустилось утро, а с ним — и грозовой, раскаленный добела свет, перекатываясь через крыши и осадив ночь тысячей стеклянных стен, постепенно выпуская на свободу свое чудовищное великолепие.

— Будьте свидетелями, — сказал я. Я воздел руки навстречу ослепительному свету, расплавленной серебряной смерти. — Этот грешник умирает за него! Этот грешник уходит к нему! Низвергни меня в ад, Господи, если такова твоя воля. Ты дал мне небеса. Ты показал мне свое лицо. И твое лицо было лицом человека.

### 19

Я взлетел ввысь. Я ощутил всепоглощающую боль, испепеляющую всю мою волю или способность выбирать скорость. Внутренний взрыв отбросил меня к небу, навстречу жемчужно‑белому свету, внезапно на секунду, как всегда, хлынувшему настоящим потоком из грозного глаза, раскинув бесконечные лучи по всему широкому городу, превратившись в приливную волну невесомого расплавленного освещения, прокатившегося по всем созданиям и предметам, большим и малым. Я поднимался все выше и выше, кругами, словно напряжение внутреннего взрыва не ослабевало, и, к своему ужасу, я увидел, что вся моя одежда сгорела, а от тела навстречу бушующему ветру валит дым. На миг я увидел всю картину целиком — мои голые вытянутые руки и вывихнутые ноги, силуэт на фоне всезатмевающего света. Моя плоть уже обгорела дочерна и, блестя, припечаталась к сухожилиям моего тела, сжалась до сложного сплетения мышц, облегавших кости. Боль достигла зенита и стала невыносимой, но как мне объяснить, что для меня это не имело значения; я направлялся навстречу собственной смерти, а эта бесконечная, на первый взгляд, пытка, была ерундой, обычной ерундой. Я выдержал бы все, что угодно, даже жжение в глазах, даже сознание того, что они сейчас расплавятся или взорвутся в солнечной печи, и что я лишусь плотской оболочки. Картина резко изменилась. Ветер больше не ревел, мои глаза успокоились и прояснились, вокруг зазвучал знакомый хор гимнов. Я стоял у алтаря и, подняв голову, я увидел перед собой церковь, переполненную людьми, среди поющих ртов и удивленных глаз вверх поднимались расписные колонны, как масса разукрашенных древесных стволов. И справа, и слева меня окружала эта необъятная, безграничная паства. У церкви не было стен, и даже высокие купола, украшенные чистейшим блестящим золотом с отчеканенными святыми и ангелами, уступили место величественному, бесконечному голубому небу. Мои ноздри затопил запах ладана. Вокруг меня в унисон звонили крошечные золотые колокольчики, один рифф нежной мелодии быстро переливался в другой. Дым жег мне глаза, но это становилось все приятнее по мере того, как меня заполнял аромат ладана, заставляющий слезиться глаза, и мое зрительное восприятие сливалось с тем, что я пробовал, трогал и слышал.

Я раскинул руки и увидел, что их покрывают длинные белые рукава с золотой каймой, свободно падавшие на запястья, где виднелись мягкие волоски взрослого мужчины. Да, это были мои руки, но мои руки, перешедшие за барьер запечатленной во мне смертной жизни. Это были руки мужчины. Из моего рта полилась песня, громким мелодичным эхом разносясь над головами паствы, и в ответ послышались их голоса, и я еще раз подчеркнул голосом свою убежденность, убежденность, пропитавшую меня до мозга костей:

— Христос снизошел на землю. Воплощение началось во всем, в каждом мужчине, в каждой женщине и будет длиться вечно! — Песня получилась до того безупречной, что из глаз моих хлынули слезы, и, наклоняя голову и сжимая руки, я увидел перед собой хлеб и вино, круглый ломоть, ожидающий благословения, преломления, как вино в золотой чаше ожидало своего превращения. — Сие есть пречистое Тело Христово, сия есть Кровь Христова, пролитая за нас в оставление грехов и жизнь вечную! — пел я. Я взял в руки ломоть и поднял его, а из него полилась струя света, и паства ответила самым сладостным, самым громким хвалебным гимном. Я взял чашу. Я поднял ее повыше, и на колокольнях зазвонили колокола, на колокольнях, колокольнях, толпящихся рядом с колокольнями этой величественной церкви, простираясь во всех направлениях на многие мили, так что весь мир превратился в огромные, славные заросли церквей, а здесь, рядом со мной, звенели золотые колокольчики. Снова пахнуло ладаном.

Поставив чашу, я посмотрел на колышущееся передо мной море людских лиц. Я повернулся голову слева направо, а затем посмотрел в небеса, на исчезающую мозаику, слившуюся с поднимающимися ввысь, катящимися по небу облаками. В поднебесье я увидел золотые купола. Я увидел бесконечные крыши Подола. Я знал, что передо мной лежит во всем своем великолепии Киев, что я стою в великом святилище Софийского собора, что убраны все преграды, отделявшие меня от этих людей, а все остальные церкви, что в далеком смутном детстве я видел только в руинах, восстановлены, что к ним вернулось былое величие, что золотые киевские купола впитывают солнечный свет и отдают его, добавив ему силы миллиона планет, согретый вечным светом в огне миллиона звезд.

— Мой Господь, мой Бог! — воскликнул я. Я опустил глаза и посмотрел на изумительно расшитое облачение, на зеленый атлас и нити чистого золотого металла. По обе стороны стояли мои братия во Христе, бородатые, с блестящими глазами — они помогали мне, пели те же гимны, что и я, наши голоса смешивались, настойчиво переходя от гимна к гимну, и я практически видел, как поднимаются ввысь ноты по прозрачному небосводу.

— Раздайте! Раздайте им, ибо они голодны! — крикнул я. Я преломил хлебец. Я разломил его пополам, потом — на четвертинки, а их поспешно растер на мелкие кусочки, заполнившие сверкающее золотое блюдо. Прихожане толпой поднялись по ступеням, за кусочками хлеба потянулись хрупкие розовые ладошки, и я раздал его как можно быстрее, кусочек за кусочком, не просыпая ни крошки, разделяя хлеб между десятками людей, потом — между двадцатью, потом — между сотнями, по мере того, как они подступали, вновь прибывшие практически не давали тем, кто получил хлеб, возможности выбраться. Они все подходили и подходили. Но гимны не смолкали. Голоса, приглушенные у алтаря, стихавшие, пока поглощался хлеб, вскоре звучали вновь, громкие и радостные. Хлеба хватало на целую вечность. Я снова и снова разламывал мягкую толстую корочку и вкладывал его в протянутые ладони, в грациозно сложенные пальцы.

— Берите, берите тело Христа! — говорил я. Меня окружили темные колышущиеся фигуры, выросшие прямо из блестящего золотисто‑серебряного пола. Это были стволы деревьев, их ветви загибались вверх, а потом опускались ко мне, и с ветвей падали листья и ягоды, падали на алтарь, на золотое блюдо, на священный хлеб, превратившийся в кучу кусочков.

— Забирайте! — крикнул я. Я поднял мягкие зеленые листья и ароматные желуди и передал их нетерпеливым рукам. Я опустил взгляд и увидел, что из моих пальцев сыпется пшеница, зерна, которые я отдавал раскрытым губам, насыпал в открытые рты. Воздух сгущался от беззвучно падающих зеленых листьев, их было столько, что все вокруг окрасилось в мягкий блестящий оттенок зеленого, но внезапно в картину ворвались стайки крошечных птиц. В небеса вспорхнули миллионы воробьев. Воспарил миллион зябликов, расправляя крылышки на сверкающем солнце.

— Отныне и во веки веков, в каждой клетке, в каждом атоме, — молился я.

— Воплощение, — сказал я. — Да пребудет с нами Господь.

Мои слова снова зазвенели, словно мы стояли под крышей, под крышей, способной откликнуться на мою песню, но нашей крышей было только открытое небо. Меня сдавливала толпа. Она окружила алтарь. Мои братия ускользнули, тысячи рук мягко тянули их облачение, стягивая их со стола Господа. Со всех сторон подступали голодные, принимавшие от меня хлеб, принимавшие зерно, принимавшие целыми пригоршнями желуди, принимавшие даже нежные зеленые листья. Рядом со мной встала моя мать, моя прекрасная мать с грустным лицом, ее густые седые волосы прикрывал красиво расшитый головной убор, с испещренного морщинами лица она устремила на меня глаза, а в дрожащих руках, в иссохших застенчивых пальцах, она держала самое потрясающее подношение — крашеные яйца! Красные и синие, золотые и желтые, украшенные лентами и бриллиантами, венками полевых цветов, мерцающие лаком, как гигантские золотые камни. И там, в самом центре подношения в ее дрожащих морщинистых руках, лежало то самое яйцо, которое она доверила мне когда‑то давным‑давно, легкое, сырое яйцо, выкрашенное в блестящий яркий рубиново‑красный цвет, а в центре увитого лентами овала горела золотая звезда — то самое драгоценное яйцо, несомненно, ее лучшее творение, лучшее достижение проведенных за расплавленным воском и кипящими красками часов. Оно не потерялось. Оно никогда не терялось. Оно было здесь. Но с ним что‑то происходило. Это было слышно. Слышно даже за громогласной разрастающейся песней толпы, почти незаметный звук внутри яйца, незаметный звук бьющихся крыльев, незаметный крик.

— Мама, — сказал я.

Я взял его. Я взял его в обе руки и нажал большими пальцами на ломкую скорлупу.

— Нет, сынок! — вскричала она. Он взвыла.

— Нет, сын мой, нет, нет!

— Слишком поздно.

Мои пальцы продавили лакированную скорлупу, а из осколков вылетела птица, прекрасная, взрослая птица, птица с белоснежными крыльями, крошечным желтым клювом и блестящими угольно‑черными глазками. Я испустил долгий глубокий вздох. Она поднялась из яйца, расправила свои безупречно белые крылья и раскрыла клюв в неожиданном пронзительном крике. Она взлетела вверх, эта птица, освободившаяся от разбитой красной скорлупы, поднимаясь все выше и выше, над головами прихожан, над мягким водоворотом зеленых листьев и порхающих воробьев, над великолепным гомоном звенящих колоколов.

Колокола звучали так громко, что сотрясались даже кружащиеся в воздухе листья, так громко, что содрогались уходящие ввысь колонны, что толпа покачивалась и пела еще усерднее, стремясь слиться в унисоне со звучным золотогорлым перезвоном. Птица улетела. Птица вылетела на свободу.

— Христос родился, — прошептал я. — Христос рожден. Христос на небесах и на земле. Христос с нами. Но никто не мог расслышать мой голос, мой обращенный к самому себе голос, но какое это имело значение, раз весь мир пел общую песню? Меня схватила чья‑то рука. Грубо, злобно рванула она мой белый рукав. Я повернулся. Я набрал в рот воздуха, чтобы закричать, но застыл от ужаса. Откуда ни возьмись, рядом со мной возник человек, он стоял так близко, что наши лица практически соприкасались. Он сердито смотрел на меня сверху вниз. Я узнал его рыжие волосы и бороду, неистовые и нечестивые голубые глаза. Я знал, что это — мой отец, но это был не мой отец, а какое‑то жуткое, могущественное существо, вселившееся во внешнюю оболочку моего отца, выросшее рядом со мной, как колосс, обжигая меня взглядом, дразня меня своей силой и своим ростом. Он вытянул руку и шлепнул тыльной стороной ладони по золотой чаше. Она пошатнулась и упала, освященное вино запачкало кусочки хлеба, запачкало покровы алтаря из золотой ткани.

— Не смей! — крикнул я. — Смотри, что ты наделал! — Неужели за пением меня никто не слышит?

Неужели никто не слышит меня за боем колоколов? Я остался один. Я находился в современной комнате. Я стоял под белым оштукатуренным потолком. Я стоял в жилом доме. Я стал самим собой, маленькой мужской фигуркой с прежними взъерошенными кудрями до плеч, в фиолетово‑красном бархатном пиджаке и в пышных белых кружевах. Я прислонился к стене. Я стоял, застыв от изумления, зная только, что каждая частица этой комнаты, каждая частица меня не менее реальны и тверды, как то, что происходило на долю секунды раньше. Ковер под ногами был такой же настоящий, как листья, снежинками кружившиеся по громадному Софийскому собору, а мои руки, мои безволосые мальчишеские руки — такими же реальными, как руки священника, которым я был секунду назад, который преломлял хлеб. В моем горле зарождался ужасный стон, ужасный крик, которого я сам бы не вынес. Если его не выпустить, я перестану дышать, и это тело, будь оно проклятым или святым, смертным или бессмертным, чистым или испорченным, наверняка разорвется. Но меня успокоила музыка. Медленно выплыла музыка, чистая, утонченная, совершенно не такая, как грандиозный, величественный цельный хор, который я только что слышал. Из тишины выскочили идеальной формы разрозненные ноты, множество льющихся водопадом звуков, разговаривавших резко и прямо, словно бросали удивительный вызов излюбленному мной наплыву звука. Подумать только — какие‑то десять пальцев способны вытащить эти звуки из деревянного инструмента, внутри которого настойчивым твердым движением бьют по бронзовой арфе с туго натянутыми струнами молоточки. Я узнал ее, я узнал эту песню, я узнал фортепьянную сонату, в прошлом я любил ее, теперь же меня парализовала ее ярость. «Апассионата». Вверх‑вниз мчались ноты потрясающими трепетными арпеджио, с грохотом скатываясь вниз, громыхая стучащим стаккато, затем поднимались и снова набирали скорость. Оживленная мелодия продвигалась вперед, красноречивая, праздничная и удивительно человеческая, требуя, чтобы ее не только слушали, но и чувствовали, требуя, чтобы слушатель следовал каждому замысловатому изгибу и повороту. «Апассионата». В яростном урагане нот я расслышал звучное эхо, отскакивающее от дерева; расслышал вибрацию гигантской упругой бронзовой арфы. Я расслышал шипящую дрожь его бесчисленных струн. О да, дальше, дальше, дальше, дальше, громче, жестче, бесконечная чистота и бесконечное совершенство, звенящее и выжатое, словно ноту использовали как хлыст. И как человеческим рукам удается творить это волшебство, как они выбивают из клавиш, сделанных из слоновой кости, этот потоп, эту взбудораженную, громоподобную красоту? Музыка кончилась.

Моя агония была так ужасна, что я мог лишь закрыть глаза и застонать, застонать из‑за того, что лишился этих быстрых хрустальных нот, лишился этой нетронутой остроты, этого бессловесного звука, тем не менее, поговорившего со мной, умолявшего меня стать свидетелем, умолявшего меня разделить и понять чужое напряженное и бесконечно требовательное душевное смятение.

Меня всколыхнул чей‑то крик. Я открыл глаза. Комната, где я стоял, оказалась большой, она была набита разрозненными, но дорогими предметами, картинами в рамах от пола до потолка, коврами с цветочными узорами, разбегавшимися под изогнутыми ножками современных стульев и столов, и пианино, громадное пианино, откуда и исходил этот звук, оно сияло среди этой суматохи длинной полоской ухмыляющихся белых клавиш — торжество сердца, души и ума.

Передо мной на полу стоял на коленях мальчик‑араб с глянцевыми коротко стрижеными кудрями, в маленькой, но сшитой точно по размеру джеллабе — в хлопчатобумажном одеянии жителей пустыни. Он сидел, зажмурившись, обратив к потолку круглое личико, хотя он меня и не видел, сведя брови и отчаянно шевеля губами, выпаливая арабские слова:

— Приди кто угодно, демон, ангел, останови его, ну приходи из тьмы, мне все равно, кем ты будешь, лишь бы у тебя хватило сил и мстительности, мне все равно, кто ты, выйди из света, приди по воле богов, не терпящих жестоких мерзавцев. Останови его, пока он не убил мою Сибель. Останови его, тебя вызывает Бенджамин, сын Абдуллы, возьми в залог мою душу, возьми мою жизнь, но приходи, приходи, у тебя больше сил, чем у меня, спаси мою Сибель.

— Тихо! — заорал я.

Я задыхался. У меня взмокло лицо. У меня безудержно дрожали губы.

— Что тебе нужно, говори!

Он посмотрел на меня. Он меня увидел. Его круглое византийское личико словно чудесным образом сошло с церковной фрески, но он был здесь, он был настоящий, он увидел меня, и именно меня он и хотел увидеть.

— Смотри, ты, ангел! — закричал он обострившимся от арабского акцента юным голосом.

— Раскрой пошире свои большие прекрасные глаза!

Я посмотрел. До меня мгновенно дошла суть происходящего. Она, молодая женщина, Сибель, сопротивлялась, цепляясь за пианино, не давая стащить себя с табурета, стараясь достать пальцами клавиши, плотно сжав рот, хотя через стиснутые губы прорывался ужасный стон; над плечами летали золотистые волосы. Ее тряс мужчина, тянул ее, орал на нее и внезапно сильно ударил ее кулаком, так что она упала назад, через табурет, перевернувшись через голову — нескладный клубок рук и ног на покрытом ковром полу.

— «Апассионата», «Апассионата», — ревел он, настоящий медведь, темперамент под стать мании величия. — Не буду я слушать, не буду, не буду, отвяжись от меня, от моей жизни. Это моя жизнь! — Он ревел, как бык. — Хватит, поиграла!

Мальчик подпрыгнул и схватил меня. Он сжал мои руки, а когда я уставился на него в недоумении и стряхнул его, он вцепился в мои бархатные манжеты.

— Останови его, ангел. Останови его, дьявол! Сколько можно ее бить! Он же ее убьет. Останови его, дьявол, останови, она же хорошая!

Она встала на колени и поползла, скрывая лицо вуалью спутанных волос. Сбоку на талии виднелось большое пятно подсохшей крови — пятно, глубоко въевшееся в ткань с цветочными узорами. Я в возмущении следил, как мужчина отходит. Высокий, бритоголовый, с налившимися кровью глазами, он заткнул уши руками и осыпал ее ругательствами:

— Ненормальная, тупая стерва, ненормальная, спятившая стерва, эгоистка. Мне что, жить нельзя? Нельзя жить по справедливости? У меня что, своих желаний нет?

Но она опять раскинула руки над клавишами. Она устремилась прямо ко второй части «Апассионаты», словно ее никто и не прерывал. Ее руки ударяли по клавишам. Один неистовый залп нот за другим, как будто их написали с одной только целью — ответить ему, бросить ему вызов, выкрикнуть: я не прекращу, не прекращу… Я видел, что сейчас будет. Он обернулся и окинул ее злобным взглядом, лишь для того, чтобы довести свою ярость до предела, он широко раскрыл глаза, рот исказился в гримасе боли. На губах заиграла смертельно опасная улыбка. Она раскачивалась на табурете взад‑вперед, ее волосы летали в воздухе, лицо приподнялось, ей не приходилось смотреть на клавиши, управлять движением рук, перебегавших справа налево, ни разу не потерявших управление потоком. Из‑за ее плотно сжатых губ послышались тихие звуки, отшлифованные звуки — она напевала мелодию, струящуюся из‑под клавиш. Она выгнула спину и опустила голову, ее волосы упали на разбегающиеся руки. Она продолжала, она перешла к грому, к уверенности, к отказу, к вызову, к утверждению — да, да, да, да. Мужчина сделал шаг в ее направлении. Обезумевший мальчик в отчаянии бросил меня и метнулся между ними, но мужчина двинул его сбоку с таким бешенством, что мальчик растянулся на полу. Но не успели руки мужчины опуститься на ее плечи — а она уже опять перешла к первой части, «Апассионата» в самом разгаре, как я схватил его и развернул лицом к себе.

— Убьешь ее, да? — прошептал я. — Что ж, посмотрим.

— Да! — воскликнул он, по лицу лился пот, блестели выпуклые глаза. — Убью! Она раздражает меня до безумия, она меня с ума сводит, все она, и она умрет!

Слишком взбешенный, чтобы хотя бы удивиться моему присутствию, он попытался оттолкнуть меня в сторону и вновь пристально уставился на нее.

— Черт тебя подери, Сибель, прекрати эту музыку, прекрати!

Мелодия и аккорды опять достигли громового темпа. Откидывая волосы из стороны в сторону, она ринулась в атаку. Я оттолкнул его, схватил левой рукой за плечо, правой сдвинул подбородок наверх, чтобы не мешался, и уткнулся лицом в его горло, разорвал его и глотнул полившуюся мне в рот кровь. Она оказалась обжигающей, густой, полной ненависти, полной горечи, полный разбитых надежд и мстительных фантазий. Какая же она была горячая. Я пил ее глубокими глотками и все видел — как он любил ее, лелеял ее, ее, талантливую сестренку, он, ловкий, злой на язык брат, кому медведь на ухо наступил, как он вел ее к вершине своей драгоценной и рафинированной вселенной, пока общая трагедия не оборвала ее восхождение и не заставила ее, обезумевшую, отвернуться от него, от воспоминаний, от амбиций, и навеки запереться в траур по жертвам трагедии, по любящим, рукоплескавшим родителям, погибшим на извилистой дороге, ведущей через далекую темную долину, в одну тех самых ночей, что предшествовали ее величайшему триумфу, дебюту гениальной пианистки на глазах всего мира. Я увидел, как их машина тяжело, с грохотом неслась в темноте. Я услышал, как болтал брат на заднем сиденье, пока сестра крепко спала. Я увидел как эта машина врезалась в другую машину. Я увидел звезды, жестоких и безмолвных свидетелей. Я увидел израненные, безжизненные тела. Я увидел ее потрясенное лицо — она стояла, целая и невредимая, в порванной одежде, на обочине. Я услышал, как он кричал от ужаса. Я услышал его неверящие проклятья. Я увидел разбитое стекло. Повсюду — разбитое стекло, блестящая красота под фарами. Я увидел ее глаза, ее бледные голубые глаза. Я увидел, как закрылось ее сердце. Моя жертва была мертва. Он выскользнул из моих рук. В нем осталось столько же жизни, что и в его родителях в том жарком пустынном месте. Он был мертв, скомкан, он больше не сможет обидеть ее, дергать ее длинные золотые волосы, бить ее или останавливать ее музыку. В комнате воцарилась приятная тишина, если не считать ее игры. Она опять добралась до третьей части и мягко покачивалась в такт его более спокойному началу, вежливому, размеренному шагу. Мальчик затанцевал от радости. Настоящий арабский ангел, он подпрыгивал в воздух в своей изящной маленькой джеллабе, босоногий, с покрытой густыми черными кудрями головой, он танцевал и выкрикивал:

— Умер, умер, умер, умер! — Он хлопал в ладоши, потирал руки и снова хлопал, а потом воздевал их к небу. — Умер, умер, умер, он больше ее не тронет, он больше не взбесится, он за свое бешенство получил, он умер, умер, умер.

Но она его не слышала. Она продолжала играть, пробираясь через сонные низкие ноты, тихо напевая про себя, а потом раскрыла губы и запела песню на одном звуке. Меня переполняла его кровь. Я чувствовал, как она омывает меня изнутри. Я наслаждался ей, наслаждался каждой каплей. Я перевел дух, поскольку проглотил ее слишком быстро, а затем медленно, как можно тише, словно она могла меня услышать, хотя на самом деле, конечно, не могла, я подошел, встал у края пианино и посмотрел на нее. Что за маленькое хрупкое лицо, совсем детское, с глубоко посаженными огромными бледно‑голубыми глазами. Но смотри, какие на нем синяки. Смотри, на щеке — кроваво‑красные шрамы. Смотри, на виске — скопление крошечных кровоточащих ранок, напоминающих булавочные уколы, здесь к корнем вырвали целую прядь волос. Ей было все равно. Зеленовато‑черные синяки на голых руках для нее не имели значения. Она продолжала играть. Какая нежная шея, пусть на ней и сохранились распухшие чернеющие отпечатки его пальцев, какие грациозные худенькие плечи, на них едва держатся рукава ее тонкого хлопчатобумажного платья. Ее сильные пепельные брови сошлись на переносице — она очаровательно хмурилась от сосредоточенности, глядя ни на что иное, как на быструю живую музыку, и только длинные чистые пальцы выдавали ее титаническую, неодолимую силу. Она скользнула по мне взглядом и улыбнулась, как будто увидела что‑то мимолетно приятное; она наклонила голову один, два, три раза в такт быстрому темпу музыки, но складывалось такое впечатление, будто она кивнула мне.

— Сибель, — прошептал я.

Я приложил пальцы к губам, поцеловал их и послал ей воздушный поцелуй, а ее руки строем двинулись дальше. Но потом ее взгляд затуманился, она опять отключилось, поскольку эта часть требовала скорости, и ее голова откинулась назад от мощной атаки по клавишам. И к Сонате опять вернулась самая торжествующая жизнь. Мной завладело что‑то более могущественное, чем солнечный свет. Это была настолько тотальная сила, что она окружила меня целиком и высосала из комнаты, из мира, из звуков ее музыки, из моего собственного сознания.

— Нет, не надо меня забирать! — закричал я.

Но звук утонул в необъятной пустой черноте. Я летел в невесомости, раскинув обгорелые черные руки и ноги, и горел от мучительной пытки, как в аду. Не может быть, это не мое тело, всхлипнул я, увидев, как впечаталась в мышцы черная плоть, похожая на кожу, увидев, что каждое сухожилие моих рук, моих ногтей свернулось и почернело, как роговой нарост. Нет, не мое тело, плакал я, мама, помоги мне, помоги! Бенджамин, помоги мне… Я начал падать. Теперь никто не поможет мне, только Он.

— Господи, придай мне мужества, — кричал я. — Господи, если это начало, то дай мне мужество, Господи, я не могу отказаться от рассудка, Господи, дай мне понять, где я, Господи, дай мне понять, что происходит, Господи, где же церковь, Господи, где же хлеб и вино, Господи, где она, Господи, помоги мне, помоги.

Я падал все ниже и ниже, мимо стеклянных шпилей, мимо сеток слепых окон. Мимо крыш домов и остроконечных башен. Я падал сквозь резкий и дико воющий ветер. Я падал сквозь колючий ливень снега. Я падал, падал. Я пронесся мимо окна, где безошибочно различил фигуру Бенджамина, державшегося рукой за занавеску, на долю секунды в меня впились его черные глаза, и он открыл рот, крошечный арабский ангел. Я падал ниже и ниже, кожа съеживалась и сжималась на ногах, я уже не мог их согнуть, сжималась на лице, и я уже не мог открыть рот, и с мучительным взрывом саднящей боли я ударился о жесткий наст снега. Мои открытые глаза затопил огонь. Солнце окончательно встало.

— Сейчас я умру. Умру! — прошептал я. — И в последний момент жгучего паралича, когда исчез весь мир, когда ничего не осталось, я слышу ее музыку! Я слышу заключительные аккорды «Апассионаты». Я слышу ее. Я слышу ее возбужденную песню.

### 20

Я не умер. Отнюдь. Я проснулся от звуков ее игры, но и она, и пианино находились слишком далеко. В первые несколько сумеречных часов я пользовался звуками ее музыки, пользовался возможностью искать их, чтобы удержаться от безумных криков, потому что ничем не мог остановить эту боль. Скованный глубоким снегом, я не мог двигаться и не мог ничего увидеть, если не считать мысленного зрения, если я решу им воспользоваться, но, так как я мечтал умереть, я ничем не пользовался. Я только слушал, как она играет «Апассионату», и иногда во сне я подпевал ей. Я слушал ее всю первую ночь, и вторую, то есть, все моменты, когда она была расположена играть. Она могла прерваться на несколько часов, может быть, шла спать. Потом она начинала заново, и я начинал вместе с ней. Я следовал трем ее частям, пока не выучил их, как она сама, наизусть. Я познакомился с вариациями, которые она вплетала в музыку; я понял, что она никогда не повторяла ни одну музыкальную фразу дважды. Я слушал, как меня зовет Бенджамин, я слушал, как говорит его резкий голосок, очень по‑нью‑йоркски:

— Ангел, ты с нами еще не закончил, что нам с ним делать? Ангел, вернись, я дам тебе сигарет. У меня полно отличных сигарет. Вернись. Ангел, я пошутил. Я знаю, ты сам достанешь себе сигареты. Но меня правда бесит, что ты оставил нам покойника, Ангел. Вернись.

Иногда я не слышал их часами. У меня не хватало сил найти их телепатически, увидеть их глазами друг друга. Нет. Эта сила исчезла. Я лежал в немой неподвижности, сгорая не только от солнца, но и от всего, что мне довелось видеть и чувствовать, раненый, пустой, мертвый умом и сердцем, за исключением моей к ним любви. Очень просто, не правда ли, в самом черном горе полюбить двух совершенно незнакомых людей, сумасшедшую девушку и озорного уличного мальчишку, ухаживавшего за ней? Убийство ее брата не имело своей истории. Браво — и все кончено. У всего остального, что причиняло мне боль, была история длиной в пятьсот лет.

Наступали часы, когда со мной говорил только город, огромный гремящий, грохочущий, шелестящий город Нью‑Йорк, с вечно лязгающим, несмотря на глубочайшие сугробы, транспортом, с нагромождением слоев голосов и жизней, достигающих той возвышенности, где лежал я, возвышающихся над ним, высоко над ним в башнях, которых до настоящего времени мир и не видывал. Я узнавал разные вещи, но не знал, что с ними делать. Я знал, что укрывший меня слой снега стал еще глубже, еще тверже, и не понимал, как такая вещь, как лед, может уберечь меня от солнечных лучей. Конечно, я должен умереть, думал я. Если не сегодня, когда встанет солнце, то завтра. Я вспоминал, как Лестат поднял покрывало. Я вспоминал его лицо. Но рвение покинуло меня. Покинула и всякая надежда. Я умру думал я. Каждое утро я думал, что умру. Но не умирал. Внизу, в далеком городе, я слышал других представителей нашей породы. Я не старался услышать их специально, поэтому до меня долетали не мысли их, но отдельные фразы. Там были Лестат и Дэвид, Лестат и Дэвид считали меня мертвым. Лестат и Дэвид меня оплакивали. Но Лестата преследовали куда более страшные кошмары, потому что Дора, а с ней — и весь мир забрали покрывало, и город теперь наводнили верующие. Собору с трудом удавалось контролировать толпу. Приходили и другие бессмертные, молодые, слабые, и, что самое жуткое, очень древние; желая рассмотреть это чудо, они проскальзывали в церковь ночью среди смертных верующих и безумными глазами взирали на покрывало. Иногда они говорили о бедном Армане, или о храбром Армане, или о Святом Армане, кто, в своей преданности распятому Христу сгорел заживо на самом пороге церкви! Иногда они поступали так же, как я. И в тот момент, когда солнце уже вот‑вот готовилось встать, мне приходилось их слушать, слушать их последние отчаянные молитвы в ожидании смертоносного света. Справились ли они лучше, чем я? Нашли ли они убежище в объятьях Бога? Или они кричали в агонии, в агонии, которую переживал я, не вынося ожогов и не имея возможности вырваться, останки в переулках или на далеких крышах? Нет, они приходили и уходили, какой бы ни была их судьба. Как все это было бледно, как далеко. Я так переживал, что Лестат нашел время оплакивать меня, но мне суждено умереть. Рано или поздно я все равно умру. Что бы я ни увидел в тот момент, когда я поднялся к солнцу, все утратило смысл. Мне предстояло умереть. Вот и все. Пронзая снежную ночь, электронные голоса вещали о чуде, о том, что лик Христа на льняном покрывале исцеляет больных и оставляет отпечаток, если к нему приложить другую ткань. Дальше следовали споры священников и скептиков, настоящий гул. Я не искал смысла. Я мучился. Я горел. Я не мог открыть глаза, а если пытался, ресницы царапали их, и становилось невыносимо больно. Я ждал ее в темноте. Рано или поздно неизменно начинала звучать ее потрясающая музыка, с новыми, чудесными вариациями, и тогда я ни о чем не задумывался — ни о тайне моего местонахождения, ни о том, что намерены делать Лестат и Дэвид. Только на седьмую, кажется, ночь, мои органы восприятия окончательно восстановились, и тогда я понял весь ужас моего положения. Лестат ушел. Дэвид тоже. Церковь заперли. Из бормотания смертных вскоре стало ясно, что покрывало увезли. Я слышал мысли всего города, невыносимый гул. Я отгородился от него, опасаясь, что, поймав хотя бы одну искру моей телепатии, какой‑нибудь бессмертный бродяга решит меня приютить. Я не вынес бы и мысли о том, что бессмертные незнакомцы попытаются меня спасти. Я не вынес бы и мысли об их лицах, их расспросах, возможном участии или безжалостном равнодушии. Я скрывался от них, свернувшись в своей потрескавшейся, натянувшейся коже. Но я все равно их слышал, как слышал окружающие их смертные голоса — они говорили о чудесах, искуплении и любви Христа. Кроме того, мне было о чем подумать — о моем затруднительном положении и о том, как все получилось. Я лежал на крыше. Я оказался там в результате падения, но не под открытым небом, как я надеялся — или предполагал. Напротив, мое тело свалилось с покатого металлического листа и укрылось под рваным, ржавым навесом, где его неоднократно засыпало заметенным ветром снегом. Как я сюда попал? Можно было только догадываться. По собственной воле, с первым взрывом моей крови на утреннем солнце, я поднялся вверх, наверное, на максимально доступное мне расстояние. Веками я знал, как взбираться на воздушные высоты и передвигаться на них, но никогда не доходил до теоретически возможного предела, однако в моем ревностном стремлении к смерти я напряг все силы, чтобы взлететь к небесам. Упал я с величайшей высоты. Подо мной находилось пустое, брошенное, опасное здание, без отопления и без света. Ни звука не доносилось со стороны его полых металлических лестничных пролетов или раздолбанных, рассыпающихся комнат. Только ветер подчас играл на здании, как на гигантском органе, и когда Сибель покидала свое пианино, я слушал эту музыку, изгоняя насыщенную какофонию окружавшего меня сверху, снизу и со всех сторон города. Иногда на нижние этажи здания заползали смертные. Я проникался внезапными извращенными надеждами. Может быть, кто‑то достаточно глуп, чтобы забрести на крышу и попасть к мои руки, чтобы я выпил кровь, необходимую хотя бы для того, чтобы освободиться и выползти из‑под защищавшего меня навеса и тем самым отдаться солнцу? В настоящем же положении солнце едва меня достает. Только тускло‑белый свет царапал меня сквозь окутывавший меня снежный саван, и каждую удлиняющуюся ночь новая боль сливалась с прежней. Но сюда никто никогда не заходил. Смерть будет медленной, очень медленной. Может быть, ей придется подождать, пока не потеплеет и не растает снег. Поэтому каждое утро, мечтая о смерти, я постепенно осознавал, что проснусь, наверное, еще больше обгоревшим, чем раньше, но и глубже укрытым зимней метелью, все это время скрывавшей меня от сотен освещенных окон, выходивших сверху на эту крышу. Когда наступала мертвая тишина, когда Сибель спала, а Бенджи прекращал молиться мне и разговаривать со мной у окна, начиналось самое худшее. Холодными, апатичными, рваными мыслями я думал о странных вещах, приключившихся с мной, пока я падал сквозь воздушную бездну, потому что все остальное не шло мне в голову. Ведь все было удивительно реально — алтарь Софийского собора, преломляемый хлеб. Я столько всего узнал, но ничего не мог вспомнить, не мог облечь в слова, и сейчас, диктуя это повествование, я не смог бы членораздельно восстановить эту историю, даже если бы попытался. Реально. Осязаемо. Я чувствовал на ощупь покровы алтаря, видел, как пролилось вино, а еще раньше — как из яйца поднялась птица. Я слышал, как трещит скорлупа. Я слышал голос матери. И все остальное. Но моему разуму эти вещи были больше не нужны. Просто не нужны. Рвение мое на поверку оказалось хрупким. Оно ушло, ушло, как ночи, проведенные с моим господином в Венеции, ушло, как годы странствий с Луи, ушло, как праздничные месяцы на Острове Ночи, ушло, как долгие позорные столетия Детей Тьмы, когда я был дураком, настоящим дураком. Я мог думать о покрывале, я мог думать о небесах, я мог вспоминать, как стоял у алтаря и своими руками творил чудо с телом Христа. Да, мог. Но все в совокупности было слишком ужасно, я не умер, никакой Мемнок не умолял меня стать его помощником, никакой Христом не простирал ко мне рук на фоне бесконечного света Господа. Намного приятнее было думать о Сибель, вспоминать, что ее комната с ярко‑красными и синими турецкими коврами и покрытыми темным лаком непропорционально большими картинами была ничуть не менее реальна, чем киевский Софийский собор, думать о ее бледном овальном лице, повернувшемся взглянуть на меня, думать, как внезапно загорелись ее влажные, быстрые глаза. Как‑то вечером, когда мои глаза по‑настоящему открылись, когда мои веки действительно поднялись над глазными яблоками и увидел над собой белую ледяную корку, я осознал, что начал исцеляться. Я попытался согнуть руки. Я смог приподнять их, чуть‑чуть, и сковывающий меня лед дрогнул с чрезвычайно необычным электрическим звуком. Солнце никак не могло сюда добраться, или же ему не хватало места бороться со сверхъестественно яростной, могущественной кровью, содержащейся в моем теле. О Господи, только подумать — пятьсот лет набираться сил, прежде всего, родиться от крови Мариуса, с самого начала быть настоящим монстром, так и не подозревая о собственной силе. В тот момент мне казалось, что моей злости и моему отчаянию наступил предел. Казалось, что раскаленная боль во всем теле достигла своего пика. Потом заиграла Сибель. Она начала «Апассионату», и мне стало все равно. Мне было все равно, пока не прекратилась музыка. Ночь выдалась теплее, чем обычно; снег слегка подтаял. Казалось, поблизости нет никаких бессмертных. Я знал, что покрывало перевезли в Ватикан. И какой теперь смысл приходить сюда бессмертным? Бедная Дора. В вечерних новостях говорили, что у нее забрали ее добычу. Покрывало должен был исследовать Рим. Ее рассказы о странных светловолосых ангелах стали достоянием бульварной прессы, а сама она уехала. В определенный момент я осмелился зацепиться сердцем за музыку Сибель и, напрягая до боли голову, выслать вперед свое телепатическое зрение, как часть тела, как язык, требующий выносливости, чтобы посмотреть глазами Бенджамина на комнату, где они обитали вдвоем. Я увидел ее в приятном золотистом тумане, увидел стены, покрытые тяжелыми картинами в рамах, увидел мою красавицу в шерстистом белом платье, в рваными тапочках, ее пальцы продолжали трудиться. А Бенджамин, маленький непоседа, нахмурившись, попыхивая черной сигареткой, сцепив руки за спиной, расхаживал босиком их угла в угол, покачивая головой и бормоча про себя:

— Ангел, я же велел тебе, вернись!

Я улыбнулся. Шрамы на щеках болели так, словно их прорезали кончиком наточенного ножа. Я закрыл телепатический глаз. Под звуки быстрых крещендо я позволил себе замечтаться. К тому же Бенджамин что‑то почувствовал; его ум, не покоробленный западной цивилизацией, заметил отблеск моего любопытства. Хватит. Потом ко мне пришло новое видение, очень резкое, очень необычное, очень непривычное, им нельзя было пренебрегать. Я еще раз повернул голову, лед треснул. Я держал глаза открытыми. Я видел неясное пятно возвышающихся надо мной освещенных башен. Внизу, в городе, обо мне думал какой‑то бессмертный, он находился далеко, за много кварталов от закрытого собора. На самом деле, я мгновенно почувствовал вдалеке присутствие двух сильных вампиров, знакомых вампиров, вампиров, знавших о моей смерти и горько сожалевших о ней, выполняя какое‑то важное дело. Здесь имелся определенный риск. Попробуй их увидеть — и они заметят намного больше, чем то, что не замедлил отметить Бенджамин. Но, насколько я понимал, в городе других вампиров сейчас не присутствовало, и нужно было узнать, что заставило их двигаться с такой целеустремленностью и с такой скрытностью. Прошел, наверное, час. Сибель молчала. Они, могущественные вампиры, продолжали заниматься своим делом. Я решил рискнуть. Я приблизил к ним свои бестелесные глаза и быстро осознал, что могу видеть одного глазами другого, но не наоборот. Причина была очевидна. Я напряг зрение. Я смотрел глазами Сантино, бывшего главы моего Римского Собрания, Сантино, а увидел я Мариуса, моего создателя, чьи мысли оставались скрытыми от меня навсегда. Они осторожно приближались к большому учреждению, оба одетые как современные джентльмены — в аккуратные темно‑синие костюмы, вплоть до накрахмаленных белых воротничков и узких шелковых галстуков. Оба постриглись, отдавая дань моде служащих корпораций. Но направлялись они, вгоняя в безвредный транс каждого смертного, кто пытался им помешать, отнюдь не в корпорацию. А в здание медицинского вида. И я быстро догадался, по какому они пришли делу. Они бродили по городской лаборатории криминалистики. И хотя они не торопились набирать в тяжелые портфели документы, волнение заставляло их поскорее вытащить из холодильных установок останки тех вампиров, кто последовал моему примеру и сдался на милость солнца. Естественно, они занимались конфискацией материалов, какими располагал о нас мир. Они вычерпывали останки. Они перекладывали останки из похожих на гробы ящиков и с блестящих серебряных подносов в простые пластиковые пакеты. Целые кости, пепел, зубы, ну да, даже зубы — все сметали они в эти мешки. А дальше, из ящиков для картотеки, они извлекли образцы сохранившейся одежды. У меня заколотилось сердце. Я пошевелился во льду, и лед заговорил в ответ. Нет, успокойся, сердце. Это мои кружева, мои личные кружева, плотные венецианские кружева, обгоревшие на краях, и несколько обрезков фиолетово‑красного бархата! Да, именно мои жалкие одежды достали они из пронумерованного отделения каталога и сунули в пакет. Мариус остановился. Я отвернулся, как головой, так и мысленно. Не смотри на меня. Стоит тебе увидеть меня, прийти сюда, и, клянусь Богом, я… Что? У меня нет сил даже пошевелиться. У меня нет сил скрыться. О, Сибель, пожалуйста, поиграй мне, мне нужно скрыться. Но потом, припомнив, что он — мой создатель, что он способен выследить меня только через более слабый и более одурманенный разум своего спутника, Сантино, я почувствовал, что мое сердце успокаивается. Из хранилища недавних воспоминаний я извлек ее музыку, я окружил ее цифрами, числами, датами, каждым из мелких детритов, пронесенных мной к ней сквозь века: что ее милый шедевр написал Бетховен, что он называется "Соната № 23, фа минор, опус 57». Вот об этом и думай. Думай о вымышленной ночи в холодной Вене, вымышленной, поскольку на самом деле я в этом не разбирался, думай, как он писал музыку шумным, царапающим бумагу пером, звуков которого сам, наверное, не слышал. Думай, какие гроши ему платили. И думай с улыбкой, да, с болезненной режущей улыбкой, от которой по лицу течет кровь, как ему поставляли пианино за пианино — так мощно, так требовательно, так яростно бил он по клавишам. И какую подходящую дочь получил он в лице симпатичной Сибель — устрашающая сила ее ударов по клавишам наверняка привела бы его в восторг, доведись ему заглянуть в будущее и отыскать среди неистовых студентов и поклонников одну конкретную одержимую девушку.

Сегодня было теплее. Лед начал таять. В этом сомневаться не приходилось Я сжал губы и еще раз поднял правую руку. Теперь над ней появилась выемка, и я мог шевелить в ней пальцами. Но они не шли у меня из головы, невероятная пара — тот, кто создал меня, и тот, кто пытался его уничтожить, Мариус и Сантино. Я должен был вернуться. Я осторожно выслал слабый, пробный луч мысли. И через мгновение я их выследил. Они стояли перед сжигателем мусора в недрах здания и бросали в его жадную пасть все собранные ими улики, пакет за пакетом скручивался и потрескивал в пламени. Как странно. Разве им самим не хотелось посмотреть на эти фрагменты в микроскоп? Но другие представители нашего рода наверняка уже это проделывали, и зачем смотреть на кости и зубы тех, кто спекся в аду, если можно срезать с собственной руки бледную белую ткань и поместить срез на стекло, в то время как рука по волшебству исцелится, как исцеляюсь я даже в настоящий момент? Я не отпускал видение. Я увидел туманный подвал, где они стояли. Я увидел над их головами низкие балки. Собрав все силы для проекции взгляда, я увидел лицо Сантино, расстроенное, мягкое, лицо того, кто разбил вдребезги единственную выпавшую на мою долю юность. Я увидел, что мой бывший господин почти печально взирает на огонь.

— Кончено, — тихим властным голосом сказал Мариус своему спутнику, обращаясь к нему на безупречном итальянском языке. — Не представляю себе, что еще можно сделать.

— Взломать Ватикан и похитить покрывало, — ответил Сантино. — Какое право они имеют забирать такую вещь?

Я мог только наблюдать за реакцией Мариуса — за его внезапным потрясением и последующей вежливой сдержанной улыбкой.

— Зачем? — спросил он, словно не имел от него секретов. — Что нам до покрывала, друг мой? Ты считаешь, оно приведет его в чувство? Прости меня, Сантино, но ты еще так молод!

В чувство, приведет его в чувство. Значит, это про Лестата. Единственное возможное значение. Я решил зайти еще дальше. Я просмотрел мысли Сантино в поисках того, что было ему известно, и отшатнулся от ужаса, но увиденного не выпускал. Лестат, мой Лестат — ведь он никогда не был их Лестатом? — мой Лестат в результате обезумел из‑за этой ужасной саги, и стал пленником древнейшей представительницы нашего рода, постановившей, что если он не прекратит мутить воду, подразумевая, естественно, тайну о нашем существовании, его уничтожат способом, доступным только старейшим, и никто не смеет умолять за него ни под каким предлогом. Нет, такого не может быть! Я извивался и ворочался. По моему телу бежали волны боли, красные, фиолетовые, пульсирующие оранжевым светом. С момента своего падения я не видел таких цветов. Рассудок возвращался ко мне, но что ему досталось? Лестата — уничтожат! Лестат в плену, как я сам, много веков назад, под Римом, в катакомбах Сантино. О Господи, это хуже, чем солнечный огонь, хуже, чем смотреть, как брат‑подонок бьет Сибель по личику со сливовыми щеками и отталкивает ее от пианино, сбивая с ног. Но я нарвался на неприятности.

— Идем, пора выбираться отсюда, — сказал Сантино. — Что‑то здесь не так, я что‑то чувствую, но не могу объяснить. Такое впечатление, что с нами здесь кто‑то еще, но его здесь нет. Такое впечатление, что равное мне по силе существо расслышало мои шаги за многие мили.

Мариус выглядел доброжелательным и любопытным, он совсем не встревожился.

— Нью‑Йорк сегодня принадлежит нам, — легко сказал он. И со смутным страхом заглянул напоследок в печь.

— Если только дух, цепляющийся за жизнь, не держится за его бархат и кружева.

Я закрыл глаза. О Господи, как бы мне закрыть мысли! Захлопнуть поплотнее. Его голос не умолкал, пронзая раковину моего сознания в том месте, где она успела размягчиться.

— Но я никогда не верил в такие вещи, — сказал он. — Мы сами в некоторой степени как евхаристия, как ты думаешь? Будучи телом и кровью таинственного бога до того момента, пока держимся избранной нами формы. Что такое прядь рыжих волос и обрывки обожженных кружев? Его нет.

— Я тебя не понимаю, — мягко признался Сантино. — Но если ты считаешь, что я никогда его не любил, ты глубоко, глубоко заблуждаешься.

— Ну, пойдем, — сказал Мариус. — Дело сделано. Все следы стерты. Но обещай мне от всей своей старинной Римской Католической души, что не отправишься на поиски покрывала. Миллион пар глаз смотрели на нее, Сантино, и ничего не изменилось. Мир остался прежним, под небом в каждом квадранте умирают дети, голодные и одинокие.

Дальше я не мог рисковать. Я отклонился от курса, обыскивая ночь как луч маяка, выбирая смертных, кто может заметить, как они покинули здание, где занимались делом чрезвычайной важности, но они удалились слишком незаметно, слишком быстро. Я почувствовал, как они ушли. Я почувствовал, как внезапно пропало их дыхание, их пульс, и я знал, что их унес ветер. Наконец, когда протикал еще час, я дал своим глазам обойти те же старые комнаты, где бродили они. Все было спокойно у бедных одурманенных техников и охранников, которых ввели в транс белолицые призраки из другого мира, выполнявшие свою отвратительную задачу. К утру обнаружат кражу, обнаружат, что вся работа пропала, и дорино чудо получит очередное печальное оскорбление, что только ускорит потерю интереса к нему. У меня все воспалилось. Я плакал сухим, хриплым плачем, не в состоянии даже набрать в себе слез. Кажется, один раз я заметил свою руку, гротескные когти, скорее освежеванные, чем обгоревшие, и глянцево‑черные, какими я их и помнил — или видел. Потом меня начала терзать одна загадка. Как же я смог убить злого брата моей бедной возлюбленной? Как могло это быстрое страшное правосудие быть чем‑то, кроме иллюзии во время моего подъема и падения под тяжестью утреннего солнца? А если на самом деле этого не произошло, если я не осушил досуха этого жуткого мстительного брата, значит, они — просто сон, моя Сибель и мой маленький бедуин. Ну неужели это будет последним кошмаром? Ночь достигла самого страшного часа. В оштукатуренных комнатах глухо били часы. Под колесами трещал вспененный снег. Я еще раз поднял руку. Неизбежный хруст и щелчок. Меня засыпало осколками льда, словно битым стеклом! Я посмотрел вверх, на чистые, искрящиеся звезды. Как они прекрасны — сторожевые стеклянные шпили с прикрепленными к ним золотыми квадратиками света, рядами вырезанные резко вдоль и поперек, испещряя воздушную черноту зимней ночи, а вот и ветер‑тиран, шуршащий в хрустальных каньонах, достигая маленький заброшенной постели, где лежит один забытый демон, глядя воровским взглядом огромной души на приободрившиеся городские огни в облаках. Звездочки, как же я вас ненавидел, как я завидовал, что в этом призрачном вакууме вам удается с такой решимостью следовать намеченному курсу. Но я уже ничего не ненавидел. Моя боль очистила меня от всего недостойного. Я следил, как небо затягивается облаками, поблескивает, на одну великолепную спокойную секунду превращается в бриллиант, а затем мягкий белый туман снова поглощает золотистые отблески городских фонарей и посылает им в ответ мягчайший, легчайший снег. Он упал на мое лицо. Он упал на мою вытянутую руку. Он падал на все мое тело, тая крошечными волшебными снежинками.

— А теперь взойдет солнце, — прошептал я, словно меня обнял некий ангел‑хранитель, — и даже здесь, под перекошенным жестяным навесом, через сломанный настил оно достанет меня и унесет мою душу к новым глубинам боли.

В ответ раздался протестующий крик. Чей‑то голос умолял, чтобы этого не случилось. Мой голос, решил я, конечно, как же обойтись без самообмана? Безумие — считать, что я перенесу все эти ожоги и второй раз вынесу это по собственной воле. Но голос принадлежал не мне. А Бенджамину, Бенджамину, поглощенному молитвой. Выбросив вперед свой бесплотный глаз, я увидел его. Он стоял на коленях в комнате, а она, как спелый сочный персик, спала среди мягких сбившихся в сторону покрывал.

— Ну ангел, дибук, помоги нам. Дибук, ты уже приходил. Приходи еще раз. Не беси меня, приходи!

— Сколько часов осталось до рассвета, маленький мужчина? — прошептал я в его маленькое, похожее на морскую раковину ухо, словно сам этого не знал.

— Дибук! — закричал он. — Это ты, ты говоришь со мной. Сибель, проснись, Сибель!

— Нет, подумай, прежде чем будить ее. Это страшное задание. Я — не то потрясающее существо, на твоих глазах высосавшее кровь из твоего врага, обожествлявшее ее красоту и твою радость. Если ты решил отдать долг, ты придешь забрать чудовище, оскорбление для твоих невинных глаз. Но не сомневайся, маленький мужчина, я буду с тобой навсегда, если ты окажешь мне эту услугу, если ты придешь ко мне, если ты мне поможешь, потому что воля покидает меня, я один, я хочу восстановиться, но сам справиться не могу, мои годы ничего не значат, и мне страшно.

Он вскарабкался на ноги. Он встал и выглянул в далекое окно, в окно, через которое я мельком подсмотрел за ним во сне его же смертными глазами, но он меня увидеть не мог, я лежал на крыше внизу, под роскошной квартирой, что он делил с моим ангелом. Он расправил свои квадратные плечики и, серьезно нахмурив свои черные брови, превратился в точную копию византийской фрески, херувим еще младше меня.

— Назови цену, дибук, я иду к тебе! — объявил он и сложил в кулак свою могучую ручонку. — Где ты, дибук, чего ты боишься, чего мы не победим вместе? Сибель, проснись, Сибель! Наш божественный дибук вернулся, и мы нужны ему!

Они пошли за мной. Здание находилось рядом с их домом, заброшенная груда металла. Бенджамин ее знал. Несколькими тихими телепатическими фразами я попросил его принести молоток и ледоруб, чтобы разбить оставшийся лед, а также захватить пару теплых одеял, чтобы завернуть меня. Я знал, что ничего не вешу. Сделав несколько болезненных движений руками, я сломал еще часть прозрачного потолка. Своими когтистыми руками я потрогал голову и выяснил, что ко мне вернулись волосы — по‑прежнему густые, каштановые. Я поднес прядь волос к свету, но боль в руке стала невыносимой, и я уронил ее, не в состоянии пошевелить высохшими искривленными пальцами. Необходимо загипнотизировать их, хотя бы для первой встречи. Нельзя им смотреть на то, что от меня осталось, на черное кожаное чудище. Никакой смертный не перенесет такого зрелища, какие бы слова ни исходили их моих губ. Нужно как‑то прикрыться. Не имея зеркала, откуда мне знать, как я выгляжу и что конкретно делать?

Оставалось только воображать, воображать былые дни в Венеции, когда я был красавчиком и прекрасно знал свою внешность по портновскому зеркалу, и спроецировать этот образ прямо в их мысли, пусть на это потребуется вся оставшаяся у меня сила; да, так я и сделаю, а еще нужно дать им указания. Я неподвижно лежал и смотрел на мягкий теплый снегопад, на крошечные снежинки, такие непохожие на ужасный буран предыдущих ночей. Я не осмеливался использовать свои таланты, чтобы следить за их продвижением. Внезапно я услышал громкий звон бьющегося стекла. Внизу хлопнула дверь. Я услышал, как они неровными шагами помчались по металлической лестнице, карабкаясь по пролетам. Мое сердце тяжело билось, с каждой судорогой накачивая меня болью, словно меня обжигала собственная кровь. Внезапно стальная дверь на крыше распахнулась. Я услышал, как они помчались ко мне. При слабом сонном свете соседних высоких башен я разглядел две маленьких фигурки — ее, женщины из сказки, и его — ребенка не старше двенадцати лет, они спешили ко мне. Сибель! Что же она вышла на крышу без верхней одежды, с распущенными волосами, как это печально, и Бенджамин не лучше — в тонкой хлопчатобумажной джеллабе. Они принесли для меня большой бархатный плед, и нужно было вызвать видение. Где тот мальчик, каким я был, где тончайший зеленый атлас и ряды изысканных кружев, где чулки и обшитые тесьмой сапоги, и пусть у меня будут чистые блестящие волосы. Я медленно открыл глаза, переводя взгляд с одного бледного восхищенного лица на другое. Они стояли под падающим снегом как два ночных бродяги.

— Ну знаешь, дибук, ты нас перепугал, — сказал Бенджамин бешеным возбужденным голосом, — а посмотреть на тебя — ты такой красивый.

— Нет, не верь глазам своим, Бенджамин, — сказал я. — Быстрее несите свои инструменты, разбейте лед и накройте меня покрывалом.

Сибель взялась за железный молоток с деревянной ручкой и обеими руками обрушила его, моментально пробив верхний мягкий слой льда. Бенджамин принялся колоть остальной лед, превратившись в маленькую машину, кидаясь то влево, то вправо, осколки разлетались, как жуки. Ветер подхватил волосы Сибель и бросил ей в глаза. К ее векам липли снежинки. Я удерживал образ беспомощного мальчика в атласных одеждах, приподнявшего мягкие розовые руки, неспособного им помочь.

— Не плачь, дибук, — объявил Бенджамин, ухватившись обеими руками за гигантскую тонкую пластину льда. — Мы тебя вытащим, не плачь, ты теперь наш. Мы тебя забираем.

Он отбросил в сторону здоровые зазубренные сломанные пластины, а потом сам, по‑видимому, замерз сильнее, чем любой лед, уставившись на меня, округлив рот от изумления.

— Дибук, ты меняешь цвет! — воскликнул он. Он протянул руку, чтобы потрогать мое иллюзорное лицо.

— Не надо, Бенджи, — сказала Сибель.

Тогда я впервые услышал ее голос и заметил нарочитое храброе спокойствие ее побелевшего лица, от ветра ее глаза слезились, хотя стойкость ее не поколебалась. Она выбрала лед из моих волос. От холода по моему телу пробежала ужасная дрожь, да, она притушила пожар, но от нее по моему лицу потекли слезы. Из крови?

— Не смотрите на меня, — сказал я. — Бенджи, Сибель, не смотрите. Просто дайте мне в руки покрывало.

Она болезненно прищурила глаза, но упрямо продолжала смотреть на меня ровным взглядом, подняв одну руку, чтобы придержать воротник своей непрочной хлопчатобумажной ночной рубашки, держа вторую надо мной.

— Что с тобой случилось после того, как ты приходил к нам? — спросила она ужасно добрым голосом. — Кто это сделал?

Я глотнул воздуха и снова вызвал видение. Я вытолкнул его из каждой поры, как будто мое тело превратилось в единый дыхательный орган.

— Нет, не надо больше, — сказала Сибель. — Ты от этого слабеешь и ужасно мучаешься.

— Я вылечусь, милая, — сказал я, — честное слово, вылечусь. Я не останусь таким навсегда, уже скоро я изменюсь. Только снимите меня с крыши. Уберите меня с холода туда, где солнце меня не достанет. Это сделало солнце. Всего лишь солнце. Унесите меня, пожалуйста. Я не могу идти. Даже ползти не могу. Я — ночной зверь. Спрячьте меня в темноте.

— Довольно, ни слова больше! — закричал Бенджи.

Я открыл глаза и увидел, как меня накрыла огромная голубая волна, словно меня завернули в летнее небо. Я почувствовал мягкое прикосновение бархатного ворса, но даже это оказалось больно, больно для горящей кожи, но такую боль я мог вынести, потому что до меня дотрагивались их сочувственные руки, и ради этого, ради их прикосновений, ради их любви, я вынес бы все, что угодно. Я почувствовал, как меня подняли. Я знал, что вешу немного, но как ужасно было ощущать собственную беспомощность, пока меня заворачивали.

— Вам не тяжело меня нести? — спросил я.

Моя голова запрокинулась, я опять увидел снег и вообразил, что, если напрячь глаза, можно увидеть и звезды, задержавшиеся на своей высоте ради тумана одной‑единственной крошечной планеты.

— Не бойся, — прошептала Сибель, приближая губы к покрывалу. Внезапно запахло их кровью, густой и сочной, как мед. Они взяли меня вдвоем, подняли на руки и вдвоем побежали по крыше. Я освободился от пагубного снега и льда, я свободен практически навсегда. Нельзя допускать и мысли об их крови. Нельзя допускать, чтобы это прожорливое обгорелое тело взяло верх. Это немыслимо. Мы спускались по металлической лестнице, следуя повороту за поворотом, их ноги стучали по хрупким стальным ступеням, мое тело сотрясалось и пульсировало в агонии. Я видел над собой потолок, а потом смешавшийся запах их крови возобладали над всем остальным, я закрыл глаза и сжал обгорелые пальцы, услышав при этом, как треснула кожаная плоть. Я вонзил ногти в ладони. Я услышал над ухом голос Сибель.

— Ты с нами, мы тебя крепко держим, мы тебя не выпустим. Это недалеко. Господи, ты только посмотри, посмотри, что с тобой сделало солнце!

— Не смотри! — резко сказал Бенджи. — Давай быстрее! Ты что, считаешь, такой могущественный дибук не знает, о чем ты думаешь? Будь умницей, поторопись.

Они спустились на цокольный этаж, к открытому окну. Я почувствовал, Сибель поднимает меня, просунув руки мне под голову и под согнутые колени, и снаружи, не отдаваясь больше эхом в стенах, раздался голос Бенджика.

— Вот и все, теперь давай его мне, я его подержу!

У него был ужасно бешеный, взволнованный голос, но она вылезла в окно вместе со мной, это я смог определить, хотя мой тонкий ум дибука полностью исчерпался, и я уже ничего не знал, кроме боли, боли и крови, и еще раз боли, и опять крови, а они тем временем бежали по длинному темному переулку, где небес я уже не мог рассмотреть. Однако мне стало очень приятно. Колеблющиеся движения, покачивание моих обгорелых ног и мягкие прикосновения ее успокаивающих пальцев через одеяло — все это было извращенно чудесно. Боль кончилась, остались просто ощущения. На лицо мне упало покрывало. Они поспешно продвигались вперед, скрипя ногами по снегу, один раз Бенджи поскользнулся и громко вскрикнул, но Сибель успела его подхватить. Он перевел дух. Сколько усилий им это стоит, еще и на таком морозе. Им необходимо попасть в тепло. Мы вошли в отель, где они жили. Едкий теплый воздух вырвался нам навстречу, несмотря на то, что двери были открыты, и, не успели они закрыться, как по вестибюлю разлетелось эхо резких шагов туфелек Сибель и поспешного шарканья сандалий Бенджика. Со внезапным взрывом боли в ногах и в спине я почувствовал, что согнулся вдвое, что колени мои поднялись вверх, а голова опрокинулась на них — мы забились вверх. Я задавил крик в горле. Это сущие пустяки. Лифт, пропахший старыми моторами и надежным старым маслом, начал, дергаясь и покачиваясь, подниматься вверх.

— Мы дома, дибук, — прошептал Бенджи, дыханием обжигая мне щеку, хватая меня рукой через одеяло и больно нажимая на голову. — Теперь ты в надежном месте, мы поймали тебя и больше не отпустим.

Кляцанье замков, шаги по деревянному полу, запах ладана и свечей, стойких женских духов, густого лака для изысканных вещей, старых холстов с потрескавшейся краской, свежих и невероятно приятных белых лилий. Мое тело бережно уложили в пуховую постель, взбив одеяло, и, когда я опустился на шелк и бархат, подушки, казалось, растаяли подо мной. В этом самом взъерошенном гнезде я заметил ее своим мысленным взором, золотистую, спящую, в белой рубашке, а она отдала ее такому страшилищу.

— Не снимайте покрывало, — сказал я. Я знал, что именно это и собрался сделать мой маленький друг. Неустрашимый, он аккуратно сдвинул его. Одной выздоравливающей рукой я попытался схватить его, вернуть обратно, но мне удалось только согнуть обгоревшие пальцы. Они встали над кроватью и рассматривали меня. Вокруг них, смешиваясь с теплом, вился свет, вокруг хрупких фигурок, стройной фарфоровой девушки, с чьей молочной кожи стерлись следы синяков, и маленький мальчик‑араб, мальчик‑бедуин — теперь я осознал, что таково его настоящее происхождение. Они бесстрашно уставились на то, что для человеческих глаз являлось зрелищем омерзительным.

— Какой ты блестящий! — сказал Бенджи. — Тебе не больно?

— Что нам сделать? — спросила Сибель приглушенным тоном, как будто меня мог поранить даже ее голос. Она прикрыла рот руками. Непокорные клочья ее густых прямых бледных волос двигались на свету, руки посинели от холода, и она не могла сдержать дрожь. Бедное скромное создание, такое хрупкое. Ее ночная рубашка помялась — тонкий белый хлопок, расшитый цветами, с оборками из узких прочных кружев, одеяние девственницы. Ее глаза наполнились сочувствием до краев.

— Знай, что у меня за душа, мой ангел, — сказал я. — Я — существо испорченное. Бог меня не принял. Дьявол тоже не принял. Я поднялся к солнцу, чтобы они забрали мою душу. Она была любящей, не боялась ни адского огня, ни боли. Но моим чистилищем, моей темницей стала наша земля, эта самая земля. Не знаю, как я попал к вам в тот раз. Не знаю, какая сила подарила мне несколько кратких секунд, чтобы появиться здесь, в вашей комнате, и встать между тобой и смертью, нависшей надо мной, как тень.

— Нет‑нет, — в страхе прошептала она, поблескивая глазами в тусклом свете комнаты. — Он ни за что меня не убил бы.

— Нет, еще как убил бы! — сказал я, и Бенджи произнес точно такие же слова хором со мной.

— Он напился, ему было наплевать, что он делает, — мгновенно взорвался Бенджи, — у него были здоровенные, неуклюжие, поганые руки, ему было наплевать, что он делает, а когда он в последний раз ударил тебя, ты пролежала два часа в этой постели, как мертвая, и даже не шелохнулась! Ты что, думаешь, дибук убил бы твоего брата просто так?

— Я думаю, он прав, моя красавица, — сказал я. Говорить было ужасно сложно. С каждым словом приходилось приподнимать грудь. Вдруг мне отчаянно, безумно захотелось посмотреться в зеркало. Я заворочался и повернулся на кровати, но застыл от боли. Их охватила паника.

— Не двигайся, дибук, не надо! — взмолился Бенджи. — Сибель, шелк, тащи сюда шелковые платки, мы его завернем.

— Нет! — прошептал я. — Накройте меня покрывалом. Если вы так хотите видеть мое лицо, оставьте его, но остальное закройте. Или…

— Или что, дибук, говори?

— Поднимите меня, чтобы я увидел, на что я похож. Поставьте меня перед высоким зеркалом.

Они озадаченно замолчали. Длинные золотые волосы Сибель улеглись и ровным льняным слоем легли на ее большую грудь. Бенджи жевал губу. По всей комнате плыли краски. Голубой шелк, прибитый к оштукатуренным стенам, кипы богато расшитых подушек вокруг, золотая бахрома, а там, подальше, на люстре, качаются стеклянные палочки, пропитанные всеми сверкающими цветами радуги. Я вообразил, что слышу звенящую песню стекла при соприкосновении палочек. Моему слабому помутившемуся рассудку казалось, что я никогда еще не видел столь неподдельного великолепия, что за все эти годы я забыл, насколько ярок и совершенен мир. Я закрыл глаза, прижав к сердцу образ комнаты. Я вдохнул поглубже сладкий, чистый аромат лилий, борясь с благоуханием их крови.

— Вы не дадите мне посмотреть на те цветы? — прошептал я. Обуглились ли мои губы? Видны ли им мои клыки, и пожелтели ли они от огня? Лежа на шелковой простыне, я погрузился в дремотное состояние. Я дремал, и мне показалось, что теперь можно и заснуть, в безопасности, в полной безопасности. Лилии стояли рядом. Я снова протянул руку. Я потрогал пальцами лепестки, и по моему лицу покатились слезы. Неужели они из чистой крови? Я молил Бога, чтобы это было не так, но услышал, как откровенно вскрикнул Бенджик и тихо зашептала Сибель, призывая его к молчанию.

— Когда это случилось, мне было, кажется, лет семнадцать, — сказал я. — Это было сотни лет назад.

На самом деле я был слишком маленький. Мой создатель любил меня; он не считал, что мы плохие. Он думал, мы можем питаться плохими людьми. Если бы я не умирал, он подождал бы. Он хотел, чтобы я узнал побольше, подготовился.

Я открыл глаза. Я их загипнотизировал! Они опять видели того мальчика, каким я был раньше. Я сделал это непреднамеренно.

— Какой же красивый! — сказал Бенджи. — Какой ты прекрасный, дибук.

— Маленький мужчина, — вздохнул я, чувствуя, как хрупкая иллюзия растворяется в воздухе, — отныне зови меня по имени; я — не дибук. Ты, наверное, подцепил это от палестинских евреев?

Он засмеялся. Он не дрогнул, когда я растаял и превратился в чудовище.

— Тогда скажи, как тебя зовут, — попросил он. Я сказал.

— Арман, — вступила Сибель, — скажи, что нам сделать? Если не шелковые платки, тогда мазь, алоэ, да, алоэ подойдет, оно вылечит твои ожоги.

Я рассмеялся, но совсем негромко, желая проявить только доброту.

— Мое алоэ — кровь, детка. Мне нужен мерзавец, человек, заслуживающий смерти. Так где мне его взять?

— И что тебе даст его кровь? — спросил Бенджи.

Он сел рядом и нагнулся надо мной, словно я оказался удивительным экземпляром.

— А знаешь, Арман, ты черный, как смола, ты весь из черной кожи, как те люди, которых вылавливают из трясины в Европе, блестящий, а все остальное спрятано внутри. По тебе можно мускулатуру изучать.

— Бенджи, прекрати, — сказала Сибель, борясь с неодобрением и тревогой. — Нужно придумать, как нам достать мерзавца.

— Ты серьезно? — спросил он, поднимая голову и глядя на нее с другой стороны кровати. Она стояла, сжав руки, как при молитве. — Сибель, это ерунда. Проблема в том, как потом от него избавиться. — Он посмотрел на меня. — Знаешь, как мы поступили с ее братом? Она зажала уши руками и наклонила голову. Сколько раз я сам повторял этот жест, когда мне казалось, что поток слов и воспоминаний затопил меня с головой. — Ты просто глянцевый, Арман, — сказал Бенджи. — Но я достану тебе мерзавца, это ерунда. Хочешь мерзавца? Давай продумаем план. — Он наклонился надо мной, как будто старался проникнуть в мои мысли. Я внезапно понял, что он рассматривает клыки.

— Бенджи, — сказал я, — не приближайся. Сибель, убери его.

— Но что я сделал?

— Ничего, — сказала она. Она понизила голос и с отчаянием добавила: — Он хочет есть.

— Поднимите еще раз покрывало, пожалуйста, — попросил я. — Снимите их, посмотрите на меня и дайте мне заглянуть вам в глаза, станьте моим зеркалом. Я хочу увидеть, насколько все плохо.

— Хммм, Арман, — сказал Бенджи. — Похоже, ты вроде как спятил.

Сибель наклонилась и осторожными руками стянула покрывало назад и вниз, обнажая мое тело во всю длину. Я зашел в ее мысли. Все было даже хуже, чем я мог себе представить. Глянцевый, жуткий труп из трясины, точь‑в‑точь, как говорил Бенджи, за исключением страшно выделяющихся рыже‑коричневых волос и огромных ярко‑карих глаз без век, плюс белые зубы, выстроившиеся безупречными рядами между иссохшими до основания губами. На плотно натянутой морщинистой коже слезы оставили густые красные полосы. Я резко отбросил голову набок и уткнулся в пуховую подушку. Я почувствовал, как меня накрыло покрывало.

— Даже если я это выдержу, с вас хватит, — сказал я. — Я не потерплю, чтобы вы смотрели на это хотя бы еще минуту, поскольку чем дольше вы будете с этим мириться, тем больше вероятность, что вы сможете примириться с чем угодно. Нет. Так продолжаться не может.

— Все, что захочешь, — сказала Сибель. Она свернулась рядом со мной. — Если я положу тебе руку на лоб, тебе станет прохладнее? Если я поглажу твои волосы, тебе станет легче?

Я посмотрел на нее из узкой щели глаза. Длинная тонкая шея составляла часть ее трепетного, изнуренного очарования. У нее была пышная, высокая грудь. За ее спиной в приятном теплом полумраке комнаты я разглядел пианино. Я представил себе, как дотрагиваются до клавишей эти длинные тонкие пальцы. В голове у меня билась «Апассионата». Раздался громкий стук, хруст, щелчок, а потом густо запахло дорогим табаком. Сзади расхаживал Бенджи с черной сигареткой в зубах.

— У меня есть план, — объявил он, без усилий прочно удерживая сигарету в полуоткрытых губах. — Я спускаюсь по улице. Я и моргнуть не успеваю, как встречаю настоящего мерзавца, подонка. Я говорю ему, что остался в номере, там, в отеле, вдвоем с одним мужиком, он напился, мелет чушь, совсем спятил, а нам нужно продать кокаин, я не знаю, что делать, мне нужна помощь.

Я засмеялся, невзирая на боль. Маленький бедуин пожал плечами и поднял ладони, попыхивая черной сигаретой, а дым окутывал его волшебным облаком.

— Как думаете? Все получится. Послушай, я в людях разбираюсь. Теперь ты, Сибель, ты уйдешь с дороги и дашь мне провести этот жалкий мешок грязи, мерзавца, которого я заманю в ловушку, прямо к кровати, а здесь я пихну его в лицо, вот так, я поставлю ему подножку, вот так, и бац! — он свалится прямо тебе в руки, Арман, ну, как тебе?

— А если пойдет не по плану? — спросил я.

— Тогда моя красавица Сибель треснет его по голове молотком.

— У меня идея получше, — сказал я, — хотя, видит Бог, ты изобрел непревзойденный, потрясающий план. Ты, конечно, скажешь ему, что кокаин разложен под покрывалом в аккуратных пластиковых пакетиках, но если он не клюнет и подойдет посмотреть, что здесь лежит на самом деле, пусть наша красавица Сибель просто откинет покрывало, а когда он увидит своими глазами, что действительно было в постели, он вылетит отсюда, и не подумав причинить никому вред!

— Отлично! — закричала Сибель. Она захлопала в ладоши и широко раскрыла бледные просветленные глаза.

— Идеально, — согласился Бенджи.

— Но смотри, не бери с собой на улицу ни единой монетки. Если бы у нас было немножко поганого белого порошка, чтобы приманить зверя.

— Но у нас есть, — сказала Сибель. — Именно столько, немножко, мы достали его из карманов моего брата. — Она задумчиво посмотрела на меня невидящими глазами, перебирая детали плана в плотных кольцах своего мягкого податливого ума. — Мы все забрали, чтобы, когда его найдут, при нем ничего не было. В Нью‑Йорке многие так умирают. Конечно, тащить его было невыразимо тяжело.

— Ну да, есть у нас поганый белый порошок! — сказал Бенджи, внезапно сжимая ее плечо, молниеносно исчез из поля моего зрения и мгновенно вернулся в маленьким плоским портсигаром. — Положи сюда, я понюхаю, что там внутри, — сказал я. Видно было, что точно они этого не знали. Бенджи щелкнул крышкой тонкой серебряной коробочки. Там, устроившись в маленьком полиэтиленовом пакете, сложенном с безупречной аккуратностью, лежал порошок с тем самым запахом, которого я ждал. Мне не требовалось класть его на язык, для которого вкус сахара показался бы точно таким же чуждым.

— Прекрасно. Только немедленно высыпи половину в водопровод, чтобы осталось совсем немного, и оставь здесь серебряный футляр, иначе найдется дурак, который убьет тебя за него.

Сибель затряслась от нескрываемого страха.

— Бенджи, я пойду с тобой.

— Нет, это было бы уж совсем неразумно, — сказал я. — Он сумеет сбежать от них гораздо быстрее, чем ты.

— Как ты прав! — воскликнул Бенджи, затянувшись в последний раз, а затем раздавив сигарету в большой стеклянной пепельнице у кровати, где свернулся, поджидая нового соседа, целый десяток белых окурков. — А сколько раз я ей это твердил, выходя посреди ночи за сигаретами? Думаешь, она слушает?

Он исчез, не дожидаясь ответа. Я услышал, как из‑под крана побежала вода. Он смывал половину кокаина. Я обвел глазами комнату, отклоняясь от мягкого, полного крови ангела‑хранителя.

— Бывают люди, добрые от рождения, — сказал я, — люди, которые хотят помогать другим. Ты из таких людей, Сибель. Пока ты жива, мне покоя не будет. Я останусь рядом с тобой. Я всегда буду охранять тебя, я отплачу тебе. — Она улыбалась. Я изумился. Ее узкое лицо, ее красивой формы бледные губы прорезала самая свежая, самая здоровая улыбка, словно пренебрежение и боль никогда ее не терзали.

— Ты станешь моим ангелом‑хранителем, Арман? — спросила она.

— Всегда.

— Я пошел, — сообщил Бенджи.

Щелчок, хруст — он зажег новую сигарету. Должно быть, у него не легкие, а мешки угля.

— Я пошел, на ночь глядя. А вдруг сукин сын окажется больной, или грязный, или…

— Мне все равно. Кровь есть кровь. Просто веди его сюда. Не стоит пробовать свои фантазии с подножкой. Подожди, пока не подведешь его прямо сюда, к кровати, а когда он потянется за покрывалом, ты, Сибель, отдерни его, а ты, Бенджи, толкни его изо всех сил, чтобы он ударился голенью о бок кровати, тогда он упадет прямо мне в руки. И тогда я его получу.

Он направился к двери.

— Подожди, — прошептал я. О чем я только думал в своей жадности? Я взглянул на ее безмолвное улыбающееся лицо, а потом — на него, на маленький моторчик, дымящий черной сигаретой, ничего не надевший для жестокой зимы, кроме проклятой джеллабы.

— Нет, нужно — значит нужно, — сказала Сибель, широко раскрыв глаза. — А Бенджи выберет очень плохого человека, правда, Бенджи? Настоящего мерзавца, который захочет тебя ограбить и убить.

— Я знаю, куда идти, — сказал Бенджи с кривой улыбочкой. — Смотрите, разыграйте свои карты, когда я приду, вы оба. Накрой его, Сибель. Не смотри на часы. За меня не волнуйся!

Он хлопнул дверью, за ним автоматически закрылся большой тяжелый замок.

Значит, она придет. Кровь, густая красная кровь. Придет. Придет, она будет горячая и вкусная, полный мужчина крови, она придет, придет через несколько секунд. Я закрыл глаза, а когда открыл, перед ними вновь обрела форму комната — небесно‑голубые занавески на каждом окне, плотными складками падавшие на пол, ковер с большим искривленным овалом напоминающих капусту роз. И она, девочка‑стебелек, не сводящая с меня глаз, улыбающаяся искренней милой улыбкой, словно ночное преступление казалось ей пустяком. Она опустилась на колени в опасной близости от меня и еще раз ласково прикоснулась к моим волосам. До моей руки дотронулась ее мягкая, ничем не скованная грудь. Я прочел ее мысли, как читал бы судьбу по ладони, сталкивая слой за слоем ее сознание, опять увидел темную извилистую дорогу, вьющуюся по долине реки Иордан, и родителей, слишком быстро ведущих машину для кромешной тьмы и поворотов‑шпилек, а также водителей‑арабов, мчащихся на еще более высокой скорости, так что каждое пересечение фар превращалось в изнурительное состязание.

— Поесть рыбы из моря Галилеи, — сказала она, отводя глаза. — Это я захотела. Это я придумала туда ехать. У нас оставался последний день в Святой Земле, все говорили, что от Иерусалима до Назарета далеко добираться, а я сказала: «Но он ходил по воде». Самая странная легенда, я всегда так думала. Ты ее знаешь?

— Знаю, — сказал я.

— Про то, что он ходил прямо по воде, как будто забыл, что рядом апостолы, что его могут увидеть, а когда с лодки сказали: «Господи!», он испугался от неожиданности. Такое странное чудо, как будто все произошло… по случайности. Это я захотела ехать. Это я хотела съесть свежей рыбы, прямо из моря, из той же воды, где ловили рыбу и Петр, и все остальные. Моих рук дело. Нет, я не говорю, будто это моя вина, что они погибли. Просто это моих рук дело. А мы все направлялись домой, на большой концерт в Карнеги‑холл, его должна была записывать компания звукозаписи, вживую. Знаешь, я уже записала одну пластинку. Никто и не ожидал, что она так хорошо пойдет. Но той ночью… той ночью, которой так и не было, я собиралась играть «Апассионату». «Это было самое главное. Я люблю и другие сонаты, и „Лунную“, и „Патетическую“, но моей… моей была „Апассионата“. Мама и папа так мной гордились. Но мой брат, это мой брат всего добивался, договаривался о времени, о месте, о хорошем пианино, об учителях. Это он открыл всем глаза, но, конечно, с другой стороны, собственной жизни у него не было, и все мы видели, чем это кончится. По ночам за столом мы обсуждали, что он должен жить собственной жизнью, что не годится ему на меня работать, но он отвечал, что в будущем он мне понадобится, я и не представляю, до какой степени он мне понадобится. Он станет заправлять записями, концертами, репертуаром, гонорарами. Агентам нельзя доверять. Я понятия не имею, говорил он, как высоко я поднимусь. Она помолчала, склонив голову набок с серьезным и искренним видом. — Понимаешь, я не принимала никакого решения, — сказала она. — Я просто не могла больше ничего делать. Они умерли. Я просто не могла выходить из комнаты. Я просто не могла снимать трубку. Я просто не могла играть другую музыку. Я просто не могла слушать, что он говорит. Я просто не могла строить планы. Я просто не могла есть. Я просто не могла переодеваться. Я только играла „Апассионату“.

— Я понимаю, — тихо сказал я.

— Он привез с нами Бенджика, чтобы тот обо мне заботился. Мне всегда было интересно, как он это устроил. Я думаю, Бенджика купили, ну, знаешь, купили, за деньги.

— Знаю.

— Думаю, так все и было. Он говорил, что не может оставить меня одну, даже в «Царе Давиде», это был отель….

— Да.

— … потому что, он говорил, я стою у окна без одежды, или не впускаю горничную, а еще играю на пианино посреди ночи и не даю ему спать. И он нашел Бенджика. Я люблю Бенджика.

— Я знаю..

— Я всегда делаю, что скажет Бенджи. Он никогда не смел ударить Бенджика. Только под конец он начал бить меня всерьез. Раньше он либо пощечину мне давал, либо пинка. Он хватал меня за волосы, наматывал все волосы на руку, и бросал меня на пол. Так часто бывало. Но Бенджика он не бил. Он знал — если ударить Бенджика, я буду кричать без остановки. Но, с другой стороны, когда Бенджи старался его остановить… Но я не знаю, у меня так кружилась голова. У меня болела голова.

— Я понял, — сказал я. Конечно, он бил Бенджика. Она тихо призадумалась, ее глаза оставались широко раскрытыми, яркими, она не плакала и не щурилась.

— Мы с тобой похожи, — прошептала она, устремляя на меня взгляд. Ее рука лежала рядом с моей щекой, и она очень осторожно прижала ко мне мягкую подушечку своего указательного пальца.

— Похожи? — спросил я. — Ради всего святого, о чем ты думаешь?

— Чудовища, — сказала она. — Дети.

Я улыбнулся. Но она не улыбалась. У нее был мечтательный вид.

— Я так обрадовалась, когда ты пришел, — сказала она. — Я знала, что он умер. Знала, когда ты встал у пианино и посмотрел на меня. Знала, когда ты стоял там и слушал меня. Я так радовалась, что нашелся тот, кто смог его убить.

— Сделай это для меня, — сказал я.

— Что? — спросила она. — Арман, я сделаю все, что угодно.

— Подойди к пианино. Поиграй мне. Сыграй «Апассионату».

— А как же план? — тихо и недоуменно спросила она. — Мерзавец, он сейчас придет.

— Оставь это нам с Бенджи. Не оборачивайся, не смотри. Просто играй «Апассионату».

— Нет, ну пожалуйста, — ласково попросила она.

— Но почему нет? — сказал я. — Зачем тебе проходить через такую пытку?

— Нет, ты не понял, — ответила она с широко открытыми глазами. — Я хочу посмотреть!

### 22

Внизу только что вернулся Бенджи. От далекого звука его голоса, совершенно неслышного Сибель, в каждую ткань моего тела мгновенно вернулась боль.

— О чем я и говорю, — болтал он, не закрывая рта, — все лежит прямо под трупом, а мы не хотим его поднимать, но вы, как полицейский, вы, как полицейский из отдела по борьбе с наркотиками, говорят, вы в таких делах знаете толк…

Я засмеялся. Ему действительно было, чем гордиться. Я снова взглянул на Сибель, смотревшую на меня с выражением тихой решимости, глубокого понимания и задумчивости.

— Закрой мне лицо покрывалом, — сказал я, — и отойди подальше, еще дальше. Он ведет к нам типичного принца мошенников. Быстрее.

Она мгновенно принялась за дело. Уже пахло кровью жертвы, хотя она все еще стояла в поднимающемся лифте и разговаривала с Бенджи в сдержанных, осмотрительных выражениях.

— И все это случайно оказалось у вас с ней в номере, и больше с вами никого нет? — Какой красавец! В его голосе я услышал убийцу.

— Я все вам рассказал, — ответил Бенджи совершенно естественным голоском. — Вы нам просто помогите, сами понимаете, я не могу позволить, чтобы к нам заявилась полиция! — Шепот. Это приличный отель. Откуда я знал, что тот мужик возьмет и умрет прямо здесь! Мы дурь не принимает, забирайте ее, только уберите отсюда труп. И еще кое‑что… — Двери лифта открылись. — Труп довольно подпорченный, так что не надо на меня пускать слюни, когда вы его увидите.

— Пускать на тебя слюни, — прорычала жертва, переводя дух. Послышались тихие звуки спешащих по ковру ботинок.

Бенджи возился с ключами, притворяясь, будто очень взволнован. — Сибель, — предостерегающе позвал он, — Сибель, открой дверь.

— Не открывай, — тихо сказал я.

— Конечно, не буду, — ответила она бархатным голосом. Повернулись задвижки большого замка.

— И этот мужик вот так случайно зашел сюда и умер со всем своим добром?

— Ну, не совсем, — сказал Бенджи, — но вы ведь заключили со мной сделку, я надеюсь, вы ее не нарушите.

— Послушай, маленький щенок из подворотни, я с тобой сделок не заключал.

— Отлично, так может, мне вызвать нормальную полицию? Я вас знаю. Вас все в баре знают, знают, откуда вы, вы всегда на виду. И что вы сделаете, а, большая пушка? Убьете меня?

Дверь за ними закрылась. Номер наводнил запах крови гостя. Он одурманен бренди, его жилы отравлены кокаином, но моей очистительной жажде это совершенно безразлично. Я едва мог сдерживаться. Я почувствовал, как напряглись и попытались согнуться под одеялом мои руки и ноги.

— Ну и ну, настоящая принцесса, — сказал он, когда его взгляд, очевидно, упал на Сибель. Сибель не ответила.

— При чем здесь она, вы сюда смотрите, под одеяло. Сибель, иди сюда, иди. Давай, Сибель.

— Здесь, под одеялом? Ты хочешь сказать, что под ним — труп, а под трупом — кокаин?

— Сколько раз нужно повторять? — спросил Бенджи и, несомненно, привычно пожал плечами. — Слушайте, хотел бы я знать, что именно вы не понимаете. Вам кокаин не нужен? Тогда я его раздам. В вашем любимом баре он очень распространен. Представляешь, Сибель, этот мужик обещает помочь, а дальше — болтает, болтает, болтает, типичный слизняк из правительства.

— Ты кого это слизняком, назвал, малыш? — поинтересовался мужчина с насмешливой добротой, и запах бренди сгустился. — Какой у нас словарный запас, а посмотреть на тебя — нос не дорос. Тебе сколько лет, малыш? Черт возьми, как ты вообще попал в страну? Неужели ты целыми днями разгуливаешь в ночной рубашке?

— А как же, зовите меня Лоуренсом Аравийским, — сказал Бенджи. — Сибель, а ну иди сюда.

Я не хотел, чтобы она подходила. Я хотел, чтобы она держалась как можно дальше. Она не пошевелилась, и я очень обрадовался.

— Мне моя одежда нравится, — болтал Бенджи. Клуб сладкого сигаретного дыма. — Видимо, я должен одеваться, как местные ребята, в синие джинсы? Сейчас. Мой народ так одевался, еще когда Магомет ходил по пустыне.

— Что может быть лучше прогресса? — спросил мужчина с глубоким гортанным смешком. Он подошел к кровати быстрыми резкими шагами. Запах крови стал таким интенсивным, что я почувствовал, как навстречу ему раскрываются поры моей обгоревшей кожи.

Крошечную часть своей силы я отдал на то, чтобы получить телепатическое представление о нем их глазами — высокий кареглазый человек, желтовато‑белая кожа, впалые щеки, редеющие коричневые волосы, сшитый на заказ итальянский костюм из блестящего черного шелка, блестящие бриллиантовые запонки на дорогом полотне. Он дергался, шевелил пальцами, почти не мог твердо стоять на ногах, в голове буйствовал головокружительный настрой, цинизм и безумное любопытство. Жадные игривые глаза. Все затмевала безжалостность, и казалось, что в нем присутствует ярко выраженная черта неподдельного, вскормленного наркотиками безумия. Он гордился своими убийствами не меньше, чем царственными костюмом и блестящими коричневыми ботинками на ногах.

Сибель подошла поближе к кровати, и резкий сладкий аромат ее чистой плоти смешался с более тяжелым и густым запахом мужчины. Но я вожделел его крови, его крови, от которой из моего иссохшего рта чуть слюнки не потекли. Я с трудом сдерживался, чтобы не вздохнуть под одеялом. Я почувствовал, что мое тело вот‑вот вырвется из болезненного состояния паралича.

Злодей оценивал обстановку, поглядывая по сторонам в открытые двери, прислушиваясь, нет ли посторонних голосов, обсуждая сам с собой, не стоит ли обыскать эти фантастические, битком набитые вещами, беспорядочно разбросанные комнаты, прежде чем приступать к делу. Пальцы его никак не могли успокоиться. Промелькнувшая бессловесная мысль ясно дала мне понять, что он понюхал принесенный Бенджи кокаин и немедленно захотел принять еще порцию.

— Ну и ну, а ты красотка, юная леди, — сказал он Сибель.

— Хочешь, я подниму покрывало? — спросила она. Я уловил запах маленького револьвера, засунутого за голенище его высокого черного сапога, и другого оружия, очень качественного и современного, абсолютно новая смесь металлических запахов, в кобуре подмышкой. От него пахло и деньгами, характерный несвежий запах засаленных бумажных денег.

— Ну что, мужик, струсил? — сказал Бенджи. — Так открыть тебе покрывало? Скажи, когда. Вот ты удивишься!

— Да нет там никакого трупа, — усмехнулся он. — Может, сядем, поболтаем? Ведь на самом деле это не ваш номер? Похоже, вас, детишки, требуется воспитать по‑отечески.

— Труп весь обгорел, — сказал Бенджи. — Держись, как бы тебе плохо не стало.

— Обгорел! — воскликнул мужчина.

Длинная рука Сибель внезапно отдернула покрывало. По моей коже скользнул холодный воздух. Я уставился на отшатнувшегося мужчину, в чьем горле застыл придушенный рев.

— Бога ради!

Мое тело подскочило в ответ на зов полного фонтана крови как отвратительная марионетка по велению дернувшихся веревочек. Я стукнулся об него, плотно вцепился обожженными ногтями в его шею и обхватил его второй рукой в агонизирующем объятии, быстро подхватил языком кровь, выступившую из отметин, оставленных моими когтями, и, не обращая внимания на полыхающую в лице боль, пошире раскрыл рот и вонзил клыки. Вот он и мой.

Ни рост, ни сила, ни широкие плечи, ни огромные руки, сжимающие мою раненую плоть, — ничто ему не помогало. Он был мой. Я втянул первый густой глоток крови и подумал, что потеряю сознание. Но тело мое такого не допустило бы. Мое тело приросло к нему, как будто оно целиком состояло из прожорливых щупальцев.

Его окутанные просветленным туманом мысли моментально затянули меня в водоворот образов Нью‑Йорка, бездумной жестокости и гротескных ужасов, безудержной, питающейся наркотиками энергии и злобствующей веселостью. Я погрузился в эти картины. Быстрая смерть меня не устраивала. Мне требовалась каждая капля его крови, а для этого сердце должно нагнетать ее без остановки; сердце не должно сдаться.

Если я и пробовал раньше столь крепкую кровь, столь сладкую и соленую кровь, то я этого не помнил; память просто не способна зарегистрировать такой восхитительный вкус, абсолютный восторг утоленной жажды, удовлетворенного голода, одиночества, растворившегося в жарких интимных объятьях в тот момент, когда меня привел бы в ужас звук собственного бурлящего, напряженного дыхания, если бы я хоть на секунду о нем задумался.

От меня исходил ужасный шум, противный чавкающий шум. Мои пальцы массировали его крепкие мускулы, мои ноздри вжались в его изнеженную, пахнущую мылом кожу.

— Мммм, как же я тебя люблю, я ни за что на свете тебя не обижу, чувствуешь, как приятно? — шептал я ему сквозь мелеющей, великолепной крови. — Мммм, да, как приятно, лучше, чем самый дорогой бренди…

От потрясения и недоверия он внезапно уступил, отдаваясь исступленному бреду, подогревая каждым моим словом. Я рванул его шею, расширяя рану, поглубже врезаясь в артерию. Кровь хлынула новым потоком.

По моей спине побежали восхитительные мурашки; они разбежались по рукам, по бедрам, по ногам. Боль и удовольствие смешались, а горячая и живая кровь с силой проникала в мельчайшие волокна моей сморщившейся плоти, накачивала мышцы под поджарившейся кожей, пропитывая даже костный мозг моего скелета. Еще, этого мало.

— Не умирай, ты не хочешь умирать, нет, не умирай, — напевал я, проводя пальцами по его волосам и чувствуя, как они становятся пальцами, а не когтями птеродактиля, как минуту назад. Но они согрелись; по ним разлился огонь, огонь полыхал в моих опаленных руках и ногах, на сей раз смерть неизбежна, я больше не вынесу, однако пик уже достигнут и пройден, и теперь по мне мчались интенсивные успокаивающие спазмы.

Мое лицо накачивалось кровью и горело, рот наполнялся вновь и вновь, глотать стало совсем легко.

— Да, да, живой, ты такой сильный, удивительно сильный… — шептал я. — Мммм, нет, не уходи… еще рано, еще не время.

У него подогнулись колени. Он медленно опустился на ковер, я опустился следом, ласково притянув его за собой к краю кровати, а потом уронил его рядом, и мы лежали, сплетенные, как любовники. В нем оставалось еще, еще больше крови, столько я в обычном состоянии ни за что бы не выпил, просто не захотел бы.

Даже в тех редких случаях, когда, едва став вампиром, жадный, молодой, я убивал по две‑три жертвы в ночь, я никогда не от кого так глубоко не пил. Теперь я погрузился в темные вкусные отбросы, вытягивая сладкие сгустки из самих сосудов, растворявшихся на моем языке.

— Как же ты прекрасен, да, да.

Но его сердце на большее было неспособно. Оно замедлилось и забилось в неотвратимо смертоносном ритме. Я прикусил кожу его лица и сорвал ее со лба, облизывая густую сеть кровоточащих сосудов, покрывавших его череп. Там оставалось столько крови, столько крови, скрытой тканями его лица. Я высасывал кровь из волокон и выплевывал их, обескровленные, белые, глядя, как помои падают на пол.

Мне захотелось попробовать сердце и мозг. Я видел, как их достают древнейшие. Я знал, как это делается. Римлянка Пандора однажды просунула руку прямо в грудь.

Так я и сделал. Отметив в изумлении, что моя рука, пусть темно‑коричневая, но обрела нормальные очертания, я расставил застывшие пальцы смертоносным заступом и ввел ее в него, разорвав рубашку, пробив грудную клетку, перебирая его мягкие внутренности, пока не извлек его сердце и не взял его так, как брала Пандора. Я принялся пить. О, там крови оставалось в избытке. Чудесно. Я высосал ее до мягкости и бросил на пол.

Я лег, как и он, неподвижно, рядом с ним, положив правую руку на его шею, приклонив голову у него на груди, тяжело дыша. Во мне танцевала кровь. Я чувствовал, как подергиваются руки и ноги. Мое тело содрогалось от спазмов, и его белая мертвая туша замерцала перед глазами. Комната то загоралась, то гасла.

— Какой милый брат, — прошептал я. — Милый, милый брат. — Я перекатился на спину. В моих ушах рокотала его кровь, она двигалась под кожей головы, она покалывала щеки и ладони. Как хорошо, слишком хорошо, приторно хорошо.

— Мерзавец, значит? — Голос Бенджика, из далекого мира живых.

Далеко‑далеко, в царстве, где полагается играть на пианино, а маленьким мальчикам следует танцевать, стояли, словно вырезанные из раскрашенного картона, две фигурки, не сводившие с меня глаз — он, маленький разбойник из пустыни с дорогой черной сигаретой в зубах, не переставая затягиваться, шлепая губами и поднимая брови, и она, с мечтательным видом, решительная и задумчивая, как раньше, ее ничто не шокировало и, наверное, не тронуло.

Я сел и подтянул колени. Я поднялся на ноги, быстро ухватившись за край кровати, чтобы выпрямиться. Я встал, совершенно голый, и посмотрел на нее.

Ее глаза наполнились густым серым светом, она взглянула на меня и улыбнулась

— Потрясающе! — прошептала она.

— Потрясающе? — сказал я. Я поднял руки и отвел с лица волосы. — Отведи меня к зеркалу. Быстрее. Я умираю от голода. Я снова голоден.

Началось, действительно. Я уставился в зеркало, как в ступоре. Мне и раньше доводилось сидеть такие же испорченные экземпляры, но каждый из нас портится по‑своему, и я, не могу привести здесь алхимические причины, стал темно‑коричневым существом, шоколадного цвета, с удивительно белыми опаловыми глазами, украшенными красновато‑коричневыми зрачками. Щеки болезненно запали, из‑под глянцевой кожи выпирали ребра, а вены, вены до того шипели действием, что, обвивали руки и икры, как веревки. Волосы, конечно, никогда еще так не блестели и не казались такими густыми, таким воплощением молодости и природных благословений.

Я открыл рот. Меня снедала жажда. Все пробудившаяся плоть пела от жажды, или же проклинала меня. Как будто тысяча раздавленных, онемевших клеток нараспев требовали крови.

— Мне нужно еще. Необходимо. Не подходите ко мне. — Я поспешно обошел Бенджика, чуть ли не плясавшего рядом со мной.

— Что ты хочешь, что мне сделать? Пойду, еще кого‑нибудь приведу.

— Нет, я сам его найду. — Я упал на жертву и распустил шелковый галстук. Я быстро расстегнул пуговицы рубашки.

Бенджи немедленно кинулся расстегивать его ремень. Сибель опустилась на колени и принялась стягивать сапоги.

— Револьвер, осторожно, револьвер, — встревожился я. — Сибель, отойди от него.

— Да вижу я револьвер, — с упреком сказала она. Она осторожно отложила его в сторону, как свежевыловленную рыбу, готовую вырваться из ее рук. Она стянула с него носки.

— Арман, эта одежда, — сказала она, — тебе будет велика.

— Бенджи, у тебя найдутся ботинки? — спросил я. — У меня маленькие ноги. — Я встал и поспешно надел рубашку, застегнув пуговицы с ослепившей их скоростью.

— Не смотри на меня, неси ботинки, — сказал я. Я натянул брюки, застегнул молнию и, с помощью быстрых пальцев Сибель, закрепил болтающий кожаный ремень. Я затянул его как можно сильнее. Сойдет.

Она упала передо мной, платье окружило ее огромным цветочным кольцом прелести, и она закатала штанины моих босых коричневых ногах.

Я просунул руки в его хитроумно застегнутые манжеты, так их и не потревожив.

Бенджи бросил на пол черные бальные ботинки, дорогие туфли‑лодочки, ни разу не надетые божественным маленьким негодником. Сибель поднесла к моей ноге один носок, Бенджи подобрал второй.

Я надел пиджак, и все было готово. Приятное покалывание в венах прекратилось. Опять подступила боль, она заревела, словно меня прошили огненными нитями, и ведьма резко тянула за иглу, чтобы заставить меня содрогаться.

— Полотенце, дорогие мои, что‑нибудь старое, ненужное. Нет, не надо, только не в эти дни, не в это эпоху, даже не думайте.

Исполнившись отвращения, я осматривал его сине‑бледную плоть. Он лежал, бессмысленно уставившись в потолок, на фоне жуткой бескровной кожи выделялись крошечные, мягкие, очень черные волоски в ноздрях, над бесцветной губой желтели зубы. Волосы на груди превратились в спутавшуюся в предсмертном поту массу, а рядом с огромной зияющей дырой лежала мякоть его бывшего сердца — нет, эти страшные улики необходимо убрать их мира общепринятых принципов.

Я нагнулся и засунул остатки раздавленного сердца в грудную клетку. Я плюнул на рану и потер ее пальцами.

Бенджи охнул.

— Смотри, Сибель, затягивается — воскликнул Бенджи.

— Поверхностно, — сказал я. — Он остыл, и крови слишком мало. — Я огляделся по сторонам. Рядом валялись бумажник, документы, кожаная сумка, куча зеленых банкнот, стянутых декоративной серебряной скрепкой. Я все подобрал. Я запихнул сложенные деньги в один карман, все остальное — в другом. Что у него еще было? Сигарета, смертельно опасный кнопочный нож и револьверы, ах да, револьверы. Я положил их в карман.

Проглотив тошноту, я нагнулся и подхватил его, жуткого, вялого, белого человека в жалких шелковых трусах и изящных золотых наручных часах. Ко мне действительно возвращалась прежняя сила. Он был тяжелым, но я с легкостью перекинул его через плечо.

— Что ты будешь делать, куда ты пойдешь? — закричала Сибель. — Арман, ты нас не бросишь.

— Ты вернешься! — сказал Бенджи. — Слушай, отдай мне часы, не выкидывай его часы.

— Тише ты, Бенджи, — прошептала Сибель. — Черт возьми, ты прекрасно знаешь, что я покупаю тебе самые лучшие часы. Не трогай его. Арман, чем мы можем тебе помочь? — Она приблизилась ко мне. — Смотри! — сказала она, указывая на болтающуюся руку, свисавшую из‑под моего правого локтя. — У него маникюр. Как странно.

— А как же, он о себе неплохо заботился, — сказал Бенджи. — Знаешь, часы‑то стоят тысяч пять.

— Помолчи насчет часов, — сказала она. — Нам его вещи не нужны. — Она взглянула на меня еще раз. Арман, ты даже сейчас меняешься. У тебя наливается лицо.

— Да, и болит, — сказал я. — Подождите меня. Приготовьте мне темную комнату. Я вернусь, как только поем. Сейчас мне нужно поесть, есть и есть, чтобы вылечить оставшиеся шрамы. Откройте мне дверь.

— Дай‑ка я посмотрю, нет ли никого за дверью, — сказал Бенджи и послушно помчался к выходу.

Я вышел в коридор, с легкостью неся на себе бедный труп, чьи белые руки, свисая вниз, болтались и иногда меня задевали.

Ну и вид у меня был в той большой одежде. Должно быть, я производил впечатление сумасшедшего, поэтически настроенного школьника, совершившего налет на дорогие магазины за самыми изысканными тряпками, а теперь, надев красивые новые ботинки, спешил на поиски рок‑групп.

— Там никого нет, мой маленький друг, — сказал я. — Три часа ночи, весь отель спит. И если разум мне не изменяет, там, в конце холла, есть дверь, ведущая на пожарную лестницу, верно? На пожарной лестнице тоже никого нет.

— Умный Арман, ты меня восхищаешь! — сказал он. Он сощурил черные глазки. Он беззвучно подпрыгивал по устланному ковром полу. — Отдай мне часы! — прошептал он.

— Нет, — ответил я. — Она права. Она богата, я тоже, и ты тоже. Не попрошайничай.

— Арман, мы будем тебя ждать, — сказала Сибель, стоя в дверях. — Бенджи, немедленно домой!

— Нет, ты только послушай, она проснулась! Как мы заговорили! «Бенджи, немедленно домой! Эй, солнышко, разве тебе нечем заняться, не хочешь, например, на пианино поиграть?

Она невольно расхохоталась еле слышным смехом. Я улыбнулся. Странная парочка. Они не понимали, что происходит у них под носом. Типичное явление для этого века. Я недоумевал, когда же они прозреют, а, прозрев, закричат.

— До свиданья, дорогие мои, — сказал я. — Подготовьтесь к моему приходу.

— Арман, ты же вернешься. — В ее глазах стояли слезы. — Обещай мне.

Я был потрясен.

— Сибель, — сказал я. — Что за фразу женщинам так часто хочется слышать, но так долго приходится ждать? Я люблю тебя.

Я оставил их и помчался вниз по лестнице, перекинув его на другое плечо, когда слишком больно стало его нести. Боль проходила по мне волнами. Меня ошпарил холодный уличный воздух.

— Есть, — прошептал я. А с ним что делать? Он слишком голый, чтобы тащить его по Пятой авеню.

Я сорвал с него часы, потому что они оставались единственной уликой, по которой его можно было опознать, и, хотя меня чуть не вырвало от отвращения, вызванного близостью со зловонными останками, я потянул его за собой за руку, очень быстро, по заднему переулку, затем — узкой улице, потом — по очередному тротуару.

Я бежал прямо навстречу ледяному ветру, не оглядываясь на редкие неповоротливые силуэты, ковыляли мимо меня в мокрой темноте, не рассматривая одну‑единственную машину, ползущей по блестящему сырому асфальту.

Я преодолел два квартала за несколько секунд и, найдя подходящий переулок с высокими воротами, преграждавшими путь запоздалым нищим, я быстро взобрался по решетке и забросил тушу в самый конец. Он упал в тающий снег. Я от него избавился.

Теперь нужно было найти кровь. Времени на старые игры не оставалось — приманивать желающих умереть, тех, кто вожделеет моего поцелуя, тех, кто уже влюблен в неизведанную, далекую страну смерти.

Пришлось идти характерно неровным шагом, спотыкаться, завесив лицо длинными волосами — болтающийся шелковый пиджак, подогнутые брюки, бедный ослепленный подросток, отличная мишень для твоего револьвера, твоего ножа, твоего кулака. Долго ждать не пришлось.

Первым был пьяный, прогуливающийся негодяй, засыпавший меня вопросами, прежде чем достать сверкающее лезвие и попробовать воткнуть его в мое тело. Прижал его к стене дома, я пил его кровь, как обжора.

Вторым стал заурядный отчаянный юноша, весь в гноящихся ссадинах, он уже совершил два убийства за героин, необходимый ему так же сильно, как мне — его обреченная кровь. Я пил уже медленнее.

Самые толстые, самые страшные шрамы без сопротивления не сдавались — они зудели, дрожали и таяли лишь постепенно. Но жажда, жажда не прекращалась. Мои внутренности пенились, словно пожирая сами себя. Глаза пульсировали от боли.

Но холодный мокрый город, терзаемый мучительным шумом, на глазах становился ярче. Я слышал голоса на расстоянии многих кварталов, слышал маленькие электронные колонки в высотных зданиях. За расступающимися облаками я увидел настоящие бесчисленные звезды. Я почти пришел в себя.

Так кто же придет ко мне, думал я, в этот голый, опустевший предрассветный час, когда на теплеющем воздухе тает снег, неоновые огни потускнели, а мокрые газеты носятся, как листья в замерзшем лесу? Я достал все бесценные предметы, принадлежавшие моей первой жертве, и рассовал их в разных местах по глубоким пустым мусорным бакам.

Последний убийца, да, пожалуйста, судьба, пришли мне его, пока еще есть время; и в самом деле, он пришел, проклятый дурак, вылез из машины, пока водитель ждал его, не глуша мотор.

— Черт, что так долго? — наконец спросил водитель.

— Ничего, — ответил я, роняя его друга на землю. Я просунул голову в машину, чтобы рассмотреть его. Такой же порочный дурак, как его спутник. Он поднял руку, беспомощно, слишком поздно. Я опрокинул его на кожаное сиденье и пил теперь ради грубого удовольствия, ради сладостного, безумного наслаждения.

Я медленно шел по ночному городу, раскинув руки, подняв глаза к небесам.

Из разбросанных по блестящей улице черных решеток валил белоснежный дым. На синевато‑серых тротуарах сверкала фантастическая выставка мусора в сверкающих пластиковых пакетах.

Нежные крошечные деревья с вечнозелеными листьями, ночью похожими на короткие ярко‑зеленые штрихи, сделанные пером, склонили свои стволы‑лепестки под гнетом воющего ветра. Куда ни глянь, за высокими чистыми стеклянными дверьми гранитных фасадов скрывалось лучащееся великолепие богатых вестибюлей. В витринах демонстрировались искрящиеся бриллианты, глянцевитые меха, элегантные костюмы и платья на безлицых оловянных манекенах с пышными прическами.

Собор стоял, безмолвный и темный, с покрытыми инеем башенками и старинными остроконечными арками, на том же самом чистом тротуаре, что и в то утро, когда меня застигло солнце.

Задержавшись там, я закрыл глаза, возможно, стараясь припомнить удивление и рвение, храбрость и великие ожидания.

Вместо этого, чистые и сияющие, темный воздух прорезали чистые ноты «Апассионаты». Раздраженная, грохочущая, торопливая, музыка обрушалась на меня, чтобы позвать домой. Я пошел за ней.

Часы в холле отеля били шесть. Через несколько мгновений зимний мрак расступится, как лед, ставший моей тюрьмой. За неясно освещенной длинной отполированной стойкой никого не было.

В висевшем на стене тусклом зеркале, в золотой раме стиля рококо, я увидел свое отражение — побледневшее, восковое, ни единого пятнышка. Как же повеселились со мной по очереди солнце и лед, когда второй заморозил безжалостной хваткой следы ярости первого. Ни одного шрама не осталось там, где кожа впечаталась в мускулы. Я превратился в запаянное, прочное существо с цельной, страдающей душой, отлитый из одного куска, восстановившийся, с искрящимися, чистыми, белыми ногтями, с загибающимися вверх ресницами вокруг ясных карих глаз, одетый в жалкую кипу грязной, не по росту роскоши знакомого крепкого херувима.

Никогда еще я так не радовался своему слишком юному лицу, безволосому подбородку, слишком мягким и тонким рукам. Но в тот момент я был готов благодарить древних богов за то, что дали мне крылья.

Музыка наверху продолжалась, величественная, насыщенная трагедией, страстным и неустрашимым духом. Как же мне нравилась эта музыка. Кто еще во всем мире смог бы так играть одну и ту же сонату, как она, чтобы каждая фраза получалась не менее свежей, чем песни, что на протяжении всей своей жизни поют птицы, знакомые только с одной музыкальной моделью.

Я посмотрел по сторонам. Первоклассное, дорогое место, несколько глубоких кресел, на стене в крошечных потемневших деревянных отделениях выстроились в ряд ключи от номеров.

На круглом черном мраморном столе, в самом центре, в дерзком великолепии стояла огромная ваза с цветами, непременная торговая марка классического нью‑йоркского отеля. Я обогнул букет, отломив большую розовую лилию с ярко‑красным горлом и закручивающимися, желтеющими снаружи лепестками, и тихо пошел по пожарной лестнице к моим детям.

Когда Бенджи впустил меня, она не остановилась.

— Знаешь, ангел, а ты неплохо выглядишь, — сказал он.

Она продолжала играть, непосредственно покачивая головой в такт сонате.

Он провел меня через цепочку хорошо обставленных, оштукатуренных комнат. Моя была слишком роскошная, прошептал я, увидев растянутые гобелены и подушки, расшитые старинным потертым золотом. Мне нужна только полная темнота.

— Но меньше у нас ничего нет, — пожал он плечами. Он переоделся в свежие белые льняные одеяния в тонкую голубую полоску, такие часто встречаются в арабских странах. Он одел белые носки и коричневые сандалии. Он дымил турецкой сигареткой и прищурился, глядя на меня через дым.

— Ты принес мне часы, да? — Он кивнул, воплощение сарказма и веселья.

— Нет, — сказал я и сунул руку в карман. — Но деньги можешь взять. Скажи мне, раз уж твой ум — настоящий медальон, а ключа у меня нет, никто не видел тебя с тем подонком с полицейским значком и револьвером?

— Да мы с ним все время встречаемся, — устало мотнул он головой. — Мы ушли из бара по отдельности. Я убил двух зайцев. Я очень хитрый.

— Почему? — спросил я и вложил лилию в его ручонку.

— У него покупал брат Сибель. Никто по нему не скучал, кроме этого полицейского. — Он хихикнул. Он заткнул лилию в густые кудри над левым ухом, потом вытащил и покрутил в пальцах ее крошечный стебелек. — Хитро, да? Теперь его никто не хватится.

— И правда, двух зайцев убил, ничего не скажешь, — сказал я. — Хотя я уверен, что этим дело не ограничится.

— Но теперь ты нам поможешь, правда?

— Конечно, помогу. Я же сказал, я очень богат. Я все улажу. У меня к таким делам инстинкт. В одном далеком городе я владел большим театром, а после этого — целым островом с дорогими магазинами, и так далее. Похоже, я в многих отношениях монстр. Тебе больше никогда, никогда не придется бояться.

— А знаешь, ты правда очень красивый, — сказал он, поднимая одну бровь и быстро подмигивая мне. Он затянулся своей вкусной на вид сигареткой и протянул ее мне. В левой руке он крепко держал лилию.

— Не могу. Я только пью кровь, — сказал я. — В основном я — настоящий вампир из книжки. При свете дня нужна полная темнота, а день наступит очень скоро. Не вздумай трогать дверь.

— Ха! — засмеялся он с бесовским восторгом. — Так я ей и сказал! — Он закатил глаза и глянул в направлении гостиной. — Я сказал, что нужно скорее украсть для тебя гроб, но она ответила — нет, ты бы об этом подумал.

— Она совершенно права. Эта комната подходит, но гробы я тоже люблю. Правда.

— А нас ты можешь тоже сделать вампирами?

— Нет, ни за что. Ни в коем случае. У вас чистые сердца, вы слишком живые, и потом, у меня нет такой силы. Так не делают. Нельзя.

Он опять пожал плечами.

— Тогда кто сделал тебя? — спросил он.

— Я родился из черного яйца, — сказал я. — Как и все мы.

Он издевательски засмеялся.

— Ну, остальное ты видел, — сказал я. — Почему бы не поверить в самое лучшее?

Он только улыбнулся, выдохнул дым и посмотрел на меня взглядом мошенника.

Пианино пело грохочущими каскадами, быстрые ноты таяли, едва успев родиться, совсем как последние тонкие зимние снежинки, исчезающие, не упав на тротуар.

— Можно, я поцелую ее перед тем, как идти спать? — спросил я.

Он наклонил голову набок и пожал плечами.

— Если ей это не понравится, она все равно не прекратит играть, чтобы сказать об этом.

Я вернулся в гостиную. Как там было свободно — величественные и пышные французские пейзажи с золотыми облаками и кобальтовыми небесами, китайские вазы на подставках, собранный складками бархат, ниспадающий с высоких бронзовых прутьев, закрывая узкие старинные окна. Комната предстала передо мной единой картиной, включая ту кровать, где я лежал, теперь заваленную свежими пуховыми одеялами и подушками с вышитыми на них старинными лицами.

А она, центральный бриллиант в длинной белой фланелевой рубашке, отделанной на запястье и у ворота густыми старинными ирландскими кружевами, играла проворными уверенными пальцами на длинном лакированном рояле, и ее волосы светились на плечах гладким желтым светом.

Я поцеловал ее ароматные локоны и нежную шею, перехватил ее детскую улыбку и сверкнувший взгляд, и она продолжила играть, запрокинув голову, прикоснувшись спереди к моей одежде.

Я положил руки вокруг ее шеи. Ее гибкое тело прислонилось ко мне. Я скрестил руки на ее талии. Я чувствовал, как в моих уютных объятьях вслед за стремительными пальцами двигаются ее плечи.

Я осмелился, сжав губы, тихим шепотом напеть мелодию, и она запела вместе со мной.

— «Апассионата», — прошептал я ей на ухо. Я плакал. Я не хотел пачкать ее кровью. Она была слишком чистая, слишком красивая. Я отвернулся. Она бросилась вперед. Ее руки забарабанили громовую концовку. Резко наступила тишина, хрустальная, как сама музыка. Она повернулась, обняла меня, крепко сжала и произнесла слова, которых ни один смертный не говорил мне за всю мою долгую бессмертную жизнь:

— Арман, я люблю тебя.

### 23

Стоит ли и говорить, что они — идеальные спутники? Никто из них не обращает внимания на убийства. Я не мог бы объяснить этого даже ради спасения собственной жизни. Их волнуют другие вещи — мир во всем мире, бедные страдающие бездомные в холодном Нью‑Йорке идущей на спад зимой, цены на лекарства для больных, как ужасно, что Израиль и Палестина без конца воюют друг с другом. Но они и на секунду не задумались об ужасах, случившихся на их глазах. Им все равно, что я каждую ночь убиваю ради крови, что я питаюсь только кровью, ни чем иным, что я по самой своей природе связан с уничтожением человека.

Они ни на секунду не задумались о мертвом брате (его, кстати, звали Фоксом, а фамилию моей прекрасной дочери лучше не упоминать).

Кстати, если этот текст когда‑нибудь выйдет в свет, в реальный мир, ты будешь обязан изменить как ее имя, так и имя Бенджамина.

Однако не это меня сейчас волнует. Я не могу думать о судьбе этих страниц в ином свете, только о том, что они в основном предназначены для нее, я уже упоминал об этом, и, если мне будет позволено дать им название, я озаглавлю их «Симфония для Сибель».

Нет, пойми, пожалуйста, что Бенджика я люблю не меньше. Дело в том, что я не испытываю настолько всепоглощающей потребности оберегать его. Я знаю, что Бенджи проживет грандиозную, полную приключений жизнь, что бы ни случилось со мной, с Сибель или даже с нашими временами. Такова его гибкая и выносливая природа бедуина. Он — истинное дитя палаток и диких песков, хотя в его случае домом служил унылый спаленный квартал лачуг на окраине Иерусалима, где он убеждал туристов за несоразмерную цену позировать вместе с ним и с грязным огрызающимся верблюдом.

Фокс откровенно похитил, на преступных условиях долгосрочной аренды, за что заплатил пять тысяч долларов. К сделке присовокупили сфабрикованный паспорт эмигранта. Он был, несомненно, гениальным представителем своего племени, со смешанным чувством относился к возвращению домой и на нью‑йоркских улицах научился воровать, курить и ругаться, именно в этом порядке. Хотя он клялся всем на свете, что не умеет читать, выяснилось, что все‑таки умеет, чем он и занялся, как одержимый, как только я начал забрасывать его книгами.

Фактически он умел читать по‑английски, по‑арабски и на иврите, поскольку у себя на родине читал на этих языках газеты с незапамятных времен.

Он любил заботиться о Сибель. Он присматривал, чтобы она ела, пила молоко, принимала ванну и переодевалась когда ее совершенно не интересовали подобные рутинные мероприятия. Он гордился тем, что своим умом может раздобыть для нее все необходимое, что бы с ней ни происходило.

Он стал ее представителем в отеле, раздавая чаевые, ведя нормальные разговоры с портье, включая и удивительно тонко сплетенную ложь о местонахождении покойного Фокса, который в нескончаемой саге Бенджика превратился в прославленного путешественника и фотографа‑любителя; он устраивал визиты настройщика, кого приходилось вызывать раз в неделю, так как пианино стояло у окна на солнце и на холоде, а Сибель при этом била по клавишам с яростью, удивившей бы самого Бетховена. Он звонил по телефону в банк, где весь персонал считал его старшим братом, Давидом, а потом являлся за наличными к окошечку кассы в качестве маленького Бенджамина.

Через несколько ночей разговоров я убедился, что могу дать ему такое же превосходное образование, как то, что дал мне Мариус, и что в результате он должен получить возможность выбрать любой университет, профессию или любительское занятие умственной природы. Я не раскрывал свои карты. Но к концу недели я мечтал, чтобы он попал в частную школу, откуда он выйдет завоевателем общественности американского восточного побережья, в синей куртке с золотыми пуговицами.

Я люблю его до такой степени, что разорвал бы на части любого, кто прикоснулся бы к нему хоть пальцем.

Но с Сибель нас связывает симпатия, которая иногда не посещает как смертных, так и бессмертных на протяжении всей жизни. Я понимаю Сибель. Я ее знаю. Я понял ее в тот момент, когда впервые услышал ее игру, понимаю и сейчас, и если бы она не находилась под защитой Мариуса, я бы сейчас с тобой не разговаривал. На протяжении всей жизни

С Сибель я никогда с ней не расстанусь, и дам ей все, о чем она ни попросит.

Когда Сибель умрет, а это неизбежно, я испытаю невыразимую боль. Но это придется перенести. В этом вопросе у меня нет выбора. Я уже не тот, кем был, когда увидел покрывало Вероники, когда вышел на солнце.

Я другой, и этот другой беспредельно и окончательно полюбил Сибель и Бенджамина, и отступать мне нельзя.

Конечно, я прекрасно сознаю, что я питаюсь этой любовью; став счастливее, чем когда‑либо прежде за всю свою бессмертную жизнь, я набрался сил от этих спутников. Эта ситуация слишком идеальна, чтобы считать ее не чистой случайностью, а чем‑то иным.

Сибель не безумна. Это чрезвычайно далеко от истины, и я воображаю, что прекрасно ее понимаю. С того момента, когда она впервые прикоснулась руками к роялю, остальное ей стало не нужно. И ее «карьера», так благородно спланированная для нее гордыми родителями и сгорающим от амбиций Фоксом, никогда не имела для нее особенного значения.

Будь она бедна, терпи она лишения, то призвание публики, наверное, стало бы неотъемлемой частью ее романа с музыкой, давая ей необходимую возможность бежать от ужасной западни жизненной обыденности и рутины. Но бедной она никогда не была. И она до глубины души остается абсолютной равнодушной, услышат люди ее музыку, или нет.

Ей нужно только слышать ее самой и знать, что она не беспокоит окружающих.

В том старом отеле, где комнаты в основном сдаются на несколько дней, где лишь горстка жильцов настолько богаты, что могу позволить себе жить там годами, как семья Сибель, она может играть без конца и никого не беспокоить.

А после смерти родителей, лишившись двух единственных близких свидетелей ее развития, она просто не могла дальше сотрудничать с Фоксом в вопросах своей карьеры.

Что ж, все это я понял практически с самого начала. Я понял это по ее бесконечному повторению сонаты № 21, и, думаю, доведись тебе ее услышать, ты тоже это понял бы. Я хочу, чтобы ты ее послушал. Понимаешь, Сибель совершенно не смущает, если ее соберутся послушать другие. Если ее будут записывать, она не засуетится. Если другим нравится ее слушать, если ей говорят об этом, она приходит в восторг. Но у нее все очень просто. «А, значит, вам тоже нравится? — думает она. — Красиво, правда?» Вот что мне сказали ее глаза и улыбки, когда я впервые к ней приблизился.

И, полагаю, прежде чем продолжать — а мне есть, что написать о своих детях, стоит разобраться с вопросом: а как я приблизился к ней? Как я оказался в ее квартире в то роковое утро, когда Дора стояла в соборе и кричала толпе о таинственном покрывале, а я летел к небесам, и кровь в моих воспламенившихся венах?

Я не знаю. Я располагаю утомительным сверхъестественным объяснением, подобным тем, которыми забивают тома члены Общества Изучения Экстрасенсорных Явлений или сценарии для Малдера и Скалли в телесериале «Секретные материалы». Или тайные файлы — в случае архивов ордена психодетективов под названием «Таламаска».

Грубо говоря, я рассматриваю вижу это примерно так. Я обладаю исключительно сильными способностями оказывать гипнотическое воздействие, перемещать свое зрение, пересылать свой образ на расстояние и воздействовать на материю как на близком расстоянии, так и в тех случаях, когда она находится вне поля зрения. Должно быть, я каким‑то образом, во время утреннего путешествия к облакам воспользовался этой силой. Возможно, она вырвалась из меня в момент душераздирающей боли, когда я во всех отношениях полностью вышел из строя и абсолютно не сознавал, что со мной происходит. Возможно, то был последний, отчаянный, истерический отказ смириться с возможностью смерти, или же с ужасным, близким к смерти положением, в котором я оказался.

То есть, упав с крыши, обгорев, испытывая невыразимые мучения, я, возможно, нашел способ отчаянного мысленного избавления, спроецировав свой образ и силу в комнату Сибель, и их хватило, чтобы убить ее брата. Для духов, разумеется, невозможно осуществить достаточное воздействие на материю, чтобы ее изменить. Значит, может быть, именно так я и сделал — спроецировал себя в духовной форме, положил руки на материю — Фокса — и убил его.

Но на самом деле я в это не верю. Я объясню, почему. Прежде всего, хотя Сибель и Бенджамин, несмотря на всю свою показную, полную здравого смысла отрешенность, не эксперты в вопросах смерти и последующей судебной экспертизы, оба настаивают, что, когда они избавлялись от трупа Фокса, он был обескровлен. На шее явственно виднелись раны от укуса. То есть, они и по сей час верят, что я присутствовал там в материальной форме, и что я действительно выпил кровь Фокса. Этого спроецированный образ сделать не может, во всяком случае, насколько мне известно. Нет, он не сможет поглотить кровь целой кровеносной системы, а потом раствориться, вернуться к системе мозга, откуда и появился. Нет, такое невозможно.

Конечно, Сибель и Бенджи могут заблуждаться. Что они знают о крови и трупах? Но они фактически, по их словам, оставили мертвого Фокса пролежать два дня, ожидая, пока им не поможет дибук — или ангел. Но за такой срок кровь человеческого тела оседает на самую нижнюю часть трупа, и дети не могли бы не заметить такую перемену. Они же ничего не заметили.

Нет, у меня от этого голова разболелась! Суть в том, что я не знаю, как и почему я попал в их квартиру. Я не знаю, как это произошло. Но я знаю, как я уже говорил, что все, увиденное мной в великом восстановленном киевском соборе, в невероятном месте, было не менее реально, чем происшествие в квартире Сибель.

Есть и еще один маленький момент, но пусть он и маленький, он критически важный. После того, как я убил Фокса, Бенджи видел, как с неба упало мое обгорелое тело. Он видел меня, как я видел его, из окна.

Существует одна ужасная возможность. Вот в чем она заключается. Тем утром я должен был умереть. Я умер бы. Мое вознесение совершилось под действием безмерной воли и безмерной любви к Богу, в которой я, диктуя сейчас эти слова, не сомневаюсь.

Но, возможно, в критический момент мужество меня подвело. Меня подвело мое тело. И, ища убежища от солнца, стараясь пресечь свое мученичество, я наткнулся на неприятности Сибель и ее брата, и, почувствовав, как сильно я ей нужен, я начал падать к укрытию на крыше, где меня быстро накрыл снег и лед. Мой визит к Сибель, согласно этому толкованию, мог быть лишь преходящей иллюзией, сильной проекцией самого себя, выполнение потребности этой выбранной наугад, уязвимой девушки, которой грозили смертельные побои со стороны брата.

Что касается Фокса, я, несомненно, убил его. Но умер он от страха, может быть, когда я надавил иллюзорными руками на его хрупкое горло, его сердце не выдержало — телекинез или внушение. Но я уже сказал, что не верю в это.

Я побывал в киевском соборе. Я проломил пальцами скорлупу. Я видел, как птица вылетела на свободу.

Я знаю, что рядом стояла моя мать, я знаю, что мой отец перевернул чашу. Я знаю, потому что уверен — ни одна частица меня не могла бы вообразить себе такое. Знаю — потому что увиденные мной краски и услышанная музыка не были придуманы, и прежде я такого не испытывал.

Ведь ни об одной из своих предыдущих грез я такого сказать не могу. Когда я произносил слова мессы в Киеве, я находился в царстве, состоящим из ингредиентов, которыми мое воображение просто не располагает.

Я больше не хочу об этом говорить. Анализировать — слишком болезненно и ужасно. Я не собирался этого делать, насколько сознавало мое сердце, и у меня не было над этим сознательной власти. Так просто получилось.

Если бы я смог, я бы вообще забыл об этом. Я так невероятно счастлив с Сибель и Бенджи, что, естественно, на время их жизни я хочу забыть обо всем. Я хочу только находиться рядом с ними, что я и делаю с описанной мной ночи.

Ты видишь, что я не торопился прийти сюда. Вернувшись в ряды опасных Живых мертвецов, мне было очень легко разузнать в блуждающих умах других вампиров, что Лестат находится в своем заточении в безопасности и даже диктует тебе всю историю, случившуюся с ним, с Богом во плоти и с Мемноком‑дьяволом.

Мне было очень легко разузнать, не обнаруживая собственного присутствия, что весь мир вампиров скорбит по мне со слезами и с большей болью, чем я мог предсказать.

Таким образом, уверенный в безопасности Лестата, сбитый с толку, но испытывая облегчения от того, что к нему таинственным образом вернулся его похищенный глаз, я имел возможность пожить в свое удовольствие с Сибель и Бенджи, что я и сделал.

С Бенджи и Сибель я снова воссоединился с миром, чего не случалось с тех пор, как меня покинул единственный созданный мной вампир, Дэниел Маллой. Моя любовь к Дэниелу всегда оставалась несколько нечестной, а также сплеталась с моей ненавистью к миру в целом и смятением перед лицом современного мира, который начал открываться передо мной в тот момент, когда в конце восемнадцатого века я вышел из вырытых под Парижем катакомб.

Сам Дэниэл считал, что ему этот мир ни к чему, он пришел ко мне, когда жаждал Темной Крови, когда в его мозгу плавали мрачные гротескные истории, рассказанные ему Луи де Пуант дю Лаком. Забросав его кипами всевозможных богатств, я добился только того, что его тошнило от смертных сластей, и в результате он отвернулся от предложенной мной роскоши, превратившись в бродягу. Бродя в полубезумном состоянии по улицам, одетый в лохмотья, он отказался от мира до такой степени, что стоял на пороге смерти, а я, существо слабое, испорченное, терзаемое его красотой, вожделея живого человека, а не того вампира, каким он мог бы стать, перенес его к нам, исполнив Темный Трюк, только потому, что иначе он бы умер.

После этого я не стал для него никаким Мариусом. Все вышло в точности, как я предполагал: в глубине души он ненавидел меня за то, что я посвятил его в Живую Смерть, за то, что в одну ночь превратил его как в бессмертного, так и в типичного убийцу.

Смертным человеком он не представлял себе, какой ценой мы платим за свое существование, и правду знать не хотел; он бежал от нее в беспокойные сны и злобные странствия.

Получилось так, как я и боялся. Сделав его своим товарищем, я получил любовника, все яснее видевшего во мне чудовище.

У нас так и не было периода невинности, у нас не было весны. У нас не было ни единого шанса, какие бы нас ни окружали прекрасные сумеречные сады. Наши души были настроены на разные волны, наши желания пересекались, а зерно нашей взаимной неприязни попало в слишком благодатную почву, чтобы не зацвести. Сейчас все по‑другому.

Два месяца я прожил в Нью‑Йорке с Сибель и Бенджи, прожил так, как никогда не жил с тех давно прошедших ночей с Мариусом в Венеции.

Я, кажется, уже говорил, что Сибель богата, но она богата утомительным, неровным богатством, ее доходы идут на оплату ее непомерных апартаментов и ежедневного питания в номере, остаток идет на дорогую одежду, билеты на симфонические концерты и некоторые стихийные траты и шалости.

Я невероятно богат. Так что первым делом я с удовольствием осыпал Сибель и Бенджика роскошью, которой прежде осыпал Дэниела Маллоя, но с куда большей пользой. Им это понравилось.

Когда Сибель не играет на пианино, она совершенно не возражает против того, чтобы пойти с нами с Бенджи в кино, на симфонический концерт или в оперу. Ей нравился балет, она любила водить Бенджика в самые лучшие рестораны, где он прославился среди официантов своим резким энергичным голоском и распевной манерой совершать набеги на названия блюд, французских и итальянских, заказывая коллекционные вина, которые ему наливались беспрекословно, невзирая на полные добрых намерений законы, запрещающие подавать детям спиртное. Мне, конечно, это тоже очень нравилось, и я в восторге обнаружил, что у Сибель появилась случайная и игривая привычка одевать меня, выискивать куртки, рубашки и тому подобное из кип одежды на полках, быстро указывая пальцем, а также выбирать мне с бархатных подставок всевозможные кольца с дорогими камнями, запонки, цепочки, крошечные распятия из золота и рубинов, золотые скрепки для денег и так далее.

Я в совершенстве освоил эту игру с Дэниэлом Маллоем. Сибель играет в нее со мной, по‑своему, мечтательно, пока я улаживаю утомительные дела с кассиром.

Я, в свою очередь, получаю огромное удовольствие, таская за собой Бенджика, как куклу, и заставляя его иногда одеваться в дорогое западное платье, хотя бы на один‑два часа.

Мы представляем собой поразительную троицу, когда обедаем втроем в «Лютеции» или в «Искрах» (я, разумеется, не обедаю) — Бенджи в безупречных одеждах пустыни или в отлично сидящем пиджачке с узкими отворотами, в белой рубашке на пуговицах и ярком галстуке; я в своем вполне приемлемом старинном бархате и стоячими воротниками из старых рассыпающихся кружев; и Сибель в очаровательном платье из тех, что рекой льются из ее шкафа, туалетами, что покупали ей мама и Фокс, облегающие ее пышную грудь и тонкую талию, обязательно волшебным образом развевающиеся вокруг длинных ног, достаточно короткие, чтобы обнажать великолепный изгиб ее упругих икр, когда она надевает на обтянутые темными чулками ноги туфли с каблучками‑кинжалами. Коротко подстриженная шапка кудрей Бенджика — византийский нимб вокруг загадочного темного личика, ее развевающиеся волны распущены, мои волосы вернулись в прежнее состояние, какими они были в эпоху Возрождения — копна длинных неуправляемых локонов — предмет моей тайной тщеславной гордости в те времена.

С Бенджи мое главное наслаждение — это обучение. С самого начала мы завели основательные разговоры о истории, обо всем мире, в результате растянулись на ковре, разглядывая карты, обсуждая общий прогресс Востока и Запада, неизбежное влияние климата, культуры и географии на человеческую историю. Во время новостных передач по телевизору Бенджи самозабвенно бормочет, называет каждую знаменитость интимно, по имени, гневно стучит кулаком узнав о действиях мировых лидеров и громко завывает, случись умереть великой принцессе или гуманисту. Бенджи может смотреть новости, непрерывно говорить, есть попкорн, курить сигарету и периодически подпевать музык Сибель — более или менее одновременно.

Если я, не отрываясь, смотрю на дождь, как будто увидел призрака, Бенджи непременно колотит меня по руке и кричит:

— Что нам делать, Арман? У нас на вечер — три отличных фильма. Меня это бесит, понимаешь, бесит, потому что если мы пойдем хоть на один из них, мы не попадем на Паваротти в «Метрополитен», я уже зеленею, меня сейчас вырвет.

Мы часто одеваем Сибель вдвоем, а она смотрит на нас, словно не понимает, что мы делаем. Мы всегда сидим и разговариваем с ней, когда она принимает ванну, иначе она, скорее всего, заснет в ванне или просто просидит там много часов, поливая водой свою прекрасную грудь.

Иногда она за всю ночь не говорит ничего, кроме «Бенджи, завяжи шнурки» или «Арман, он украл столовое серебро. Скажи ему, пусть положит на место» или с неожиданным удивлением: «Тепло сегодня, правда?»

Я никогда никому не рассказывал историю своей жизни, как рассказываю ее тебе, но в разговорах с Бенджи я обнаружил, что объясняю ему многое из того, чему учил меня Мариус — о человеческой природе, об истории права, о живописи и даже о музыке.

Скорее всего, в ходе этих разговоров я постепенно за два месяца осознал, что изменился.

Во мне исчез некий удушающий темный ужас. Я больше не рассматриваю историю как панораму катастроф; я часто ловлю себя на том, что вспоминаю благородные и восхитительно оптимистичные предсказания — что мир постоянно совершенствуется; что война, невзирая на окружающий нас разлад, тем не менее вышла из моды у власть имущих и вскоре уйдет с арен Третьего мира, как ушла с арен запада; и мы действительно накормим голодных, приютим бездомных и будем заботиться о тех, кто нуждается в любви.

С Сибель, образование и разговоры не являются основой нашей любви. С Сибель это интимность. Мне все равно, пусть она никогда ничего не говорит. Я не читаю ее мысли. Ей это не понравилось бы.

Так же всецело, как она принимает меня и мою природу, я принимаю ее и ее одержимость «Аппасионатой». Час за часом, ночь за ночью я слушаю, как играет Сибель, и с каждым свежим началом я замечаю мгновенные перемены интенсивности и выражения, льющегося из‑под ее пальцев. Благодаря этому я постепенно стал единственным слушателем, в чем присутствии Сибель отдает себе отчет.

Постепенно я стал частью музыки Сибель. Я всегда с ней и с ее фразами и частями «Апассионаты». Я рядом, и я единственный, кто никогда ничего не просил у Сибель — только чтобы она делала то, что ей хочется, то, что она делает безупречно. Больше Сибель никогда ничего не придется для меня делать — только то, что ей захочется. Если ей когда‑нибудь захочется «подняться в глазах общественности», я расчищу ей дорогу. Если она когда‑нибудь захочет остаться одна, она не увидит меня и не услышит. Если ей когда‑нибудь чего‑нибудь захочется, я ей это достану.

И если она когда‑нибудь полюбит смертного мужчину или смертную женщину, я сделаю, как она захочет. Я могу жить в тени. Преданный ей, я могу вечно жить во мраке, потому что когда я рядом с ней, мрака не бывает.

Сибель часто ходит со мной на охоту. Сибель любит смотреть, как я пью кровь и убиваю. Кажется, я прежде никогда не позволял такого смертным. Она старается помочь мне избавиться от останков или запутать улики, указывающие на следы смерти, но я очень сильный, быстрый и способный, поэтому она в основном свидетель.

Я стараюсь не брать Бенджика на подобные эскапады, потому что он дико, по‑детски возбуждается, что не идет ему на пользу. На Сибель это никак не влияет.

Я мог бы рассказать тебе и о других вещах — как мы уладили дело с исчезновением ее брата, как я перевел огромные суммы денег на ее имя и основал соответствующие нерушимые трастовые фонды для Бенджика, как я купил ей значительный процент акций отеля, где она живет, и поставил в ее апартаменты, громадные по масштабам отеля, несколько превосходных роялей, которые ей нравятся, как я устроил для себя на безопасном расстоянии от отеля логово с гробом, которое нельзя отыскать и уничтожить, куда нельзя проникнуть, куда я при случае ухожу, хотя больше я привык спать в маленькой комнате, выделенной мне с самого начала, где к единственному окошку, выходящему на вентиляционную шахту, плотно прикрепили шторы. Но черт с ним. Ты узнал то, о чем я хотел поставить тебя в известность.

Остается только подвести нас к настоящему, к сегодняшнему закату, когда я пришел сюда, в самое логово вампиров рука об руку с моим братом и сестрой, чтобы, наконец, увидеть Лестата.

### 24

Все получается как‑то слишком просто, правда? То есть, мое превращение из маленького религиозного фанатика, стоявшего на ступенях собора, в счастливого монстра, решившего одной весенней ночью в Нью‑Йорке, что пора совершить путешествие на юг и зайти проведать старого друга. Ты знаешь, зачем я пришел.

Начнем с раннего вечера. Когда я прибыл, ты был в молельне.

Ты приветствовал меня с нескрываемой радостью, довольный от того, что я жив и невредим. Луи чуть не заплакал.

Остальные, та молодежь в обносках, что набилась внутрь, два юноши, кажется, и девушка, я не знаю, кто они, до сих пор не знаю, но позже они разбрелись.

Я в ужасе увидел, что он, беззащитный, лежит на полу, а его мать, Габриэль, стоит в дальнем углу и просто смотрит на него, холодно, как она смотрит на всех и вся, словно никогда не знала, что такое человеческие чувства.

Я пришел в ужас от того, что поблизости болтаются молодые бродяги, и почувствовал необходимость защитить Сибель и Бенджика. Я не испытывал страха от того, что им придется увидеть наших классиков, легенды, воителей — тебя, моего любимого Луи, даже Габриэль, и уж конечно Пандору и Мариуса, всех, кто там собрался.

Но я не хотел, чтобы мои дети видели заурядный сброд, накачанный нашей кровью, и по обыкновению подумал, наверное, тщеславно и высокомерно — откуда вообще взялись эти гнусные бродячие недоросли? Кто создал их, когда и зачем?

В такие моменты во мне просыпается старое, неистовое Дитя Тьмы, Глава Собрания под парижским кладбищем, отдававший приказ, когда и как передать Темную Кровь, и прежде всего — кому. Но эта старая привычка властвовать обманчива и в лучшем случае раздражает.

Я возненавидел тех, кто сюда затесался, потому что они смотрели на Лестата, как на достопримечательность во время карнавала, а я такого не потерпел бы. Я почувствовал прилив бешенства, тягу к разрушению.

Но у нас не существует правил, допускающих столь опрометчивые поступки. И кто я такой, чтобы устраивать смуту здесь, под твоей крышей? Нет, тогда я не знал, что здесь живешь, но ты, безусловно, охранял хозяина дома, а ты впустил их, головорезов, вскоре после этого появились еще трое‑четверо, они осмелились окружить его, но, как я заметил, не подходил слишком близко.

Конечно, всех особенно заинтересовали Сибель и Бенджамин. Я тихо велел им держаться непосредственно рядом со мной и не разбродиться. Сибель не могла выбросить из головы мысль о том, что неподалеку есть пианино, способное придать ее сонате совершенно новое звучание. Что касается Бенджика, он вышагивал как маленький самурай, круглыми, как блюдца, глазами высматривая повсюду монстров, хотя он гордо поджал строгий маленький рот.

Молельня показалась мне красивой. Как же иначе? Чистые, белые оштукатуренные стены, сводчатый потолок, как в древних церквях, а там, где стоял алтарь — глубокая ниша, настоящий колодец звука, каждый шаг тихим эхом разносится по всему зданию.

Еще с улицы я рассмотрел ярко освещенные витражи. Бесформенные, они, тем не менее сохраняли свою прелесть благодаря блестящим синим, красным и желтым краскам и простому змеевидному дизайну. Мне понравились старые черные надписи, посвященные давно ушедшим смертным, в чью память было сооружено каждое окно. Мне понравились разбросанные повсюду старые гипсовые статуи, которые я помог тебе вывезти из нью‑йоркской квартиры и отослать на юг.

Тогда я не особенно к ним приглядывался; я отгородился от их стеклянных очей, как от глаз василисков. Но теперь я не преминул рассмотреть их получше.

Среди них я нашел милую страдалицу, Святую Риту, в черном облачении и белом апостольнике, со страшной, жуткой ссадиной на лбу, зияющей, как третий глаз. Была там и очаровательная, улыбающаяся Святая Тереза из Лизьо, Маленький Цветок Иисуса с распятием и букетом розовых роз в руках.

Поодаль стояла Святая Тереза Авильская, вырезанная из дерева, с тонкой работы росписью, поднявшая глаза к небесам, настоящий мистик, а в руке — перо, характеризующее ее как доктора богословия. Был там и Святой Людовик с короной Франции; и, конечно, Святой Франциск, в скромной коричневой монашеской рясе, собравший вокруг себя прирученных животных; и другие, чьих имен я, стыдно признаться, не знаю.

Но даже больше, чем статуи, беспорядочно расставленные по комнате, как хранители старой священной истории, меня поразили картины на стене, изображавшие восхождение Христа на Голгофу. Кто‑то развесил их в надлежащем порядке, может быть, еще до того, как мы вошли в мир этого дома.

Я догадывался, что они написаны маслом по меди, в них присутствовал стиль Возрождения, конечно, имитация, но имитация того рода, которую я нахожу нормальной и люблю.

Страх, затаившийся во мне за все счастливые недели, проведенные в Нью‑Йорке, немедленно всплыл на поверхность. Нет, не столько страх, сколько ужас.

Господи, прошептал я. Я повернулся и поднял глаза к лицу Христа на распятии, висевшим высоко над головой Лестата.

Мучительный момент. Я думаю, на резное дерево наложилось изображение с покрывала Вероники. Я уверен. Я снова оказался в Нью‑Йорке, где Дора подняла покрывало повыше, чтобы мы могли его рассмотреть.

Я увидел его темные, прекрасно оттененные глаза, идеально запечатленные в ткани, словно они составляли ее часть, но ни в коем случае не впитались в нее, темные полоски его бровей и, над его ровным, безропотным взглядом — ручейки крови, текущие от терновых шипов. Я увидел его полуоткрытые брови, словно он мог говорить вечно.

Я резко осознал, что с далеких ступеней алтаря на меня устремлены ледяные серые глаза Габриэль, я запер мысли, а ключ проглотил. Я не дам ей трогать ни меня, ни мои мысли. Я ощетинился и настроился враждебно по отношению ко всем, кто собрался в комнате.

Потом пришел Луи. Он очень обрадовался, что я не умер. Он хотел кое‑что сказать. Он знал, что меня волнует, и сам нервничал из‑за присутствия чужаков. Он выглядел, как и прежде, аскетом, одеваясь в изношенные черные наряды прекрасного покроя, но невыносимо пыльные, и в рубашку до того истончившуюся, что она больше напоминала эльфийскую пряжу‑паутину, чем настоящую ткань и кружева.

— Мы впускаем их, потому что в противном случае они кружат неподалеку, как шакалы, и не уходят. А так они заходят, смотрят и убираются. Ты знаешь, чего они хотят.

Я кивнул. У меня не хватило мужества признаться ему, что и я хочу того же. Я так и не заставил себя не думать об этом, ни на минуту, несмотря на возвышенность того, что стряслось со мной после нашего разговора в последнюю ночь моей прошлой жизни. Я хотел его крови. Я хотел выпить ее. Я спокойно дал Луи это понять.

— Он тебя уничтожит, — прошептал Луи, моментально краснея от ужаса. Он вопрошающе посмотрел на Сибель, прижавшуюся покрепче к моей руке, и на Бенджамина, изучая его пылающими энтузиазмом глазами. — Арман, нельзя так рисковать. Один из них подошел слишком близко. Его раздавило. Быстрым, автоматическим движением. Но его рука, как оживший камень, разорвала его на кусочки прямо на полу. Не подходи к нему, и даже не думай.

— А старейшие, сильнейшие, они никогда не пробовали?

Заговорила Пандора. Она все время наблюдала за нами, держась в тени. Я и забыл, как она прекрасна — сдержанной, первозданной красотой.

Длинный густые коричневые волосы были зачесаны назад, образуя тень за тонкой шеей, она казалась глянцевитой и хорошенькой, потому что втерла в лицо темное масло, чтобы больше походить на человека. Глаза оставались дерзкими, горящими. Она обняла меня с бесцеремонностью женщины. Она тоже обрадовалась, что я жив.

— Ты знаешь, кем стал Лестат, — умоляюще сказала она. — Арман, это очаг силы, никто не знает, на что он способен.

— Но Пандора, неужели ты никогда об этом не думала? Неужели тебе никогда не приходило в голову выпить крови из его горла и отыскать образ Христа? Что, внутри него хранится неопровержимое доказательство того, что он пил божью кровь?

— Арман, — сказала она, — Христос никогда не был моим богом. — Так просто, так возмутительно, так беспрекословно.

Она вздохнула, но лишь от беспокойства за меня. Она улыбнулась.

— Я бы не стала знакомиться с твоим Христом, если бы он оказался внутри Лестата, — мягко сказала она.

— Ты не понимаешь, — ответил я. — С ним что‑то случилось, случилось, пока он уходил к этому духу, Мемноку, а вернулся он с покрывалом. Я его видел. Я видел его… силу.

— Ты видел иллюзию, — доброжелательно сказал Луи.

— Нет, я видел силу, — ответил я. Через мгновение я сам усомнился в себе. Длинные коридоры истории вились как назад, так и вперед, я увидел, как бросаюсь в темноту с одной‑единственной свечой в поисках написанных мной икон. И вся тривиальность, вся ее безнадежность сразила мою душу.

Я осознал, что напугал Сибель и Бенджика. Они не сводили с меня глаз.

Я обнял их обоих и притянул к себе. Перед тем, как прийти сюда, я поохотился, чтобы набраться побольше сил, и знал, что у меня приятно теплая кожа. Я поцеловал Сибель в бледные розовые губы и поцеловал Бенджика в голову.

— Арман, ты меня бесишь, правда, бесишь, — сказал Бенджи. — Ты никогда мне не говорил, что поверил в это покрывало.

— А ты, маленький мужчина, — сказал я приглушенным голосом, чтобы не устраивать спектаклю на публике. — Ты сам не заходил в собор, когда его там выставляли?

— Заходил, и скажу тебе то же, что и прекрасная леди. — Он, разумеется, пожал плечами. — Он никогда не был моим богом.

— Смотрите, рыщут, — тихо сказал Луи. Он исхудал и слегка вздрагивал.

Он пренебрег своим голодом, чтобы прийти и занять свою вахту. — Лучше я вышвырну их отсюда, Пандора, — продолжил он голосом, неспособным вселить страх даже в самую робкую душу.

— Пусть увидят то, зачем пришли, — хладнокровно, едва слышно ответила она. — Возможно, им не долго придется радоваться своему удовлетворению. Они осложняют нам жизнь, они нас позорят, они не приносят пользы никому, ни живым, ни мертвым.

Прелестная угроза, подумал я. Я надеялся, что она смела с лица земли немало им подобных, но, конечно, понимал, что многие Дети Тысячелетий считают то же самое и обо мне. Что же я за наглое существо — привести сюда посмотреть на моего друга, лежащего на полу, без какого бы то ни было разрешения, своих детей.

— Оба они среди нас в безопасности, — сказала Пандора, видимо, читая мои беспокойные мысли. — Ты же понимаешь, что они рады тебя видеть, и молодые, и старые. — Она обвела жестом всю комнату. — Некоторые не хотят выходить на свет, но они тебя знают. Они не хотели, чтобы ты погиб.

— Нет, никто не хотел, — довольно эмоционально сказал Луи. — И ты вернулся, как во сне. У нас были подозрения, некоторые шептали, что тебя видели в Нью‑Йорке, красивого и полного жизни, как раньше. Но я не мог поверить, не убедившись своими глазами.

Я кивнул в знак признательности за его добрые слова. Но думал я о покрывале. Я еще раз посмотрел на резное изображение Христа на дереве, а потом опустил взгляд на спящую фигуру Лестата.

Только тогда вышел Мариус. Он дрожал.

— Живой, не обожженный, — прошептал он. — Сын мой.

Его плечи скрывал старый, жалкий, поношенный серый плащ, но в тот момент я не обратил внимания. Он сразу же обнял меня, заставив тем самым моих детей отойти. Однако далеко они не ушли. Думаю, они успокоились, увидев, что я обхватил его обеими руками и несколько раз поцеловал в лицо и в губы, по многолетней привычке. Потрясающий, исполненный мягкой любви.

— Я присмотри за этими смертными, если ты решился попробовать, — сказал он. Он прочел весь сценарий в моем сердце. Он понял, что у меня нет выбора. — Как мне тебя отговорить? — спросил он.

Я только покачал головой. От спешки и предвкушения я даже не мог ответить иначе. Я предоставил Бенджика и Сибель его заботам.

Я приблизился к Лестату и прошел прямо к нему, то есть, я стоял слева от него, он лежал от меня справа. Я быстро опустился, удивившись, что мрамор такой холодный, забыв, полагаю, как здесь сыро, в Новом Орлеане, как незаметно подкрадывается озноб.

Я оперся обеими руками об пол и посмотрел на него. Он лежал спокойно, неподвижно, оба глаза одинаково ясные, словно ни один из них никогда и не вырывали. Он смотрел, как говорится, сквозь меня, вперед, куда‑то дальше, выглядывая из разума, на вид пустого, как мертвый кокон.

Его всклокоченные волосы запылились. Даже его холодная, злобная мать не причешет их, предположил я, от чего пришел в ярость, но со вспышкой ледяных эмоций она прошипела:

— Он никого к себе не подпускает, Арман. — Эхо разнесло ее далекий голос по пустой молельне. — Попробуй, сам узнаешь.

Я поднял голову. Она сидела, прислонившись к стене, небрежно обхватив руками колени. Она была в привычной прочной, выцветшей одежде цвета хаки, в узких брюках и в своей более или менее прославленной британской куртке для сафари, в пятнах, оставленных дикой природой, ее светлые волосы, такие же яркие и золотистые, как у него, заплетенной косой лежали на спине.

Внезапно она сердито поднялась и направилась ко мне, резко и непочтительно топая по полу простыми кожаными сапогами.

— С чего ты взял, будто духи, которых он видел — боги? — вопросила она. — С чего ты взял, будто выходки этих возвышенных существ, играющих с нами, стоят больше, чем детские проказы, а мы, от мала до велика — не просто звери, бродящие под земле? — Она остановилась в нескольких футах от него. Она скрестила руки. — Он ввел что‑то или кого‑то в искушение. Эта сущность не смогла перед ним устоять. И к чему это свелось? Говори. Ты должен знать.

— Я не знаю, — тихо ответил я. — Хоть бы ты оставила меня в покое.

— Не знаешь, разве? Так я тебе скажу, к чему это свелось. Молодая женщина по имени Дора, духовный, как говорится, лидер, проповедовавшая добро, проистекающее из ухода за слабыми и страждущими, сбилась с пути! Вот к чему все свелось — ее проповеди, основанные на благотворительности, спетые на новый лад, дабы к ним прислушались, испарились благодаря кровавому лицу кровавого бога.

Мои глаза наполнились слезами. Мне было противно, что она все так ясно увидела, но я не мог ей ответить и не мог ее заткнуть. Я поднялся на ноги.

— Они слетелись обратно в соборы, — презрительно продолжала она, — целыми кучами, вернулись к архаичной, смехотворной и абсолютно бесполезной теологии, которую ты, похоже, просто забыл.

— Я достаточно хорошо с ней знаком, — тихо сказал я. — Ты меня замучила. Что я тебе сделал? Я встал рядом с ним на колени, только и всего.

— Да, но ты хочешь большего, и твои слезы меня оскорбляют, — сказала она. Я услышал, как кто‑то обратился к ней из‑за моей спины, по‑моему, Пандора, но я точно не знал. Внезапно во вспышке мимолетного прозрения я понял, скольких здесь развлекают мои речи, но мне было все равно.

— Чего ты ждешь, Арман? — безжалостно и коварно спросила она. Ее узкое овальное лицо было так на него похоже — и так отличалось! Он никогда не расставался до такой степени с чувством, никогда не испытывал такого абстрактного гнева, как она. — Думаешь, ты увидишь то же, что и он, или же надеешься, что кровь Христова ждет, пока ты насладишься ее вкусом? Процитировать тебе катехизис?

— Не стоит, Габриэль, — смиренно сказал я. Слезы слепили мне глаза.

— Хлеб и вино будут Телом и Кровью до тех пор, пока они останутся хлебом и вином, Арман; но как только они перестанут быть хлебом и вином, они перестанут быть Телом и Кровью. Так чего ты ждешь от крови христовой, что она сохранила волшебную силу, несмотря на мотор его сердца, пожирающий кровь смертных как воздух, которым он дышал?

Я не ответил. В душе я подумал: Это же не хлеб и вино; это его Кровь, его священная Кровь, он передал ее по пути на Голгофу тому, кто здесь лежит.

Я проглотил поглубже мою скорбь и злость на то, что она заставила меня скомпрометировать себя этими выражениями. Я хотел оглянуться на моих бедных Сибель и Бенджика, поскольку по запаху чувствовал, что они до сих пор здесь.

Что же Мариус не уведет их! Но это достаточно ясно. Мариус хочет посмотреть, что я намерен делать.

— Только не говори, — невнятно добавила Габриэль, — что дело здесь в вере. — Она усмехнулась и покачала головой. — Ты явился, как Фома неверящий, чтобы вонзить свои окровавленные клыки прямо в рану.

— Ну пожалуйста, умоляю тебя, прекрати, — прошептал я. Я поднял руки.

— Дай мне попробовать, пусть он меня ударит, тогда ты будешь довольна и отвернешься.

Я подразумевал только то, что сказал, и не ощущал в своих словах никакой силы, только смирение и невыразимую печаль.

Но ей они нанесли тяжелый удар, и впервые на ее лице отразилась всепоглощающая грусть, у нее тоже увлажнились и покраснели глаза, и, взглянув на меня, она даже поджала губы.

— Бедное заблудшее дитя, Арман, — сказала она. — Мне так тебя жаль. Я так радовалась, что ты пережил солнце.

— Так значит, я могу простить тебя, Габриэль, — сказал я, — за все жестокие слова, что ты мне наговорила.

Она задумчиво приподняла брови, а потом медленно кивнула в знак немого согласия. Потом, подняв руки, она беззвучно попятилась и заняла прежнюю позу на ступенях алтаря, откинув голову на алтарную преграду. Она, как прежде, подтянула колени и смотрела на меня, ее лицо оставалось в тени.

Я ждал. Она застыла и успокоилась, рассеявшиеся по молельне посетители не издавали ни звука. Слышно было только ровное биение сердца Сибель и взволнованное дыхание Бенджика, и то за много ярдов от меня.

Я взглянул на Лестата, остававшегося без изменений, волосы по‑прежнему падали на его лицо, слегка прикрывая левый глаз. Правая рука была откинута в сторону, пальцы согнулись, он лежал без единого движения, даже легкие не дышали, даже поры.

Я снова опустился рядом с ним на колени. Я протянул руку и без колебаний отвел волосы с его лица.

Я почувствовал, как по комнате пробежала волна потрясения. Я услышал чьи‑то вздохи. Но сам Лестат не шелохнулся.

Я медленно, уже более ласково расправил его волосы и к собственному немому изумлению увидел, что прямо на его лицо упала одна из моих слез.

Она была красная, но водянистая и прозрачная, и, стекая со скулы в естественную впадину под ней, совершенно исчезла. Я скользнул ближе, повернулся на бок, лицом к нему, не убирая руки с его волос. Я вытянул ноги рядом с ним и лег, уткнувшись лицом в его вытянутую руку.

Снова послышались потрясенные вздохи, и я постарался окончательно очистить свое сердце от гордыни и от всего прочего, оставив только любовь.

Она не была определенной или дифференцированной, эта любовь, просто любовь, любовь, которую я мог чувствовать к тому, кого я убивал, кому я помогал, кого я обходил на улице или к тому, кого я знал и ценил так высоко, как его.

Я и вообразить не мог всего бремени его печалей, и это понятие в моих мыслях расширилось, охватывая и нашу общую трагедию, трагедию тех, кто убивает, чтобы жить, кто процветает на смерти, пусть даже так повелела сама Земля, кто носит на себе проклятье самосознания, кто по дюймам знает, как медленно страдает, насыщая нас, все, что нас кормит, пока от него ничего не остается. Печаль. Печаль, намного превосходящая чувство вины, намного более объяснимая, печаль, слишком великая для всего мира.

Я приподнялся. Я оперся на локоть, а пальцами правой руки нежно провел по его шее. Я медленно прижался губами к его побелевшей шелковой коже и вдохнул его знакомый, характерный запах и вкус, приятный, неопределенный и удивительно личный, состоящих из смеси как его природных достоинств, так и даров, полученных впоследствии, и острыми глазными зубами я пронзил его кожу, чтобы попробовать его кровь.

Для меня не осталось ни молельни, ни возмущенных вздохов, ни почтительных вскриков. Я ничего не слышал, хотя знал, что происходит вокруг. Знал, как будто материальное помещение было лишь иллюзией, ибо реальной осталась только его кровь.

Густая, как мед, насыщенная и крепкая на вкус, сироп самих ангелов.

Я пил ее со стоном, чувствуя ее опаляющий жар, она разительно отличалась от любой человеческой крови. С каждым медленным биением его сильного сердца поступал новый приток, пока у меня не переполнился рот и мое горло не сделало самопроизвольный глоток, и его сердце застучало громче, с каждым разом ускоряясь, мои глаза заволокло красный дымкой, и в этой дымке я увидел бушующий вихрь пыли.

Из небытия возник гнусный унылый гул, смешанный я ядовитым песком, впившимся мне в глаза. Это была настоящая пустыня, древняя, полная прогорклых и заурядных вещей, пропахшая потом, грязью и смертью. Гул состоял из выкриков, эхом отлетавших от тесных тусклых стен. На одни голоса накладывались другие, хриплые взрывы брани и равнодушные сплетни заглушали даже самые резкие и ужасные крики гнева и тревоги.

Я, пробиваясь сквозь толпу, прижимался к потным телам, косые лучи солнца жгли мою вытянутую руку. Я понимал, о чем трещали вокруг, древний язык ревел и выл в моих ушах, пока я проталкивался поближе к источнику взмокшей, противной суеты, затянувшей меня в свою трясину и пытавшейся меня удержать.

Казалось, они выдавят из меня всю жизнь, оборванцы с шершавой кожей и женщины в домотканой одежде, прикрывающие лица покрывалами, толкая меня локтями и наступая мне на ноги. Что лежит впереди, я не видел. Я выбросил руки в стороны, оглушенный криками и злобным булькающим смехом, и неожиданно, словно по чьей‑то воле, толпа расступилась, и я увидел огненный шедевр своими глазами.

Она стояла передо мной в рваных, окровавленных белых одеждах, та самая фигура, чье лицо я видел запечатленным в ткани покрывала. Руки толстыми неровными железными цепями прикованы к тяжелому, чудовищному кресту распятия, он сгорбился под его тяжестью, волосы струились по обе стороны его израненного, изувеченного лица. Кровь из‑под шипов текла прямо в открытые, непреклонные глаза.

Мой вид явился для него неожиданностью, он даже слегка изумился. Он смотрел на меня широкими искренними глазами, словно его не окружала толпа, словно хлыст не опустился прямо на его спину, а затем — и на склоненную голову. Из‑под спутанных, испачканных в запекшейся грязи волос, из‑под воспаленных, окровавленных век, смотрел он вдаль.

— Господи! — воскликнул я.

Должно быть, я потянулся к его лицу, ведь это были мои руки, мои маленькие белые руки! Я увидел, как они стараются добраться до его лица.

— Господи! — повторил я.

И в ответ он посмотрел на меня, не двигаясь, наши взгляды пересеклись, его руки болтались в железных оковах, изо рта капала кровь.

Неожиданно на меня обрушился яростный, ужасный удар. Он бросил меня вперед. Мои глаза затопило его лицо. Оно выросло передо мной до крупнейших возможных масштабов — его грязная, в царапинах кожа, промокшие, потемневшие, склеившиеся ресницы, огромные яркие очи с темными зрачками.

Оно придвигалось все ближе и ближе, кровь капала на его густые брови, стекала по впалым щекам. Его рот приоткрылся. Он издал звук. Сперва это был вздох, потом — глухое ускоряющееся дыхание, оно становилось все громче и громче по мере того, как его лицо становилось все больше и больше, теряя ясные очертания, превращаясь в совокупность его плывущих оттенков, а звук перешел в положительно оглушительный рев.

Я вскрикнул от ужаса. Меня отшвырнуло назад. Но хотя теперь я различал знакомую фигуру и древний силуэт его лица в терновом венце, лицо все равно увеличивалось в размерах, удивительно нечеткое, оно опять склонилось надо мной и внезапно чуть не удушило меня своим безмерным, всеподавляющим весом.

Я закричал. Беспомощный, невесомый, я не мог дышать. Я кричал так, как не кричал за все мои жалкие годы, мой вопль вытеснил даже рев, забивший мне уши, но видение продолжало надвигаться — огромная, давящая, неотвратимая масса, что когда‑то была его лицом.

— О Господи! — заорал я изо всех сил, оставшихся в моих пылающих легких. В моих ушах шумел ветер.

Что‑то с такой силой ударило меня по голове, что у меня треснул череп. Я услышал треск. Я почувствовал мокрый всплеск крови.

Я открыл глаза. Я смотрел вперед. Я находился по другую сторону молельни, распростертый у покрытой штукатуркой стены, вытянув перед собой ноги, руки болтались, голова горела от боли в месте сотрясения, в том месте, где я ударился о стену.

Лестат ни разу не шелохнулся. Я знал, что он не виноват. Можно было мне этого не объяснять. Не он отбросил меня назад. Я перевернулся, упал на лицо и подложил руку под голову. Я знал, что вокруг меня собрались чьи‑то ноги, что рядом Луи, что подошла даже Габриэль, и также я знал, что Мариус уводит Сибель и Бенджамина.

В звенящей тишине я слышал только тонкий, резкий смертный голос Бенджамина.

— Но что с ним случилось? Что случилось? Блондин его не трогал. Я видел. Этого не было. Он не…

Скрывая мокрое от слез лицо, я прикрыл дрожащими руками голову, и никто не видел мою горькую улыбку, хотя всхлипы слышали все.

Я плакал и плакал, долго, а потом, постепенно, как я и ожидал, рана на голове начала затягиваться. Злая кровь поднялась к поверхности кожи и, зудя, оказывала мне свою злые поддержку, сшивая плоть, как исходящий из ада лазерный луч.

Кто‑то передал мне салфетку. От нее слабо пахло Луи, но полной уверенности у меня не было. Прошло много, много времени, прежде чем я наконец сжал ее и стер с лица кровь. Минул еще час, час тишины, когда народ от уважения выскальзывал из молельни, прежде чем я перевернулся, поднялся и сел у стены. Голова больше не болела, рана исчезла, присохшая кровь скоро осыплется. Я долго и тихо смотрел на него.

Мне было холодно, одиноко и плохо. Чужие бормотания не проникали в мое сознание. Я не замечал ни жесты, ни передвижения окружающих.

В святой святых моей души я перебрал, по больше части медленно, подробно, все, что я видел, все, что я слышал — все, что я тебе здесь рассказал.

Наконец я поднялся. Я вернулся к нему и посмотрел на него.Габриэль что‑то сказала. Что‑то резкое и грубое. Я не слышал, что именно. Я слышал звук, интонацию, как будто ее старинный французский язык, так хорошо мне знакомый, стал новым для меня наречием.

Я встал на колени и поцеловал его волосы.

Он не пошевелился. Он не изменился. Я ни на секунду этого не боялся — и не надеялся. Я еще раз поцеловал его в щеку, поднялся, вытер пальцы салфеткой, которую до сих пор сжимал в руке, и вышел.

Кажется, я долгое время простоял в оцепенении, а потом кое‑что вспомнил, вспомнил, что Дора давным‑давно говорила, будто на чердаке умер ребенок, рассказывала о маленьком призраке и о старой одежде.

Уцепившись за это воспоминание, крепко сжимая его, я смог подтолкнуть себя к лестнице.

Там мы с тобой через некоторое время и встретились. Теперь ты знаешь, к лучшему или к худшему, что я увидел — или чего я не увидел.

Итак, моя симфония окончена. Давай, я поставлю свое имя. Когда ты закончишь переписывать, я отдам свой экземпляр расшифровки Сибель. И, наверное, Бенджику. А с остальным можешь делать, что хочешь.

### 25

Это не эпилог. Это последняя глава повести, которую я считал завершенной. Я дописываю ее своей рукой. Она будет краткой, поскольку драматизма во мне уже не осталось, и мне следует с величайшей осторожностью обращаться со скелетом рассказа.

Возможно, попозже у меня найдутся подходящие слова, чтобы подчеркнуть мой упадок сил после всего, что случилось, но пока что я могу это лишь зарегистрировать.

Поставив подпись на копии, так тщательно записанной Дэвидом, я не ушел из монастыря. Было слишком поздно.

За разговорами прошла вся ночь, и мне, перевозбужденному после описанных мной Дэвиду событий, пришлось удалиться в одну из потайных кирпичных комнат здания, показанных мне Дэвидом, место, куда когда‑то заточили Лестата; никогда еще я до такой степени не выматывался и с восходом солнца я моментально погрузился в сон.

С наступлением сумерек я поднялся, расправил одежду и вернулся в молельню. Я опустился на пол и поцеловал Лестата с нескрываемой любовью, как прошлой ночью. Я никого не замечал и даже не знал, кто там присутствовал.

Поверив Мариусу на слово, я вышел из монастыря, омытый фиолетовым светом раннего вечера, доверчиво скользя глазами по цветам, и прислушался, чтобы аккорды сонаты Сибель привели меня в нужный дом.

Через несколько секунд я услышал музыку, далекие, но быстрые фразы «Апассионаты», первой части знакомой песни Сибель.

Она звучала с непривычной звонкой четкостью, с новой апатичной интонацией, придававшей ей властный, рубиново‑красное оттенок, понравившийся мне с первого звука.

Значит, я не напугал свою девочку до потери рассудка. Значит, с ней все в порядке, она благоденствует и, возможно, влюбляется, как многие из нас, в сонную душную прелесть Нового Орлеана.

Я немедленно поспешил к указанному месту и оказался, почти не испачкавшись на ветру, перед огромным трехэтажным красным кирпичным домом в Метэри, предместье Нового Орлеана, обладавшем, несмотря на близость к городу, чудесной атмосферой уединения.

Как и говорил Мариус, этот новый американский особняк со всех сторон окружали гигантские дубы, а французские двери с чистыми блестящими стеклами были настежь распахнуты навстречу раннему ветру.

Мои ноги ступали по длинной мягкой траве, а из каждого окна лился роскошный свет, такой дорогой сердцу Мариуса, как лилась и музыка «Апассионаты», в настоящий момент с удивительной грацией переходя ко второй части, Andante con motto, сначала обещающий быть более ручным сегментом произведения, но быстро присоединяется к общему безумию.

Я остановился на полпути и прислушался. Никогда еще я не слышал таких прозрачных, просвечивающих нот, таких ярких и изысканно четких. Ради чистого удовольствия я попытался определить различия между этим исполнением и остальными, что я слышал в прошлом. Они все отличались друг от друга, волшебные, глубоко задевающие душу, но этот вариант был просто, чему в определенной степени способствовали грандиозные очертания концертного рояля.

На мгновение меня охватило горестное, ужасное, цепкое воспоминание о том, что я увидел, когда прошлой ночью пил кровь Лестата. Я позволил себе, выражаясь нашим невинным языком, оживить их в памяти, а потом явственно покраснел, обнаружив приятную неожиданность — мне не придется ничего рассказывать, я все продиктовал Дэвиду, а когда он отдаст мне мои копии, я доверю их тем, кого люблю, тем, кто захочет знать, что я видел.

Что касается меня, я не собирался в этом копаться. Я не мог. Слишком сильно я чувствовал, что тот, кого я видел по пути на Голгофу, будь он настоящим или плодом моего собственного греховного сердца, не хотел, чтобы я его видел, и чудовищным образом оттолкнул меня. Я ощущал себя отвергнутым до такой степени, что едва мог поверить, будто смог описать это Дэвиду.

Нужно было выбросить эти мысли из головы. Я наложил запрет на всяческие отзвуки этих переживаний и снова отдался музыке Сибель, просто стоя под дубами на извечном речном ветру, от которого в этих местах не скрыться — он охлаждал меня, успокаивал и заставлял чувствовать, что земля полна неукротимой красоты, даже для такого, как я.

Музыка третьей части достигла своей блистательной кульминации, и я решил, что у меня разорвется сердце.

Только тогда, когда отзвучали финальные аккорды, я осознал то, что было очевидным с самого начала.

Не Сибель играла ту музыку. Не Сибель. Я знал каждый нюанс трактовок Сибель. Я знал ее способы выражения; я знал качество тона, неизбежно производимое ее неповторимыми прикосновениями. Хотя ее интерпретации оставались бесконечно спонтанными, я, тем не менее, знал ее музыку, как знают чужой стиль письма или особенности работы художника. Это была не Сибель.

И тогда меня осенила настоящая истина. Это была Сибель, но Сибель стала уже не Сибель.

В первую секунду я не мог в это поверить. Сердце остановилось у меня в груди. Потом я вошел в дом ровным, неистовым шагом, который не остановится ни перед чем, чтобы выяснить правду о том, что мне показалось.

Через мгновение я все увидел своими глазами. Они собрались все вместе в великолепной комнате, прекрасная гибкая фигура Пандоры в коричневом шелковом платье, подпоясанном на талии в старинном греческом стиле, Мариус в светлом бархатном смокинге и шелковых брюках, и мои дети, мои прекрасные дети, светящийся Бенджи в своем белом одеянии, бешено танцующий по комнате босиком, растопыривая пальцы, словно стараясь ухватить ими воздух, и Сибель, моя потрясающая Сибель, тоже с обнаженными руками, в платье из ярко‑розового шелка, откинувшая за плечи длинные волосы, сидящая у рояля, как раз переходя к первой части. Все вампиры, все до единого.

Я плотно стиснул зубы и прикрыл рот, чтобы мои крики не разбудили весь мир. Я кричал и ревел в сжатые ладони.

Я выкрикивал один единственный слог отрицания — Нет, нет, нет, повторяя его вновь и вновь. Я больше ничего не мог произнести, больше ничего не мог кричать, больше ничего не мог делать. Я кричал и не мог остановиться.

Я так плотно закусил губы, что у меня заболела челюсть, руки затряслись, как птичьи крылья, неспособные достаточно плотно заткнуть мне рот, а из глаз опять хлынули слезы, густые, как тогда, когда я поцеловал Лестата. Нет, нет, нет! Внезапно я раскинул руки, сжав их в кулаки, и мой рев уже готов был вырваться на свободу, взорваться бушующим потоком, но Мариус с силой схватил меня, стремительно прижал к себе и уткнул лицом себе в грудь.

Я пытался вырваться. Я изо всех сил пинал его и колотил кулаками.

— Как ты мог! — ревел я.

Его руки поймали мою голову в безнадежную западню, его губы покрывали меня противными, ненавистными поцелуями, от которых я отчаянно отбивался.

— Как ты мог? Как ты посмел? Как ты мог? — В конце концов я обрел достаточно пространства, чтобы иметь возможность наносить ему удар за ударом.

Но что толку? Как слабы и бессмысленны мои удары против его силы. Как беспомощны, глупы и мелочны мои жесты, а он стоял и сносил их с невыразимо печальным лицом, с сухими, но полными заботы глазами.

— Как ты мог, ну как же ты мог? — спрашивал я. Я не мог остановиться.

Но внезапно Сибель оторвалась от рояля и побежала ко мне, протягивая руки. Бенджи, следивший за всей этой сценой, тоже помчался ко мне, и они нежно заключили меня в оковы своих хрупких рук.

— Ну Арман, не злись, не надо, не расстраивайся, — мягко выкрикивала Сибель мне в ухо. — Мой замечательный Арман, не расстраивайся, не надо. Не вредничай. Мы с тобой навсегда.

— Арман, мы с тобой! Он сделал чудо! — закричал Бенджи. — Не обязательно рождаться из черных яиц, ах ты дибук, рассказал нам такую сказку! Арман, мы теперь никогда не умрем, никогда не заболеем, нас никто не обидит, нам нечего больше бояться! — Он подпрыгнул от восторга, закружился в новом вихре веселья, изумляясь и смеясь от своей новообретенной энергии, что он может прыгнуть так высоко и так грациозно. — Арман, мы так счастливы!

— О да, пожалуйста, — кричала Сибель своим более глубоким и более нежным голоском. — Мы так тебя любим, Арман, я так тебя люблю, так люблю. Мы не могли иначе. Не могли. Мы не могли иначе, мы хотели быть с тобой всегда, навсегда.

Мои пальцы нависли над ней, желая ее утешить, но она отчаянно зарылась лбом в мою шею, крепко обхватив меня вокруг груди, и я не мог до нее дотронуться, не мог ее обнять, не мог ее приободрить.

— Арман, я тебя люблю, я тебя обожаю, Арман, я живу только ради тебя, а теперь мы навсегда вместе, — сказала она.

Я кивнул, пытаясь заговорить. Она поцеловала мои слезы. Она целовала их быстро и отчаянно.

— Прекрати, прекрати плакать, не плачь, — повторяла она тихим, настойчивым шепотом. — Арман, мы тебя любим.

— Арман, мы так счастливы! — закричал Бенджи. — Смотри, Арман, смотри! Теперь мы вместе будет танцевать под ее музыку. Мы все сможем делать вместе. Арман, мы уже поохотились! — Он подлетел ко мне и согнул ноги в коленях, готовясь прыгнуть от возбуждения, как бы подчеркивая смысл своих слов. Потом он вздохнул и снова протянул ко мне руки. — Бедняга Арман, ты весь неправильный, ты живешь не теми мечтами. Арман, ты что, не понял?

— Я люблю тебя, — прошептал я неслышным голосом Сибель на ухо. Я повторил эти слова, и мое сопротивление было сломлено, я нежно прижал ее к себе и потрогал неистовыми пальцами ее шелковую белую кожу и звенящие, тонкие, блестящие волосы. Не отпуская ее, я прошептал: — Не дрожи, я люблю тебя, я люблю тебя.

Левой рукой я вцепился в Бенджика.

— А ты, разбойник, ты все мне расскажешь, со временем. А пока что дай, я тебя обниму. Дайте мне обнять вас обоих.

Меня трясло. Это меня трясло, а не их. Они снова окружили меня со всей своей нежностью, стараясь меня согреть.

Наконец, похлопав каждого из них по плечу, поцеловав их на прощанье, я отступил и в изнеможении упал в большое старое бархатное кресло.

У меня болела голова, я чувствовал, как подступают слезы, но я проглотил их изо всех сил — ради них. У меня не оставалось выбора.

Сибель вернулась к роялю и, ударив по клавишам, опять приступила к сонате. На этот раз она пропела ноты красивым, низким сопрано, а Бенджи снова принялся танцевать, кружась, прохаживаясь, топая босой ногой в такт темпу Сибель.

Я наклонился и сжал голову руками. Мне хотелось, чтобы мои волосы опустились как можно ниже и скрыли меня от всеобщих глаз, но, несмотря на густоту, это были всего лишь волосы.

Я почувствовал на своем плече чью‑то руку и напрягся, но не мог произнести ни слова, иначе я заново начал бы во весь голос кричать и ругаться. Я молчал.

— Я не жду, что ты меня поймешь, — тихим голосом сказал он.

Я выпрямился. Он сидел рядом со мной, на подлокотнике кресла. Он смотрел на меня сверху вниз.

Я сделал приятное лицо, выдавил даже лучезарную улыбку, и заговорил таким безмятежным и бархатным голосом, что никто не заподозрил бы, будто мы обсуждаем что‑то помимо любви.

— Как ты мог? Зачем ты это сделал? Неужели ты настолько меня ненавидишь? Не лги мне. Не говори мне глупости, сам знаешь, я в них никогда, никогда не поверю. Не обманывай меня, ради Пандоры, ради них. Я всегда буду заботиться о них, я всегда буду их любить. Но не лги. Ведь ты же сделал это из мести, господин, ты сделал это из ненависти?

— О чем ты? — спросил он прежним голосом, выражавшим сплошную любовь, и можно было подумать, что его искреннее, умоляющее лицо говорит со мной голосом самой любви. — Если я когда‑нибудь делал что‑то из любви, я сделал это сейчас. Я сделал это из‑за всех несправедливостей, выпавших на твою долю, из за пережитого тобой одиночества, из‑за кошмаров, которые мир обрушил на тебя, когда ты был слишком молод и неопытен, чтобы им противостоять, а потом — слишком подавлен, чтобы сопротивляться от всего сердца. Я сделал это ради тебя.

— Нет, ты лжешь, ты лжешь в своей душе, — сказал я, — если не на словах. Ты сделал это из злобы, и сейчас дал мне это понять со всей ясностью. Ты сделал это из злобы, потому что из меня получился не такой вампир, каким ты хотел меня видеть. Я не стал здравомыслящим бунтарем, способным противостоять Сантино и его банде чудовищ, и именно я, через столько веков, еще раз разочаровал тебя, ужасно разочаровал — ведь я ушел на солнце, увидев покрывало. Вот почему ты так поступил. Ты сделал это из мести, ты сделал это из разочарования, а венец ужаса — в том, что ты сам ничего не понимаешь. Ты не мог снести, что у меня чуть не разорвалось сердце, когда я увидел на покрывале его лицо. Ты не мог пережить, что ребенок, которого ты вырвал из венецианского борделя, которого ты вскормил своей кровью, которого ты учил по своим книгам, своими руками, воззвал к нему, увидев его лицо на покрывале.

— Нет, это настолько далеко от истины, что ты разрываешь мне душу. — Он покачал головой. Несмотря на белизну и отсутствие слез, его лицо было совершенным воплощением печали, как картины, написанные его собственными руками. — Я сделал это, потому что они любят тебя, как никто еще тебя не любил, потому что они свободны, а в глубине их благородных сердец кроется глубокое коварство, не дающее им отшатнуться от тебя, такого, какой ты есть. Я сделал это, потому что они выкованы в той же печи, что и я, оба обладают острым умом и силой, способностью выжить. Я сделал это, потому что ее не поработило безумие, а его не поработила бедность и невежество. Я сделал это, потому что они были твоими избранниками, идеально подходили тебе, а я понимал, что сам ты этого не сделаешь, и они в конце концов возненавидят тебя, возненавидят, как ты ненавидел меня за отказ, и ты скорее потеряешь их из‑за отчуждения и смерти, чем уступишь.

Теперь они твои. Ничто вас не разлучит. И он до краев наполнены моей кровью, древней, могущественной, чтобы стать твоими достойными спутниками, а не бледной тенью твоей души, как Луи.

Вас не разделит барьер создателя и порожденного им вампира, и ты сможешь узнавать тайны их сердец, как они смогут узнавать твои тайны.

Мне хотелось в это поверить.

Мне так сильно хотелось в это поверить, что я поднялся и ушел от него, ласково улыбнувшись моему Бенджамину и украдкой поцеловав ее, проходя мимо, я удалился в сад и встал в одиночестве между парой массивных дубов.

Их громовые корни поднимались из земли, образуя холмики из твердого, покрытого волдырями дерева. Я устроился на этом каменистом месте и положил голову на ствол ближнего из двух деревьев.

Его ветви опустились и укрыли меня, как вуаль, чего я хотел добиться от своих личных волос. Стоя в тени я чувствовал себя защищенным, чувствовал, что нахожусь в безопасности. Сердце мое успокоилось, но сердце мое было разбито, и мой рассудок пошатнулся, и мне довольно было заглянуть в открытую дверь, в блистательный яркий свет на моих двух белых вампирских ангелков, чтобы опять заплакать.

Мариус долго стоял в далеком дверном проеме. Он на меня не смотрел. Я взглянув на Пандору, я увидел, что она свернулась, словно старалась защититься от какой‑то ужасной муки — возможно, всего лишь от нашей ссоры, в другом большом бархатном кресле.

Наконец Мариус собрался и подошел ко мне, думаю, на это ему потребовалось немалое усилие воли. У него на лице внезапно появилось несколько сердитое и даже гордое выражение. Мне было наплевать. Он встал передо мной, но ничего не говорил и, казалось, собрался стойко выслушать все, что я скажу.

— Почему ты не дал им прожить свои жизни? — спросил я. — Не кто‑нибудь, а ты, что бы ты ни чувствовал по отношению ко мне и к моим недомыслием, почему ты не дал им пользоваться тем, что подарила им природа? Зачем ты вмешался?

Он не ответил, не я и не дал ему такой возможности. Смягчив свой тон, чтобы не беспокоить их, я продолжил.

— В самые темные времена, — сказал я, — меня всегда поддерживали только твои слова. Нет, я не говорю о тех веках, когда я был пленником искаженных вероучений и мрачных заблуждений. Я говорю о том, что было намного позже, после того, как я, подстрекаемый Лестатом, вышел из подземелья, когда я прочел, что написал о тебе Лестат, а потом выслушал тебя своими ушами. Это ты, господин, заставил меня увидеть все, что я мог, в чудесном ярком мире, разворачивающимся вокруг меня так, как я и не представлял себе в той стране или в те времена, в которые я родился.

Я не мог сдерживаться. Я остановился передохнуть и послушать ее музыку, и, осознав, как она прекрасна, жалобна, выразительна и по‑новому загадочна, я чуть не заплакал. Но я не мог себе этого позволить. Я думал, что мне необходимо сказать намного больше.

— Господин, это ты сказал, что мы движемся вперед в том мире, где отмирают старые религии, суеверные и жестокие. Это ты сказал, что мы живем в эпоху, когда злу больше не отводится необходимого места. Вспомни, господин, ты же сказал Лестату, что никакое вероучение или кодекс не может оправдать наше существование, ибо людям теперь известно, что такое настоящее зло — это голод, нужда, невежество, война, холод. Ты сам так сказал, господин, сказал намного элегантнее и полнее, чем я способен выразить, но именно на этих грандиозных рациональных оснований ты спорил с самой ужасной из нас, ради святости и драгоценной красоты этого естественного мира, мира людей. Это ты отстаивал человеческую душу, утверждая, что она растет как в плане глубины, так и в плане чувства, что люди живут теперь не ради блеска войны, что они познали прекрасные вещи, ранее доступные лишь богачам, а теперь принадлежат всем. Ты сам говорил, что после темных веков кровавых религий появился новый свет, свет разума, этики и неподдельного сострадания, и он не только освещает, но и согревает.

— Прекрати, Арман, замолчи, — сказал он. Он говорил мягко, но строго.

— Я помню эти слова. Я помню каждое из них. Но я больше в это не верю.

Я был потрясен. Я был потрясен монументальной простотой этого отречения. Оно простиралось вне пределов моего воображения, но я достаточно хорошо его знал, чтобы понимать — каждое слово он говорит всерьез. Он спокойно посмотрел на меня.

— Да, когда‑то я в этом верил. Но, понимаешь, эта вера основывалась не на логике и наблюдениях за человечеством, в чем я себя убедил. Но я заблуждался, и когда я в конце концов это осознал, когда я увидел, что это на самом деле — слепой, отчаянный, нелогичный предрассудок — моя вера внезапно рухнула и разбилась вдребезги.

Арман, я говорил так, потому что считал, что говорю правду. Это было своего рода кредо, кредо разума, кредо эстетики, кредо логики, кредо искушенного римского сенатора, закрывающего глаза на тошнотворную реальность окружающего мира, потому что если бы он признался себе в том, что открывается ему в низости его братьев и сестер, он сошел бы с ума.

Он перевел дух и продолжал, повернувшись спиной к яркой комнате, загораживая юных вампиров от своих обжигающих слов, а я, безусловно, только этого и хотел.

— Я знаю историю, я читал ее, как другие читают Библию, я не мог успокоиться, пока не вытащу на свет все, что когда‑либо было написано, все, что можно познать, пока не расшифрую кодексы всех культур, оставивших мне полные ложных надежд свидетельства, которые я смогу высмотреть в камне, в земле, в папирусе или в глине.

Но в своем оптимизме я заблуждался, я был невежествен, невежествен, как и все, кого я обвинял в этом, я отказывался окунуться в окружавшие меня кошмары, достигшие в этот век, в этот век разума своего апогея.

Оглянись назад, дитя, если хочешь, если ты собираешься со мной спорить. Оглянись на золотой Киев, знакомый тебе только по песням после того, как бешеные монголы сожгли его соборы и истребили население, как скот, чем они занимались по всей Киевской Руси на протяжении двухсот лет. Оглянись на летопись всей Европы — видишь, повсюду бушуют войны, в Святой Земле, в лесах Франции или Германии, в плодородных землях Англии, да, благословенной Англии, в каждом уголке Азии.

Почему же я так долго занимался самообманом? Разве я не видел те русские степи, те спаленные города? Ведь вся Европа могла пасть под силой Чингиз‑хана. Подумай о великих английских соборах, превращенных в груды камней самонадеянным королем Генрихом.

Подумай о книгах народа майя, брошенных в огонь испанскими священниками. Инки, ацтеки, ольмеки — все эти народности ушли в небытие…

Цепь кошмаров, кошмар за кошмаром, и так было всегда, и больше притворяться я не могу. Когда я вижу, как миллионы погибают в газовых камерах по прихоти маньяка‑австрийца, когда я вижу, как истребляют целые африканские племена, забивая целые реки разбухшими трупами, когда я вижу, как бушующий голод охватывает целые страны в век изобилия для обжор, я не могу продолжать верить в эти пошлости.

Не знаю, какое конкретно событие разбило мой самообман. Не знаю, какой конкретно ужас сорвал маску с моей лжи. Были ли это миллионы голодающих на Украине, заключенные в ней по воле их собственного диктатора, или же пришедшие за ними тысячи людей, погибших, когда в небеса над степью извергнулась ядерная отрава, защиты от которой им не предоставило то самое правительство, что заставляло их голодать? Были ли это монастыри благородного Непала, цитадели медитации и милосердия, простоявшие тысячи лет, старше, чем я сам и моя философия, уничтоженные армией алчных, хватких милитаристов, развязавших безжалостную войну с монахами в шафрановых одеждах, бесценные книги, брошенные в огонь, древние колокола, расплавленные, чтобы никогда больше не призывать кротких людей к молитве? А случилось это всего за два десятилетия до этого самого часа, пока народы запада танцевали на дискотеках и лакали коктейли, небрежно сокрушаясь между собой по поводу бедного, несчастного Далай Ламы и переключая телевизионный канал.

Не знаю, что именно — китайцы, японцы, камбоджийцы, евреи, украинцы, поляки, русские, курды, о Господи, этой песне нет конца. У меня не осталось веры, у меня не осталось оптимизма, у меня не осталось твердых убеждений в плане логики и этики. Мне не за что было упрекнуть тебя, когда ты встал на ступенях собора, протягивая руки к своему всезнающему и всемогущему Богу.

Я ничего не знаю, потому что я знаю слишком много, но понимаю очень мало и никогда не пойму. Но и ты, и все, кого я знал, научили меня, что любовь есть необходимость, как дождь необходим цветам и деревьям, как пища — голодным детям, как кровь — голодным хищникам и падальщикам, то есть нам. Нам нужна любовь, и любовь, как ничто другое, может заставить нас забыть и простить любое зверство.

Поэтому я извлек из прославленного, манящего перспективами современного мира с толпами больных и отчаявшихся. Я извлек их оттуда и отдал им единственную силу, которой я обладаю, и сделал я это ради тебя. Я дал им время, время, чтобы, возможно, найти ответ, которого живые смертные могут никогда не узнать.

Вот и все. Я знал, что ты будешь кричать, я знал, что ты будешь страдать, но при этом я знал, что ты примешь их, и, когда все кончится, будешь их любить, я знал, что они тебе отчаянно нужны. Вот ты и воссоединился… со змеем, львом и волком, и они намного выше худших из людей, проявивших себя в эти времена колоссальными чудовищами, они вольны осторожно питаться миром зла.

Повисла пауза.

Я долго думал, прежде чем кидаться в речи. Сибель прекратила играть, я знал, что она волнуется за меня, что я нужен ей, я чувствовал, чувствовал сильный толчок ее вампирской души. Придется пойти к ней, и скоро. Но я остановился, чтобы произнести еще несколько слов:

— Тебе следовало бы доверять им, господин, тебе следовало позволить им воспользоваться своим шансом. Что бы ты ни думал о мире, ты должен был дать им время. Это был их мир и их эпоха.

Он покачал головой, как будто разочаровался во мне, немного устало, словно он давно уже разрешил для себя все эти вопросы, возможно, еще до моего вчерашнего появления, казалось, он хочет выкинуть это из головы.

— Арман, ты навсегда останешься моим сыном, — сказал он с великим достоинством. — Все, что есть во мне волшебного и божественного, связано с человеческим, так было всегда.

— Ты должен был дать им возможность прожить свой час. Никакая моя любовь не могла подписать им смертный приговор или допуск к нашему странному, необъяснимому миру. По твоим оценкам, мы, может быть, и не хуже людей, но ты мог бы и сдержать свое слово. Мог бы оставить их в покое.

Достаточно.

К тому же, появился Дэвид. Он принес копию расшифровки, над которой мы работали, но не это его волновало. Он приблизился к нам медленно, явно возвещая о своем присутствии, давая нам возможность замолчать, что мы и сделали.

Я повернулся к нему, не в состоянии сдерживаться.

— Ты знал, что это произойдет? Ты понял, когда это случилось?

— Нет, — торжественно ответил он.

— Спасибо, — сказал я.

— Ты нужен им, твоим детям, — добавил Дэвид. — Мариус может быть создателем, но они всецело твои.

— Знаю, — сказал я. — Я иду. Я сделаю все, что нужно. — Мариус протянул руку и дотронулся до моего плеча. Вдруг я осознал, что его выдержка находится на грани. Когда он заговорил, его голос дрожал и светился от чувства.

Ему ненавистна была буря в его душе, моя печаль лишила его самообладания. Я прекрасно это понимал. Удовлетворения мне это не принесло.

— Ты меня презираешь, возможно, ты прав. Я знал, что ты будешь плакать, но в некотором глубинном смысле я неправильно судил о тебе. Я кое‑чего в тебе не понял. Может быть, я никогда не понимал.

— Чего же, господин? — ядовито спросил я.

— Ты любил их самоотверженной любовью, — прошептал он. — Все их странные недостатки, дикие пороки не компрометировали их в твоих глазах. Ты любил их, возможно, с большим уважением, чем я… чем я любил тебя. — Он выглядел ужасно потрясенным.

Я мог только кивнуть. Я вовсе не был уверен, что он прав. Моя потребность в них никогда не подвергалась проверке, но я не собирался ему об этом рассказывать.

— Арман, — сказал он, — ты же понимаешь, ты можешь оставаться здесь, сколько хочешь.

— Хорошо, потому что, наверное, придется, — сказал я. — Им здесь нравится, а я устал. Поэтому большое тебе спасибо.

— Еще кое‑что, — продолжал он, — и я говорю от чистого сердца.

— Что, господин? — спросил я.

Дэвид стал рядом, чему я очень радовался, так как он служил своего рода сдерживающим фактором для моих слез.

— Я искренне не знаю ответа, и спрашиваю тебя со всем смирением, — сказал Мариус. — Увидев покрывало, что ты увидел на самом деле? Нет, я не спрашиваю, был ли то Христос, был ли то Господь, было ли то чудо. Я хочу знать следующее. Там было пропитанное кровью лицо существа, положившего начало религии, виновной в таком количестве насилия, которого не знало ни одно вероисповедание мира. Пожалуйста, не злись на меня, просто объясни. Что ты увидел? Просто потрясающее напоминание о твоих иконах? Или же на самом деле оно действительно было пропитано любовью, а не кровью? Объясни мне. Мне искренне хотелось бы знать, если это не кровь, а любовь.

— Ты задаешь старый и простой вопрос, — сказал я, — а в моем настоящем положении я совсем ничего не знаю. Тебе интересно, как он мог стать моим Господом, учитывая твое описание мира, твои знания Евангелий и заветов, изданных во имя него. Тебе интересно, как я мог поверить во все это, когда ты в это не веришь, я прав?

Он кивнул.

— Да, мне интересно. Потому что я тебя знаю. И знаю, что вера — это как раз то, чем ты просто не обладаешь.

Эти слова меня потрясло. Но я мгновенно понял, что он не ошибся. Я улыбнулся. Внезапно я ощутил прилив трагического волнующего счастья.

— Что ж, я понял, о чем ты говоришь, — сказал я. — И я дам тебе свой ответ. Я увидел Христа. Некий кровавый свет. Личность, человека, силу — я почувствовал, что узнал его. И он не был Господом Богом, Отцом Всемогущим, он не был создателем вселенной и всего мира. Он не был Спасителем, он не был тем, кто явился ради искупления грехов, начертанных в моей душе до моего рождения. Он не был вторым лицом Святой Троицы, он не был теологом, вещающим со Святой горы. Для меня он был не таким. Для других — может быть, но не для меня.

— Так кем же он был, Арман? — спросил Дэвид. — Я записал твою историю, полную чудес и страданий, но я так и не понял. Какова концепция Господа, которую ты вкладываешь в это слово?

— Господь, — повторил я. — Это не то, что ты думаешь. Это произносится с интимностью, с теплотой. Это тайное, священное имя. Господь. — Я сделал паузу, а потом продолжил:

— Да, он — Господь, но лишь потому, что он является символом понятия бесконечно более доступного, бесконечно более значительного, чем правитель, король или властелин.

Я снова заколебался, подыскивая подходящие слова, раз уж они вели себя так искренне.

— Он был… моим братом, — сказал я. — Да. Вот кем он был, моим братом, символом всех братьев, и поэтому в его основе лежит только любовь. Вы относитесь к этому с презрением. Вы смотрите на меня с неодобрением. Но вам не постичь сложность того, кем он является на самом деле. Это легко почувствовать, но нелегко увидеть. Он был таким же человеком, как я. И, может быть, для многих из нас, для миллионов, другого понятия просто не существовало! Все мы — чьи‑то сыновья и дочери, и он был чьим‑то сыном. Он был человеком, неважно, Богом или нет, он страдал и считал, что делает это ради того, что казалось ему чистым, универсальным добром. И тем самым его кровь могла быть и моей кровью. Ведь иначе и быть не может. И, может быть, для тех, кто мыслит, как я, в этом и заключается источник его величия. Ты сказал, что я не обладаю верой. Не обладаю. Верой в титулы, в легенды, в иерархии, созданные такими же людьми, как мы. Сам он не определял иерархию, нет. Он сам и был сутью. В нем я увидел величие по очень простым причинам! Его существо состояло из плоти и крови! Оно может быть и хлебом с вином, чтобы накормить целую землю. Вам этого не понять. Не получится. В вашем поле зрения плавает слишком много лжи о нем. Я видел его до того, как услышал о нем все эти истории. Я видел его, глядя на иконы в своем доме, видел, когда рисовал его, тогда я даже не знал всех его имен. Я не могу не думать о нем. Никогда не мог. И никогда не смогу.

Больше мне сказать было нечего.

Они очень удивились, но отнеслись к моим словам без особенного уважения, скорее всего, воспринимая неправильно каждое слово, откуда мне было знать? В любом случае, что бы они ни чувствовали, это не имело абсолютно никакого значения. Ничего хорошего в том, что они задали мне свои вопросы, что я так старался раскрыть им свою истину, не было. Мысленно я видел старую икону, ту, что мать принесла мне в снегу. Воплощение. Их философия такого не объяснит. Я задумался. Может быть, весь ужас моей жизни сводился к тому, что, что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я всегда понимал. Воплощение. Кровавый свет.

Мне хотелось, чтобы теперь они оставили меня в покое.

Меня ждала Сибель, что намного важнее, и я пошел заключить ее в объятья.

Много часов проговорили мы, Сибель, Бенджи и я, под конец и Пандора, ужасно расстроенная, но ни словом не давая этого понять, пришла к нам, чтобы поддержать легкомысленную, веселую беседу. К нам присоединился Мариус, а потом и Дэвид.

Мы собрались в круг на траве, под звездами. Ради молодежи я изобразил самое храброе лицо, и мы заговорили о прекрасных вещах, о местах, куда мы отправимся, о чудесах, увиденных Мариусом и Пандорой, а периодически пускались спорить о всяких пустяках.

Часа за два до рассвета мы разошлись, Сибель забралась глубоко в сад и с величайшим вниманием рассматривала по очереди каждый цветок. Бенджи обнаружил, что может читать со сверхъестественной скоростью, и переворачивал библиотеку вверх дном, чем произвел на всех большое впечатление.

Дэвид, устроившись за письменным столом Мариуса, исправлял опечатки и сокращения в расшифровке, усердно редактируя копию, сделанную им для меня в спешке.

Мы с Мариусом сидели совсем рядом, плечом к плечу, прислонившись к тому самому дубу. Мы не разговаривали. Мы наблюдали за окружающим, может быть, слушали одну и ту же песнь ночи. Я хотел, чтобы Сибель еще поиграла. Я не помнил, чтобы она так долго не играла, и мне ужасно хотелось послушать, как она заново сыграет сонату.

Первым необычный звук услышал Мариус, он встревожено выпрямился, но передумал и опять прислонился к стволу рядом со мной.

— Что случилось? — спросил я.

— Просто какой‑то шум. Я не смог… не смог его определить, — сказал он и прислонился ко мне плечом, как раньше.

Практически одновременно Дэвид оторвал взгляд от работы. Появилась Пандора — она медленно, но настороженно двигалась к одной из освещенных дверей.

Теперь и я расслышал тот звук. И Сибель, поскольку она тоже взглянула по направлению к воротам сада. Даже Бенджи в результате соблаговолил его заметить, он уронил книгу на середине фразы и зашагал, сурово нахмурившись, к двери, чтобы оценить ситуацию и взять ее под контроль.

Сначала мне показалось, что меня подводит зрение, но очень быстро я опознал фигуру, возникшую за воротами, открывшимися и тихо закрывшиеся за ее жесткой, неловкой рукой.

При приближении он хромал, или, скорее, напоминал жертву усталости и отсутствия практики в простом действии ходьбы; он вышел на свет, падавший у наших ног на траву. Я был потрясен. О его намерениях никто не подозревал. Никто не двигался. Это был Лестат, в лохмотьях, грязный, как на полу молельни. Насколько я мог судить, от его головы не исходила ни одна мысль, а глаза казались мутными, полными изнурительного удивления. Он встал перед нами, глядя перед собой, и когда я поднялся на ноги, вскарабкался, чтобы его обнять, он приблизился ко мне и зашептал мне на ухо.

Он говорил неверным, слабым от отсутствия практики голосом, очень тихо, и его дыхание касалось моей кожи.

— Сибель, — сказал он.

— Да, Лестат, что, что — Сибель, скажи мне. — Я сжал его руки так крепко и любяще, как только смог.

— Сибель, — повторил он. — Как ты думаешь, если ты ее попросишь, она не сыграет мне сонату? «Апассионату»?

Я отодвинулся и заглянул в его неясные, сонные голубые глаза.

— О да, — сказал я, едва дыша от возбуждения и нахлынувшего чувства. — Лестат, я уверен, что сыграет. Сибель!

Она уже повернулась. Она в изумлении следила, как он медленно пересек лужайку и вошел в дом. Пандора отошла, уступая ему дорогу, и мы в почтительном молчании наблюдали, как он садится у рояля, спиной к правой передней ножке, подтягивает повыше колени и устало кладет голову на скрещенные руки. Он закрыл глаза.

— Сибель, — попросил я, — ты ему не сыграешь? «Апассионату», еще раз, пожалуйста, если можно.

И, конечно, она заиграла.